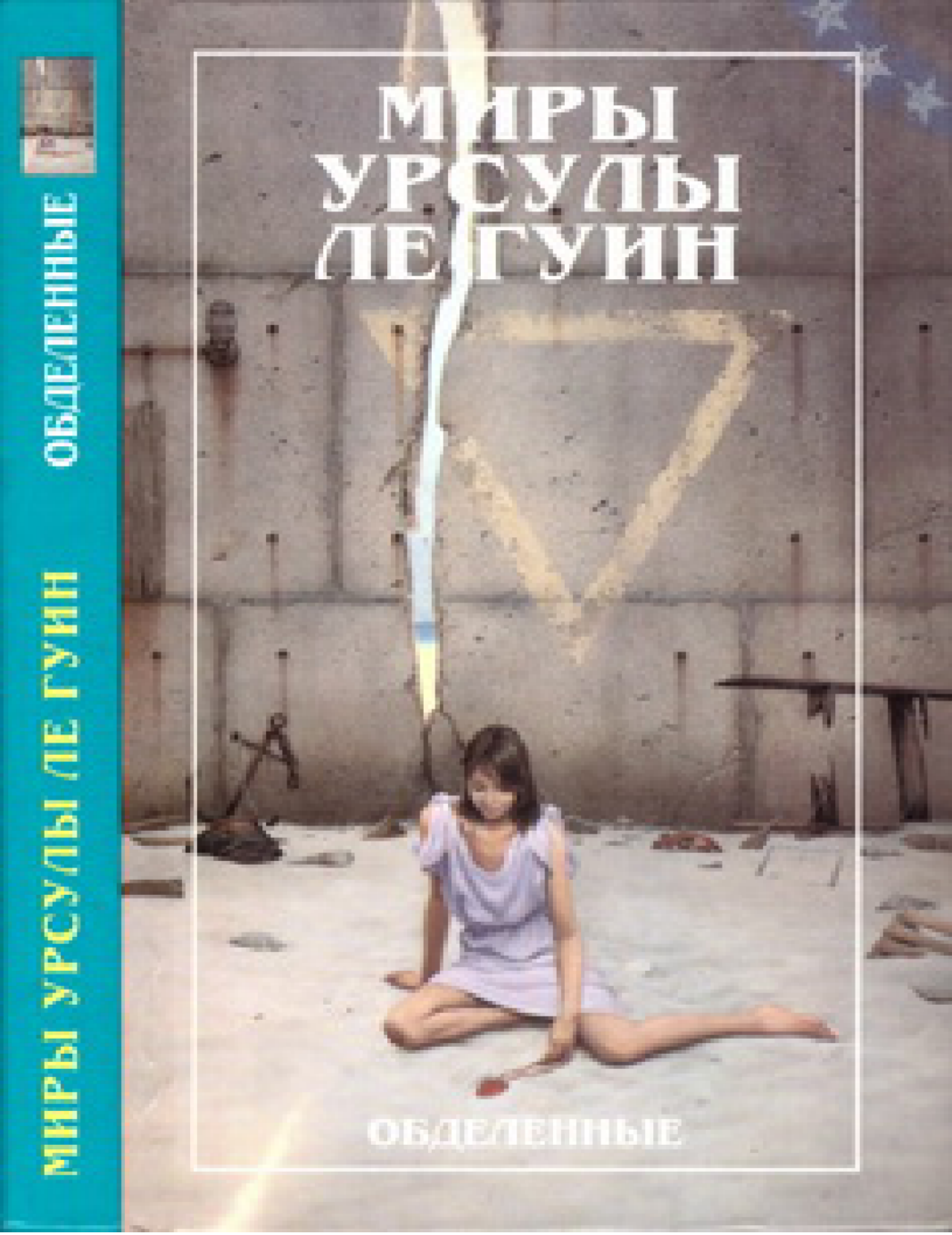
МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН
ОБДЕЛЕННЫЕ
МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН
ОБДЕЛЕННЫЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Введите сюда краткую аннотацию

- МИРЫ
  - ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
  - ОБДЕЛЕННЫЕ
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
- notes
  - 1
  - 2

МИРЫ
УРСУЛЫ
ЛЕ ГУИН
Обделенные

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Эту книгу составил самый знаменитый, в наибольшей степени осыпанный премиями и наградами — и самый, пожалуй, трудный роман Урсулы ле Гуин: «Обделенные», носящий подзаголовок «Двусмысленная утопия».

Написанная в 1974 году книга как бы завершила первый период в творчестве писательницы, став переломной. До «Обделенных» ле Гуин, в сущности, подчинялась чужим ожиданиям, мнениям, условностям избранного жанра. После — она могла позволить себе прислушиваться только к собственной интуиции и говорить только своим голосом. Если ранние произведения ле Гуин более-менее хорошо знакомы российскому читателю, то «Обделенные» еще ни разу не издавались в нашей стране. И не случайно. Это не только одна из самых сильных книг писательницы, но и одна из самых «неудобных». А фабула романа на первый взгляд не слишком запутана. Вокруг звезды тау Кита вращается двойная планета — Уррас-Анаррес. Первый, больший компонент пары — мир, богатый до необузданности, мир роскошной природы и неизмеримых минеральных залежей, мир просторов земли и безграничных океанов. Анаррес — безжизненная пустыня суши и океаны, кое-как поддерживающие жизнь скудной фауны. Примерно за сто лет до начала действия романа на Анаррес переселяются, с полного согласия и содействия всех правительств Урраса, революционеры-анархисты материнской планеты, чтобы основать отрезанную от прошлого колонию, где нет места индивидуализму и собственничеству.

Но на суровом Анарресе нет места и чистой теории, а значит — и фундаментальной науке. Гениальный физик Шевек вынужден первым за сто лет вернуться с Анарреса на Уррас, чтобы доработать свою теорию Одновременности, позволяющую создать устройство мгновенной межзвездной связи — ансибль, который впоследствии появится во многих произведениях Хайнского цикла...

Но структура романа не определяется фабулой. Книга построена как бы из обрывков, переносящих нас то в прошлое, то в будущее, ведь по теории Шевека времени нет, и противопоставление «раньше-позже» теряет смысл. И сквозь весь роман проходит образ камня, перелетающего через стену. Ведь что есть планеты, как не камушки, несущиеся в пространстве? И что разделяет «собственников» Урраса и закосневших в своем конформистском анархизме, быстро превращающемся в диктатуру большинства, обитателей Анарреса, как не стена —

может, та, что окружает анаррессский космопорт, а может, та, что возведена в их душах? И нужен гений Шевека, чтобы показать людям — любая стена преодолима.

ОБДЕЛЕННЫЕ

Глава 1
АНАРРЕС—УРРАС

И была там стена. Не слишком красивая — сложенная из грубого камня, кое-как скрепленного известкой. И невысокая — взрослый запросто мог заглянуть на другую сторону, а уж перелезть через стену способен был даже ребенок. Там, где стена пересекала дорогу, не было никаких ворот; она просто сходила на нет, превращаясь в линию на земле — в символ границы. Впрочем, граница-то как раз была вполне реальной и всеми соблюдалась свято вот уже семь поколений. В жизни людей на этой планете самым важным были именно эта фаница и эта стена.

У стены, разумеется, было две стороны. И воспринимать мир — в зависимости от того, с какой стороны находишься, — можно было по-разному, для себя решая, какая из двух сторон внутренняя, а какая внешняя.

Так вот, если смотреть со стороны дороги, ведущей к стене, то получалось, что стена окружает довольно большой кусок пустыни в 60 акров, называемый Космопорт Анаррес, где вдали торчали громадные подъемные краны, виднелась стартовая площадка для космических ракет, располагались фи склада, гаражи и унылые бараки для персонала, попросту казармы, где не было ни деревца, ни цветочка, ни детей и где, в общем-то, по-настоящему никто никогда и не жил. Бараки служили чисто карантинным целям — ведь в Космопорт регулярно прилетали чужие космические корабли с фузом, и тогда стена отделяла от окружающего мира не только сами корабли, но и тех, кто на них прилетал, то есть инопланетян.

Таким образом, стена как бы замыкала в кольцо прорвавшуюся сюда Вселенную с ее представителями, оставляя Анаррес вовне и на свободе.

Впрочем, можно было посмотреть на стену иначе, с другой стороны, и тогда получалось, что это Анаррес, весь целиком, окружен стеною, точно огромный концлагерь, и отрезан ею от всех прочих миров Вселенной, как бы пребывая в состоянии вечного карантина.

Однако по дороге к стене всегда тянулись люди, останавливаясь у той черты, где по земле проходила граница.

Люди часто приходили сюда из расположенного недалеко города Аббеная в надежде увидеть космический корабль; некоторым же хотелось просто посмотреть на стену. В конце концов, это была единственная четко обозначенная граница на их

планете. Нигде более не могли они увидеть знака, гласившего: «Прохода нет!» Особенно тянуло к стене подростков. Они прямо-таки липли к ней, залезали на нее и сидели часами, наблюдая, как огромные краны снимают упаковочные клети с подползающих вереницей тяжелых машин. А если повезет, на взлетном поле мог оказаться даже инопланетный корабль, хотя большие рейсовые грузовики прилетали на Анаррес всего восемь раз в год и об их прилете не знал заранее никто, кроме членов Синдиката сотрудников Космопорта, так что, когда мальчишкам на стене удалось на сей раз увидеть-таки корабль с Урраса, они были в восторге, однако продолжали смирно сидеть на своем месте, гладя на приземистую черную башню вдали, среди леса разгрузочных приспособлений и кранов. Наконец из складского помещения вышла какая-то женщина — судя по повязке на рукаве, член Синдиката охраны — и сказала ребятам:

— Ну все, братцы. На сегодня представление окончено.

Повязка на рукаве — знак власти! — была здесь почти такой же редкостью, как и прибытие космического корабля с другой планеты, и мальчишкам стало еще интереснее, однако тон женщины, хоть и был достаточно мягок, возражений не допускал. Она безусловно была здесь *начальником* и вполне могла позвать на помощь своих *подчиненных*. Впрочем, смотреть все равно было практически не на что. Инопланетяне продолжали прятаться в своем корабле, и никакого «представления» не получилось.

Сами охранники тоже явно скучали; их начальнице порой даже, пожалуй, хотелось, чтобы кто-нибудь из местных жителей попытался перелезть через стену, или член инопланетного экипажа спрыгнул бы на землю с трапа своего корабля, или какой-нибудь мальчишка из Аббеная попытался пробраться на космодром, чтобы рассмотреть корабль поближе... Но этого никогда не случалось! А когда все-таки случилось, охрана оказалась к этому совершенно не готова.

— Это что же, из-за моего корабля у ворот целая толпа собралась? — изумленно спросил у начальницы охраны капитан «Старательного».

Начальница видела, что «у ворот» собралось по крайней мере человек сто. Они просто стояли — так люди стояли когда-то на железнодорожных станциях во времена Великого Голода. Начальница нахмурилась.

— Видите ли... они... э-э-э... протестуют, — сказала она, с трудом подбирая слова чужого языка йотик. — Понимаете? Вы ведь берете *пассажиров*.

— Ну и что? Неужели вы хотите сказать, что они недовольны тем, что мы должны принять на борт какого-то ублюдка? Они что

же, остановить его хотят? Или, может, нас?

Слова «ублюдок», которого попросту не существовало в родном языке начальницы охраны, она не поняла и решила, что это просто очередной иностранный термин, обозначающий представителя ее народа, но чем-то это слово ей все-таки не нравилось, точнее, не нравился тон, которым произносил его этот капитан. Впрочем, сам капитан тоже был ей неприятен.

— Вы о себе позаботиться сумеете? — сухо спросила она.

— Еще бы, черт побери! А вы проследите, чтоб загрузка шла быстрее. И пусть поскорее доставят на борт этого ублюдка. То есть пассажира. Нам-то на этих болванов у ворот наплевать, — и капитан одобрительно похлопал ладошкой по висевшей у него на форменном ремне металлической штуковине, похожей на уродливый фаллический символ, и покровительственно посмотрел на невооруженную женщину.

Она холодно на него взглянула: конечно же, она давно знала, что это оружие.

— Погрузка будет закончена через четырнадцать часов, — отчеканила она. — Команде лучше оставаться на борту — так безопаснее. Взлет состоится через четырнадцать часов сорок минут. Если вам понадобится какая-либо помощь, передайте информацию в Наземный Контроль. — И она пошла прочь, пока капитан не успел еще раз досадить ей своим хамским поведением. Сдерживаемый гнев ее прорвался лишь у самой стены: — Эй, очистить дорогу! — грубо крикнула она собравшимся. — Сейчас тяжелые грузовики пойдут, еще раздавят кого-нибудь. А ну разойдись!

Мужчины и женщины в толпе что-то сердито возражали ей, спорили друг с другом, но уходить и не думали и продолжали торчать у самой дороги, а некоторые даже зашли за стену. Однако проезд все же более или менее освободили. Начальница охраны абсолютно не представляла себе, как следует вести себя с пикетчиками; впрочем, и сами «пикетчики» никаким опытом не обладали. Будучи членами всего лишь человеческого сообщества, но не того, что принято называть «коллективом», люди эти были движимы отнюдь не «массовым сознанием»; здесь было не меньше различных мнений и эмоций, чем самих людей. И они вовсе не предполагали, что кто-то попытается ими командовать; подчиняться командам они вообще не привыкли. Отсутствие этой привычки и спасло жизнь пассажиру космического грузовика.

Кое-кто в толпе был настроен настолько агрессивно, что готов был убить предателя. Иные хотели всего лишь помешать ему покинуть планету или хотя бы выразить ему свое презрение, безусловно заслуженное. Некоторые же пришли просто

посмотреть на «этого дезертира». Однако именно то, что людей собралось так много, и помешало настоящим убийцам приблизиться к своей жертве. Ни у кого из них не было огнестрельного оружия, даже ножи были не у всех. Понятие «насилие» для них носило характер физической расправы, физического превосходства. Они ожидали, что пассажира привезут на машине, возможно, в сопровождении охраны, и поэтому с подозрением посматривали на каждый грузовик, без конца задерживая их у «ворот». Пока они осматривали очередную машину и спорили с ее разъяренным водителем, тот, кого они так ждали, пришел по дороге пешком, в полном одиночестве, и беспрепятственно миновал половину пути к кораблю, когда его недруги наконец опомнились. За пассажиром на некотором расстоянии следовали пятеро охранников. Наиболее агрессивные из пикетчиков бросились было вдогонку, но, поняв, что перехватить его не успеют, принялись кидаться камнями, что было совсем уж ни к чему. Беглеца они лишь слегка задели — он успел нырнуть в люк корабля, который тут же был задраен, — но двухфунтовый осколок кремня угодил одному из охранников прямо в висок. Несчастный упал замертво.

Его тут же потащили назад, не сделав ни малейшей попытки остановить разъяренных пикетчиков, которые продолжали мчаться к кораблю, несмотря на грозные окрики начальницы охраны, белой от пережитого потрясения и гнева. Она кляла их на все корки, выбежав им наперерез, однако они обтекали ее, точно вода камень, и остановились в нерешительности, лишь добежав до корабля. Таинственное молчание огромного межпланетного грузовика, движение кранов, похожих на скелеты гигантских животных, странный вид будто обуглившейся земли и полное отсутствие людей — все это совершенно сбило их с толку. А когда из недр корабля вырвалось облако то ли пара, то ли какого-то газа, пикетчики и вовсе отступили, смущенно и испуганно поглядывая на гигантские сопла, напоминавшие черные туннели. Сперва один, потом второй, а потом и все остальные бросились к воротам. Никто их не останавливал. Через десять минут на поле было чисто. Толпа рассыпалась вдоль дороги, ведущей в Аббенай. Собственно ничего больше на взлетном поле не произошло.

Зато внутри корабля царила суматоха. Поскольку Наземный Контроль ускорил время взлета, все обычные приготовления пришлось закончить в спешном порядке. Капитан приказал пристегнуть пассажира к креслу и запереть в кают-компании вместе с доктором, чтобы не путался под ногами. Оттуда, благодаря экрану наружного наблюдения, они могли, если хотели, наблюдать за последними приготовлениями и взлетом.

Пассажир не отрывал глаз от экрана. Он видел взлетное поле, и стену вокруг Космопорта, и далекие туманные горы Не Терас, покрытые зеленоватыми пятнами низкорослых деревьев-холум и серебристыми зарослями лунной колючки.

Вдруг знакомый пейзаж метнулся по экрану куда-то вниз. Голову пассажира прижало к креслу, и кресло запрокинулось — точно в кабинете стоматолога, когда лежишь в идиотской беспомощной позе, а тебя еще заставляют открыть пошире рот. Дышать стало трудно, подташнивало, под ложечкой свернулся тугой узел страха. Все тело, казалось, стонало от навалившейся на него непосильной тяжести. «Нет, не сейчас, погодите, я не хочу!..»

Его спасли собственные глаза, по-прежнему устремленные на экран, а потому сумевшие все увидеть и заставить разум воспринимать происходящее. Безумный страх отступил. На экране появилась странная огромная мертвенно-бледная равнина — сплошной камень. Примерно такой, наверно, виделась Великая Пустыня Даст с вершин обступивших ее гор. Но как он снова там оказался? Ах да, он же летит на воздушном корабле! Точнее, на космическом. Край равнины сверкнул, точно луч света на поверхности моря. Но в пустыне Даст воды никогда не было! Что же он тогда видит? Каменистая равнина превратилась вдруг в огромную, полную солнечного света чашу. Он с изумлением смотрел, как эта «чаша» становится все более плоской и свет как бы выплескивается из нее через край. Вдруг от «чаши», почти превратившейся в круг, как бы отсекли абсолютно ровный с геометрической точки зрения сегмент. За ним была чернота. И тут же вся картина полностью переменилась: это была уже не «чаша», полная света, а нечто выпуклое, как бы отвергавшее свет, отражавшее его и постепенно превращавшееся в сферу из белого камня, стремительно падавшую куда-то вниз, в черноту. То была его родная планета, Анаррес.

— Я не понимаю, — громко сказал он.

Кто-то ему ответил. Сперва он никак не мог уразуметь, что рядом с ним кто-то есть, мало того, кто-то отвечает на его вопросы, разговаривает с ним — ему казалось, что это просто невозможно, ведь его мир, его планета улетела куда-то во тьму, оставив его в полном одиночестве...

Он всегда этого боялся, боялся больше, чем смерти. Умереть — значит утратить собственное «я», стать таким же, как все остальные, присоединиться к ним. Он же свое «я» сохранил, хотя и утратил все остальное...

Наконец, собравшись с силами, он посмотрел на того, кто был с ним рядом. Разумеется, этот человек был совершенно ему

незнаком. Отныне кругом вообще будут одни незнакомцы. И говорил незнакомец на чужом языке — на языке йотик. Однако отдельные слова все же постепенно обретали смысл; и все мелочи вокруг — тоже; только все в целом смысла не имело. Ага, понятно: этот человек что-то говорит о ремнях безопасности, которыми он пристегнут к креслу. Шевек неумело принялся их отстегивать. Кресло тут же само выпрямилось, и он чуть не вылетел из него. Голова кружилась, он с трудом сохранял равновесие. Незнакомец почему-то все время спрашивал, не был ли кто-то ранен. О ком это он? «Уверен ли он, что не ранен?» Понятно: вежливая форма языка йотик требует 3-го лица. Это он о нем, о Шевеке, заботится. Интересно, а чем он мог быть ранен? И при чем здесь камни и скалы? Что за ерунда! Разве можно ранить кого-то — скалой? Шевек оглянулся на экран, на те белые скалистые стены, что уже уплыли в темноту. Но на экране ничего не было видно...

— Со мной все в порядке, — сказал он первое, что пришло в голову.

Однако такой ответ незнакомца отнюдь не удовлетворил.

— Пожалуйста, пойдемте со мной. Я врач.

— Но мне не нужен врач! Я прекрасно себя чувствую.

— Пожалуйста, пойдемте со мной, доктор Шевек!

— Это вы доктор, — сказал Шевек, подумав. — Врач. А я никакой не доктор. Я просто Шевек.

Врач, светловолосый и лысоватый коротышка, даже сморщился от волнения.

— Вам следовало бы все это время находиться в своей каюте, доктор Шевек!.. Опасность инфекции!.. Вы пока не должны вступать в контакт ни с кем, кроме меня... Я две недели занимался дезинфекцией... Неужели все это напрасно? Черт бы побрал этого капитана! Пожалуйста, доктор Шевек, пойдемте со мной, иначе мне придется отвечать...

Шевек видел, что коротышка и впрямь не на шутку расстроен, однако не испытывал ни угрызений совести, ни сочувствия. Впрочем, даже в теперешнем его состоянии, с этим непреходящим ощущением одиночества в душе, для него по-прежнему важен был только один закон, один-единственный общечеловеческий закон, какой он когда-либо признавал: категорический императив.

— Хорошо, — сказал он и встал.

Голова все еще кружилась; почему-то побаливало правое плечо. Он понимал, что корабль давно уже летит, но ощущения движения не было — только странная тишина вокруг, прямо за стенами; абсолютная, пугающая тишина. Этой космической тишиной были полны коридоры с металлическими стенами, по

которым врач вел его.

Каюта была небольшая, с какими-то странными бороздчатыми и голыми стенами. Она вызывала в памяти те неприятные воспоминания, о которых ему хотелось навсегда забыть. Шевек остановился было на пороге, однако доктор просил, настаивал, и он в конце концов все же вошел.

И сел на койку, больше похожую на полку стеллажа. В голове по-прежнему стоял легкий звон, хотелось спать. Он без всякого интереса наблюдал за действиями врача. Хотя чувствовал, что должен был бы проявлять любопытство: ведь это первый житель планеты Уррас, первый уррасти, которого он видит в жизни! Нет, он слишком устал. Ему страшно хотелось лечь и уснуть.

В прошлую ночь он даже не прилег — просматривал свои записи. Три дня назад он проводил Таквер и детей в Город Благоденствия и после этого не имел ни одной свободной минуты: то мчался на пункт радиосвязи с Уррасом, то снова и снова обсуждал грядущие планы и возможности с Бедапом и остальными, то сваливалось что-нибудь еще, и все неотложное, и в течение этих трех суматошных дней его не покидало ощущение, что не он пытается доделать все недоделанное, а все эти бесконечные дела управляют им, всей его жизнью, всем его существом, что он давно уже не принадлежит себе. Его собственная воля бездействовала, честно говоря, и не испытывая потребности действовать. Однако это ведь благодаря его воле сейчас ведется столь бурная деятельность и он по собственному желанию оказался здесь, на этом корабле! Как давно все началось! Годы прошли с тех пор. Пять лет назад, когда в ночной тиши горного Чакара он сказал Таквер: «Я поеду в Аббенай и разрушу все эти проклятые стены!» И даже еще раньше, гораздо раньше — в пустыне Даст, в годы голода и отчаяния, когда он пообещал себе, что отныне будет действовать только по собственному свободному выбору. Следуя этому обещанию, он и попал сюда — куда-то вне времени и пространства, в эту маленькую тюрьму...

Врач внимательно осмотрел его раненое плечо (здоровенный синяк удивил Шевека: он был так напряжен и так спешил, что даже не понял происходившего у ворот Космопорта и не заметил, как в него попал камень), отошел и снова вернулся, держа в руке шприц.

— Я не хочу, — твердо сказал Шевек. Разговорный йотик пока давался ему с трудом, говорил он медленно и, по сеансам радиосвязи, знал, что произношение его тоже оставляет желать лучшего. Однако грамматику знал неплохо, предложения строил правильно, и ему труднее было воспринимать чужую речь на

слух, чем выражать собственные мысли.

— Но это же вакцина против кори! — с профессиональной невозмутимостью возразил врач.

— Нет, — сказал Шевек.

Врач задумчиво пожевал губу и спросил:

— А вы знаете, что такое корь?

— Нет.

— Это болезнь. Инфекционная. У взрослых часто протекает очень тяжело. У вас на Анарресе ее нет; когда планету заселяли, были предприняты специальные профилактические меры. А вот на Уррасе она весьма распространена. Для вас она вполне может оказаться смертельной. И не только корь, но и многие другие вирусные инфекции. У вас ведь нет иммунитета. Кстати, вы правша?

Шевек машинально кивнул. С изяществом фокусника врач воткнул иглу в его правое плечо. Шевек покорился и молча перенес эту инъекцию и еще много других. У него теперь не было права ни на подозрения, ни на протесты. Он сам навязал себя этим людям; сам отказался от данного ему от рождения права решать все самому. Теперь у него этого права нет — оно отделилось от него вместе с его планетой, с его миром, с миром Обещания, с миром голого камня.

Врач снова что-то сказал, но он больше его не слушал.

Долгие часы — или дни? — он провел в бездействии, в иссушающей безжалостной пустоте без прошлого, без будущего. Стены окружали его плотным кольцом. За стенами царила тишина. Плечи и ягодицы болели от бесконечных уколов; у него сильно поднялась температура, бреда настоящего, правда, не было, но ему казалось, что он находится как бы в промежуточном состоянии между сознанием и бредом, как бы в лимбе, на ничьей территории. Время остановилось. Собственно его вообще не было. Теперь Шевек сам стал временем. Стал бегущей рекой, выпущенной из лука стрелой, брошенным камнем... Но не двигался — брошенный камень, зависший посреди полета. Не было ни дней, ни ночей. Врач то выключал свет, то включал его. У постели Шевека на стене висели часы. Стрелка двигалась от одной цифры к другой — всего на циферблате их было двадцать, — но смысла в этом он никакого не видел.

Проснувшись после долгого, глубокого сна, он прямо перед собой увидел часы и сонно принялся их изучать. Стрелка застыла чуть дальше «3», если считать с цифры «12», как в часах, рассчитанных на 24-часовые сутки; значит, скорее всего сейчас середина дня, далеко за полдень. Впрочем, о каком «полудне» может идти речь на космическом корабле, повисшем в пустоте

между двумя мирами? Что ж, в конце концов, и здесь нужно соблюдать какое-то время. Столь разумные выводы весьма вдохновили Шевека. Он сел; голова больше не кружилась. Тогда он встал и попробовал сделать несколько шагов. В общем, не шатало, хотя у него было странное ощущение, что подошвы ног не касаются пола. Видимо, в корабле сила тяжести была несколько меньше обычной. Не слишком приятное ощущение — больше всего Шевеку хотелось в данный момент устойчивости, основательности, солидности, достоверности. И в поисках этого он принялся обследовать каюту.

Голые стены, как оказалось, таили в себе множество сюрпризов, которые только и ждали, чтобы их обнаружили: стоило коснуться панели, как появлялся умывальник, или унитаз, или зеркало. Стол, стул, шкафчик, полки... К умывальнику было присоединено несколько совершенно загадочных электроприборов, а вода продолжала течь из крана, пока сам его не закроешь — никакого ограничительного клапана не было. Шевек решил, что это великий и добрый знак — то ли безграничной веры в человека, то ли уверенности в том, что запасы воды достаточно велики. Решив, что последнее более верно, он вымылся весь и, не обнаружив полотенца, высушил себя с помощью одного из загадочных устройств — оттуда исходила приятно теплая струя воздуха. Не обнаружив собственной одежды, он снова надел то, что было на нем, когда он проснулся: свободные штаны и бесформенную робу — то и другое ярко-желтого цвета в мелкий синий горошек. Он взглянул на себя в зеркало. М-да, зрелище довольно удручающее. Неужели они на Уррасе так одеваются? Он тщетно поискал расческу, ограничился тем, что как следует пригладил волосы руками, и решил, что вполне привел себя в порядок и можно выйти из каюты.

Увы. Дверь была заперта.

Сперва Шевек изумился, потом пришел в ярость — то была слепая ярость, страстное желание совершить насилие. Ничего подобного он никогда в жизни не испытывал. Он терзал неподвижную ручку двери, колотил кулаками по гладкому металлу, потом повернулся и что было силы ударил по кнопке вызова, которой врач предложил ему воспользоваться в случае необходимости. Но ничего так и не произошло. На панели интеркома было еще множество разноцветных кнопок с различными номерами, и Шевек злобно шлепнул ладонью сразу по нескольким. Динамик на стене ожил и сердито пробурчал:

— Кто это, черт возьми, там безобразничает в двадцать второй?..

— Немедленно отоприте дверь! — гневно заорал Шевек.

Дверь отъехала в сторону, и в каюту заглянул врач. При виде его знакомой лысины и желтоватого встревоженного лица Шевек несколько остыл и отступил в темный угол, откуда с возмущением заявил:

— Мою дверь заперли!

— Извините, доктор Шевек... всего лишь мера предосторожности... можно подцепить любую инфекцию... Приходится никого к вам не пускать...

— Не пускать никого ко мне или запирать меня ото всех — это абсолютно одно и то же, — сказал Шевек, глядя на доктора с высоты своего немалого роста светлыми ошалелыми глазами.

— Безопасность...

— Безопасность? А в аквариум вы меня посадить не хотите?

— Не желаете ли пройти в офицерскую кают-компанию? — поспешно спросил доктор примирительным тоном. — Кстати, вы не голодны? А может, хотите одеться? А потом мы прошли бы в кают-компанию и...

Шевек внимательно посмотрел на доктора: узкие синие брюки, заправленные в высокие, удивительно мягкие и гладкие сапожки; сиреневая легкая куртка или блуза спереди на застежке в виде серебряных крючков; у ворота и на запястьях из-под нее выглядывал тонкий трикотажный свитер ослепительной белизны.

— Значит, я не одет? — наконец изумленно спросил Шевек.

— О конечно! Пижамы, в общем, вполне достаточно... У нас тут, знаете ли, свободно, никаких особых правил этикета... Тем более на грузовом корабле!

— Пижамы?

— Ну да, того, что на вас. В этом спят.

— Спят в одежде?

— В пижаме.

Шевек был потрясен. Он помолчал и спросил:

— А где та одежда, что была на мне?

— Ах та? Я отдал ее почистить... простерилизовать... Надеюсь, вы не возражаете, доктор Шевек?.. — Он пошарил по стене — открылась панель, которой Шевек обнаружить пока не успел, и оттуда вылетело нечто, завернутое в бледно-зеленую бумагу. Врач вынул из свертка старый костюм Шевека, который выглядел теперь чрезвычайно чистым, хотя, похоже, несколько уменьшился в размерах; затем он скомкал бумагу, нажал на другую панель, сунул бумажный комок в открывшееся взору мусорное ведро и неуверенно улыбнулся:

— Прошу вас, доктор Шевек.

— А что стало с бумагой?

— С какой бумагой?

— С зеленой?

— Ах это! Я ее выбросил.

— Выбросили?

— Ну да, в мусорное ведро. Ее потом сожгут.

— Вы сжигаете бумагу?

— Я, конечно, не совсем уверен... возможно, мусор просто выбрасывают в космос... Я ведь не врач-космонавт, доктор Шевек, летаю не так часто. Мне была оказана честь сопровождать вас, поскольку у меня богатый опыт общения с инопланетянами. Например, с посланниками Земли и Хайна. Кроме того, именно я отвечаю за процесс профилактической вакцинации и адаптации всех инопланетян, прибывающих в А-Йо; впрочем, вы, разумеется, не совсем обычный инопланетянин... не в полном смысле этого слова... — Он смущенно посмотрел на своего собеседника. Шевеку далеко не все было понятно, но его покорила эта тревожно-робкая доброжелательность.

— Да-да, конечно, — сказал он. — Возможно даже, что у нас с вами на Уррасе была одна и та же прапрапрабабка — лет этак двести назад. — Он уже надевал свою привычную одежду и, натягивая через голову сорочку, заметил, как врач сует желтую в синий горошек пижаму в контейнер для мусора. Шевек на мгновение замер, так до конца и не просунув голову в ворот, потом быстро натянул рубашку и заглянул в «мусорное ведро»: там было пусто.

— Эту одежду тоже сожгут?

— Ах, да это же дешевенькая пижама, так сказать, для одноразового пользования... надел и выбросил... сделать новую дешевле, чем стирать ее или чистить...

— Дешевле... — задумчиво повторил Шевек. Он пробовал это слово на вкус — так палеонтолог смотрит порой на какую-нибудь крошечную окаменелость, в которой для него воплощен целый археологический период.

— Боюсь, ваш багаж пропал... во время... вашего поспешного... последнего броска по взлетному полю... Надеюсь, там не было ничего особенно важного?

— Я ничего с собой не взял, — ответил Шевек. Костюм его стал практически белоснежным и действительно несколько подсел, но все же сидел вполне сносно. Приятным было и знакомое прикосновение грубоватой ткани из волокна холум. Он снова чувствовал себя самим собой, прежним. Несколько успокоенный этим, он сел на кровать лицом к врачу и сказал:

— Видите ли, мне понятно, что у вас все иначе, чем на нашей планете. На Уррасе нужно все себе покупать. Поскольку я направляюсь к вам, не имея денег, а стало быть, не имея и

возможности что-либо купить, значит, я должен был что-то принести с собой. Но много ли я мог захватить с Анарреса? И что именно? Одежду? Ну хорошо, я мог бы взять еще два костюма. Но как быть, например, с едой? Разве я мог бы привезти с собой на другую планету достаточно пищи? И на какой срок? Итак, у меня ничего нет, купить я тоже ничего не могу. Если на Уррасе захотят сохранить мне жизнь, то должны все это мне просто дать. Но ведь тогда получится, что я заставляю вас вести себя подобно жителям Анарреса! То есть делиться, давать даром, а не продавать. Так, во всяком случае, мне представляется. Хотя, разумеется, вам совсем не обязательно сохранять мне жизнь... Ведь вы уже поняли, что я самый обыкновенный *нищий!*

— О нет! Как вы можете так говорить! Вы наш долгожданный и уважаемый гость! И, пожалуйста, не судите о нашей планете по команде этого корабля — на грузовиках обычно летают весьма невежественные и ограниченные люди. Вы даже представить себе не можете, какой вам будет на Уррасе оказан прием! В конце концов, вы всемирно — нет, всегалактически! — известный ученый! И к тому же наш первый гость с Анарреса. Уверяю вас, все будет совершенно иначе, и вы сами в этом убедитесь, как только мы прибудем в Пейер Филд.

— Не сомневаюсь. Вот в этом я совершенно не сомневаюсь, — тихо ответил Шевек.

Перелет с Анарреса на Уррас обычно занимал четверо с половиной суток, однако на этот раз «Старательному» еще пять суток пришлось провести на орбите: пассажиру необходимо было как следует адаптироваться к новым условиям. Шевек и Кимое, сопровождавший его врач, провели это время в бесконечных прививках и беседах, тогда как капитан «Старательного» проклинал все на свете. Встречаясь с Шевеком, он говорил с ним как-то странно, смущенно-пренебрежительно. И Кимое, готовый объяснить все на свете, тут же выдал свое толкование подобного поведения:

— Видите ли, наш капитан привык воспринимать иностранцев и инопланетян как существ низшего порядка. Он не считает их «настоящими» людьми.

— Да-да, я помню, что Одо назвала это «созданием псевдовидов», но полагал, что на Уррасе уже не популярны подобные взгляды — ведь у вас так много различных языков и национальностей; и, наверное, немало гостей из иных солнечных систем...

— Да нет, последних как раз очень мало — полет из одной галактики в другую слишком дорог и долог. Надеюсь, правда, так будет не всегда, — прибавил Кимое, с льстивой улыбкой взглянув

на Шевека, однако Шевек намека не понял. Он думал о своем.

— А помощник капитана, похоже, меня просто боится, — сказал он.

— О, в данном случае это примитивный религиозный фанатизм. Он из тех, кто неуклонно верит в богоявление. Каждую ночь исступленно молится перед заутреней. Совершенно косное мышление!

— Значит, он воспринимает меня... как?-

— Как опасного атеиста.

— Атеиста!!! Но почему?

— Как? Потому что вы последователь учения Одо, потому что вы с Анарреса — где, как известно, веры не существует.

— Не существует веры? Неужели вы действительно считаете, что у нас нет веры? Что же мы там, каменные?

— Я имею в виду государственную религию, доктор Шевек — с Церковью, с символом веры... — легко поправился Кимое. У него была типичная для врача доброжелательная уверенность в собственной правоте, однако Шевек постоянно умудрялся эту уверенность поколебать. Стоило ему задать два-три довольно-таки неуклюжих вопроса, и Кимое оказывался в тупике, не находя ответа. У каждого из собеседников имелись к тому же вполне определенные установки, совершенно неведомые другому. Например, Шевеку казалась весьма странной концепция превосходства одной расы над другой. Он знал, что подобная концепция занимает важное место в мировоззрении уррасти; в их языке слово «выше» часто употреблялось как синоним слова «лучше». Он не раз сталкивался с этим даже в трудах по физике и математике; например, в тех случаях, когда анаррести сказал бы: «ближе к центру». Но какое отношение имело понятие «быть выше кого-то» к понятию «быть чужеземцем»? Подобных загадок возникали сотни!

— Понятно, — сказал он, отчасти удовлетворившись ответом Кимое. — Вы не допускаете, что вера, религия может существовать вне церквей. Как не допускаете и существования иных моральных установок, не вписывающихся в рамки ваших законов. А знаете, я ведь так и не сумел до конца это понять, сколько ни искал ответ в книгах ваших авторов.

— Ну, в наше время всякий просвещенный человек, конечно же, допускает...

— А словари только путаницу вносят, — продолжал, словно не слыша его, Шевек. — В языке правик слово «религия» вообще употребляется редко. Нет, вы бы сказали: «в исключительных случаях». В общем, нечасто. Разумеется, это одна из Категорий Познания, возможно четвертая. Мало кто из людей способен

воспользоваться всеми двенадцатью категориями теоретического естествознания. Однако эти типы познания созданы на основе естественных возможностей человеческого разума, так что ни в коем случае нельзя всерьез считать, будто обитатели Анарреса даже потенциально не способны к религиозным верованиям. По-моему, у нас вполне успешно занимались, например, физикой, хотя мы были практически оторваны от тех фундаментальных знаний, которые остальное человечество получило в результате своего проникновения в космос.

— О, я вовсе не то хотел...

— В ином случае нас действительно стоило бы считать «псевдо-видом»!

— О, разумеется! Всякий образованный человек сразу бы догадался... Пилоты на этом корабле — просто невежественные люди...

— Но неужели только религиозным фанатикам разрешено выходить в космос?

Это был очередной вопрос, поставивший Кимое в тупик. Подобные разговоры становились порой невыносимо утомительными для маленького доктора и не приносили удовлетворения Шевеку. И все же для обоих они были чрезвычайно интересны! Для Шевека это была единственная возможность предварительного знакомства с тем новым миром, что ждал впереди. Пространство корабля и разум Кимое в данном случае составляли весь его микрокосм. На борту «Старательного» не было книг, офицеры Шевека избегали, а остальным членам команды вообще было строго запрещено показываться ему на глаза. Что же касается умственных задатков доктора Кимое, то, несмотря на безусловную образованность и доброжелательность, в мыслях у него царила чудовищная неразбериха, нагромождение нелепых интеллектуальных артефактов, в которых разобраться было не менее сложно, чем в бесчисленных бытовых приспособлениях, которыми корабль был битком набит и которые Шевек со временем стал находить даже забавными. Здесь всего было так много, и все такое красивое, современное и остроумно сделанное, что он не мог им не восхищаться. Однако «обстановку» в душе и мыслях доктора Кимое Шевек отнюдь не находил столь же удобной для жизни. Мысли Кимое, казалось, просто не способны были выстраиваться по прямой; что-то он вынужден был обойти кругом, другого вообще избегать, а в итоге упирался лбом в очередную непробиваемую стену. Подобные «стены» окружали все его мысли и представления, хотя сам он, похоже, даже не подозревал об их существовании. Зато у собеседника возникало ощущение, что он постоянно за ними

прячется. Лишь однажды Шевеку удалось действительно «пробить брешь» в такой «стене».

Он всего лишь, помнится, спросил, почему на корабле нет женщин, и Кимое ответил, что водить грузовой корабль — не женское дело. Чтение многочисленных исторических трудов и неплохое знание работ Одо дали Шевеку возможность представить себе тот контекст, в котором можно было понять незыблемую логику данного ответа, и он больше ничего спрашивать не стал. Однако Кимое тут же сам задал ему вопрос:

— А правда, доктор Шевек, что женщины в вашем обществе пользуются абсолютно теми же правами, что и мужчины?

— Зачем же заставлять простаивать зря отличные «рабочие механизмы»! — пошутил Шевек. Помолчал и засмеялся — настолько нелепой показалась ему мысль, явно заставившая Кимое задать этот вопрос.

Кимое поколебался, в очередной раз выбирая обходной путь среди различных препон и запретов, потом вдруг вспыхнул и забормотал смущенно:

— О нет... я имел в виду не половые отношения... Очевидно, вы... они... Я имел в виду социальный статус ваших женщин.

— «Статус» — это примерно то же самое, что «класс»?

Кимое безуспешно попытался объяснить Шевеку, что такое «статус», потом вернулся к исходной теме:

— Неужели у вас действительно не существует подразделения работы на «мужскую» и «женскую», доктор Шевек?

— Пожалуй, нет. По-моему, это чисто механическое разделение труда. Вы со мной не согласны? Человек выбирает себе занятие, работу, по своим интересам, по призванию, в соответствии, наконец, со своими физическими возможностями и выносливостью — какое ко всему этому отношение имеют половые различия?

— Мужчины физически сильнее, — уверенным тоном заявил Кимое.

— Да, часто. И крупнее женщин. Но ведь существуют машины! И даже если б их не было, даже если б мы должны были копать землю лопатой и переносить тяжести на собственной спине, мужчины, возможно, работали бы быстрее, зато женщины — дольше, поскольку они выносливее... Ох, частенько мне хотелось обладать той же выносливостью и тем же упорством, какими обладают женщины!

Кимое уставился на него, явно потрясенный до глубины души. Он даже о вежливости забыл.

— Но утрата... женственности... изящества... деликатности... Утрата мужского самоуважения... Вы же не станете притворяться,

что в вашей области есть равные вам среди женщин? В физике, в математике? В интеллектуальной сфере в целом? Не станете же вы утверждать, что готовы низвести себя до их уровня?

Шевек сел в мягкое удобное кресло и окинул взглядом ставшую уже привычной офицерскую кают-компанию. На экране все так же светился на фоне черного неба сегмент яркого, зелено-голубого шара — Уррас. Он вдруг почувствовал себя совершенно чужим здесь, среди ярких красок изысканной обтекаемой мебели, мягкого скрытого освещения, изящных игровых столов, телевизионных экранов, пушистых ковров на полу...

— Мне вообще-то не свойственно притворяться, Кимое, — сухо заметил он.

— О, простите!.. Разумеется, я и сам знавал весьма неглупых женщин, которые способны были мыслить не хуже мужчин... — Кимое почти кричал и явно понимал, что вот-вот сорвется. «А ведь он ломится в открытую дверь, — подумал Шевек, — потому и нервничает...»

Он быстро сменил тему разговора, однако мысли продолжали крутиться вокруг затронутого вопроса. Должно быть, в общественной жизни Урраса проблема превосходства и неполноценности занимает центральное место. Если для того, чтобы уважать себя, даже Кимое, врачу, необходимо считать половину человеческого рода существами низшего порядка, то как же чувствуют себя на Уррасе женщины? Как им удается достичь самоуважения? Или они, в свою очередь, тоже презирают мужчин? Считают их существами низшего порядка? И как все это отражается на взаимоотношениях двух полов? Из трудов Одо Шевек узнал, что двести лет назад основными институтами, регулирующими сексуальные отношения на Уррасе, были «брак» — некий союз партнеров, узаконенный и установленный правовыми и экономическими нормами, — и «проституция», по сути дела очень широкий термин, обозначавший совокупление за деньги, то есть на основе «купли-продажи», все тех же экономических отношений. Одо вынесла суровый приговор обоим этим институтам, однако сама была замужем. Впрочем, за двести лет эти институты вполне могли претерпеть существенные изменения. Если он собирается жить на Уррасе и среди уррасти, то лучше все это выяснить сразу.

Неужели даже секс, бывший для него источником утешения, радости и веселья в течение стольких лет, буквально через несколько дней может стать запретной территорией, где следует пробираться осторожно, с оглядкой, сознавая свое невежество? Да, именно так. Первое предостережение он уже получил — не только благодаря мимолетной вспышке раздражения у Кимое;

скорее этот эпизод внезапно прояснил его собственные прежние неясные догадки. Впервые оказавшись на борту космического корабля, в течение долгих часов горячечного отчаяния он неотвязно ловил себя на одной и той же надоедливой мысли: до чего же мягка и удобна его постель! А ведь с виду самая обычная жесткая койка. Матрас подавался под его тяжестью с ласкающей тело упругостью. Он буквально льнул к телу, причем так настойчиво, что Шевек не в состоянии был отвлечься от этого, даже проваливаясь в сон. И удовольствие, и раздражение, которые этот матрас вызывал у него, носили явно эротический характер. Теми же свойствами обладал и сушильный аппарат, из которого исходил нежно ласкавший тело поток теплого воздуха. «Сушилка» тоже чуть-чуть раздражала Шевека. А дизайн кресел и прочей мебели в кают-компании? Все эти изящные округлости и изгибы, мягкость подушек, гладкость поверхностей, ласковое прикосновение обивки — разве в этом мало было скрытой эротики? Шевек достаточно хорошо знал себя и был уверен: несколько дней без Таквер даже в условиях сильного стресса не способны довести его до того, чтобы ему в изгибе каждой столешницы мерещилась женская фигура. По крайней мере если рядом действительно не будет женщин.

Неужели все кабинетные ученые на Уррасе дали обет безбрачия?

Он сдался, так ничего для себя и не решив; ничего, он непременно вскоре выяснит все это.

Буквально перед самой посадкой, когда Шевек пристегнул ремни безопасности, к нему забежал Кимое — проверить, как чувствует себя его подопечный после заключительной прививки — от чумы, — которая вызвала у Шевека некоторое недомогание.

Кимое протянул ему очередную пилюлю и сказал:

— Это поможет вам легче перенести посадку.

Шевек стоически проглотил лекарство. Кимое быстро сложил свои инструменты и вдруг заговорил торопливо и сбивчиво:

— Доктор Шевек, я не уверен, что мне позволят сопровождать вас на Уррасе, хотя это, в общем, возможно... однако, если у нас не будет более возможности поговорить, я бы хотел сказать вам сейчас... что я... что путешествие с вами было для меня великой честью! Не потому... но потому, что я начал уважать... ценить... просто по-человечески ценить... вашу доброту, истинную доброту...

Шевек не нашел ничего лучшего — голова после прививки дико болела — как пожать руку Кимое и от всей души предложить:

— Так давай снова встретимся, брат мой!

Кимое вздрогнул, нервически стиснул ему руку — по обычаю уррасти — и поспешил прочь. Уже после его ухода Шевек понял, что говорил на языке правик, которого Кимое не знает, и назвал его «аммар», то есть «фат».

Динамик на стене изрыгал бесчисленные приказы. Пристегнутый ремнями к креслу, Шевек слушал их, чувствуя, как усиливается дурнота: корабль пошел на посадку. Под конец он почти ничего не соображал и надеялся только, что его не вырвет; он так и не понял, сели они уже или нет, когда в каюту снова поспешно вошел Кимое и потащил ничего не соображавшего Шевека в кают-компанию. То место, где до сих пор на экранах светилась в кольце опаловых облаков планета Уррас, было пусто. Зато кают-компания была битком набита народом. Интересно, вяло подумал Шевек, откуда они все появились? Он был приятно поражен тем, что вполне способен не только стоять прямо, но даже ходить, бормотать слова приветствия и пожимать чьи-то руки. Пока что он решил сосредоточиться исключительно на этом, пропуская мимо ушей практически все, что говорилось вокруг. Голоса, улыбки, руки, незнакомые слова, чьи-то имена... Без конца повторялось его имя: доктор Шевек, доктор Шевек... Потом толпа незнакомцев повлекла его куда-то по крытой аппарели; голоса вокруг звучали очень громко, усиленные гулким эхом. Потом гул голосов стал тише, и лица Шевека коснулся ветерок — воздух чужой планеты.

Он поднял голову, сделал еще шаг, споткнулся и чуть не упал: он стоял на твердой земле. И в это мгновение — между началом шага и его завершением — он успел подумать о смерти. Но шаг был завершен: Шевек прибыл на другую планету.

Вокруг расстилался бескрайний серый вечер. Голубые огни, тая в туманной дымке, горели где-то на дальнем краю огромного поля. Воздух, касавшийся его лица и рук, проникавший в ноздри, в горло, в легкие, был холодным и влажным, но не неприятным; и хотя в нем чувствовалось множество различных, неведомых Шевеку запахов, он не казался ему чужим — воздух планеты, бывшей колыбелью его народа; воздух его древней родины.

Кто-то поддержал Шевека под локоть. Мигнули яркие огни — фоторепортеры спешили отснять сцену прибытия дорогого гостя для новостных передач: еще бы, первый человек с луны! Он хорошо смотрелся в кадре — высокий и хрупкий, окруженный знаменитостями, профессорами. Тонкое лицо, густая растрепанная шевелюра, заносчиво задранный подбородок. Фотографам легко было запечатлеть каждую черточку его лица — он, возвышаясь над остальными, тянул шею так, словно пытался увидеть что-то поверх ослепительных вспышек, в небесах,

затянутых дымкой тумана, сквозь который почти не видны были звезды и его родная «луна», с которой он прилетел. Журналисты пытались прорваться сквозь кольцо полицейских: «Не будет ли краткого заявления для прессы, доктор Шевек? Хотя бы несколько слов... В столь важный исторический момент...» Но полицейские стояли стеной. Те, кто был с ним рядом, повлекли его куда-то и быстренько усадили в поджидавший их лимузин. Фотографии в газетах получились просто отменные: высокий, длинноволосый инопланетянин, на лице странное выражение — смесь узнавания и печали...

Дома столицы вздымались в тумане, точно ступени гигантской лестницы с мерцающими неяркими огоньками. Над головой светящимися ревущими лентами проносились поезда. Улицы были точно глубокие коридоры с массивными стенами из камня и стекла; в «коридорах» суетились машины, трамваи... Камень, сталь, стекло, электрические огни. И ни одного лица!

Это Нио Эссейя, доктор Шевек. Мы решили, что для начала не стоит выставлять вас на обозрение толпы любопытных. Мы поедем прямо в Университет.

В темноте рядом с ним на мягких подушках автомобильных сидений оказалось пять человек. Все что-то объясняли ему, рассказывая о тех достопримечательностях, мимо которых они проезжали, однако из-за тумана Шевек так и не разобрался, которое из громадных, точно плывущих в сумеречном свете зданий Верховный суд, а которое Национальный музей, и где Совет директоров, а где сенат. Они проехали по мосту над какой-то широкой рекой, точнее, эстуарием. Миллионы огней Нио Эссейи, точно светлячки, дрожали на темной воде. Потом дорога стала темнее, туман сгустился, водитель сбавил скорость. Фары высвечивали перед ними плотную стену тумана, которая будто отступала под натиском автомобиля. Шевек сидел, чуть наклонившись вперед и глядя перед собой. Взор его не был, впрочем, сосредоточен на чем-то конкретном, как и мысли, хотя выглядел он довольно мрачным и очень напряженным; остальные переговаривались вполголоса, уважая его молчание.

Что являла собой та плотная темная полоса, что непрерывно тянулась, скрытая туманом, вдоль дороги? Может быть, деревья? Неужели с тех пор как они выехали из города, они едут среди деревьев? В голову пришло чужое слово «лес». Вряд ли они могли прямо из столицы попасть в пустыню. Деревья стеной обступали дорогу с обеих сторон — на следующем спуске с холма и на следующем подъеме; вокруг них в тумане шумел и покачивался лес, сплошь покрывавший всю планету; и в этом лесу, где-то в

самой его глубине, замерла в ожидании иная жизнь, множество жизней, множество живых существ, живая темная листва, шелестящая на ночном ветерке... Ше-век сидел погруженный в собственные мысли без остатка, когда машина вдруг вынырнула из окутывавшего речную долину тумана и на него из темноты, из придорожных кустов впервые на мгновение глянуло чье-то лицо.

Лицо не было похоже на человеческое. Очень длинное, с его руку до плеча, и белое, как у призрака. Из отверстий, видимо служивших существу носом, вылетали облачка пара, и еще там — это впечатлило его больше всего, хотя ошибиться он не мог! — был глаз! Огромный, темный, печальный. А может, циничный... Увиденный мгновенно в свете фар.

— Кто это? — спросил потрясенный Шевек.

— Осел, по-моему, а что?

— Животное?

— Ну да, животное. Господи! У вас ведь там крупных животных вообще нет, верно? Я и забыл!

— Осел — это вроде лошади, — пояснил кто-то еще. И третий человек авторитетно заключил:

— Между прочим, это и была лошадь. Таких крупных ослов не бывает!

Им хотелось поговорить с ним, но Шевек их уже не слушал. Он думал о Таквер. Интересно, что бы она прочла в мимолетном и глубоком взгляде темного глаза неведомого существа? Она была уверена, что все живое связано между собой, и наслаждалась идеей своего родства с рыбами в лабораторных аквариумах, точно пыталась обрести опыт существования вне своей человеческой сущности. Таквер сразу поняла бы, что и как ответить этому глазу, глянувшему из темноты под деревьями...

— Впереди Йе Юн. Там вас ожидает целая толпа встречающих, доктор Шевек; в том числе президент и несколько директоров, а также, разумеется, канцлер и прочие руководящие лица государства. Но если вы устали, то со всеми церемониями мы постараемся покончить как можно быстрее.

С церемониями покончили через несколько часов. Потом Шевек так и не смог как следует припомнить, что же они собой представляли. Его буквально вынесло из маленькой темной коробки — их автомобиля — в значительно большую, просто огромную и ярко освещенную коробку, полную людей. Их там были сотни — в помещении с золотистым потолком и хрустальными светильниками. Его представили всем по очереди. Все уррасти были ниже его ростом и почему-то лысые. Даже женщины, которых было совсем немного. Он не сразу догадался, что они, видимо следуя здешнему обычаю или моде, начисто

сбривают со своих тел и голов всякую растительность — мягкие, пушистые волосы, свойственные его расе. Отсутствие волос они заменяли великолепной одеждой самых разнообразных цветов и покроя. Женщины были в длинных платьях до полу; груди практически обнажены, а талия, шея и голова украшены драгоценностями и кружевами. Мужчины были в брюках и пиджаках или мундирах красного, синего, фиолетового, золотого, зеленого цвета; из разрезов на рукавах выглядывали пышные кружева. Некоторые мужчины были одеты в долгополые камзолы алого, темно-зеленого или черного цвета, из-под которых виднелись белые чулки на серебряных подвязках. Еще одно слово из языка йотик всплыло в памяти Шевека — он им практически никогда не пользовался, хотя ему очень нравилось, как оно звучит: «великолепие». Эти люди действительно были великолепны. Произносили великолепные речи. Президент, человек со странными холодными глазами, предложил великолепный тост: «За начало новой эры братских отношений между нашими планетами-близнецами и за предвестника этой эры, нашего дорогого и высокочтимого гостя доктора Шевека с планеты Анаррес!» Президент Университета разговаривал с Шевеком очаровательно; Председатель Совета директоров разговаривал с ним серьезно. Затем Шевек был представлен послам, космонавтам, физикам, политикам — десяткам людей, каждый из которых являлся обладателем длинного титула и множества регалий, причем почетные титулы следовали как до их собственного имени, так и после него; все они что-то говорили Шевеку, и он что-то им отвечал, однако же потом совершенно не помнил, что говорил хотя бы один из них, и хуже всего помнил, что именно говорил он сам. Глубокой ночью он обнаружил, что идет в сопровождении небольшой группы людей под теплым дождиком через какой-то парк или сквер. Под ногами приятно пружинила живая трава: ощущение было знакомым — он вспомнил, как ходил по траве в Треугольном парке в Аббенае. Это ожившее воспоминание и быстрое прохладное прикосновение ночного ветерка пробудили его. Душа выползла наконец из той норы, где пряталась все последнее время.

Сопровождавшие Шевека люди привели его в какое-то помещение, в «его», как они объяснили, комнату.

Комната была очень большая — метров десять в длину и не разделена никакими перегородками или ширмами. Те трое мужчин, что по-прежнему оставались при нем, были, видимо, его соседями. Комната была очень красивая; одна стена у нее почти сплошь состояла из окон, каждое из которых было отделено от соседнего изящной колонной, разветвлявшейся наверху точно

дерево, образуя над самим окном легкую арку. На полу лежал темно-красный ковер, а в дальнем конце комнаты в открытом очаге горел огонь. Шевек пересек комнату и остановился у огня. Он никогда еще не видел камина, не видел, чтобы деревья сжигали ради тепла, однако удивляться у него уже не было сил. Он протянул руки к благодатному теплу и присел у камина на скамью из полированного мрамора.

Самый молодой из сопровождавших Шевека людей тоже сел у огня напротив него. Остальные двое все еще о чем-то увлеченно беседовали — речь шла о физике, но Шевек даже не пытался вникнуть в суть их рассуждений. Молодой человек напротив тихо спросил:

— Интересно, что вы сейчас чувствуете, доктор Шевек?

Шевек вытянул ноги и наклонился вперед, чтобы тепло очага коснулось и его лица.

— Тяжесть, — сказал он.

— Тяжесть?

— Ну, возможно, силу тяжести. Собственный вес. А может, просто устал.

Он взглянул на своего собеседника, но в отблесках пламени лицо молодого человека видно было неясно, лишь сверкала золотая цепь у него на шее да рубиново светилась нарядная блуза.

— Простите, я не знаю, как вас зовут...

— Сайо Пае.

— Да, конечно! Пае! Я прекрасно знаю ваши работы о Парадоксе. — Слова почему-то давались ему с трудом, и говорил он точно во сне.

— Здесь есть один бар...— сообщил Пае. — Преподаватели и аспиранты имеют право покупать спиртное в любое время. Не хотите ли чего-нибудь выпить, доктор Шевек?

— С удовольствием! Воды.

Молодой человек исчез и вскоре появился вновь со стаканом воды в руке. Остальные двое также присоединились к ним у камина. Шевек жадно выпил воду и продолжал сидеть, тупо уставившись на пустой стакан в руке — хрупкую, изящной формы вещицу, в золотом ободке которой дрожали отблески пламени. Он каждой клеточкой своего существа ощущал, как относятся к нему эти трое — покровительственно, уважительно, собственнически.

Он поднял голову и по очереди посмотрел на каждого. Все выжидающе смотрели на него.

— Ну что ж, вот вы меня и заполучили, — сказал он и улыбнулся. — Заполучили своего анархиста? Ну и что же вы

намерены со мной делать?

Глава 2
АНАРРЕС

В квадратном окне, прорубленном высоко в белой стене, виднелось только ясное синее небо. И в самом центре этого синего квадрата — солнце.

В комнате было одиннадцать малышей, в основном по двое— по трое рассаженных в мягкие просторные «манежи», где они сейчас дремали, навозившись всласть. «На свободе» оставались лишь двое самых старших — один, пухленький, спокойный, активно обследовал вешалку, второй, светловолосый, задумчивый, большеголовый, сидел в квадрате солнечного света и внимательно следил за солнечным лучом. В прихожей почтенная седовласая матрона с единственным зрячим глазом беседовала с высоким печальным мужчиной лет тридцати, который рассказывал ей, что мать их ребенка получила назначение в Аббенай и хочет, чтобы мальчик остался здесь.

— Так, может, пусть он здесь и ночует? А, Палат? — спросила женщина.

— Да, наверное, так будет лучше. Сам-то я в общую спальню переезжаю.

— Ничего, не волнуйся. Тут ему все знакомо, он ничего и не заметит. Мне кажется, в Центре по распределению труда и тебе вскоре подыщут назначение в Аббенай. Вы ведь с Рулаг партнеры и оба хорошие инженеры...

— Да, но она... Понимаете, в ней лично заинтересован Центральный Институт инженерных исследований. А я, видимо, для них не гожусь... Рулаг предстоит большая работа...

Матрона с понимающим видом кивнула и вздохнула.

— Даже если это и так... — начала было она энергично и тут же смолкла.

Взгляд мужчины остановился на большеголовом малыше, который отца пока не заметил: слишком занят был созерцанием солнечного луча. Толстячок тем временем успел подобраться к нему; двигался он довольно неуклюже — он описался, и ему мешал мокрый и тяжелый подгузник. Вообще-то, он подполз к товарищу просто от скуки, желая поиграть, но, оказавшись в квадрате солнечного света и почувствовав тепло, он тяжело плюхнулся на пол рядом с худеньким большеголовым малышом и вытеснил того в тень.

Созерцательное восхищение, владевшее до сей поры светловолосым мальчиком, тут же сменилось гневом. С яростным

воплем «Уходи!» он решительно оттолкнул толстячка.

Воспитательница тут же вмешалась, сделав большеголовому замечание:

— Нельзя толкаться, Шев.

Светловолосый мальчик встал. Лицо его пылало от солнца и возмущения. Ползунки сползли с плеч и чуть не падали на пол.

— Мое! — заявил он пронзительным, звенящим голоском. — Мое солнышко!

— Не твое, — спокойно и уверенно возразила воспитательница. — Ничего твоего тут нет. Тут все общее, для всех. И солнышко для всех. Солнышком со всеми нужно делиться. А если не будешь делиться, то и сам не сможешь пользоваться. — И она, подхватив светловолосого малыша, мягко, но решительно усадила его на пол довольно далеко от солнечного пятна.

Толстячок равнодушно наблюдал за происходящим. Зато большеголового такая несправедливость потрясла до глубины души.

— Мое солнышко! — возмутился он и разразился гневными слезами.

Отец взял его на руки и сказал:

— Ну ладно, Шев, успокойся, хватит. Ты же знаешь, что нельзя все забирать себе. Да что с тобой такое? — Голос у него был тихий и чуть дрожал, словно он и сам с трудом сдерживал слезы, а уж его худенький, высокий, светловолосый сынишка ревел вовсю.

— Некоторым все в жизни непросто дается, — сочувственно вздохнула старая женщина, глядя на них.

— Можно я его прямо сейчас домой возьму? Понимаете, наша мама сегодня вечером уезжает...

— Конечно, бери. Надеюсь все же, что вскоре и ты получишь назначение в Аббенай, вот вы снова и будете все вместе. — Воспитательница подхватила толстячка с пола и привычным движением пристроила себе на бедро. Лицо ее было печальным, однако единственный глаз весело подмигнул большеголовому малышу: — До свидания, Шев, дорогой мой! Завтра утром придешь, и мы с тобой в грузовик и шофера поиграем, хорошо?

Но мальчик еще не простил ей обиду и на нее даже не посмотрел. Он рыдал, прижимаясь к отцу, обхватив его за шею и пряча лицо от солнышка, так несправедливо у него отнятого.

В тот день для репетиции оркестру понадобилась вся сцепа, танцевальная группа скакала в зале учебного центра, и той небольшой группе, что занималась развитием речи, то есть училась говорить и слушать других, пришлось перебраться в

мастерскую, где дети расселись кружком прямо на полу. Первым выступать вызвался восьмилетний малыш, долговязый, с длинными руками и ногами. Он стоял, вытянувшись в струнку — так прямо обычно держатся только физически крепкие и здоровые дети. Его неопределившееся еще личико сперва чуть побледнело от волнения, потом вспыхнуло румянцем. Он выжидал, когда остальные успокоятся и будут готовы его слушать.

— Ну, Шевек, начинай, — сказал преподаватель.

— У меня есть одна идея...

— Громче, — велел ему преподаватель, коренастый молодой человек лет двадцати с небольшим.

Мальчик растерянно улыбнулся:

— Видите ли, я вот что подумал... Скажем, вы кидаетесь камнями. В дерево, например. Кинули камень, и он должен долететь и удариться о дерево. Правильно? Но в том-то и дело, что долететь он не может! Потому что... Можно мне взять грифельную доску? Смотрите: вот вы, а вот дерево, — он быстро чертил на доске, — ну, то есть как будто дерево, а вот камень — видите? — на середине пути от вас к дереву? — Дети захихикали, поскольку Шевек довольно похоже изобразил смешное дерево-холум, и он тоже улыбнулся. — Чтобы попасть в дерево, камень должен был сперва пролететь это расстояние, верно? А потом еще лететь и оказаться на середине следующего отрезка пути, то есть вот здесь. Получается, что не важно, как далеко камень уже пролетел — всегда найдется такая точка, где значение имеет только время, проведенное им в полете, и точка эта всегда находится посредине отрезка, заключенного между последней точкой на пути камня к дереву и конечной, то есть самим деревом...

— Ты считаешь, что нам это интересно? — прервал его преподаватель, обращаясь не к Шевеку, а к остальным детям.

— А почему все-таки камень никак не может долететь до дерева? — спросила девочка лет десяти.

— Потому что ему всегда остается пролететь еще как бы вторую половину оставшегося пути, — сказал Шевек. — Она ему всегда еще как бы *предстоит*... поняла?

— А может, ты попросту не слишком хорошо прицелился? — с натянутой улыбкой спросил преподаватель.

— Это неважно, как прицелиться! Камень просто не может долететь до цели, вот и все.

— Кто тебе это сказал?

— Никто. Я вроде бы сам это *увидел*. По-моему, на самом деле камень...

— Довольно.

Остальные дети, до того споривши и болтавшие, почему-то вдруг притихли. Светловолосый мальчик умолк, вид у него был испуганный и обиженный.

— Речь — это процесс взаимный, искусство общения, искусство сотрудничества. А ты хочешь говорить один, то есть проявляешь обыкновенный эгоизм.

Из зала, где репетировал оркестр, доносилась негромкая веселая музыка.

— Кроме того, хотя сам ты этого пока не понимаешь, ты вовсе не вдруг и не случайно до всего этого «додумался». Я, например, читал нечто очень похожее в одной книжке...

Шевек так и впился в него взглядом:

— В какой? А она здесь есть?

Преподаватель не выдержал и вскочил. Он был в два раза выше и в три раза тяжелее своего оппонента; по лицу его было явственно видно, что он этого мальчишку терпеть не может, однако угрозы в его поведении не чувствовалось — всего лишь желание поддержать свой авторитет, слегка поколебленный раздраженной реакцией на странные речи малыша.

— Нет! Здесь ее нет! И перестань думать только о себе! — Он сдержался и сказал уже спокойнее, «менторским» тоном: — Вот вам, дети, пример того, чем мы совершенно не должны заниматься на уроках по развитию речи. Речь — это прежде всего взаимный обмен, а Шевек пока не готов понять это, как и большинство из его сверстников из младшей фуппы, потому присутствие его на наших уроках крайне нежелательно, ибо нарушает нормальный учебный процесс. Ты ведь и сам это чувствуешь, Шевек, верно? Я бы предложил тебе поискать другое занятие, более соответствующее твоему теперешнему уровню развития.

Больше никто не сказал ни слова. Тишина, нарушаемая лишь звуками музыки из зала, тяжело повисла в мастерской. Шевек отдал преподавателю грифельную доску, выбрался из круга учеников и вышел в коридор. Закрыв за собой дверь, он остановился и услышал, как дети принялись под руководством преподавателя излагать по очереди только что выдуманную дурацкую историю с продолжением. Шевек прислушался к оглушительным ударам своего сердца' в ушах у него звенело — но это были вовсе не звуки цимбал: так всегда звенит в ушах, когда очень стараешься не заплакать; он это уже несколько раз за собой замечал. Ему этот звон был неприятен; и думать о том камне и дереве тоже не хотелось, так что он постарался переключиться на мысли о своем излюбленном Квадрате. Он был сделан из одних чисел, а числа всегда такие спокойные и надежные. Когда Шевек

находился в затруднительном положении, он всегда мог уйти в мир цифр и чисел — уж они-то недостатков не имели. Впервые он представил себе этот Квадрат уже довольно давно; ему казалось, что Квадрат занимает то же место в пространстве, что музыка — во времени. Квадрат был красивый, из девяти первых интегралов с цифрой «5» в центре. И сколько ни прибавляешь ряды цифр, все равно в итоге выходит то же самое. Все неравенства каким-то образом обретали решение. Любо-дорого глядеть! Ах, если бы попасть в такую группу, где всем интересно говорить о числах! Но в учебном центре всего двум-трем ученикам старших классов фокусы с числами были действительно интересны, однако у старшеклассников было много других занятий... И все-таки что это за книга, о которой упомянул преподаватель? А вдруг она вся посвящена числам? Может быть, в ней найдется объяснение, как этому дурацкому камню долететь до дерева? Глупо он все-таки поступил, рассказав эту шуточную задачку про камень и дерево! Никто даже не понял, что это шутка! Преподаватель прав: он думал только о себе. Голова у него разболелась. И он снова стал думать о числах, о тихом мире цифр.

Если бы нашлась книга, целиком состоящая из чисел, это была бы самая правдивая книга на свете! И самая справедливая. Потому что мысли, выраженные с помощью слов, никогда полностью не соответствуют действительности, получаются какими-то перекрученными, налетают друг на друга, толкаются, вместо того чтобы соответствовать друг другу и идти стройными рядами. Хотя там, в глубине, под этими словами, как и в центре того Квадрата, все ровно и правильно, как и должно быть. Если вместо слов использовать цифры, ничего не было бы при этом потеряно. Если способен сквозь цифры понимать законы чисел, легко поймешь и системы уравнений и весь дальнейший путь... Поймешь основы мира. А они очень надежны. Как цифры.

Шевек давно научился ждать. Стал прямо-таки первоклассным специалистом по ожиданию. Сперва он постиг это искусство, ожидая свою мать Рулаг — она уехала так давно, что он этого уже и не помнил. Еще более отточенным искусство ожидания стало, когда он ждал своей очереди, своей доли, своей возможности разделить — с кем-то. В возрасте восьми лет он спрашивал: Как? Почему? А что, если?.. Но очень редко спрашивал: Когда?

Он ждал, когда за ним придет отец, чтобы забрать его «домой». Ждать приходилось долго: шесть декад. Палат согласился на временную работу в ремонтной бригаде по обслуживанию водоочистной установки в горном массиве Драм, после чего намерен был провести десять дней на пляжах в

Маленнине — плавать, загорать и заниматься сексом с женщиной по имени Пипар. Все это он серьезно объяснил своему сынишке. Шевек ему верил, и Палат заслуживал этого доверия. Прошли долгие шестьдесят дней ожидания, и он появился в спальне детского интерната «Широкие Долины» — высокий, худой, с печальными глазами. Еще более печальными, чем всегда. Занятия сексом не принесли ему радости. Для этого ему нужна была Рулаг, но ее с ним не было. Увидев сына, Палат улыбнулся и сморщился, будто от боли: Шевек был очень похож на мать.

Им нравилось бывать вместе.

— Палат, а ты видел когда-нибудь такие книжки, в которых были бы только цифры?

— Что ты имеешь в виду? Книги по математике?

— Наверное.

— Вот такие?

Палат вытащил из кармана куртки маленькую книгу. Она, как и большая часть книг на Анарресе, была в зеленом переплете с Кругом Жизни посредине и набрана очень мелким шрифтом, с крайне узкими полями: бумага в их мире исключительно ценилась; за нее приходилось расплачиваться множеством срубленных деревьев-холум и огромным количеством человеческого труда. Так любил повторять библиотекарь из учебного центра, если случайно испортишь страницу и просишь у него новую тетрадку. Палат раскрыл книжку и протянул ее Шевеку. На развороте были лишь столбцы цифр. В точности как ему и мечталось! Вот оно, соглашение о вечной справедливости! «Таблицы корней и логарифмов» — так гласил заголовок над Кругом Жизни.

Мальчик некоторое время внимательно изучал первую страницу.

— А для чего они? — спросил он; эти столбцы цифр явно были здесь не просто для красоты. Его отец-инженер, сидя с ним рядом на жестком диване в холодной, плохо освещенной гостиной интерната, с готовностью принялся объяснять, что такое логарифмы. Два старика на другом конце комнаты кудахтали от смеха над игрой «Попробуй догони!». Вошли двое подростков-старшеклассников, спросили, свободна ли сегодня отдельная комната, и направились прямо туда. Дождь замолотил было по металлической крыше одноэтажного здания, но быстро перестал. Дождь здесь никогда не шел долго. Палат вытащил свою логарифмическую линейку и показал Шевеку, как ею пользоваться; а Шевек зато изобразил ему свой Квадрат и рассказал о принципе его организации. Было уже очень поздно, когда оба заметили это. Потом они бежали в наполненной

чудесными запахами дождя темноте по скользкой земле к корпусу младшеклассников и получили для порядка небольшой выговор от дежурной. Палат и Шевек быстро обнялись, поцеловались, вздрагивая от сдерживаемого смеха, и мальчик бросился к окну в своей огромной спальне, откуда ему хорошо было видно, как отец шагает по темноватой и единственной улице Широких Долин — прямо по блестящим в свете редких фонарей лужам.

Мальчик нырнул в постель прямо с грязными ногами и сразу заснул. Ему снилось, что он идет по дороге через пустыню и далеко впереди видит какую-то линию, пересекающую дорогу. Вблизи оказывается, что это стена, раскинувшаяся от горизонта до горизонта, высокая и прочная. Здесь дорога кончалась.

Он должен был идти дальше, но стена преграждала ему путь. В душе рос болезненный сердитый страх. Он должен идти дальше, иначе он никогда не сможет вернуться домой! Но стена стояла незыблемо.

Он колотил по ней кулаками, что-то гневно орал, но вместо слов изо рта вылетало какое-то странное карканье. Испуганный этим, он присел у стены на корточки и тут услышал чей-то голос: «Смотри...» Это был голос отца, и вроде бы мать его, Рулаг, тоже была где-то рядом, только ее он не видел (ведь он совсем не помнил ее лица). Оказалось, что Рулаг и Палат стоят на четвереньках в темноте под самой стеной и выглядят почему-то гораздо крупнее и неповоротливее остальных людей; и вроде бы они вообще не люди... Оба указывали ему пальцем куда-то вниз, на землю — там, в отвратительной грязи, где даже не росло ничего, лежал камень. Он был такой же темный, как стена, но то ли на нем, то ли внутри его светилась какая-то цифра; «5», подумал Шевек сперва, потом решил, что «1», потом понял, что это такое — совершенное множество. «Это краеугольный камень», — подтвердил чей-то знакомый и дорогой голос, и Шевека охватила пронзительная радость. В густой тени, как оказалось вдруг, никакой стены уже не было, и он понял, что вернулся назад, домой!..

Потом он так и не смог вспомнить всех подробностей этого сна, но то пронзительное ощущение радости не забылось. Никогда он не испытывал ничего подобного — так уверенно этот сон утверждал Постоянство; все равно что посмотреть на источник света, который горит ровно и никогда не гаснет. Шевек считал, что это вообще никакой не сон, хотя безусловно спал и вроде бы видел все во сне. Вот только, несмотря на ощущение бесконечной надежности, которое давал сон, он туда снова вернуться не мог — не помогло бы ни страстное желание, ни самые решительные поступки. Он мог только вспоминать об этом

видении. Когда же ему снова снилась та стена, а это с ним случалось довольно часто, то эти сны были удивительно мрачные и никакого исхода, никакого *решения* не содержали.

Они узнали слово «тюрьма» из «Жизни Одо», которую все в их «исторической» группе тогда читали. В книге было много неясного, а в Широких Долинах не нашлось ни одного приличного историка, способного разъяснить детям непонятные места. Впрочем, когда они добрались до описания жизни Одо в крепости Дрио, понятие «тюрьма» стало более или менее ясным. А когда обслуживавший сразу несколько учебных центров большого района преподаватель истории заехал наконец в их городок, он отвечал на их вопросы с такой неохотой, с какой благовоспитанные взрослые вынуждены бывают разъяснять детям значение того или иного неприличного слова. Да, сказал он, тюрьма — это такое место, куда Государство помещает людей, которые не подчинились его Законам. А почему эти люди не могут уйти оттуда? Из тюрьмы уйти нельзя, там все двери *заперты*. Заперты? Да, как запирают дверцы грузовика на ходу, чтобы ты оттуда не выпал, глупый! Но что же они там делают, в этой тюрьме, находясь все время в одной и той же комнате? Ничего. Там нечего делать. Вы же видели на картинках, как жила Одо в тюремной камере в Дрио? Да, они видели: смиренно поникшая седая голова, стиснутые руки, застывшая в неподвижности человеческая фигурка среди мрачных теней, мечущихся по стенам... Иногда заключенных, правда, приговаривают к принудительным работам. Приговаривают? Ну, это означает, что судья — тот человек, которого Закон облекает особой властью, — приказывает им выполнять ту или иную тяжелую физическую работу. Приказывает? А если они не захотят? Тогда их заставят силой или даже побьют, если будут упорствовать... Дети напряженно застыли: потрясение было слишком велико! И как внимательно они слушали, одиннадцати —двенадцатилетние дети, ни один из которых никогда в жизни не получил даже шлепка и никогда не видел, чтобы били других, если не считать обычных детских потасовок и «выяснения отношений».

Но самый главный вопрос, который не давал покоя всем, задал Тирин:

— Вы хотите сказать, что целая куча людей способна была избить одного человека?

— Именно так.

— Почему же другие их не останавливали?

— У тюремной стражи всегда есть оружие. А у заключенных

его нет, — сказал учитель истории. Он был чрезвычайно смущен: его вынуждали говорить о совершенно отвратительных вещах!

Их тогдашняя компания составилась по сходному упрямству характеров. В нее входили Тирин, Шевек и еще трое мальчишек. Девочек они не принимали, хотя и сами не смогли бы объяснить почему. Тирин отыскал идеально подходящую «тюрьму» — под левым крылом учебного центра. В этой норе можно было только сидеть или лежать. С трех сторон ее «стены» были образованы пересечением бетонных фундаментов, а сверху были перекрытия пола. Единственную открытую сторону запросто можно было закрыть тяжелой плитой из «пенного камня». Но ведь дверь в тюрьме полагалось запирать. Следуя экспериментальным путем, они обнаружили, что если подпереть плиту снаружи клиньями, то изнутри ее ни за что не откроешь.

— А как же свет?

— Никакого света! — возмутился Тирин. О таких вещах он всегда говорил уверенно и авторитетно: его богатое воображение позволяло ему проникнуть в самую их суть, дело было даже не в имевшихся под рукой фактах. — В той крепости, в Дрио, узников держали в темноте годами.

— Ну а дышать чем? — спросил Шевек. — Эта плита слишком плотно закрывает проход. В ней нужно хотя бы дырку проделать.

— Чтобы проделать дырку в такой плите, знаешь, сколько часов понадобится? И вообще, кто это станет сидеть в тюрьме так долго, чтоб ему воздуха не хватило?

В ответ последовал целый хор возражений — желающими «посидеть в тюрьме» оказались почти все.

Тирин с сомнением посмотрел на приятелей:

— Психи вы и больше ничего! Неужели кому-то из вас на самом деле хотелось бы попасть в такую ловушку? И для чего? — Вообще-то именно он придумал построить «тюрьму», однако самого строительства было с него более чем достаточно; он совершенно не понимал, почему нельзя просто вообразить себя узником и почему все непременно стремятся сами залезть в эту нору и попробовать открыть изнутри запертую, неоткрывающуюся дверь.

— Я хочу понять, на что это похоже, — сказал двенадцатилетний Кадагв, широкоплечий, серьезный мальчик, признанный авторитет среди остальных.

— Да ты подумай башкой-то! — разъярился Тирин, но Кадагва дружно поддержали почти все. Шевек притащил из мастерской сверло, и они просверлили двухсантиметровое отверстие в «двери» примерно на высоте носа. Это отняло у них

целый час, как и предсказывал Тирин.

— Как долго ты хочешь там оставаться, Кад?

— Послушай, — сказал Кадагв, — если я узник, то сам я этого решить никак не могу. Я же не свободен. Это вы должны решать, когда меня выпустить.

— Верно. — Шевеку подобная логика показалась убедительной.

— Только ты не слишком долго сиди, Кад, мне тоже хочется! — сказал самый младший из их компании, Гибеш. «Заключенный» ответом его не удостоил. Он вошел, точнее заполз, в свою темницу, «дверь» приподняли, с грохотом опустили и подперли клиньями снаружи. Четверо «тюремщиков» делали все с огромным энтузиазмом. Потом они сгрудились у вентиляционного отверстия, пытаясь увидеть «узника», однако внутри была непроницаемая тьма.

— Эй, не высасывайте у него из камеры весь воздух!

— Лучше вдуньте туда немного!

— Нет, лучше ты ему в эту дырочку пукни!

— Ну и сколько он у нас там будет сидеть?

— Час.

— Нет, три минуты!

— Пять лет!

— Ладно, хватит. До отбоя у нас четыре часа. Этого вполне достаточно.

— А я тоже хочу посидеть в тюрьме!

— Хорошо, мы его выпустим, а тебя туда на всю ночь посадим.

— Нет уж! Я лучше завтра!

Через четыре часа они вытащили клинья и выпустили Кадагва на свободу. Он вышел оттуда столь же невозмутимым, каким вошел туда, и сказал только, что очень хочет есть и что вообще-то ничего особенного: большую часть времени он просто проспал.

— Неужели снова туда полез бы? — поддразнил его Тирин.

— Запросто.

— Нет, второй я...

— Заткнись, Гиб. Ну так что, Кад? Сядешь снова в тюрьму, если мы тебе не скажем, когда в следующий раз выпустим?

— Запросто.

— И есть просить не будешь?

— Вообще-то заключенных кормят, — вмешался Шевек. Это тоже было одно из непонятных мест в «истории с тюрьмой».

Кадагв пожал плечами. Его высокомерие и мужественное спокойствие были просто невыносимы!

— Эй, — обратился Шевек к двум младшим мальчикам, — слетайте-ка на кухню да попросите там, что осталось, и воды в бутылку налейте. — Потом он повернулся к Кадагву: — Мы тебе целый мешок еды с собой дадим, так что можешь торчать в этой норе, пока не надоест.

— Пока вам не надоест, — поправил его Кадагв.

— Ладно, договорились. А ну на место! — Самоуверенность Кадагва вызвала в Тирине желание подыграть ему; Тирин вообще обладал задатками актера-сатирика. — Ты ведь заключенный? Так что не сметь возражать! Ясно? А ну повернись! Руки на голову!

— Это еще зачем?

— Хочешь вылететь из игры?

Кадагв мрачно глянул на него.

— Ты не имеешь права спрашивать тюремщиков. А если будешь упрямиться, так мы тебя и побить можем. Ты должен просто принимать все как должное; в тюрьме тебе никто не поможет. И даже если мы тебе яйца отобьем, ты нам ответить не сможешь. Потому что ты несвободен. Ну что, все еще хочешь в тюрьму?

— Конечно. Давай, ударь меня.

Тирин, Шевек и «заключенный» стояли лицом к лицу в странных застывших позах; стало уже темно, лишь слабо светил фонарь неподалеку; тяжелые бетонные стены высокого фундамента окружали их с трех сторон.

Тирин лукаво усмехнулся:

— Ты мне не советуй, что делать, везунчик. Заткнись лучше и полезай в свою нору! — И, когда Кадагв послушно повернулся и полез в нору, Тирин изо всех сил толкнул его обеими руками в спину. Кадагв упал на четвереньки и глухо вскрикнул — то ли от удивления, то ли от боли — и сел, прижимая к груди руку и засунув в рот палец, который, похоже, вывихнул. Шевек и Тирин молчали. Они, изобразив на лицах полное равнодушие, играли роль «тюремщиков». Вот только обоим уже казалось, что скорее эта роль «играет» ими. Младшие мальчики притащили хлеба из плодов дерева-холум, дыню и бутылку воды; по дороге они, видимо, все время болтали, однако, приблизившись к «тюрьме», тут же смолкли: окутывавшая это место странная тишина подействовала и на них. Пищу и воду просунули внутрь, дверь «заперли» с помощью клиньев. Кадагв остался один в кромешной темноте. Остальные собрались у фонаря. Гибеш прошептал:

— А писать ему где же?

— Туда же, в постельку, — язвительно ответил Тирин.

— А если ему по-большому захочется? — не унимался Гибеш,

потом вдруг ойкнул и пронзительно расхохотался.

— И что ты в этом такого смешного нашел?

— Я представил, как он... ведь там совсем темно, он ничего не видит... — Гибеш так и не смог ничего объяснить — вся компания вдруг залилась диким хохотом с подвываниями. Они смеялись, пока хватало воздуха, отлично зная, что «узник» слышит их ржание.

Давно миновал час отбоя, даже взрослые по большей части уже легли спать, хотя на территории интерната кое-где еще горели огни. Улица была пуста. Мальчишки со смехом и громкими криками прошлись по ней, будто опьянев от осознания своей общей тайны и радуясь, что мешают спать всем остальным, что нарочно делают гадости. Они перебудили половину детей в своем корпусе, устроив в спальнях игру в салки прямо среди кроватей. Никто из взрослых не вмешивался; вскоре безумие улеглось само собой.

Тирин и Шевек еще долго сидели вместе и о чем-то шептались. Оба решили, что Кадагв сам напросился, вот пусть теперь и посидит в тюрьме полных двое суток.

Когда в полдень они встретились у мастерской по вторичной переработке древесины и мастер спросил, где Кадагв, Шевек быстро глянул на Тирина и ничего не ответил. Он чувствовал себя чрезвычайно умным и хитрым. Но Тирин холодно ответил мастеру, что Кадагв, должно быть, временно перешел в другую группу. Шевек был потрясен этой спокойной ложью. От тайной власти над кем-то ему было не по себе: ноги чесались, уши горели. Когда мастер спустя некоторое время заговорил с ним, он даже вздрогнул; его терзала какая-то неведомая тревога, страх, а может, еще что-то — он никогда не испытывал ничего подобного прежде; отчасти это было похоже на смущение, но только гораздо хуже: что-то очень плохое было внутри, в глубине души... Он все время думал о Кадагве, шпаклюя и зашлифовывая песком дырки от гвоздей, оставшиеся в досках из древесины холум, и изгнать несчастного «узника» из собственных мыслей оказалось ему не под силу. Это было просто ужасно!

Гибеш, стоявший на часах после обеда, сообщил Тирину и Шевеку с виноватым видом:

— По-моему, Кад там что-то говорил... И голос у него был такой странный!..

Воцарилось молчание. Потом Шевек сказал:

— Сейчас мы его выпустим.

— Да брось ты, Шев, не будь сентиментальной девчонкой! Нечего тут альтруизм разводить! — возмутился Тирин. — Пусть отсидит свое! Посмотрим, как он потом воображать будет!

— Никакого альтруизма я не развожу! Я, черт побери, снова себя уважать хочу, — огрызнулся Шевек и бегом бросился к учебному центру. Тирин слишком хорошо его знал, а потому времени на споры тратить не стал и побежал следом. Младшие, одиннадцатилетние, тоже поспешили. Ребята стремительно нырнули под фундамент, Шевек вышиб один клин, Тирин — другой, «дверь» с глухим стуком упала наружу...

Кадагв лежал на земле, свернувшись клубком. Потом сел, встал на четвереньки и выполз наружу. Он как-то странно жался к земле и все время щурился. Впрочем, выглядел он вроде бы как обычно. Вот только запах, который вырвался из «тюрьмы» с ним вместе, был поистине ужасен. Отчего-то у Кадагва начался понос, за ночь совершенно его измучивший, и в «темнице» творилось нечто невообразимое. На рубашке

Кадагва виднелись отвратительные желтоватые фекальные потеки. Увидев их при свете фонаря, он попытался было прикрыть позорные следы руками. Но никто ничего ему не сказал.

Когда они, выбравшись из-под дома, направлялись кружным путем к своей спальне, Кадагв спросил:

— Сколько времени я там пробыл?

— Около тридцати часов, включая первые четыре.

— Довольно много, — сказал Кадагв не слишком убежденно.

Доставив Кадагва в ванную, Шевек едва успел добежать до уборной, где его буквально вывернуло наизнанку. Спазмы не прекращались минут пятнадцать. Он весь дрожал, ноги были как ватные. Наконец рвота прекратилась. Умывшись, Шевек пошел в общую комнату и немного посидел там, проглядывая книжки по физике; спать он лег довольно рано. Больше никто из пятерых мальчишек и близко не подходил к «тюрьме». И никто ни разу не заговорил о случившемся; только Гибеш как-то расхвастался перед старшеклассниками, но те даже не поняли, о чем он говорит, и Гибеш, спохватившись, сам сменил тему.

Высоко в небе над Северным Региональным Институтом благородных и естественных наук стояла луна. Четверо юношей лет пятнадцати—шестнадцати сидели на вершине холма среди раскидистых лап стелющегося дерева-холум и смотрели то вниз, на Институт, то вверх, на сияющую луну.

— Смешно, — сказал Тирин, — а раньше я никогда не думал...

Тут же последовали насмешливые комментарии остальных по поводу очевидности этого утверждения.

— Я никогда не думал, — продолжал как ни в чем не бывало Тирин, — что и там, на Уррасе, в такой вот вечер могут сидеть на

вершине холма какие-то люди, смотреть на наш Анаррес и говорить при этом: «Ах, какая сегодня луна!» Наша планета для них — луна; а для нас луна — их родная планета.

— Ну и где здесь Истина? — уронил невозмутимый Бедап и зевнул.

— Что на вершине холма всегда кто-то сидит! — ответил Тирин.

Они продолжали смотреть на бирюзовую луну, сиявшую в небесах, уже не совсем круглую — полнолуние миновало сутки назад. Арктическая ледяная шапка на Уррасе слепила глаза.

— Сейчас там на севере солнечно, — сказал Шевек. — А вон то коричневое пятно — это А-Йо.

— Где они валяются голышом на пляжах, — подхватил Кветур, — подставив солнышку украшенные бриллиантами пупки и лысые головы.

Последовало молчание.

Сюда, на вершину холма они пришли исключительно ради мужской компании. Присутствие девушек действовало на них пока что подавляюще. Порой им вообще начинало казаться, что вокруг одни девушки. Куда ни посмотришь — девушки; даже во сне они видели девушек! Все они уже успели попробовать себя в искусстве плотской любви, и теперь кое-кто от отчаяния пытался никогда более этого не пробовать. А результат был, как ни крути, один: девушки никуда из их жизни не девались.

Три дня назад на занятиях по истории движения одонийцев им показывали учебный фильм, и зрелище безупречно ограненных драгоценных камней на гладких загорелых смазанных маслом женских животах с тех пор преследовало каждого из них неустанно.

Они также видели страшные кадры: тела детей с такой же пушистой «шерсткой» на теле, как и у них самих в детстве; мертвые дети были свалены, точно металлолом, на морском берегу, и какой-то человек поливал их горючим, а потом поджег. «Голод в провинции Бачифойл, где проживает народность тху, — послышался голос за кадром. — На пляжах сжигают тела детей, умерших от голода и болезней. А в это время на курорте Тиус, в семистах километрах отсюда, жители государства А-Йо (и тут как раз появились украшенные драгоценностями пупки) — женщины, которых мужчины-собственники содержат исключительно для удовлетворения собственных сексуальных потребностей (здесь диктор использовал слово из языка йотик, для которого в языке правик эквивалента не было), целыми днями валяются на песке и бездельничают, ожидая, что им приготовят и подадут обед те, кто к классу собственников отнюдь не принадлежит». Показали и

фрагмент такого обеда: нежные жующие рты, улыбающиеся губы, изящные пальчики тянутся к деликатесам на серебряных блюдах... Потом снова в кадре оказалось слепое, ничего не выражающее лицо мертвого ребенка — рот открыт, пустой, черный, сухой... «И все это рядом. Бок о бок»,— тихо проговорил голос за кадром.

Однако мальчишкам все же больше запомнились иные, бесконечно тревожащие их кадры.

— Как давно сняты эти фильмы? — спросил Тирин. — Они что, сделаны еще до Заселения? Или все-таки современные? Никогда ведь не скажут!

— А какая разница? — возразил Кветур. — Они жили так на Уррасе еще до одонийской революции, когда все последователи Одо переселились на Анаррес. Так что скорее всего ничего там особенно не переменилось. — И он указал на огромную сине-зеленую луну.

— Откуда нам знать? Может, их там вообще уже нет.

— Что ты хочешь этим сказать, Тир? — спросил Шевек.

— Во всяком случае, если этим фильмам лет сто пятьдесят, то теперь на Уррасе все, возможно, совсем по-другому. Я не утверждаю, что это на самом деле так, но если бы вдруг такое случилось, то как бы мы об этом узнали? Мы туда не летаем, мы с ними переговоров не ведем, никаких культурных связей между нашими планетами нет... Мы действительно понятия не имеем, что происходит сейчас на Уррасе!

— Об этом прекрасно осведомлены члены Координационного Совета по производству и распределению, из охраны Космопорта. Они разговаривают с теми... ну, с пилотами грузовиков уррасти. Они просто должны быть в курсе — ведь мы поддерживаем с Уррасом торговые отношения; к тому же нам необходимо знать, насколько уррасти в настоящий момент для нас опасны. — Слова Бедапа казались вполне разумными, однако ответ Тирина прозвучал неожиданно резко:

— В таком случае все знают только люди из Координационного Совета, но не мы!

— И мы знаем! — воскликнул Кветур. — Я, например, с пеленок слышу об Уррасе, хотя мне совершенно безразлично, увижу ли я какой-нибудь новый фильм о городах этих вонючих уррасти!

— В том-то и дело, — сказал Тирин с видом человека, следующего неумолимой логике доказательств. — Весь материал об Уррасе, доступный студентам, одинаков. Только и слышишь: отвратительно, аморально, «экскрементально»! Но послушай: если на Уррасе действительно было настолько плохо, когда его

покидали переселенцы, то как же ему удалось столь успешно просуществовать еще сто пятьдесят лет? Если их общество настолько «больно», то давным-давно должно было бы умереть и разложиться! Почему же этого до сих пор не произошло? И чего это мы так их боимся?

— Боимся заразиться, — буркнул Бедап.

— А что, мы настолько слабы? И почему мы боимся хоть немного показать себя миру? В любом случае все в их обществе «больны» быть не могут. И каким бы оно ни было, кое-кто в нем непременно должен был сохранить порядочность. Здесь ведь все люди тоже очень разные, верно? Неужели на Анарресе все такие уж верные последователи Одо? Взять хотя бы этого сопляка Пезуса!

— Но в больном организме даже отдельные здоровые клетки обречены на гибель, — заметил Бедап.

— Господи, да, используя принцип Аналогии, можно доказать все что угодно, и ты это прекрасно знаешь. И все-таки откуда нам известно, что их общество так тяжело больно?

Бедап задумчиво погрыз ноготь и спросил:

— То есть, по-твоему, Координационный Совет и Учебный синдикат нам лгут?

— Нет. Я сказал только, что мы питаемся теми сведениями, которыми нас кормят. А какими сведениями нас кормят? — Темнокожее курносое лицо Тирина было ярко освещено лунным светом. — Минуту назад Квет очень четко это сформулировал. Он прекрасно усвоил урок: отвернитесь от Урраса, ненавидьте Уррас, бойтесь Урраса.

— А почему бы и нет? — спросил Кветур. — Ты только вспомни, как они обошлись с нашими предками одонийцами!

— Они отдали нам свою луну, не так ли?

— Да, чтобы держать нас подальше! Чтобы мы не разрушили их государство собственников! Они предоставили нам возможность строить свое общество справедливости далекодалеко от них, на луне. И, я уверен, как только они от нас избавились, то сразу принялись создавать новые типы государственных машин и новые армии — ведь на Уррасе не осталось никого, кто мог бы их остановить. Неужели ты думаешь, что, если мы откроем перед ними ворота нашего Космопорта, они явятся к нам как друзья и братья? Да их миллиард, а нас всего двадцать миллионов! Они просто выметут нас отсюда поганой метлой или превратят нас... как это называется? ну есть такое слово?., да, в рабов! И заставят работать в шахтах!

— Хорошо. Я согласен, что Урраса, возможно, и следует опасаться. Но почему нужно ненавидеть всех его жителей?

Ненависть попросту не функциональна; зачем же нас учат ненавидеть? А не потому ли, что, если мы узнаем, каков Уррас в действительности, он может нам даже понравиться? Кое-что хотя бы? Хотя бы некоторым из нас? И не в том ли дело, что КСПР не столько опасается тех немногочисленных урра-сти, что прилетают сюда, сколько того, что кое-кто из анарре-сти захочет полететь туда?

— Полететь на Уррас? — изумленно переспросил Шевек.

Они спорили потому, что им нравилось спорить, нравилось быстро пробегать свободной мыслью по тропам возможностей, нравилось подвергать сомнению то, что казалось несомненным. Они были умны, разум их уже отчасти был дисциплинирован и приобщен к ясности научного мышления, и было им всего по шестнадцать лет. Но азарт дискуссии, радость спора для Шевека вдруг померкли, как — чуть раньше — для Кветура. Он ощутил смутную тревогу.

— Но кто может этого захотеть? — спросил он. — Зачем?

— Чтобы выяснить наконец, каков этот иной «больной» мир. Увидеть собственными глазами, что такое «лошадь»!

— Ну это уже просто детский визг на лужайке! — сказал Кветур. — Говорят, что жизнь есть и в других солнечных системах, — он обвел рукой обмытый лунным светом горизонт, — так что нам с того? Мы имели счастье родиться здесь!

— Но если наше общество лучше, чем все остальные, — сказал Тирин, — то нам следовало бы помочь им стать такими, как мы. Однако как раз это нам и запрещено.

— Уж и запрещено! Совершенно несвойственное нашему миру слово. Кто запрещает-то? Ты слишком обобщаешь. — Шевек наклонился вперед и заговорил с особым жаром. — Порядок не значит «приказ». Мы не улетаем с Анарреса, потому что мы и есть Анаррес. Будучи Тирином, ты не можешь сменить свое тело на другое, даже если тебе и захочется попробовать стать кем-то еще и посмотреть, каково это. Вот только это невозможно. Хотя силой тебя никто от подобных попыток удерживать не станет, правда ведь? Разве нас здесь держат насильно? Да и где он, аппарат насилия? Где законы, правительство, полиция? Нету. Здесь только мы, одонийцы — все вместе и каждый сам по себе. Твоя сущность — быть Тирином, а моя — Шевеком, и наша общая сущность — быть одонийцами, ответственными друг перед другом. В этой ответственности и заключается наша свобода. Избегать этой ответственности — значит эту свободу утратить. Неужели ты действительно хотел бы жить в обществе, где у тебя нет ни перед кем никакой ответственности, а стало быть, и никакой свободы, никакого выбора, только пресловутый фальшивый выбор между

соблюдением закона или его нарушением? Причем последнее влечет за собой наказание. Неужели ты действительно хотел бы жить — в тюрьме?

— Господи, конечно же нет! Я что, уж и сказать ничего не могу, черт побери? Тяжело все-таки с тобой говорить, Шев! Ты сперва молчишь-молчишь, а потом обрушиваешь на человека целый фузовик железобетонных аргументов, и тебе все равно, что там такое валяется и стонет, окровавленное и жалкое, под этой фудой...

Шевек успокоился и с победоносным видом чуть отодвинулся от Тирина.

И тут Бедап, коренастый, с квадратным лицом и дурацкой привычкой грызть ногти, вдруг заявил:

— А я считаю, что точка зрения Тира имеет право на существование! Хорошо было бы все-таки узнать, правду ли нам рассказывают об Уррасе.

— Ну и кто же, по-твоему, нам лжет? — пристально посмотрел на него Шевек.

Бедап спокойно встретил его взгляд:

— Кто, брат? Да никто! Только мы сами.

А над их головами плыла в сиянии планета-близнец, спокойная, величавая, точно являя собой прекрасный пример невероятности вероятного.

Посадка лесов в литорали на западном побережье Тименского моря являла собой одно из величайших деяний пятнадцатого десятилетия со времен Заселения Анарреса; в озеленении побережья участвовало почти восемнадцать тысяч человек, и длилось оно два года.

Хотя весьма протяженное юго-восточное побережье моря было достаточно пологим и плодородным, давая жизнь многочисленным рыболовецким и земледельческим коммунам, площадь пахотных земель в целом была весьма невелика. В глубине континента и на юго-западном побережье Тименского моря земли были практически необитаемы; там имелось лишь несколько изолированных друг от друга маленьких шахтерских городков. Этот обширный регион назывался Великая Пустыня Даст[1].

В предшествующий геологический период Даст, видимо, покрывали густые леса деревьев-холум — везедесущего и доминирующего на планете растения, имевшего несколько разновидностей. Теперешний климат стал значительно более жарким и засушливым. Тысячелетия засухи уничтожили деревья и превратили почву в мельчайшую серую пыль, при любом ветерке тучей поднимавшуюся в воздух; пыль затем образовывала холмы

столь же чистых очертаний и столь же безжизненные, как песчаные барханы в пустынях Земли. Жители Анарреса надеялись хотя бы отчасти возродить плодородность этих беспокойных земель благодаря лесонасаждениям. По мнению Шевека, это соответствовало принципу «каузативной реверсивности», игнорируемому школой классической физики, наиболее популярной и уважаемой на Анарресе; и все же этот принцип был тесно связан с учением Одо, хотя впрямую в ее трудах о нем не упоминалось. Шевеку вообще хотелось написать о взаимосвязи идей Одо с идеями современной физики и особенно — о применении принципа «каузативной реверсивности» к ее точке зрения на причинную обусловленность явлений, целей и средств. Однако в восемнадцать лет у него попросту не хватало знаний, чтобы написать подобную работу; впрочем, он никогда этих знаний и не приобретет, если в ближайшее же время не вернется к занятиям физикой и не выберется из этой чертовой пылищи!

По ночам над лагерями тех, кто работал над осуществлением проекта озеленения, слышался неумолчный кашель. Днем кашляли меньше: были слишком заняты, чтобы думать о себе. Пыль была злейшим врагом этих людей — тонкая, сухая, забивавшая глотку и легкие. Однако именно на эту пыль они и возлагали все свои надежды, ведь когда-то она лежала тонким слоем плодородной почвы в тени густых деревьев. И если как следует потрудиться, это может случиться снова.

И ей благодаря зеленый лист сквозь камень прорастает,
И из скалы ключ чистый начинает бить...

Гимар вечно напевала себе под нос мелодию этой песни, и вот сейчас, жарким вечером, когда они возвращались в лагерь, она пропела несколько слов вслух.

— Кому это «ей»? Кто такая «она»? — спросил Шевек.

Гимар улыбнулась. Ее широкоскулое нежное лицо было

покрыто коркой пыли, волосы пропылились насквозь, одежда пропахла потом.

— Я выросла близ Южной гряды, — сказала она. — Там шахтеры живут. Это их песня.

— Какие шахтеры?

— Ты что, не знаешь? С Урраса. Которые уже жили здесь, когда прибыли первые поселенцы. Некоторые из шахтеров так и остались на Анарресе и присоединились к поселенцам из солидарности. Они тут золото в шахтах добывали, олово... В

таких городках до сих пор сохранились старые праздники и старые шахтерские песни. Мой тадде[2] был шахтером, он часто мне эту песню пел, когда я была маленькой.

— Ну и все-таки, кто же такая «она»?

— Не знаю. Так в песне говорится. Ох, как мне хочется в тот лагерь, где мы в прошлый раз жили! Там, по крайней мере, поплавать было можно. Я прямо-таки насквозь пропотела — противно!

— Я тоже не лучше.

— И от всех в лагере потом разит. Кошмар какой-то!

— Это из солидарности...

Но теперешний их лагерь был уже в пятнадцати километрах от берега, и здесь искупаться можно было разве что в пыли.

В лагере был человек по имени Шевет — очень похоже на «Шевек». Когда окликали одного, часто откликался другой. Шевек ощущал некое родство с этим человеком — из-за столь редкого совпадения в звучании имен. Пару раз он видел, что Шевет внимательно на него смотрит. Однако друг с другом они пока не разговаривали.

Первые недели Шевек не ощущал ничего, кроме молчаливого неприятия происходящего в этой пустыне и сокрушительной усталости. Люди, которые избрали своей профессией жизненно важные области науки, например физику, вообще не должны призываться на подобные работы. Разве не аморально — заниматься работой, которая тебе отвратительна? Озеленение побережья безусловно необходимо, однако людям здесь по большей части было все равно, что им поручат в следующий раз; они привыкли часто менять вид и место работы; вот таких и следовало набирать в отряды специального назначения. Копаться в пыли и сажать деревья любой дурак может. На самом деле почти все выполняли эту работу куда лучше самого Шевека. Он всегда гордился своей силой и выносливостью, всегда сам вызывался сделать «самое трудное», когда приходила пора очередного — раз в декаду — дежурства по общежитию; но здесь тяжелая работа была повседневной: день за днем, по восемь часов подряд приходилось делать одно и то же в пыли, на солнцепеке. И весь день Шевек мечтал только о том, как вечером наконец останется один и сможет подумать. Но стоило ему добраться до палатки после ужина, как он камнем падал на постель и тут же засыпал. И ни разу ни одна умная мысль так его и не посетила!

Он считал своих товарищей по работе грубыми и туповатыми, а они, в свою очередь — даже те, что были моложе Шевека, — обращались с ним как с мальчишкой, чуть насмешливо. Это его обижало и возмущало; утешение и удовольствие он получал

только от писем, которые писал своим друзьям Тири-ну и Роваб с помощью шифра. Шифр они придумали вместе; это был набор глагольных форм, образованных от специальных терминов современной физики. С первого взгляда такое письмо представлялось самым обычным, хотя и довольно нелепым по содержанию, точно беседа каких-то совсем спятивших философов. Особенно изощрялись в создании подобных «шедевров» Шевек и Роваб. Письма Тирина были очень смешными и убедили бы кого угодно, что имеют отношение к самым непосредственным переживаниям и событиям, однако чисто физический смысл их был весьма сомнителен. Зато Шевек частенько отсылал друзьям настоящие загадки — стараясь составлять их, когда копал ямы для деревьев в каменистой земле тупым заступом, а над ним на ветру кружились тучи пыли. Тирин отвечал довольно регулярно. Роваб в последнее время написала всего одно письмо и умолкла. Она была холодной девушкой, и Шевек это прекрасно знал. Однако никто у них в институте не знал, каким несчастным он чувствовал себя здесь, в этой пустыне! Роваб-то и Тирина сюда не послали! Они сейчас как раз спокойно занимаются разработкой собственных идей! А не воплощением этого чертова проекта облесения литорали. Их-то способности никто не тратит впустую! Они работают, занимаются настоящим делом, делают то, что хотят! А он? Он здесь не работает. Это его обрабатывают.

И все-таки странно — какое чувство гордости и огромного удовлетворения приносит подобная работа, когда выполняешь ее вместе со всеми!.. К тому же некоторые из его теперешних товарищей оказались людьми поистине незаурядными. Гимар, например. Сперва ее сильное крупное тело взрослой женщины вызывало у Шевека даже некоторую оторопь, но теперь он и сам стал достаточно сильным, чтобы желать ее.

— Придешь ко мне сегодня ночью, Гимар?

— Ой нет, что ты! — И она с таким удивлением посмотрела на него, что он даже немного обиделся, хотя постарался не показать этого.

— А я-то думал, мы друзья!

— Ну да, друзья.

— Но тогда почему же...

— У меня есть партнер. Постоянный. Там, дома.

— Могла бы раньше сказать. — Шевек покраснел.

— Да все как-то случая подходящего не было; и потом, с чего это я должна тебе что-то говорить? Извини, Шев. — Она

с таким сожалением посмотрела на него, что у него снова пробудилась надежда:

— А что, если...

— Нет, Шев. Так с близкими людьми не поступают. Если любишь, нечего раздавать себя по кускам другим мужчинам.

— Но ведь жизнь с постоянным партнером, по-моему, противоречит законам одонийской этики, — сурово заметил Шевек.

— Вот еще дерьмо, — Гимар говорила спокойно, тихим голосом. — Иметь что-то только для себя неправильно; нужно делиться. Но разве этого мало — делить с другим человеком самого себя? Всю свою жизнь, все свои дни и ночи?

Шевек сидел, уронив руки между коленями и опустив голову — высокий, очень худой, безутешный, весь какой-то незавершенный.

— Я к этому не стремлюсь, — сказал он.

— Вот как?

— Да я по-настоящему еще и не знал ни одной женщины. Ты же видишь, я и тебя не понял. Я чувствую себя оторванным от остальных. И не могу с ними соединиться. И никогда не соединюсь. Было бы просто глупо с моей стороны мечтать о партнерстве. Это все... Это все для нормальных людей...

Застенчиво, но не смущенно, как взрослая и уважающая его взрослость женщина, Гимар сочувственно положила руку ему на плечо. Она его не ободряла и не говорила, что он такой же, как все, а сказала только:

— Я никогда, наверное, не встречу больше такого человека, как ты, Шев. И я тебя никогда не забуду!

И тем не менее отказ есть отказ. Несмотря на всю ее нежность и сочувствие, он ушел от нее уязвленный и очень сердитый.

Стояла жуткая жара, прохладно становилось только перед самым рассветом.

Человек по имени Шевет однажды вечером после ужина сам подошел к Шевеку. Он оказался симпатичным плотным мужчиной лет тридцати.

— Ох и надоело мне, что нас с тобой все время путают, — сказал он. — Назвал бы ты себя как-нибудь иначе, парень.

Эта самоуверенная агрессивность ранее, пожалуй, озадачила бы Шевека. Но теперь он ответил нахалу вполне в духе здешних нравов:

— Можешь сам себе имя сменить, если оно тебе не нравится.

— Ах ты, расчетливый сопляк! Небось, из тех, что весь век готовы учиться, лишь бы ручки свои не марать! -* взвился

Шевет.— Я как такого завижу, прямо руки чешутся. Врезать бы тебе как следует, будешь знать!

— Сам ты сопляк! — возмутился Шевек, понимая, что

словесной перепалкой тут не обойдется. Шевет дважды сбил его с ног. Зато ему удалось несколько раз весьма удачно заехать противнику в физиономию, поскольку руки у него были длиннее, да и упорства больше, чем ожидал этот нахал. Однако в целом он, конечно, проигрывал. Несколько человек остановились возле них, увидели, что дерутся вполне честно, хотя и неинтересно, потому что один явно сильнее другого, и пошли дальше. Их не оскорбило примитивное желание одного проявить насилие. А что? Мальчишка на помощь не звал, пусть сам и разбирается. Придя в себя, Шевек обнаружил, что лежит навзничь в темной пыли между двумя палатками.

После этой драки у него еще пару дней звенело в правом ухе и губа была сильно рассечена, а заживала очень плохо из-за проклятой пыли, которая не давала зажить даже малейшей царапине. Больше они с Шеветом никогда не говорили. Он издали видел этого человека среди других, у костров, где готовилась пища, но злобы не испытывал. Шевет дал ему то, что должен был дать, и он этот дар принял, хотя в течение долгого времени даже не пытался определить его значимость или обдумать его сущность. А когда сумел это сделать, этот дар уже ничем не отличался от прочих даров, полученных им в период взросления. Как-то вечером одна из тех девушек, что недавно присоединились к их бригаде, подошла к нему точно так же, как тогда Шевет, в темноте. Губа у него тогда еще не успела зажить после драки... Он потом не смог вспомнить даже, что именно она ему сказала; все было очень просто — она его чуть поддразнивала, он отвечал ей, а потом они пошли куда-то в ночь, в пустыню, и там она предоставила ему полную власть над своим телом. Это был ее дар. И он его тоже с благодарностью принял. Как и все дети Анарреса, он имел опыт свободного сексуального общения как с мальчиками, так и с девочками, но все это было в детстве, когда он еще не понимал, как и его партнеры, что секс — это не только краткий миг удовольствия. Бешун, по-настоящему талантливая в плотской любви, взяла его с собой в неведомую страну, в самое сердце истинных сексуальных наслаждений, где не было места ни враждебности, ни недопустимости; здесь все было позволено, и два тела стремились лишь к тому, чтобы слиться воедино и уничтожить ту тоску, что снедала их; выйти за пределы своего физического «я», за пределы времени.

И все стало теперь очень легко, просто и прекрасно — в теплой пыли, под светом звезд. И дни теперь казались не изнуряющими, а долгими, жаркими, полными солнечного света, и даже пыль пахла, как тело Бешун.

Теперь Шевек работал в той бригаде, что сажала деревья.

Грузовики привозили множество крошечных саженцев с северо-востока, выращенных в Зеленых горах, где выпадало осадков до 10 000 мм в год — там был пояс дождей. И они сажали эти деревца прямо в пыль.

Когда все было закончено, пятьдесят команд, выполнявших работы второго года Проекта, покинули эти места. Грузовики уже несли их прочь, а они все оглядывались — они видели результаты своего труда: легкую зеленую дымку на бледных пылевых барханах, точно на эту мертвую землю легко, почти незаметно набросили вуаль жизни. И люди радовались, пели, звонко перекликались. У Шевека на глаза навернулись слезы. Он вспомнил: «И ей благодаря зеленый лист сквозь камень прорастает...» Гимар давным-давно уехала к себе на Южную гряду.

— Ты чего это такой мрачный? — спросила Бешун и ласково прижалась к нему, когда грузовик в очередной раз подскочил на ухабе, и погладила его по твердому мускулистому плечу, покрытому беловатым налетом пыли.

— Ох уж эти женщины! — сказал Шевеку Вокеп, когда они сидели на автобазе горно-обогатительного комбината юго-западного края. — Они всегда считают, что завладели тобой. Ни одна женщина по-настоящему не может быть последовательницей Одо.

— Но ведь сама Одо?..

— Это все теория. Ведь у Одо после того, как убили Асьео, никаких мужчин больше не было, верно? Всегда можно найти исключения. И все же по большей части женщины — типичные собственницы, и само их отношение к мужчинам — это желание прибрать к рукам. Им хочется либо владеть самим, либо быть во власти кого-то.

— Ты полагаешь, что именно этим они отличаются от мужчин?

— Я просто уверен! Мужчине ведь что нужно? Свободу! А женщине? Обладание! Она тебя отпустит — но только если сможет обменять на кого-то другого. Все женщины — собственницы.

— Черт знает что ты говоришь! Ведь половина всех людей — женщины! — воскликнул Шевек, думая, а не прав ли Вокеп случайно? Бешун проплакала все глаза, когда он снова получил назначение на северо-запад; она ужасно злилась, и все пыталась заставить его сказать, что он без нее жить не сможет, и уверяла его, что она без него не проживет и дня, и требовала, чтобы они стали партнерами... Партнерами! Вряд ли она способна была

выдержать общество одного и того же мужчины больше полугода!

Родной язык Шевека, единственный, которым он владел, явно страдал нехваткой соответствующих идиом для обозначения полового акта, а точнее — физического обладания. В языке правик выражение «обладать женщиной» не имело ни малейшего смысла. Наиболее близким по значению к глаголу «совокупляться» , а также имевшим второе, неприличное, значение было специфическое выражение, означавшее примерно «совершать насилие». Наиболее привычным (и приличным) был глагол, употреблявшийся только с подлежащим во множественном числе, который обычно переводился таким нейтральным медико-юридическим термином, как «совокупляться». Множественное число подлежащего означало, что в данном акте всегда участвуют двое. Эти лексические рамки не могли, разумеется, вместить весь тот сексуальный опыт, которым отчасти теперь обладал и он, и Шевек прекрасно сознавал это, хотя и не очень отчетливо представлял себе, что же такое «обладание». Разумеется, он чувствовал, что Бешун принадлежала ему в те звездные ночи в пустыне. А он — ей. И, видимо, она полагала, что имеет на него еще какие-то права. Впрочем, они тогда ошибались оба, и Бешун, несмотря на всю свою сентиментальность, быстро поняла это; она поцеловала его на прощанье, улыбнулась наконец и отпустила. Нет, он не принадлежал ей. Он был во власти собственного тела. Это были первые порывы юношеской гиперсексуальности; и только тело в действительности властвовало над ним — как и над нею. Но теперь это прошло. И никогда (так думал он, восемнадцатилетний мальчишка с разрешением на поездку в Аббенай в руке, сидевший на автобазе комбината в полночь, ожидая, когда колонна грузовиков двинется на север), никогда уже более не случится. Хотя многое успело произойти с ним за это время, но в отношении женщин он теперь всегда будет на страже. Больше его никто не застанет врасплох, не одержит над ним верх. Поражение, сдача на милость победителя или, наоборот, восторги победы... Да и сама Бешун, возможно, ничего, кроме удовольствия, не хотела. С какой, собственно, стати? И это она, будучи свободной сама, и его выпустила на свободу...

— Нет, я с тобой не согласен, — ответил он длиннолицему Вокепу, биохимику-аграрнику, тоже направлявшемуся в Аббенай. — По-моему, большей части наших мужчин нужно еще учиться быть анархистами. А вот женщинам как раз этому учиться не нужно.

Вокеп с мрачным видом покачал головой.

— Все дело в детях, — сказал он. — В том, чтобы иметь

детей. Именно дети делают их собственницами. И потому они тебя не отпускают. — Он вздохнул: — А золотое правило, брат, таково: сорви цветок удовольствия, прикоснись к нему и ступай себе дальше. Никогда не позволяй кому-то завладеть своей душой.

Шевек улыбнулся и допил свой сок.

— Не позволю, — сказал он.

Было радостно вновь вернуться в Региональный Институт, вновь увидеть низкие холмы, покрытые пятнами стелющихся деревьев-холум, огороды, общежития, жилые комнаты, мастерские, аудитории, лаборатории — здесь он жил с тринадцати лет. И для него всегда возвращение назад было и будет не менее важно, чем путешествие в иные места. Пути куда-то, в новую жизнь, было для него недостаточно, точнее, достаточно лишь наполовину: он непременно должен был вернуться назад. Возможно, в этой его черте уже проявлялась природа той сложнейшей теории, которую он намерен был создать, отражавшей то, что практически находилось за пределами познаваемого. Скорее всего он никогда бы не взялся за осуществление столь долгосрочного и немыслимо трудного дела, если бы не был абсолютно уверен, что возвращение всегда возможно, хотя сам он, наверное, вернуться не сможет. Сама природа подобного «путешествия во времени», сходная с природой кругосветного плавания, заключала в себе возможность возврата. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя снова вернуться в тот же дом. Это он понимал; именно это было основой его мировоззрения. И все же как раз мимолетность мгновения помогла ему вывести основные положения своей теории, в рамках которой то, что способно меняться более всего, на самом деле оказывается более всего постоянным, вечным — и твое родство с рекою, родство реки с тобою обусловливают куда более сложные и куда более обнадеживающие отношения, чем простое отсутствие идентичности. Можно снова вернуться домой, так утверждала его Общая Теория

Времени, до тех пор пока ты понимаешь, что дом есть некое место, где ты никогда еще не был.

А потому Шевек был рад вернуться домой — во всяком случае это был единственный дом, какой он когда-либо имел или хотел иметь. Однако прежние друзья показались ему какими-то недоразвитыми. Он сильно повзрослел и возмужал за прошедший год. Правда, некоторые из девушек повзрослели не меньше, а может, даже больше: они стали женщинами. Но Шевек старался не переходить с ними границ обычного «трепа»; он пока что

больше не хотел столь же сильной страсти — боялся попасть в силки, сплетенные собственными физиологическими порывами. Ему предстояло куда более важное дело. К тому же он заметил, что наиболее способные из девушек, вроде Роваб, тоже ведут себя хотя и непринужденно, но осторожно; в лабораториях и на лекциях, как и в общих комнатах отдыха, они держались как старые приятели, не более. Эти девушки, как и он, прежде всего хотели завершить образование, начать самостоятельную исследовательскую работу или найти такое применение своим знаниям, которое бы их удовлетворило, а уж потом, если возникнет такая потребность, рожать детей. Однако сексуальные забавы зеленых юнцов их тоже больше не удовлетворяли; им хотелось зрелости и в интимных отношениях, хотелось, чтобы отношения эти не были пусты и бесплодны; но пока что искать постоянных партнеров им было рановато.

Эти девушки стали Шевеку хорошими друзьями, доброжелательными и независимыми. А вот юноши его возраста, казалось, застряли где-то в самом конце собственного детства. Эти умненькие мальчики на деле были слишком ленивы и робки и, похоже, не желали занять себя ни работой, ни сексом. Если послушать Тирина, так секс — эту замечательную вещь — изобрел именно он, однако же все его интрижки были с девицами лет пятнадцати—шестнадцати, а от своих сверстниц он испуганно шарахался. Бедап, никогда не отличавшийся особым сексуальным аппетитом, принял вдруг поклонение одного студента с младшего курса, явно имевшего гомосексуальные наклонности. Бедап как бы свысока позволял этому «голубоватому юнцу» выполнять любое его желание, однако, похоже, сам ничего не воспринимал всерьез; он вообще стал чрезвычайно ироничным и замкнутым. Шевек чувствовал, что их былой дружбе конец. Даже Тирин был слишком сосредоточен на себе самом да к тому же чуть что дулся. Нет, восстанавливать с ними прежние отношения не хотелось. Одиночество, пожалуй, было Шевеку даже приятно, он всем сердцем приветствовал его. Ему и в голову не приходило, что сдержанность, которую проявили по отношению к нему Бедап и Ти-рин, была просто ответной реакцией; уже тогда мягкий, однако поразительно целостный и самодостаточный характер Шевека способен был создать собственное замкнутое поле, воздействие которого могли выдержать только очень волевые или очень преданные люди. Сам он заметил лишь, что у него наконец-то появилось достаточно времени для работы.

Еще на юго-востоке, привыкнув к постоянной физической нагрузке и перестав тратить свои мозги на сочинение дурацких шифрованных посланий, а собственное семя — на эротические

сновидения, он наконец начал думать по-настоящему. А теперь у него появилось свободное время, и он мог всласть над тогдашними идеями поработать, решить, есть ли в них рациональное зерно.

Старшим преподавателем физики в Институте была Ми-тис. Практически возглавляя кафедру, она не занималась распределением нагрузки и учебных курсов — все назначения в Институте каждый год автоматически перераспределялись, а на кафедре было еще около двадцати преподавателей — однако же Митис проработала здесь тридцать лет и славилась своим блестящим и цепким умом. Кроме того, вокруг нее как бы всегда было некое чистое, с психологической точки зрения, пространство — так, чем ближе горная вершина, тем меньше можно встретить там людей. Отсутствие пресловутых «любимчиков» и «подхалимов» очень помогло Шевеку сблизиться с Митис. Некоторым людям от рождения свойственна авторитетность; ведь известно, что даже императоры любят порой переодеться в простое, новое для них платье, но все равно свою «авторитетность» сохраняют.

— Я отослала вашу работу по физике относительных частот в Аббенай, Сабулу, — сообщила Митис Шевеку как всегда суховато и кратко, хотя вполне доброжелательно. — Хотите прочитать ответ?

Она подтолкнула к нему через стол мятый клочок бумаги, явно уголок, оторванный от какого-то большего листа. Там мелким корявым почерком было написано:

$$ts/2x\ (R) = 0.$$

Шевек, навалившись на стол, так и впился глазами в заветную формулу. Глаза у него были очень светлые, и падавший из окна свет отражался в них так ярко, что они казались прозрачными, как вода. Ему было девятнадцать, Митис — пятьдесят пять. Она наблюдала за ним с нескрываемым сочувствием и восхищением.

— Как раз этого мне и не хватало, — сказал он. Его рука уже нащупала на столе карандаш и начала что-то царапать на листе бумаги. При этом на его бледном лице, обрамленном серебристыми мягкими волосами, постриженными очень коротко, вспыхнул румянец, даже уши покраснели.

Митис осторожно обошла вокруг стола и присела с ним рядом. У нее были отвратительные вены на ногах, и стоять ей было трудно. Это ее движение потревожило Шевека. Он поднял голову и с холодным раздражением посмотрел на нее.

— Я смогу закончить это через день-два, — сказал он.

— Сабул хотел бы посмотреть вашу работу, как только вы ее закончите.

Оба помолчали. Краска возбуждения сбежала со щек Шевека, он снова полностью сознавал присутствие старой Митис, которую очень любил.

— А почему вы послали ту мою работу Сабулу? — спросил он. — Да еще с такими серьезными недоделками! — Он улыбнулся: уже сама мысль о том, что пробел в его рассуждениях наконец-то закрыт, приносила ему необычайную радость.

— Я подумала, что он, возможно, сумеет определить, где вы ошиблись. Сама я не сумела. А еще я хотела, чтобы он понял, какую цель вы перед собой ставите... Знаете, он ведь предлагает, чтобы вы приехали к нему, в Аббенай.

Юноша не ответил.

— Вы хотите туда поехать?

— Пока нет.

— Я так и думала. Но поехать вы должны. Хотя бы из-за книг; и из-за тех умных людей, с которыми там познакомитесь. Такие способности, как у вас, нельзя понапрасну разбазаривать в этой пустыне! — Митис внезапно заговорила очень страстно. — Это ваш долг — найти для себя наилучшее применение, Шевек. Не позволяйте обмануть себя нашей фальшивой уравниловкой. Вы будете работать с Сабулом; он очень хорош; он вас до смерти работой замучает. Но вы должны непременно остаться свободным и отыскать ту тропу, которой единственно хотите следовать. Доучитесь этот семестр и поезжайте. Но берегитесь там, в Аббенае! Особенно берегите свою свободу. Власть всегда зарождается в центре. А вы как раз туда и отправляетесь. Сабула я знаю не очень хорошо... однако ничего плохого о нем тоже сказать не могу. Но всегда помните: вам придется стать *его человеком.*

Притяжательные формы личных местоимений в языке правик встречались главным образом в случае эмфазы; в идиомах они практически не употреблялись. Малыш, конечно, вполне мог сказать «моя мама», но очень скоро обучался говорить просто «мама», а вместо «мои ручки» — просто «ручки» и так далее. Чтобы сказать на правик «Это мое, а это твое», нужно было употребить выражение: «Я пользуюсь этим, а ты — тем». Заявление Митис: «Вам придется стать его человеком» поэтому

звучало несколько странно. Шевек тупо посмотрел на нее.

— Вам предстоит большая работа, — твердо сказала Митис, глядя на него черными, сверкавшими, точно от гнева, глазами. — Вот и выполняйте ее! — И, ничего более не прибавив, она пошла прочь. Шевек знал, что в лаборатории ее ждут студенты, но все равно был смущен. Пытаясь найти ответ, он уставился на клочок бумаги, по-прежнему лежавший на столе, и решил, что Митис велела ему поскорее вернуться к тем уравнениям и найти ошибку. Лишь значительно позже, годы спустя, понял он, что она действительно имела в виду.

Накануне его отъезда в Аббенай друзья устроили в его честь пирушку. Такие вечеринки устраивались часто и по самым различным, в том числе незначительным, поводам, но Шевек был поражен, с каким усердием все старались устроить ему «настоящие проводы». Совершенно не подверженный влиянию сверстников, он и не догадывался, что они его любят.

Похоже, многие немало дней экономили ради этой пирушки. В итоге количество еды оказалось просто невероятным. Заказ на выпечку был таков, что институтскому пекарю пришлось, забыв о своей подружке, остаться на весь вечер; он напек целую гору лакомств: душистых вафель, маленьких тарталеток с перцем, которые особенно хороши с копченой рыбой, сладких жареных пирожков, сочных и сьгтных. Было множество различных фруктовых напитков — консервированные фрукты привозили с берегов Керанского моря, как и маленьких соленых креветок. Ну а хрустящего сладкого картофеля высились целые горы. От такого изобилия все пришли в веселое расположение духа, хотя некоторых потом тошнило, столько они всего съели, не удержавшись.

Был устроен концерт — скетчи и прочие смешные штуки, как отрепетированные заранее, так и чистый экспромт. Тирин в костюме «бедняка с Урраса» — который раздобыл в утильсырье — приставал ко всем, требуя «подать нищему милостыню». Эти выражения все знали еще по школьным урокам истории.

— Дайте мне денег, — подвывал он, тряся рукой у них перед носом. — Денег! Денег! Ну что же вы мне денег не даете? У вас что, нет ничего? Врете! Ах вы, грязные собственники! Спекулянты проклятые! Нет, вы только посмотрите на это угощение! Как же вы его купили, если у вас денег нет? — Потом он стал предлагать им купить его самого. — «Копите» меня, «копите» меня, задешево продаюсь, — ныл он.

— Не «копите», а «купите», — поправила его Роваб.

— Какая разница — «копите», «купите»! Ты погляди, какое у меня прекрасное тело! Неужели не хочешь? — И Тирин, сам себе

что-то напевая под нос, помахал своими тощими бедрами и сладко закатил глаза. В конце концов его подвергли публичной экзекуции с помощью ножа для рыбы, и после этого он появился вновь уже в нормальной одежде. Кое-кто из студентов очень неплохо умел играть на арфе и петь, и вообще было много музыки, танцев, но еще больше разговоров. Они говорили столько, будто завтра им всем предстояло замолчать навсегда.

Ночь текла, и юные парочки порой удалялись ненадолго в отдельные комнаты, чтобы там быстренько предаться любовным утехам и вернуться к пирующим; кое-кто уже ушел спать; в конце концов за столом среди пустых чашек, рыбьих костей и крошек печенья осталось лишь несколько человек — все это им нужно было к утру убрать. Но до утра было еще далеко. И они разговаривали. Они точно лакомились этой бесконечной беседой, перескакивая с предмета на предмет. Бедап, Тирин, Шевек, еще несколько юношей, три девушки. Они говорили о ритме как пространственном выражении времени, о связи древнего учения Гармонии Сфер с современными физическими теориями. Они говорили о рекордных результатах последнего марафонского заплыва и о том, можно ли считать их детство счастливым. И пытались определить, что такое счастье...

— Страдание — это непонимание, непонятость, когда тебя понимают неверно, — сказал Шевек, наклоняясь вперед. Светлые глаза его горели. Он был по-прежнему худ, с крупными руками, с торчащими по-детски ушами, весь еще угловатый, но здоровый и сильный. На пороге своего возмужания он был очень хорош собой. Его светлые, почти серебристые волосы, как и у остальных, мягкие, прямые и длинные, были перехвачены на лбу повязкой. Только одна из них — девушка с высокими скулами и чуть приплюснутым носом — была пострижена очень коротко; темные волосы охватывали ее голову уютной пушистой шапочкой. Она смотрела на Шевека спокойнj и серьезно. Губы у нее блестели — она все время лакомилась жареными пирожками, — а на подбородке прилипла крошка.

— Страдание действительно существует, — говорил Шевек, широко разводя руками. — Оно вполне реально. Его можно назвать непониманием, но нельзя притворяться, что его нет или же оно когда-либо исчезнет, перестанет существовать. Страдание — это условие нашего существования. И когда оно приходит, ты сразу его узнаешь. Как узнаешь и истину. Разумеется, правильно, что болезни лечат, что с голодом и несправедливостью борются — так поступают все «социальные организмы». Но ни один из них не может изменить природу бытия. Невозможно предотвратить страдания. Та или иная конкретная боль — да, подобное

страдание можно и нужно устранять. Но не Великую Боль. Кое-какие страдания социума — ненужные страдания — общество облегчить способно. Но остальное останется. Корень страдания, его сущность. Все из присутствующих здесь рано или поздно познают горе; и если мы еще проживем пятьдесят лет, то все пятьдесят лет будем испытывать страдания. И в конце концов умрем. Лишь при этом условии мы появились на свет. Я боюсь жизни! Временами я... мне действительно бывает очень страшно! Всякое счастье кажется мимолетным, незначительным. И все же интересно: а что, если все это сплошь непонимание — вся эта погоня за счастьем, боязнь страдания?.. Что, если вместо того, чтобы бояться страдания, избегать его, человек мог бы... пройти сквозь него и оказаться по ту сторону? Что-то ведь там есть — по ту сторону. Ведь страдает моя сущность, мое «эго», но есть, верно, и такое место, где сущность... перестает существовать? Не знаю, как это выразить... Но я уверен: реальную действительность, истину я познаю через страдания так, как не способен познать через покой и счастье; реальность боли — это еще не страдание. Если сможешь пройти через нее. Если ты сможешь вытерпеть ее до конца.

— Реальность нашей жизни — это любовь и солидарность, — скачала высокая девушка с мягкими бархатными глазами. — Любовь — вот истинное условие существования человека.

Бедап помотал головой:

— Нет. Шев прав. Любовь — это просто один из способов существования, и она может пойти не в ту сторону, может и вовсе пройти мимо. А вот боль никогда не ошибается. Но, таким образом, получается, что у нас просто выбора не остается — придется ее терпеть! И мы будем терпеть, хотим мы этого или нет.

Коротко стриженная девушка яростно замотала головой:

— Нет, не будем! Лишь один из сотни, один из тысячи всю жизнь живет счастливо, счастливо проходит весь путь от рождения до смерти. А остальные только притворяются, что счастливы, или же просто помалкивают. Все мы страдаем, но, может быть, недостаточно. А стало быть, страдаем зря.

— И что же нам делать? — спросил Тирин. — Бить себя по башке молотком каждый день, чтобы убедиться, что мы страдаем достаточно?

— А ведь ты создаешь культ страдания, Шев, — заметил еще кто-то. — Основная цель жизни, согласно учению Одо, носит характер позитивный, а не негативный. Страдания — это нарушение нормальной функции организма, за исключением тех физических страданий, которые предупреждают организм об

опасности. А психологические и социальные страдания носят абсолютно разрушительный характер.

— Что и подвигло Одо с особым вниманием отнестись к страданиям — своим собственным и других людей! — возразил Бедап.

— Но ведь весь принцип взаимопомощи основан именно на том, чтобы предотвращать страдания!

Шевек сидел на столе, болтая в воздухе своими длинными ногами; лицо его было напряжено и спокойно одновременно.

— А вы когда-нибудь видели, как умирает человек? — спросил он. Большая часть видела — в интернате или же во время дежурства в больнице. И все, кроме одного, помогали хоронить умерших.

— Когда я жил в лагере на юго-востоке, я впервые увидел действительно страшную смерть. Что-то случилось с дирижаблем, и он во время полета вспыхнул и упал на землю. Они вытащили этого человека — на нем живого места не было, весь обожжен. Он еще часа два прожил... Спасти его было невозможно; ему совершенно ни к чему было так долго жить и мучиться, и не было никаких оправданий для того, чтобы заставлять его страдать еще два часа. Мы ждали, пока слетают за анестезирующими средствами, и я стоял возле него вместе с двумя девчонками — мы только что вместе грузили его дирижабль. Врача в лагере не было. Ему нечем было помочь! Можно было только оставаться с ним рядом. Он был в шоке, но сознание почти не терял. И его терзала ужасная боль, особенно руки — я не думаю, что он ощущал, что остальное его тело практически обуглилось; боль он чувствовал главным образом в руках. Его нельзя было даже коснуться или погладить, чтобы как-то утешить — при любом прикосновении кожа и мясо его оставались у вас на пальцах, и он ужасно кричал. Ничего нельзя было для него сделать! Мы оказались совершенно беспомощны! Может быть, он сознавал, что мы рядом с ним, не знаю. Но ему от этого было ничуть не легче. По самое страшное, что ничего нельзя было сделать! Я тогда понял... увидел, что в такую минуту ни для кого ничего нельзя сделать. Мы не можем спасти друг друга. И себя тоже. От смерти.

— И что же ты тогда ощутил? Полное одиночество и отчаяние! Ты отрицаешь возможность братских отношений, Шевек! — крикнула высокая девушка.

— Нет... нет, не отрицаю. Я только пытаюсь сказать, что, как мне представляется, братство реально существует и начинается... там, в разделенной боли, в разделении чужого страдания...

— Но тогда где же оно кончается?

— Не знаю. Пока еще не знаю.

Глава 3
УРРАС

Шевек все свое первое утро на Уррасе безнадежно проспал, а когда проснулся, то нос у него был заложен, в горле першило, и он без конца кашлял. Он решил, что простудился и даже одонийская гигиена не сумела перехитрить обыкновенный насморк, однако врач, который уже ждал, чтобы осмотреть его — это был весьма достойного вида пожилой мужчина, — сказал, что это больше похоже на аллергию, вроде сенной лихорадки, вызванную реакцией на пыль чужой планеты и пыльцу здешних цветущих растений. Он прописал какие-то таблетки и укол, который Шевек терпеливо перенес, а также предложил ему позавтракать, и Шевек с жадностью проглотил все, что было на подносе. Врач попросил его оставаться пока в помещении и ушел, а Шевек тут же начал знакомство с Уррасом, обходя комнату за комнатой.

Кровать была огромная, массивная, а матрас куда мягче, чем на койке в космическом корабле; постельное белье из множества предметов было, видимо, из шелка, одеяла толстые и теплые, и множество подушек, кучевыми облаками вздымавшихся на постели. На полу пружинивший под ногами ковер; также имелся комод из прекрасного полированного дерева со множеством ящиков и шкаф, достаточно большой, чтобы в нем разместить одежду для десяти человек. Потом Шевек перешел в огромную гостиную с камином, которую видел прошлой ночью; дальше была еще комната с ванной, умывальником и весьма изысканной конструкции унитазом; эта комнатка явно предназначалась только для его личного пользования, поскольку из нее была дверь прямо в его спальню. Все эти элементы роскоши, а это, безусловно, были предметы роскоши, явно содержали не просто некий элемент эротичности и, по мнению Шевека, являли собой прямо-таки апофеоз излишества, «экскрементальности», как сказала бы Одо. В последней комнатке он провел почти час, по очереди включая все приборы и устройства и в результате став чистым до чрезвычайности. Особенно восхищало его то, что водой можно было пользоваться без ограничений. Вода лилась из крана, пока его не выключишь! Ванна была объемом никак не менее шестидесяти литров! А унитаз исторгал при смыве по крайней мере литров пять воды! В общем-то, ничего удивительного в этом не было. Поверхность Урраса на пять шестых была покрыта водой. Даже пустыни на полюсах этой

планеты состояли из воды, точнее, изо льда. Никакой необходимости экономить воду, никаких засух... Но что происходит далее с тем, что спускается в канализацию? Шевек задумался и даже опустился возле унитаза на колени, сперва как следует обследовав сливной бачок. Они, должно быть, пропускают канализационные стоки сквозь фильтры на специальных установках... На Анарресе имелись прибрежные коммуны, где использовались подобные системы очистки воды при отвоевывании у моря и пустыни пригодной для обитания территории. Ему очень хотелось расспросить об этом кого-нибудь, однако впоследствии ему ни разу к этой теме подобраться не удалось. Он многие вопросы так и не успел выяснить за время своего, довольно-таки долгого, пребывания на Ур-расе.

Помимо заложенного носа, ничто его не беспокоило, он чувствовал себя вполне здоровым и готовым действовать. В комнатах было настолько тепло, что он отложил пока процедуру одевания и бродил по ним нагишом. Потом подошел к окнам большой комнаты и постоял там, глядя на улицу. Комната находилась очень высоко над землей — он сперва даже удивленно отшатнулся от окна: непривычно было находиться на высоте нескольких этажей от земли. Примерно такой виделась земля с борта дирижабля; появлялось ощущение оторванности от земли, вознесения над нею, невмешательства в ее дела. Окна выходили прямо на рощу, окружавшую небольшое белое здание с изящной квадратного сечения башней, за которой открывалась обширная долина, целиком состоявшая из возделанных полей — прямоугольных пятен различных оттенков зеленого цвета. Даже почти у горизонта, где зелень начинала отливать синевой, на фоне которой были заметны более темные поперечные или продольные линии — зеленые изгороди или деревья, — это была очень четко расчерченная сеть полей и городов, похожая на схему нервной системы человека. И, наконец, на самом горизонте виднелись холмы, обрамлявшие долину, — одна синяя складка за другой, мягкие темные волны под ровным, бледно-серым небом.

Более прекрасный вид трудно было себе представить! Мягкость и живость красок, смесь созданного рукой человека прямоугольного орнамента и пышных естественных контуров растений, разнообразие и гармония создавали впечатление сложного и единого целого; в природе ему такого еще наблюдать не приходилось, только иногда, очень редко и в малой степени — на некоторых безмятежных, задумчивых и прекрасных человеческих лицах.

В сравнении с этим любой пейзаж Анарреса — даже долина Аббеная и устье реки Не Терас — казался убогим: бесплодная,

сухая земля, едва начавшая оживать под рукой человека. В пустынях юго-запада была, пожалуй, своя вольная красота простора, однако в ней чувствовалась враждебность человеку и безвременье. На Анарресе, даже там, где наилучшим образом было развито земледелие, возделанные поля напоминали скорее грубый набросок на грифельной доске желтым мелом, в сравнении со здешним воплощенным чудом жизни, богатой как своим прошлым, так и будущим, неистощимым.

Да, вот так и должна выглядеть настоящая планета людей, подумал Шевек.

И где-то за пределами этого синего и зеленого великолепия звучало пение: тоненький голосок высоко в небе выводил простую нежную мелодию, то громко, то замолкая. Что это? Чей это голос? Чья музыка в воздухе?

Шевек прислушался; дыхание прерывалось в груди от восторга.

В дверь постучали. Забыв, что так и не оделся, и не отрывая глаз от окна, Шевек сказал:

— Войдите!

Вошел какой-то человек со множеством пакетов. Да так и застыл в дверях. Шевек подошел к нему, назвал себя по имени, как это было принято у них на Анарресе, и протянул руку для рукопожатия, как это принято было на Уррасе.

Человек — ему было лет пятьдесят, но лицо старое, покрытое морщинами, — что-то пробормотал неразборчиво и протянутую руку не пожал. Может быть, ему мешали бесчисленные свертки и конверты? Впрочем, он и не пытался от них избавиться. Смотрел он исключительно мрачно и, похоже, был чем-то сильно смущен.

Шевек, который полагал, что уже научился здороваться так, как принято на Уррасе, пребывал в замешательстве.

— Ну-ну, входите же! — повторил он и прибавил, поскольку эти урраст обожали всякие титулы и звания: — Входите, пожалуйста, господин... э-э-э?

Человек разразился новым потоком невразумительных восклицаний, бочком продвигаясь к спальне. Шевек уловил несколько знакомых слов, однако общий смысл сказанного так и остался для него загадкой. Он позволил этому типу пробраться в спальню, поскольку тот явно этого хотел. Может быть, он один из его соседей? Но ведь в спальне только одна кровать! Шевек, ничего не понимая, вернулся к окну, а незнакомец, поспешно проскользнув в спальню, чем-то там некоторое время стучал и гремел. В точности (предположил Шевек) как вернувшийся с ночной смены человек, который пользуется твоей постелью днем — такое расписание иногда имело место во временно

перенаселенных общежитиях Анарреса. Потом человек снова вышел из спальни и сказал что-то вроде «ну вот и все». Потом, как-то странно понурив голову, словно боялся, что Шевек, стоявший метрах в пяти от него, может его ударить, вышел. Шевек обалдело стоял у окна, медленно осознавая, что впервые в жизни ему кто-то поклонился.

Он прошел в спальню и обнаружил, что постель аккуратно застлана.

Медленно, задумчиво Шевек оделся. Он уже обувался, когда в дверь снова постучали.

Эти люди вошли совсем иначе: нормально. Словно имели полное право войти сюда или в любое другое место, когда захотят. Тот человек со свертками все время чего-то опасался, двигался бочком, стесненно, но тем не менее его внешность и одежда были Шевеку чем-то ближе, казались почти привычными, тогда как у новых посетителей!.. Тот, осторожный его гость вел себя странно, однако выглядел как житель Анарреса. Эти же четверо вели себя как анаррести, но выглядели — со своими выбритыми физиономиями и черепами — в своих пышных одеждах точно представители иной космической расы.

Шевек наконец в одном из них умудрился признать Пае, а в остальных — тех физиков, с которыми провел вчерашний вечер. Он извинился и объяснил, что не успел запомнить их имена; они, улыбаясь, представились снова: доктор Чифой-лиск, доктор Ойи и доктор Атро.

— Черт возьми! — воскликнул Шевек. — Неужели вы — Атро! Как же я рад вас видеть! — Он обнял старика за плечи и поцеловал в щеку, прежде чем успел подумать, что его братское приветствие, обычное на Анарресе, здесь, вполне возможно, выглядит неприличным или вообще неприемлемым.

Атро, однако, тоже сердечно обнял Шевека, глядя ему в лицо затянутыми влажной пленкой серыми глазами. Шевек понял, что старик практически слеп.

— Мой дорогой Шевек, — сказал он, — я тоже очень, очень рад! Добро пожаловать в А-Йо, на Уррас, домой!

— Ах, сколько лет мы писали друг другу письма! Сколько лет разбивали в пух и прах теории друг друга!

— Вам это всегда удавалось лучше, — заметил Атро. — Вот, держите-ка, я кое-что вам принес. — Старик пошарил в карманах. Под бархатной университетской мантией у него был еще пиджак, под пиджаком — жилет, под жилетом — рубашка, а под всем этим, похоже, еще слой одежды и не один! И во всем, не говоря уж о брюках, имелись карманы! Шевек прямо-таки завороженно смотрел, как Атро роется в них; в каждом кармане что-то лежало,

явно полезное. Наконец он извлек — из шестого или седьмого по счету кармана — небольшой куб желтого металла на подставке из полированного дерева. — Вот! — сказал он торжественно, указывая на куб. — Это приз Сео Оен, который, как известно, достался вам. А деньги уже переведены на ваш счет. Конечно, вы на девять лет опоздали, но лучше поздно, чем никогда. — Руки у Атро дрожали, когда он вручал Шевеку приз Сео Оен.

Куб был тяжелый: он оказался из чистого золота. Шевек не знал, куда его деть.

— Вы как хотите, молодые люди, — сказал Атро, — а я сяду. — И все тут же плюхнулись в глубокие мягкие кресла (их Шевек уже успел как следует рассмотреть, удивленный их обивкой — каким-то не имеющим переплетения нитей материалом коричневого цвета, который на ощупь больше всего походил на кожу). — Сколько вам тогда было лет, Шевек?

Атро был самым старым из ныне живущих физиков Урраса. В нем ощущалось не только достоинство старейшего, но и туповатая самоуверенность человека, который привык ко всеобщему уважению. Ничего нового, подумал Шевек. Этот тип «авторитетного ученого» был ему уже хорошо знаком. И, в конце концов, было даже приятно, что к нему наконец обращаются просто по имени.

— Когда я завершил «Принципы»? Двадцать девять.

— Двадцать девять? Господи! Это значит, что минимум за последние сто лет вы самый молодой из лауреатов премии Сео Оен! Вас еще на свете не было, когда я получил свою премию — а ведь мне тогда уже стукнуло шестьдесят!.. А сколько вам было, когда вы впервые написали мне?

— Около двадцати.

Атро насмешливо фыркнул:

— А я вас за сорокалетнего принял!

— Ну а каков ваш Сабул? — поинтересовался Ойи. Он был совсем маленького роста, ниже даже, чем обычный, средний уррасти, хотя все они казались Шевеку ужасными коротышками. У Ойи было плоское ласковое лицо и миндалевидные, абсолютно черные глаза. — Был такой период — лет шесть-семь, — когда вы совершенно перестали писать нам, тогда как Сабул продолжал поддерживать с нами связь; однако в радиодебатах он никогда не участвовал. И нам всегда страшно хотелось узнать, каковы отношения между вами...

— Сабул — глава физического факультета в Аббенае, — сказал Шевек. — Я с ним много работал.

— Все ясно! Старший соперник; ревнивый, раздраженный вашими успехами... Мы так и подумали с самого начала. Вряд ли

стоило задавать столь бестактный вопрос, Ойи, — довольно резко сказал четвертый их собеседник, Чифойлиск. Это был человек средних лет, смуглый, плотный, с тонкими красивыми руками, не знающими физического труда. Он, единственный из всех, не до конца выбрил себе лицо: на подбородке у него поблескивала бородка того же серо-стального цвета, что и волосы на голове. — Вы знаете, Шевек, не стоит притворяться, что все ваши братья-одонийцы исполнены горячей братской любви друг к другу, — сказал он. — Человеческая природа везде одинакова.

Ответное молчание Шевека не вызвало у присутствующих замешательства только потому, что он вдруг неудержимо расчихался.

— Ох, простите, у меня даже носового платка нет, — извинился он, вытирая глаза.

— Возьмите мой, — предложил Атро и протянул ему белоснежный платок, извлеченный из одного из своих бесчисленных карманов. Шевек взял платок, и тут в душе его ожило одно незначительное, но болезненное сейчас воспоминание: как его дочь Садик, маленькая темноглазая девочка, говорит: «Я могу поделиться с тобой своим платком». Пытаясь прогнать это очень для него дорогое, но невыносимо мучительное воспоминание, Шевек заставил себя улыбнуться и сказал:

— У меня аллергия на вашу планету. Так доктор говорит.

— Господи, неужели вы все время будете так чихать? — посочувствовал старый Атро.

— А разве ваш человек еще не приходил? — спросил Пас.

— Мой человек?

— Слуга. Предполагалось, что он принесет вам кое-что из необходимых вещей. В том числе носовые платки. Вполне достаточно на первое время — пока вы не сможете все купить сами. Правда, ничего особенного, боюсь, мы вам предложить не смогли — готовое платье для мужчины вашего роста подобрать довольно сложно!

Когда Шевеку удалось вычленить эту мысль из общего потока речи Пае (тот говорил очень быстро, сливая одно слово с другим, и его плавная, мягкая, сладкая речь вполне соответствовала его красивому, тоже немного сладкому лицу и артистичным манерам), он сказал:

— Как это любезно с вашей стороны! Я чувствую... — Он посмотрел на Атро. — Я ведь, как вы понимаете, *нищий*, — это он сказал, обращаясь к старому Атро примерно тем же тоном, что и доктору Кимое на «Старательном», — денег я с собой привезти не мог, мы ими не пользуемся. О подарках речь не шла — у нас нет

ничего такого, чего не было бы у вас. Так что я явился сюда, как примерный одониец — то есть «с пустыми руками».

Атро и Пае в один голос заверили его, что он гость, даже и вопроса не может стоять ни о какой плате или подарках, это для них удовольствие — принимать его.

— И кроме того, — вставил Чифойлиск, как всегда довольно кислым тоном, — по счетам все равно платит правительство А-Йо.

Пае метнул в его сторону острый взгляд, однако Чифойлиск и бровью не повел; он смотрел прямо на Шевека с каким-то вызовом, однако Шевек так и не понял, что именно отразилось на его физиономии в этот момент: то ли желание предупредить о чем-то, то ли намек на соучастие — уж не в преступлении ли?

— В этом вся косность вашего мышления, мой дорогой представитель уважаемого государства Тху, — сказал старый Атро Чифойлиску и презрительно хмыкнул. — Но неужели вы, Шевек, хотели сказать, что не привезли с собой ни одной новой работы? И никаких записей? А я-то надеялся получить еще одну книгу, которая совершила бы очередную революцию в физике, и полюбоваться, как наши самоуверенные юнцы будут стоять из-за нее на ушах. Я и сам стоял на ушах, когда прочел впервые ваши «Принципы»... Вы над чем в последнее время работали?

— Ну, я читал работы Пае... доктора Пае... по поводу блокирующей вселенной, а также Парадокса и Относительности...

— Все это прекрасно, разумеется, Сайо — наша восходящая звезда, и меньше всего в этом сомневается он сам, верно, Сайо? Однако какое это имеет отношение к стоимости сыра в мышеловке? Где ваша Общая Теория Времени?

— У меня в голове, — сказал Шевек с широкой ясной улыбкой.

Воцарилось недолгое молчание.

Ойи спросил, видел ли он работы по теории относительности, написанные инопланетным автором, неким Айнзетай-ном с Земли. Шевек с этими работами знаком не был. А здесь ими очень увлекались все, за исключением Атро, который уже по возрасту давно пережил способность чем-либо увлекаться. Пае сбегал в свою комнату и принес Шевеку копию перевода той работы, которая вызывала наибольший интерес.

— Написано несколько веков назад, и столько новых идей! — восхитился он.

— Возможно, — обронил Атро. — Однако ни одному из этих инопланетян так и не удалось постигнуть суть, нашей физической науки. Хайнцы называют ее материализмом, а земляне — мистицизмом, но и те и другие пасуют перед ней. Не увлекайтесь слишком фантазиями чужеземцев, Шевек: они способны увести

вас в сторону. Для нас у них ничего нет. Каждый зверь свою нору стережет, как говаривал мой отец. — Он снова насмешливо хмыкнул и поудобнее устроился в кресле. — Пой-демте-ка лучше прогуляемся по роще. Ничего удивительного, что у вас нос так заложен — вы ведь его на улицу высунуть боитесь.

— Врач сказал, чтобы я три дня не выходил из дому. Что я могу... как это? заразиться? стать заразным?

— Никогда не следует обращать внимание на то, что говорят врачи, дорогой мой.

— Но, возможно, в данном случае как раз стоило бы прислушаться к советам медиков, — осторожно заметил Пае.

— Тем более что врач к вам, Шевек, прислан правительством А-Йо. Я верно говорю? — В голосе Чифойлиска звучала явная угроза.

— И притом это самый лучший врач, какого они смогли найти. В этом я уверен, — без улыбки согласился Атро и вышел из комнаты, более не убеждая Шевека пойти прогуляться. Чифойлиск последовал за ним, а двое более молодых ученых — Пае и Ойи — остались с Шевеком и еще довольно долго беседовали с ним о физике.

С огромным удовлетворением, с невыразимо приятным чувством узнавания, понимания, что все именно так, как и должно быть, Шевек — впервые в жизни! — наслаждался беседой с равными.

Митис, хотя и была прекрасным преподавателем, оказалась все же не способна последовать за ним в те новые области теории, куда он при ее непосредственной поддержке углубился. Граваб была единственным человеком, кто мог оценить его изыскания, кто знал и понимал не меньше, чем он сам, но они с Граваб встретились слишком поздно, в самом конце ее жизненного пути. А потом Шевек работал со многими талантливыми людьми, однако никогда не занимал постоянной должности в Институте, и у него не хватало ни времени, ни сил, ни возможностей, чтобы увести этих людей за собой достаточно далеко, увлечь их своими исследованиями; они вязли в старых проблемах классической физики. Среди коллег у него никогда не было равных. Здесь же, в царстве всеобщего неравенства, он наконец их встретил.

И испытал огромное облегчение, освобождение от интеллектуального одиночества. Физики, математики, астрономы, логики, биологи — всех можно было найти здесь, в Университете; и все охотно приходили к нему, или же он — к ним, и они беседовали о чем угодно, и в этих беседах рождались новые миры. Природа всякой новой идеи такова, что ею необходимо сперва поделиться: описать ее кому-то, обговорить

вслух и только потом попытаться воплотить в жизнь. Идеи, как трава, требуют света и, подобно народам, расцветают за счет смешения кровей. Хороший ковер становится только лучше, когда его потопчут ногами многие.

Даже в самый первый день в Университете, во время беседы с Ойи и Пае, Шевек понял, что нашел то, к чему давно стремился, о чем страстно мечтал с детства, когда они с Тирином и Бедапом допоздна засиживались за «умными» разговорами, поддразнивая и подначивая друг друга и тем стимулируя еще более отважный полет мысли. Он живо припомнил некоторые из этих ночей и Тирина, говорящего, что если б они знали, что в действительности представляет собой Уррас, то, возможно, кому-то из них и захотелось бы туда отправиться... Ах, как он, Шевек, был тогда потрясен этими словами! И, разумеется, сразу набросился на Тирина, и бедняга Тир тут же отступил; он всегда отступал... и всегда был прав!..

Разговор давно прервался. Пае и Ойи вежливо молчали.

— Простите, — сказал Шевек, — голова страшно тяжелая.

— А как вы ощущаете здешнюю силу тяжести? — спросил Пае с очаровательной улыбкой человека, который, точно ребенок-вундеркинд, всегда рассчитывает на свое обаяние и ум.

— Я ее не замечаю, — ответил Шевек. — Только, пожалуй, вот здесь... Как называется эта часть тела?

— Колени... коленные чашечки.

— Да, в коленях. Что-то вроде усталости. Хотя двигаться не мешает. Но я привыкну. — Он посмотрел на Пае, потом на Ойи: — Вы знаете, меня очень интересует один вопрос... Но я, право, не хотел бы никого обидеть...

— Не беспокойтесь, никого вы не обидите, доктор! — заверил его Пае.

— Я не уверен, что вы вообще знаете, как это делается, — поддержал приятеля Ойи. Он был не такой сладкий «симпатяга», как Пае. Даже говоря о физике, он будто что-то утаивал, скрывал — он вообще был очень сдержанный, замкнутый, хотя за этим — и Шевек отчетливо чувствовал это — была некая надежность, то, чему можно верить. Тогда как за очарованием Пае... нет, решительно невозможно было понять, что там, внутри этой блестящей оболочки... Ладно, неважно, решил Шевек. Буду вести себя так, будто верю им всем. Придется, ничего не поделаешь.

— Где ваши женщины? — прямо спросил он.

Пае рассмеялся. Ойи улыбнулся, и оба поинтересовались:

— В каком смысле?

— Во всех! Вчера я познакомился с несколькими на приеме — их там было не более десяти. И сотни мужчин! И ни одна из тех

женщин, по-моему, к ученым не имела ни малейшего отношения. Кто же они были?

— Жены. Между прочим, одна из них была моей женой, — сказал Ойи со своей затаенной улыбкой.

— Но где же другие женщины?

— Ах, доктор, в этом вопросе ничего сложного нет, — быстро ответил Пае. — Вы просто скажите, какие женщины вам больше нравятся, и нет ничего легче: вам доставят именно таких.

— Здесь ходят весьма занятные слухи насчет обычаев анаррести, однако, по-моему, у нас с вами практически нет расхождений во взглядах, — заметил Ойи.

Шевек понятия не имел, что они оба имеют в виду. Он поскреб в затылке:

— Так, значит, здесь все ученые — мужчины?

— Ученые? — с недоверием переспросил Ойи.

Пае покашлял и неуверенно заговорил:

— Ну да, ученые. Да, разумеется! Все они мужчины. В школах для девочек есть, правда, некоторое количество преподавателей-женщин. Однако чаще всего без университетского диплома.

— Почему же?

— Ну, видимо, потому что математика им не по зубам, — улыбнулся Пае. — Женщины плохо приспособлены для абстрактного мышления; они ведь совсем иные, чем мы, мужчины, вы и сами это прекрасно понимаете. Женщины способны думать только о том, что связано с детородными органами! Разумеется, всегда можно найти отдельные исключения; попадаются страшно умные женщины, но... абсолютно фригидные.

— А вы, одонийцы, разрешаете женщинам заниматься наукой? — спросил Ойи.

— Ну а... Конечно! Среди них немало талантливых ученых.

— Надеюсь, не так уж много?

— Примерно половина всех наших ученых — женщины.

— Я всегда говорил, — сказал Пае, — что девушки, правильно технически обученные, могли бы в значительной степени снять нагрузку с мужчин в любой лаборатории. Женщины действительно порой куда ловчее и быстрее, особенно на конвейере или в серийных, повторяющихся операциях; к тому же они более послушны и понятливы — им не так быстро все надоедает. Мы могли бы высвобождать значительно больше мужчин для творческой работы, если бы в определенных областях использовали женщин.

— Только не в моей лаборатории! — сказал Ойи. — Пусть лучше остаются на своем месте.

— А вы находите, что любая женщина способна к интеллектуальной творческой деятельности, доктор Шевек? — спросил Пае.

— Естественно. Более того. Именно женщины-то меня и «откопали»! Митис — в Северном Поселении — была моим первым настоящим учителем, а Граваб — о ней-то вы слышали, я полагаю?..

— Граваб была женщиной? — вырвалось у потрясенного Пае. Он даже рассмеялся.

Ойи выглядел обиженным и совершенно неубежденным.

— Разумеется, по вашим именам судить трудно, — холодно заметил он. — Возможно, вы сознательно выбираете такие имена, которые не дают никакого представления о половых различиях...

— Одо, между прочим, была женщиной, — мягко возразил Шевек.

— Ну вот! Конечно! — воскликнул Ойи. Он не пожал плечами, хотя слова его звучали так, будто он это сделал. Пае смотрел уважительно и кивал — в точности как когда слушал бормотание старого Атро.

Шевек видел, что затронул в этих людях некую неличностную враждебность к противоположному полу, чрезвычайно глубоко коренившуюся в их сознании. Очевидно, и эти представления, и округлые формы мебели на космическом корабле — свидетельство того, что женщина существует здесь только для удовлетворения сексуальных потребностей и деторождения, этакая красивая бессловесная тварь, а порой и фурия — зато в золоченой клетке... Нет, он не имеет права дразнить их. Они не знают иных отношений, кроме обладания. И не понимают, что сами тоже являются объектом обладания.

— Красивая умная женщина, — сказал Пае, — для нас объект вдохновения! Самое ценное на земле.

Шевек почувствовал себя очень неуютно. Он встал и подошел к окну.

— Ваш мир так прекрасен, — сказал он. — Я мечтаю посмотреть его как следует! Но пока я вынужден оставаться в помещении, не принесете ли вы мне каких-нибудь книг?

— Ну разумеется, доктор! Какие именно книги вас интересуют?

— Исторические! Желательно с иллюстрациями. Или романы, рассказы... Любые. Может быть, даже для детей. Видите ли, я слишком мало знаю о вашей планете. У нас были в школе уроки, посвященные Уррасу, но они главным образом, касались эпохи Одо. А ведь до этого прошло не меньше восьми с половиной тысячелетий! Да и со времен заселения Анарреса уже полтора

века миновало. И с тех пор в отношении Урраса мы полные невежды! Ничего не знаем и не желаем знать о вас. Как и вы о нас, впрочем. А ведь вы — наша история. А мы, возможно, — ваше будущее. Я хочу учиться, а не отворачиваться от знаний. Именно по этой причине я и прилетел сюда. Мы должны как следует узнать друг друга. Мы ведь не примитивные существа. И наша мораль, наше мировоззрение никак не могут иметь трайбалистский характер. Просто не могут! Незнание друг друга в нашем случае совершенно недопустимо; оно может явиться источником крупных бед. Так что я прилетел сюда учиться, узнать и постараться понять вас.

Шевек говорил очень искренне. Пае с энтузиазмом поддержал его:

— Совершенно справедливо! Мы полностью разделяем и поддерживаем все ваши начинания, доктор Шевек!

Ойи, глядя на Шевека своими непроницаемо-черными миндалевидными глазами, спросил осторожно:

— Значит, вы прибыли главным образом как эмиссар своей страны?

Шевек ответил не сразу. Он отошел к камину и присел на мраморную скамью, которую уже считал «своей». Ему нужна была такая «собственная» территория. Он чувствовал, что сейчас нужно быть очень осторожным. Но еще сильнее он ощущал ту потребность, что перенесла его через черное пространство космоса — потребность в общении, желание разрушить проклятые стены.

— Я прибыл, — неторопливо начал он, — как старший член нашего Синдиката инициативных людей; это мы вели переговоры с Уррасом по радио в течение двух последних лет. Однако, как вам, должно быть, известно, я не посол, не обладаю никакими полномочиями и не представляю никакие государственные институты. Надеюсь, вы приглашали меня сюда, понимая все это?

— Безусловно, — подтвердил Ойи. — Мы приглашали вас — знаменитого физика Шевека — с одобрения нашего правительства и Совета Государств Планеты. Здесь вы находитесь как частное лицо, как гость Университета Йе Юн.

— И очень хорошо!

— Однако мы не были уверены, получите ли вы одобрение на эту поездку со стороны... — он заколебался.

— Моего правительства? — с улыбкой подсказал Шевек.

— Мы знаем, что формально на Анарресе никакого правительства не существует. Однако там, очевидно, все-таки есть какая-то администрация? И мы полагаем, что та группа людей, которая вас послала, этот ваш Синдикат, представляет собой

некую фракцию; возможно, революционную...

— На Анарресе все революционеры, Ойи... У нас сеть различных учреждений, занимающихся охраной и управлением, называется Координационным Советом по производству и распределению; в него входят представители всех синдикатов и федераций, а также частные лица. На Анарресе нет такой власти, которая могла бы поддержать меня или, напротив, помешать мне. А информационный отдел КСПР может лишь сообщить людям, например членам нашего Синдиката, то общественное мнение, которое о нас сложилось — и мы сможем определить, какое место занимаем в сознании народа. Вы это хотели узнать? Что ж, в таком случае признаюсь: я и мои друзья из Синдиката чаще всего получают в нашем обществе негативную оценку. Большая часть населения Анарреса ничего не желает знать об Уррасе; они его боятся и не хотят иметь ничего общего с «собственниками». Простите, если я грубо выражаюсь! Здесь ведь то же самое по отношению к нам — по крайней мере среди значительной части вашего населения — верно? Презрение, страх, трайбализм. Вот я и прилетел сюда, чтобы все это постепенно переменить.

— И действуете исключительно по собственной инициативе, — подчеркнул Ойи.

— Это единственная инициатива, которую я признаю, — улыбнулся Шевек, оставаясь совершенно серьезным.

Следующие два дня он провел в беседах с учеными, приходившими навестить его, читал книги, которые принес ему Пае, а порой просто подолгу простаивал у окна и смотрел, как в широкую долину неторопливо приходит лето. Теперь он знал названия многих пернатых певуний, нежно переговаривавшихся в небесной выси, знал, как они выглядят, благодаря картинкам в книге, но тем не менее, стоило ему услышать их пение или шорох крыльев, как он застывал, очарованный, точно ребенок.

Он ожидал, что будет чувствовать себя на Уррасе совершенно чужим, потерянным, никому не нужным — но ничего подобного не произошло. Разумеется, по-прежнему было множество вещей, которых он не понимал; он с первого взгляда убедился, что здесь для него слишком много непонятного: невероятно сложные общественные структуры Урраса, различные нации, классы, касты, культы, обычаи и бесконечно долгая, полная драматизма и подлинных ужасов история. Да и каждый новый человек, с которым он знакомился, являл собой очередную головоломку, средоточие неожиданностей. Однако уррасти вовсе не были грубыми, холодными эгоистами, как он когда-то предполагал; они были столь же сложны и разнообразны, как культура их

планеты, как их природа. И они безусловно были умны и добры. Они относились к нему, как к брату, они делали все возможное, чтобы он не чувствовал себя здесь одиноким, потерянным, чужим. Чтобы он чувствовал себя как дома. И это действительно было так! Ему было здесь легко! Все это — прозрачность воздуха, косые солнечные лучи на склонах холмов, даже несколько излишняя сила тяжести, которую он ощущал всем телом, — убеждало его, что здесь действительно его дом, колыбель его народа; что красота этого мира принадлежит ему по праву.

Тишина, бесконечная тишина Анарреса. Он часто думал о ней по ночам. Там никогда не пели птицы. Там не было иных голосов, кроме голосов людей. Молчащая природа. Бесплодная земля.

На третий день старый Атро принес ему целую кипу газет. Пае, который чаще других составлял Шевеку компанию, ничего не сказал Атро, но, когда старик ушел, заявил:

— Все это мусор, доктор Шевек! Почитать, конечно, занятно, но только не верьте ничему, что прочтете в этих газетах.

Шевек взял самую верхнюю. Печать была плохая, бумага желтая, грубая. Впервые на Уррасе он держал в руках грубо сделанную вещь. Очень похоже на бюллетени КСПР или на региональные отчеты, которые на Анарресе выполняли функцию газет. Однако стиль здешних газет весьма сильно отличался от тех бюллетеней — практических, основанных на фактическом материале. Слишком много эмоций, восклицательных знаков и картинок. Он тут же наткнулся на собственную фотографию — сразу после приземления, в тот момент, когда Пае пожимал ему руку. На фотографии Шевек глядел хмуро. «Первый человек с луны!» — гласил огромный заголовок над фотографией. Заинтересованный, Шевек стал читать дальше:

«Это его первый шаг по нашей планете! Он наш первый гость со времен заселения Анарреса, то есть за последние 170 лет. Доктор Шевек сфотографирован во время своего прибытия на Уррас с рейсовым грузовым кораблем. Это известный ученый, лауреат премии Сео Оен, которой был удостоен за служение делу человечества. Доктор̂ Шевек согласился занять место профессора в Университете Йе Юн — такой чести никогда еще не удостаивался ни один из инопланетян. На вопрос о том, каковы были его чувства, когда он впервые увидел Уррас вблизи, знаменитый физик ответил: “Для меня великая честь — быть приглашенным на вашу прекрасную планету. Надеюсь, что началась новая эра мирных дружеских отношений между планетами созвездия Кита, и отныне Уррас и Анар-рес будут двигаться вперед вместе, как и подобает братьям...”»

— Но я же ничего подобного не говорил! — возмутился Ше-

век, глядя на Пае.

— Разумеется, нет! Мы этих газетчиков даже близко к вам не подпустили! Все это их выдумки. Они вполне способны написать то, чего вы не только никогда не говорили, но и никогда не намерены были говорить. И при этом вы вообще могли все время молчать или даже просто отсутствовать в данном конкретном месте.

Шевек прикусил губу.

— Ну хорошо, — сказал он наконец. — Вообще-то, если бы я тогда действительно решил что-то сказать, то примерно нечто подобное и сказал бы... Но что это за «созвездие Кита»?

— Это земляне называют наши планеты «созвездием Кита». Наверное, этим словом — «Кит» — они обозначают наше солнце. Пресса недавно подхватила этот термин и теперь пользуется им вовсю. Знаете, незнакомое слово будит фантазию обывателя.

— Значит, в «созвездие Кита» входят и Уррас с Анарресом?

— Видимо, — нехотя сказал Пае с подчеркнутым безразличием.

Шевек продолжил знакомство с местной прессой. Он прочел, что, оказывается, похож на великана ростом с башню; что он — вы только представьте себе! — не бреет волосы и является обладателем целой гривы (интересно, что означает слово «грива»?) седеющих волос; что его размеры — 37, 43 и 56; что он написал большую работу по физике, которая называется «Принципы Одновременности (в зависимости от уровня газеты иногда встречалось и «ПринцЕпы Адновр Именности»); что он является добровольным посланником одонийского правительства (интересно?) Анарреса; что он вегетарианец и что, как и все жители Анарреса, *ничего не пьет*... Последнее утверждение его доконало, и он смеялся так долго, что заболели бока.

— Черт возьми, ничего не скажешь — воображение у них работает! Они, видно, считают, что мы живем за счет испарений, как мхи на скалах?

— Они хотели сказать, что вы не употребляете спиртных напитков, — сказал Пае, тоже смеясь. — Единственное, по-моему, что всем известно об одонийцах. Между прочим, это действительно так?

— Некоторые умудряются получать с помощью перегонки спирт из обработанных ферментами корней дерева-холум и пьют эту гадость — утверждают, что в результате возникает непередаваемая игра воображения, куда лучше аутогипноза. Но большинство все же предпочитают последнее — научиться этому несложно, и никаких заболеваний это не сулит. А что, здесь таких «любителей» много?

— Выпивки? Да, весьма. А о заболеваниях я ничего не знаю. Какое именно вы имели в виду?

— Алкоголизм, так, по-моему, оно называется.

— А, понятно... Но скажите, а как у вас, на Анарресе, развлекается рабочий люд? Когда после тяжелой работы хочет расслабиться, уйти от повседневных забот? С кем-нибудь провести ночь, наконец?

Шевек тупо смотрел на него:

— Ну, мы... не знаю. Возможно, от наших забот никуда не уйдешь...

— Странно, — сказал Пае и обезоруживающе улыбнулся.

Шевек снова углубился в газеты. Одна из них была на неизвестном ему языке, другая использовала совершенно незнакомую письменность. Первая издавалась в государстве Тху, пояснил Пае, а вторая — в Бенбили, в западном полушарии. Газета из Тху отличалась прекрасным качеством печати и весьма скромными размерами; Пае сказал, что это «правительственная газета».

— Здесь, в А-Йо, образованная часть населения черпает информацию главным образом благодаря телефаксу, радио, телевидению и серьезным еженедельникам с обзорами новостей. А ежедневные газеты читают в основном представители низших классов — они и написаны полуграмотными людьми для таких же полуграмотных. Да вы уже и сами в этом убедились. У нас в А-Йо полная свобода прессы, что неизбежно приводит к тому, что мы получаем груды всякого газетного мусора. Газета из Тху сделана значительно более профессионально, однако в ней сообщается только то, что разрешено их Центральным президиумом. Там цензура работает вовсю. Государство — это все, и все — для государства. Вряд ли подходящее место для одонийца, верно?

— А это что за письменность?

— Вот тут я, честное слово, почти ничего сообщить вам не смогу. Бенбили — страна довольно отсталая. И там без конца происходят какие-то революции.

— Однажды мы получили из Бенбили сообщение — на той волне, которой пользуется наш Синдикат. Это произошло незадолго до моего отъезда...^ Эта группа людей называла себя одонийцами. А здесь, в А-Йо, есть подобные группы?

— Я о них никогда не слышал, доктор Шевек.

Стена. Шевек сразу узнал ее. Стеной служило обаяние этого молодого человека, его очаровательные манеры, его равнодушие.

— По-моему, вы меня боитесь, Пае! — сказат он вдруг резко.

— Боюсь вас, доктор?

— Потому что я — уже самим своим существованием —

делаю необязательным доказательство необходимости государственной машины. Однако бояться меня не стоит. Я вас не съем, Сайо Пае. Вы же знаете, что лично я вполне безобиден... Послушайте, я не «доктор». Мы не употребляем титулы и звания. Меня зовут просто Шевек.

— Я знаю. Простите, доктор Шевек. Видите ли, на нашем языке это звучало бы неуважительно. Так нельзя обращаться к другим. Это неправильно! — Он извинялся, а глаза победоносно блестели: он был уверен, что ему все сойдет с рук.

— Неужели вы не можете воспринимать меня как равного? — спросил Шевек, наблюдая за ним без возмущения, без печали.

В кои-то веки Пае смутился.

— Но, доктор... вы же все-таки всемирно известная личность...

— А впрочем, с какой стати вам менять из-за меня свои традиции и привычки? — продолжал Шевек, как бы не слыша его. — В общем, неважно. Я просто подумал, что вам, быть может, приятно было бы избавиться от излишних церемоний, вот и все.

Три дня вынужденного сидения в помещении переполнили Шевека энергией, и когда его наконец «выпустили на свободу», он буквально измотал сопровождающих, желая увидеть как можно больше и все сразу. Его водили по Университету, который уже сам по себе был равен вполне приличных размеров городу — шестнадцать тысяч студентов, множество факультетов. С общежитиями, комнатами отдыха, театрами, залами и тому подобным он не слишком отличался от студенческого городка одонийцев на Анарресе, разве что здания здесь были очень стары, помещения отличались невероятной роскошью, ни одного женского лица увидеть было невозможно, да и организован Университет Йе Юн был не по принципу федерации, а по принципу иерархии. И все-таки, думал Шевек, здесь почему-то сохранилось некое ощущение коммуны, научного сообщества. Ему все время приходилось напоминать себе, что он не дома.

Его возили за город, взяв напрокат автомобиль — обычно очень красивый и элегантный. На дорогах машин в целом было немного; взять машину напрокат было дорого, и совсем уж немногие владели частными автомобилями, поскольку при покупке (и за содержание) приходилось платить огромный налог. Подобные предметы роскоши, будучи разрешены совершенно свободно, непременно привели бы к невосстановимому истощению природных ресурсов или же к полному загрязнению окружающей среды, если бы не строжайший контроль в плане их распределения и налогообложения. Сопровождавшие Шевека

говорили об этом не без гордости. А-Ио в течение многих веков занимало первое место среди государств планеты в плане экологического контроля и экономного расходования природных ресурсов. Эксцессы девятого тысячелетия стали древней историей; единственным их неизбывным последствием осталась нехватка некоторых металлов, которые, к счастью, можно было импортировать с луны.

Путешествуя на машине или на поезде, Шевек видел деревни, фермы, города, укрепленные замки, сохранившиеся со времен феодализма; восхищался разрушенными башнями Ае, древней столицы А-Йо, и на севере — острыми белыми пиками гряды Мейтеи. Красота этой земли и благополучие ее народа не переставали удивлять его. Да, его гиды были правы: уррасти умеют хозяйничать в своем мире. В детстве Шевека учили, что Уррас — это гноящаяся масса пороков, несправедливостей и излишеств, всего ненужного нормальному человеку, «экскрементального». Однако все люди, которых он встречал на этой планете, даже в самых маленьких провинциальных деревушках, были хорошо одеты, здоровы и сыты и, вопреки его собственным ожиданиям, вполне деятельны и изобретательны. Они не слонялись тупо без дела, ожидая, когда им что-то прикажут. В точности как у них, на Анарресе, люди постоянно сами находили себе занятие, им вечно что-нибудь нужно было сделать. Это озадачило его. Он полагал, что если человека лишить основного побудительного мотива — собственной инициативы, желания созидать — и заменить его внешней мотивацией и принуждением, то человек этот станет работать лениво и равнодушно. Однако ни равнодушных, ни ленивых работников он что-то не замечал ни на одной из этих прелестных ферм. И уж конечно не отупевшие от отсутствия собственной инициативы лентяи создавали эти превосходные автомобили и комфортабельные поезда. Соблазны «выгоды» оказались, видимо, куда более эффективным заменителем естественной инициативы, как приходилось признать.

Ему очень хотелось поговорить с этими крепкими, исполненными самоуважения людьми — жителями маленьких городков; спросить их, например, считают ли они себя бедняками. Ибо если это и есть бедняки, то ему придется полностью пересмотреть свое отношение к этому слову. Однако его провожатым, похоже, вечно не хватало времени — им слишком многое хотелось ему показать.

Остальные крупные города А-Йо находились слишком далеко от столицы, чтобы за один день на автомобиле можно было съездить туда и обратно. А вот в столицу, Нио Эссейю, его возили

довольно часто. Она находилась всего в пятидесяти километрах от Университета. Там за короткий период состоялась целая череда приемов в его честь. Это ему не слишком нравилось. Подобные приемы совершенно не укладывались в его представления о приятном времяпрепровождении. На них все были чрезвычайно, изысканно вежливы, очень много говорили, чаще всего попусту, и без конца улыбались. Из-за этих разговоров и улыбок присутствующие казались Ше-веку чем-то встревоженными. Однако наряды уррасти были поистине великолепны; они, казалось, вкладывали всю веселость и легкомыслие, которых так недоставало их поведению, в одежду и яства, а также — в приготовление разнообразных напитков и коктейлей, которые здесь так любили. Достаточно кокетливым было и роскошное убранство комнат и залов, где проводились подобные приемы.

Его много возили по городу; население Нио Эссейи составляло пять миллионов человек (примерно четверть населения его родной планеты). Он видел площадь Капитолия, гигантские бронзовые двери Директората; ему разрешили присутствовать на дебатах в сенате и на заседании одной из комиссий Совета директоров. Его сводили в зоопарк, в Национальный музей, в Музей науки и промышленности. Привели в школу, где очаровательные детишки в сине-белых формах специально для него спели государственный гимн А-Йо. Он посетил завод электронного оборудования, полностью автоматизированный сталелитейный завод, атомную электростанцию. Все это делалось для того, чтобы он своими глазами увидел, сколь эффективно развивается экономика «этого государства собственников» и как экономно оно расходует свои энергетические ресурсы. Ему продемонстрировали также новые участки жилой застройки, где дома строило государство — чтобы он понял, как государство заботится о своих гражданах. Потом на пароходике они совершили прогулку по эстуарию реки Суа, забитому разнообразными судами, прибывшими сюда со всех концов планеты, и даже немного проплыли по открытому морю. Он побывал на заседании Верховного суда и целый день слушал различные гражданские и уголовные дела — чем был чрезвычайно потрясен и даже напуган. Однако его заставили посмотреть все, что, с точки зрения его провожатых, стоило посмотреть, а также то, что хотелось посмотреть ему самому. Когда он несколько неуверенно спросил, нельзя ли съездить на могилу Одо, его моментально отвезли на старое кладбище в районе Транс-Суа и даже разрешили репортерам из презренных газет сфотографировать его — в тени огромных старых ив у

простого, однако отлично ухоженного надгробия с надписью:

Лайя Асьео Одо

698-769

Быть целым — не значит не быть частью.

Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение.

Затем его отвезли в Родарред — место, где заседает Совет Государств Планеты: он намерен был обратиться к Совету с приветственным словом. Он очень надеялся встретить там кого-нибудь из инопланетян — послов с Земли или с Хайна, — однако распорядок его дня был составлен по чрезвычайно жесткому графику, и подобное мероприятие туда никак не вписывалось. Он очень много работал над своей речью, в которой содержалась просьба об установлении свободы общения между двумя мирами и об их взаимном признании. Его выступление было встречено десятиминутной овацией. Наиболее уважаемые, элитарные еженедельники одобрительно прокомментировали это событие, назвав речь Шевека «бескорыстным душевным порывом великого ученого-инопланетянина», однако ни одной цитаты из выступления Шевека не привели; как и массовая пресса, впрочем. На самом деле, несмотря на устроенную овацию, у Шевека осталось странное ощущение, что никто его выступления вообще не слышал. А может, не слушал.

Ему было предоставлено право и возможность посетить множество мест: лабораторию по исследованию природы света, Национальный архив, лабораторию ядерных технологий, Национальную библиотеку в Нио, увидеть ускоритель частиц в Мифеде, заглянуть в Фонд космических исследований в Дрио. Хотя все, что он видел на Уррас,е, только разжигало его аппетит и ему хотелось смотреть еще и еще, однако же нескольких недель «жизни туриста» утомили его: все это было настолько восхитительно, поразительно и великолепно, что в конце концов набило оскомину. Ему уже хотелось остаться в Университете,

спокойно поработать, подумать — хотя бы некоторое время. Однако же в последний день осмотра достопримечательностей он сам попросил, чтобы его подольше поводили по Фонду космических, исследований. Пае был этой его просьбой очень доволен.

Многое из того, что он видел в последнее время, вызывало у Шевека, пожалуй, даже некоторую оторопь — настолько все это было древним, построенным много веков или даже тысячелетий назад. Но здание Фонда, напротив, было совершенно новым, построенным в изысканном и элегантном современном стиле. Его архитектура показалась Шевеку поистине драматичной. Видимо, это достигалось за счет игры красок, благодаря чему пропорции здания как бы постоянно менялись. Лаборатории были просторны и полны воздуха; вспомогательные предприятия и хранилища запчастей, реактивов и прочих необходимых для работы ингредиентов разместились за прелестной колоннадой, соединенной арками. Ангары поражали своими размерами; они были точно соборы с цветными стенами витражей и фантастическими пейзажами. Люди же, которые там работали, казались очень спокойными и солидными. Они тут же увели Шевека с собой, избавив его от надоевших гидов, и сами показали ему свой Фонд, включая все стадии экспериментального исследования новой межгалактической тяги, над которой в данный момент работали, — от компьютерных схем до полуготового корабля, гигантского и совершенно сверхъестественного — в оранжевых, фиолетовых и желтых огнях — внутри огромного геодезического ангара.

— У вас уже столько всего сделано! — сказал восхищенный Шевек одному из тех инженеров, которые вызвались его сопровождать; этого инженера звали Оегео. — И столько еще предстоит сделать! И вы просто отлично справляетесь со всеми задачами! У вас великолепно поставлена координация и кооперация, а каков размах!

— Ну а вам-то, со своей стороны, разве нечего положить на весы? — улыбнулся инженер.

— Ну не космические же корабли? Наш космический флот состоит из тех развалин, на которых прилетели первые поселенцы почти двести лет назад. Для того чтобы построить самый обыкновенный корабль — скажем, баржу, на которой перевозят по морю зерно, — нам приходится все планировать за год, ибо даже такое усилие требует большого напряжения всей экономики Анарреса.

— Да, товары-то у нас есть, это правда, — кивнул Оегео. — Но, знаете, ведь, как ни странно, а вы и есть тот самый человек,

который запросто может сказать нам: «А ну-ка, братцы, пустите-ка все это на металлолом!»

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду создание суперсветовых кораблей, — сказал Оегео. — Квантовые переходы. Нуль-передачу. Старые физики говорят, что это невозможно. Земляне, например. А вот хайнцы, которые, в конце концов, и ту тягу придумали, которой мы сейчас пользуемся, думают иначе. Только они пока не знают, как этого добиться на практике. Ведь сейчас-то они методы исследования у нас заимствуют — особенно в области элементарных частиц, то есть физики времени... Совершенно очевидно, доктор Шевек, что если решение этой задачи уже у кого-то в кармане — в известных нам мирах, разумеется, — то таким человеком можете быть только вы.

Шевек посмотрел на него холодно, взгляд его светлых глаз был тверд.

— Я теоретик, Оегео. Не изобретатель.

— Если вы сумеете создать Общую Теорию Времени, объединяющую классическую физику, квантовую теорию и принцип одновременности, то корабли мы изобретем. И окажемся на Земле или на Хайне, или в другой галактике буквально в тот же миг, как покинем Уррас! Эта посудина, — и он посмотрел вниз, где в ангаре покоилась громада недостроенного корабля, — будет тогда казаться столь же допотопной, как телега, запряженная волами.

— Вы строите современный корабль и одновременно мечтаете о будущем — как это прекрасно! — сухо откликнулся Шевек, сохраняя прежнюю настороженность.

И хотя здешние инженеры еще многое хотели показать ему и обсудить с ним свои планы, он вскоре сказал с той простотой, которая исключала всякую ироническую интерпретацию:

— По-моему, я вас достаточно утомил, так что лучше вам вернуть меня в общество моих гостеприимных хозяев.

Они выполнили его просьбу и тепло распрощались с ним. Шевек сел в машину, потом снова вылез и спросил:

— Я все время забываю... У нас есть время, чтобы посмотреть в Дрио еще одну вещь?

— Но в Дрио больше ничего интересного нет, — сказал Пае, как всегда вежливый и очень старавшийся скрыть свое раздражение во время пятичасовой эскапады Шевека по лабораториям и ангарам Фонда.

— Я бы хотел увидеть крепость.

— Какую крепость, доктор Шевек?

— Старинный замок, оставшийся еще со времен королей.

Впоследствии его использовали как тюрьму.

— Все подобные сооружения здесь были разрушены. Фонд полностью перестроил этот город.

Когда они уже сидели в машине и шофер закрывал дверцы, Чифойлиск (возможно, еще один источник дурного настроения Пае) спросил:

— А зачем вам понадобился еще один старый замок? По-моему, вы видели их более чем достаточно.

— В крепости Дрио Одо провела девять лет, — ответил Шевек. Лицо у него было замкнутым и решительным — таким оно стало после разговора с Оегео. — После восстания в 747 году. Там она написала свои «Письма из тюрьмы» и «Аналогию».

— Боюсь, что этой крепости больше не существует, — с сочувствием сказал Пае. — Дрио был практически умирающим городом, и Фонд попросту стер его с лица земли и построил заново.

Шевек понимающе кивнул. Но когда машина ехала по берегу реки Сейсс к повороту на Йе Юн, в излучине промелькнуло странное здание на утёсе — тяжеловесное, полуразрушенное, какое-то неумолимое, с осыпавшимися башнями из черного камня, чудовищно отличавшееся от великолепных легких строений Фонда космических исследований, от его белоснежных куполов, ярко раскрашенных стен, аккуратных лужаек и прихотливо проложенных тропинок. И ничто иное не могло оттенить их более сурово, так, что сейчас они казались всего лишь картинками на конфетных обертках.

— Вот, по-моему, как раз и есть та крепость, — заметил Чифойлиск, испытывая, как всегда, удовлетворение от того, что удалось чем-то досадить Пае.

— Она же вся разрушена, — сказал Пае. — И, должно быть, пуста.

— Хотите остановиться и осмотреть ее, Шевек? — спросил Чифойлиск, готовый уже постучать в прозрачную перегородку, отделявшую их от шофера.

— Нет, — коротко ответил Шевек.

Он уже увидел то, что хотел: *в Дрио по-прежнему была тюрьма*. Ему необязательно было входить в крепость и искать в развалинах ту темницу, где Одо провела девять лет своей жизни. Он знал, что это такое.

Сурово и холодно смотрел он на вздымавшиеся почти над самой дорогой тяжеловесные башни и стены. «Я здесь стою с давних времен, — говорила Крепость, — и еще долго буду стоять здесь».

Вернувшись в свои апартаменты — после обеда в столовой

для преподавательского состава и аспирантов, — он уселся, наслаждаясь одиночеством, у незажженного камина. В А-Йо стояло лето, близилось летнее солнцестояние, самый долгий день в году, и сейчас, в девятом часу вечера, было еще совсем светло. Небо за арками окон играло дневными красками — чистое, голубое, теплое. Воздух был легок и приятен, пахло скошенной травой и влажной землей. В часовне по ту сторону лужайки горел свет, и оттуда доносилась негромкая музыка. Это было не пение птиц: кто-то упражнялся в игре на фисгармонии. Шевек прислушался: музыкант разучивал «Гармонию чисел», хорошо знакомую Шевеку с детства, как, впрочем, и любому жителю Урраса. Одо не пыталась изменить что-либо в основах музыкального строя. В отличие от общественного. Она всегда уважала то, что было жизненно необходимо всем людям. Поселенцы на Анарресе отказались от законов, выдуманных людьми, их предшественниками, однако оставили неприкосновенными законы музыкальной гармонии.

Просторная комната была полна теней и тишины; за окном уже сгущались сумерки. Шевек огляделся: идеальной формы арки высоких окон, отлично натертый старинный паркет, могучий, скрывающийся в полумраке изгиб дымохода огромного камина, обитые деревянными панелями стены прекрасных пропорций... Это был очень удобный для жизни и очень старый дом. Корпус «Старшего факультета», где жили преподаватели и аспиранты, как сообщили Шевеку, был построен в 540 году, то есть четыреста лет назад. За 230 лет до заселения Анарреса. Многие поколения ученых жили и работали здесь; здесь они вели беседы, думали, спали, умирали — задолго до того, как появилась на свет Одо. «Гармония чисел» плыла над лужайкой, над темной листвой рощи — ее играли здесь много раз в течение многих веков! «И я была здесь в те времена, — говорила Шевеку комната, в которой он сидел, — и я еще долго буду здесь, когда тебя уже не будет ни здесь, ни вообще на свете. И вообще, что ты здесь делаешь?»

У него не было ответа. И не было права на красоту и щедрость этого мира, созданного трудом и поддерживаемого за счет труда, преданности, верности тех, кто его населяет.

Рай существует для тех, кто его создает. Он не принадлежит этому миру. Он здесь чужой. Он из пограничной области. Из породы тех людей, что отреклись от собственного прошлого, от собственной истории. Поселенцы Анарреса повернулись спиной к Старому Миру, забыли свое, общее с ним, прошлое, предпочли для себя одно лишь будущее. Но, как известно, будущее в итоге всегда становится прошлым, и это столь же верно, как и то, что прошлое обернется будущим. Отрицать — не значит приобретать.

Одонийцы, покинув Уррас, были не правы в своей отчаянной мужественной попытке отказаться от истории своего народа, отрицать ее, отрезать для себя всякую возможность возврата в прошлое. Исследователь, который не желает возвращаться назад или хотя бы послать назад корабль, чтобы кто-то рассказал историю его путешествия, — это не исследователь, а всего лишь авантюрист, любитель приключений; и его сыновья окажутся рожденными в ссылке!

Шевек уже успел полюбить эту прекрасную планету; но что хорошего было в его тоскливой любви? Он не был частью этого мира. Как не ощущал себя частью и того мира, в котором родился.

Одиночество, уверенность в том, что теперь он остался совсем один, которую он ощутил в свои первые часы на борту «Старательного», снова тяжкой волной затопила его душу; одиночество — вот та абсолютная истина, на которую он старается не обращать внимания, о которой всячески старается забыть, но которая тем не менее существует. Один — ют единственно подлинное его состояние.

Здесь он одинок, потому что является членом того общества, которое само себя отправило в ссылку — отсюда. А на родной планете одинок потому, что сам себя отправил в ссылку — от своего общества. Переселенцы сделали один шаг в сторону от родного дома. Он сделал два. И был дважды одинок, потому что пошел на метафизический риск — и проиграл.

Он был достаточно глуп, чтобы думать, будто это может помочь сближению двух миров, ни одному из которых сам не принадлежал.

Внимание его вдруг привлекла синева ночного неба за окном. Над темной массой листвы и шпилем часовни, над темной линией гор на горизонте, которые ночью всегда казались менее высокими и более далекими, разливался свет — мощный, но мягкий. «Луна восходит», — подумал он, радуясь обыденности этого явления. В потоке времени не бывает разрывов.

В детстве, вместе с Палатом он смотрел, как восходит луна за окнами интерната в Широких Долинах. Луна восходила и над холмами его отрочества, и над иссушенными барханами пустыни Даст, и над крышами Аббеная, где он любовался ею вместе с Таквер...

Но то была *другая* луна.

Тени двигались вокруг, постепенно смещаясь, а Шевек сидел не шевелясь и смотрел, как его родной Анаррес поднимается над здешними холмами в великолепии своего «лунного» сияния и на его голубовато-белой поверхности видны пятнышки горных

массивов и каменистых пустынь. И свет далекой родины наполнил его пустые руки.

Глава 4
АНАРРЕС

Клонившееся к западу солнце, своими лучами ударив Шевеку прямо в лицо, разбудило его, когда дирижабль, миновав последний перевал в горах Не Терас, повернул к югу. Большую часть дня Шевек проспал. Прощальная вечеринка и та долгая ночь после нее, казалось, остались где-то в далеком прошлом, в другом полушарии. Он зевнул, протер глаза и тряхнул головой, словно пытаясь вытряхнуть из ушей монотонное низкое гудение мотора, и совершенно проснулся, осознав, что путешествие подходит к концу, что дирижабль, наверное, уже подлетает к Аббенаю. Шевек прижался лицом к пыльному окну — так и есть! Внизу, между двумя ржавого цвета горными хребтами он увидел огромное, окруженное стеной поле — Космопорт. Он смотрел с любопытством, надеясь заметить какой-нибудь космический корабль. Пусть мир Урраса все презирают, но это все же иной мир! А Шевеку очень хотелось увидеть корабль из иного мира, переплывший бездну космоса, созданный руками инопланетян. Однако в порту никакого космического корабля на этот раз не оказалось.

Грузовые корабли с Урраса прилетали восемь раз в год и оставались на Анарресе ровно столько времени, сколько требовалось на разгрузку и погрузку. Они отнюдь не были здесь желанными гостями. Скорее для большей части анаррести они служили причиной обострения комплекса собственной неполноценности.

С Урраса сюда привозили нефть и нефтяные продукты, некоторые запчасти, например детали электронного оборудования, которые промышленность Анарреса не производила сама. Также довольно часто на Анаррес доставлялся какой-нибудь новый сорт фруктовых деревьев или зерновых культур для опытных посадок. На Уррас корабли улетали «под завязку» загруженные ртутью, медью, алюминием, ураном, оловом, золотом... Для уррасти это была отличная сделка. Распределение грузов, которые восемь раз в год доставляли с Анарреса, было на Уррасе одной из наиболее престижных функций Совета Государств Планеты, а также главным событием на рынке промышленного сырья. Таким образом, .Свободный Мир Анарреса на самом деле являлся колонией соседней планеты, ее сырьевым придатком.

Это безусловно раздражало жителей Анарреса. Из года в год

во время дебатов в Координационном Совете по производству и распределению в Аббенае высказывались громогласные протесты: «До каких пор мы будем вести этот спекулятивный, грабительский обмен с проклятыми собственниками, которые вот-вот развяжут очередную войну?» И более холодные головы всегда находили один и тот же ответ: «Урра-су обошлось бы куда дороже самому добывать здесь необходимое сырье, только поэтому они нас не трогают и не пытаются захватить нашу планету. Но если мы первыми нарушим торговое соглашение, они применят силу». Однако людям, которые совершенно не знакомы были ни с денежной системой, ни с капиталистической экономикой, очень трудно было понять психологию своих соседей, аргументы рыночного хозяйства. Мирное сосуществование с Уррасом в течение семи поколений не выработало в них доверия к «этим собственникам».

А потому Синдикат охраны Космопорта никогда не испытывал недостатка в волонтерах. Честно говоря, работа охранников была настолько скучна, что на языке правик даже и работой-то не называлась: для ее обозначения чаще всего использовалось довольно презрительное слово «клеггиш», которое вполне можно было перевести как «ничегонеделание». В обязанности охраны входило поддержание в рабочем состоянии двенадцати старых межпланетных космических кораблей, которые постоянно оставались на орбите как сторожевые, а также осуществляли сканирование с помощью радаров и радиотелескопов наиболее удаленных и безлюдных районов Анарреса. Всю нудную «бумажную» работу в порту также осуществляли охранники. И тем не менее желающих вступить в охрану всегда было полно. Сколь бы прагматичным ни был тот или иной юный житель Анарреса, все же юность требовала проявления альтруизма, самопожертвования, стремления к Абсолюту. Одиночество, настороженность, опасность, грозившая из космоса, — все это давало роскошную почву для воображения, скрывая монотонность будней под флером романтики. Отзвуки полудетских романтических мечтаний и заставили Шевека прилипнуть носом к иллюминатору, пока пустующий Космопорт не исчез вдали, оставив в душе горькое разочарование — ведь ему так и не удалось увидеть ничего интересного, хотя он знал, что грузовики, вывозящие с Анарреса руду, весьма непривлекательны и неопрятны.

Шевек зевнул, потянулся и снова выглянул в окно, надеясь вскоре увидеть впереди конечную цель своего полета. Дирижабль летел над последней невысокой грядой Не Терас. И вот, к югу от горных отрогов взору открылся, блестя на солнце, зеленый

простор, похожий на как бы накренившийся почему-то морской залив.

Шевек с изумлением смотрел на это чудо — точно так же шесть тысячелетий назад смотрели на долину Аббеная его далекие предки.

В третьем тысячелетии на Уррасе астрономы-священники из монастырей Сердону и Дхун не раз наблюдали сезонную смену цветов — бурых на ярко-зеленые — в Верхнем Мире и давали мистические названия тамошним равнинам, горным хребтам и блестевшим на солнце морям. Та часть планеты, которая с наступлением нового лунного года становилась зеленой ранее всех остальных, была названа ими Анс Хос, «сад разума»: Рай Анарреса.

В последующие тысячелетия, рассмотрев Анаррес в телескопы, ученые доказали, что древние астрономы были совершенно правы. Анс Хос был действительно самым благоприятным для жизни местом на этой планете; и первый же посланный на луну космический корабль совершил посадку именно там, в зеленой долине между горами и морем.

Однако даже Рай Анарреса оказался засушливым и холодным; к тому же здесь постоянно дули ветры. На остальной части планеты было еще хуже. Основными представителями фауны и флоры были рыбы и не дающие цветов странноватые растения. В воздухе ощущался недостаток кислорода — он был разреженный, как на горных вершинах Урраса. Солнце в этом «раю» обжигало, ветер леденил, пыль удушала.

В течение двух столетий после первой посадки космического корабля на Анарресе географы и геологи вели здесь всесторонние интенсивные исследования, составили множество карт, однако колонизация планеты в планах не стояла. К чему перебираться в эти ужасные пустыни, когда в плодородных долинах Урраса места более чем достаточно?

Однако шахты на Анарресе были построены. Хищническая эксплуатация собственных недр в девятом и начале десятого тысячелетия совершенно опустошила рудные пояса Урраса; да и космическая транспортировка все более совершенствовалась — становилось дешевле добывать сырье на луне, чем выплавлять необходимые металлы из руды с крайне низким их содержанием или добывать нужные химические элементы из морской воды. В 1Х-738 году по летосчислению Урраса было основано первое крупное поселение у подножия горного хребта Не Терас, в долине Анс Хос. Там неподалеку добывалась ртуть. Этот город на луне назвали Анаррес. На самом деле это был не настоящий город: там не было ни одной женщины. Мужчины подписывали контракт на

два-три года и летели туда работать шахтерами или техниками, а потом возвращались домой, в настоящий мир.

Луна и ее шахты находились в юрисдикции Совета Государств Планеты; однако никто не знал, что на обратной стороне луны, в ее восточном полушарии, государство Тху давно уже тайно создало собственный небольшой космодром и поселение золотоискателей с женами и детьми. Они действительно жили на луне, и никто на Уррасе не знал об этом, кроме правительства Тху. И только после революционных событий в Тху и падения тогдашнего правительства в 771 году на Совете Государств Планеты возникло предложение передать луну Международному Обществу одонийцев — откупиться от них этой малоприспособленной для жизни планетой, прежде чем они окончательно расшатают государственные устои Урраса. Городок Анаррес был эвакуирован; в государстве Тху также началась суматоха; за золотоискателями и членами их семей спешно были посланы две последние ракеты. Но не все из них захотели вернуться. Некоторым эти страшные пустыни, оказывается, чем-то полюбились.

Более двух десятков лет двенадцать кораблей, безвозмездно предоставленных одонийцам Советом Государств, сновали между двумя планетами, пока окончательно не перевезли на Анаррес тот миллион человек, что выбрали для себя новую жизнь на новой планете. Затем порт на Анарресе закрыли для иммиграции, и теперь он по Торговому Соглашению принимал лишь грузовые корабли строго определенное число раз в год. К этому времени в бывшем городе Анаррес проживало уже сто тысяч человек, и он был переименован в Аббенай, что означало — на новом языке нового общества — «разум».

Децентрализация являлась у Одо важнейшим элементом плана социального строительства, однако она даже до начала воплощения этого плана в жизнь не дожила. Она не имела намерения уничтожить города как оплот цивилизации, хотя предложила, чтобы естественные пределы размера коммуны основывались на факторе вполне объективном: наличии необходимого запаса пищи и энергетических ресурсов в районе непосредственного проживания данной общности людей. Она предполагала, что все эти небольшие коммуны будут связаны сетью коммуникационно-транспортных средств, чтобы обмен идеями и товарами мог осуществляться в зависимости от потребностей, а управление этим процессом было быстрым и несложным, и ни одна из коммун не чувствовала бы себя изолированной от остальных. Однако никакой иерархии, никакого «принципа пирамиды» Одо не допускала ни в чем. Не

должно было быть ни некоего «контролирующего центра», ни столицы, ни способной к самозарождению и самовозрожде-нию бюрократической машины, ни сколько-нибудь большой группы отдельных личностей, проявивших стремление стать «главными» — командирами, капитанами, руководителями предприятий, главами государств.

Ее идеи и планы, однако, зародились на щедрой земле Урраса. В пустынях Анарреса малочисленные коммуны одонийцев вынуждены были рассеяться по огромному пространству в поисках источников поддержания жизни; лишь немногие были в состоянии сами обеспечить себя всем необходимым, сколько бы поселенцы ни старались «обстричь» свои представления о том, что именно необходимо человеку для нормального существования. В этом они весьма преуспели, однако определенный минимум потребностей все же оставался. Возвращаться назад по дороге цивилизации не хотелось, и совершенно не хотелось, чтобы их новое замечательное общество приходило в упадок, чтобы оно вернулось к доурбанистской, дотехнологической эре родоплеменных отношений. Они понимали, что их анархизм — это также продукт развитой цивилизации, сотканной из множества самых различных культур, стабильной экономики и высокого уровня промышленной технологии, способной обеспечить соответствующий уровень производства и быстро решить любые транспортные проблемы. Однако же, сколь бы огромны ни были расстояния между отдельными городками на Анарресе, поселенцы продолжали придерживаться идей комплексного развития своего

общества. Сперва они построили дороги, а потом уже дома. Драгоценное для Урраса сырье, добывавшееся в шахтах Анарреса, а также продукция каждого из населенных районов осваиваемой планеты находились в процессе постоянного сложного взаимообмена с целью достижения некоего «уравновешенного разнообразия» — одного из наиболее важных условий природной и социальной экологии Анарреса.

Однако, согласно утверждениям самих анаррести, нельзя, обладая нервной системой, не иметь при этом ни одного нервного узла; также весьма желательно иметь «мозг», то есть некий управленческий центр. Компьютеры, осуществлявшие распределение вещей и рабочих мест, а также центральные представительства большей части синдикатов и федераций находились в Аббенае практически с самого начала заселения планеты. И практически с самого начала поселенцы сознавали, что над ними нависла угроза неизбежной централизации — вечная угроза любого общества, вызванная к жизни стремлением

к власти и насилию.

> Анархия, мое дитя!
> Ты обещаний бесконечность и осторожности...
> Я слушаю и слушаю, как ночь качает колыбель твою,
> Анархия. О, наша дочь!

Пио Атеан, который взял себе на языке правик имя Тобер, написал эти стихи на четырнадцатом году от начала заселения. Первые попытки одонийцев создать на новом языке поэзию — платье для своего юного мира — были довольно неуклюжи, бескорыстны и трогательны...

Аббенай, мозг и сердце Анарреса, раскинулся перед Шеве-ком посреди огромной зеленой равнины.

Этот великолепный, глубокий зеленый цвет, цвет полей и лугов, невозможно было не узнать: он не был свойствен Анар-ресу. Только здесь да еще на побережье теплого Керанского моря вызревали злаки, семена которых были привезены из Старого Мира. Во всех остальных местах основными культурами были разновидности дерева-холум и бледная жесткая трава мене.

Когда Шевеку исполнилось девять, его, как и всех детей, обязали в течение нескольких месяцев после занятий помогать садовнику ухаживать за декоративными растениями, посаженными на территории интерната и всего городка Широкие Долины. Это были нежные экзотические травы и кустарники, привезенные с Урраса, которые нуждались в подкормке, точно младенцы, и боялись прямых солнечных лучей. Тогда

Шевек, помогая старому садовнику в этом мирном, хотя и довольно изнурительном труде, полюбил и самого старика, и привередливые растения, и упрямую землю, и саму эту работу. Увидев зелень Аббенайской долины, он вспомнил старого садовника, противный запах удобрений из рыбьего жира и цвет едва проклюнувшейся листвы на хрупких веточках — этот чистый животворный зеленый цвет.

Вдали, среди живописных полей виднелось продолговатое белое пятно, постепенно распадавшееся на кубические формы, точно расколотый комок каменной соли. Это были далекие здания Аббеная.

Череда ослепительных вспышек на восточной окраине города заставила Шевека прищуриться, и тогда он на мгновение увидел темные огромные параболы зеркал, обеспечивавших солнечной энергией предприятия Аббеная.

Дирижабль сел на площадку товарной станции в южной части

города, и Шевек отправился в дальнейший путь пешком.

Улицы этого самого большого на Анарресе города были широкими, чистыми и совершенно лишенными тени. Аббе-най находился менее чем в тридцати градусах от экватора, и здания в нем были исключительно одноэтажные; над ними торчали лишь прочные пустотелые вышки ветряков. В казавшемся твердым темно-синем, почти фиолетовом небе сияло белое солнце. Воздух был чист, прозрачен и сух — ни дымка, ни влажной пелены тумана. Все вещи казались удивительно живыми, все углы и края — очень острыми и твердыми, во всем была четкость и ясность, определенность. Все здания стояли как бы отдельно, как бы сами по себе, прочные и независимые.

Аббенай, в общем, был точно таким же, как и любой другой город одонийцев, только все в нем как бы повторялось несколько раз: мастерские, фабрики, общежития, интернаты, учебные центры, залы для различных собраний, распределительные центры, склады, столовые... Наиболее крупные здания часто группировались вокруг открытых площадей, обрамляя их и делая город похожим на соты. Предприятия тяжелой и пищевой промышленности сосредоточены были в пригородах, и каждая группа предприятий обычно группировалась тоже по принципу «сотовых ячеек», окружая площадь или часть улицы. Первыми Шевеку навстречу попались текстильные предприятия — здесь занимались переработкой волокна дерева-холум и изготовлением из него тканей; пошивом одежды и белья. Здесь же находились и красильные предприятия, а также — текстильные распределительные центры. Посреди каждой из площадей-ячеек торчал небольшой «лесок» из шестов, украшенных сверху донизу разноцветными флажками, демонстрируя всем возможности местных красильщиков. Дома по большей части были похожи один на другой — простые, прочные каменные строения. Шевеку некоторые здания показались очень большими, однако же практически все они тоже были одноэтажными: здесь часто случались землетрясения. По тем же причинам окна были маленькие, а вместо стекол — прочный силиконовый пластик, который не давал трещин. Впрочем, окон было много — в помещениях искусственным светом здесь с рассвета до заката пользоваться было не принято. Не включали также и отопление, если температура на улице была выше 15 градусов. Дело даже не в том, что Аббенаю не хватало электроэнергии — ее в избытке давали ветряки и «земляные» генераторы, работа которых была основана на разнице температур воздуха и почвы и которыми обычно пользовались для обогрева жилья; просто принцип «органичной экономии» был слишком важен для нормального

функционирования одонийского общества, оказывая воздействие на всю систему его этических и эстетических ценностей. «Все избыточное, излишнее в организме превращается в экскременты, — писала в своей “Аналогии” Одо. — А экскременты, задерживающиеся в организме, отравляют его».

Аббенай был начисто лишен подобной «отравы»: пустой, чистый, светлый город, все цвета очень яркие, воздух прозрачен. Кругом тишина. Аббенай был действительно похож на рассыпанную по равнине горсть крупной соли.

Здесь никто ничего не прятал.

Площади, строгие улицы, низкие дома, не обнесенные стенами дворы мастерских — всюду кипела жизнь, и Шевек постоянно ощущал это. Люди вокруг него куда-то шли, что-то делали, о чем-то беседовали. Мелькали их лица, звучали голоса, кто-то сплетничал, кто-то пел, вокруг были живые люди, люди, занятые трудом. Мастерские и фабрики воротами своими выходили на площади или в открытые дворы. И ворота эти были распахнуты настежь. Шевек, проходя мимо фабрики стеклянных изделий, видел, как стеклодув выдувает из расплавленной массы стекла огромный пузырь; для него это было столь же обычным делом, как для повара — приготовить суп. Рядом был другой двор, где тоже кипела работа — здесь из «пенного камня» отливали нужные для строительства формы; работой руководила огромная женщина в халате, белом от пыли. Она то и дело что-то громко кричала красивым грудным голосом своим подручным. Потом Шевек миновал небольшую проволочную фабрику, потом — районную прачечную, мастерскую по изготовлению и починке музыкальных инструментов, небольшой районный распределительный центр, театр, мастерскую по изготовлению черепицы... Всюду кипела работа — это буквально завораживало его. Тут же поблизости крутились дети; кое-кто из них помогал взрослым, малыши лепили из грязи пирожки и куличики, ребятишки постарше играли в свои игры, а одна девочка, забравшись на крышу учебного центра, сидела там, уткнувшись носом в книгу. Проволочная фабрика украсила свой фасад раскрашенными вьющимися растениями из проволоки — выглядело очень мило. Из дверей прачечной вырывались облака пара и обрывки разговоров. Ни одна дверь не была заперта, да и закрыты были немногие. Невозможно было ошибиться, попасть не туда, хотя нигде не было никаких объявлений. Все было на виду — вся работа, вся жизнь города. То и дело по Складской улице проплывал грузовик с готовой продукцией, предупреждая о своем появлении звоном колокола, или проезжал полный людей автобус, и на каждой остановке его ждали еще люди, и старухи

ругались, если автобус отъезжал раньше, чем они успевали сойти на своей остановке, и малыш на самодельном трехколесном велосипеде с «бешеной» скоростью гнался за автобусом, и электрические искры сыпались голубым дождем на перекрестках из трамвайных проводов — словно спокойная мощная жизненная сила улиц то и дело достигала некоей критической точки и должна была сбросить напряжение, делая это с грохотом, треском, с водопадом голубых искр и запахом озона. Это, правда, были всего-навсего аббенайские трамваи, однако в такие минуты невозможно было не ощутить радостного восторга.

Складская улица заканчивалась просторной площадью, куда выходило еще пять других улиц и где был треугольной формы небольшой парк с настоящими деревьями и травой. По большей части парки на Анарресе представляли собой вытоптанные площадки, обсаженные цепочкой жидких кустарников и деревьев-холум. Но этот Треугольный парк был совсем другим. Шевек перешел площадь по пешеходной дорожке и углубился под сень деревьев. Это было восхитительно; он не раз видел Треугольный парк на картинках, и ему давно хотелось увидеть вблизи деревья, привезенные с Урраса, внимательно рассмотреть каждый зеленый листок в их густых кронах. Солнце садилось, небо было широким и чистым; в зените закатные краски сгущались до красно-фиолетового — это тьма космического пространства просвечивала сквозь неплотную атмосферу планеты. Тревожное настороженное чувство охватило Шевека. Разве не слишком их много, этих густых листьев? Дерево-холум вполне успешно существует со своими редкими колючими иглами, без всяких там излишеств и роскошеств, вроде густой листвы. Неужели эта пышная богатая растительность тоже «экскрементальна»? Такие деревья не могут существовать без богатых почв, без постоянного полива, без хорошего ухода. Ему были, пожалуй, даже неприятны в этих деревьях изобилие зеленой листвы и полнейшее отсутствие экономии. Он бесцельно брел среди них, инопланетная трава под ногами была мягкой и упругой — казалось, ступаешь по живой плоти. От этой мысли он шарахнулся обратно на тропинку. Темные ветви деревьев раскинулись у него над головой, шевеля над ним множеством своих маленьких зеленых ручек-веточек. Восторг и ужас одновременно охватили Шевека: он понимал, что его благословляют, хотя и не просил о благословении.

Чуть впереди он заметил у темнеющей тропы на каменной скамье человека, читавшего книгу, подошел к нему и остановился.

Человек сидел, опустив голову, в золотисто-зеленых сумерках. Это была женщина лет пятидесяти—шестидесяти,

несколько странно одетая, волосы стянуты на затылке узлом. Левая рука, на которую она опиралась подбородком, практически скрывала сурово сжатые губы, правая рука придерживала страницы рукописи, лежавшей у нее на коленях. Рукопись была толстой и, видно, тяжелой; тяжелой была и холодная рука на ней. Свет быстро меркнул, однако она так и не подняла глаз от страницы. Она продолжала читать гранки своей работы: «Социальный организм».

Некоторое время Шевек будто зачарованный смотрел на статую Одо; потом присел на скамью с нею рядом.

У него не было никаких представлений о социальной или какой бы то ни было еще иерархии, да и на скамье вполне хватало места. Он сел с нею рядом в порыве дружеского расположения и восхищения.

Он смотрел на сильный печальный профиль Одо, на ее руки, руки старой женщины. Потом посмотрел вверх, сквозь темнеющую листву. Впервые в жизни он осознал: Одо, чье лицо было ему знакомо с детства, чьи идеи занимали центральное и неизменное место в его душе и в душах каждого из тех, кого он знал, эта Одо *никогда не ступала на землю Анарреса*, она жила, умерла и была похоронена на Уррасе, в тени покрытых зеленой листвой деревьев, в невообразимо огромном городе Нио Эссейя, среди людей, говорящих на неведомом ему, Шевеку, языке — в другом мире! Одо, инопланетянка, здесь была в ссылке.

Юноша сидел в сумерках рядом со статуей великой мыслительницы, и оба были одинаково тихи.

Наконец, осознав, что стало почти темно, Шевек встал и пошел прочь — снова по улицам города, без конца спрашивая, как пройти к Центральному Институту естественных наук.

Это оказалось недалеко; он добрался туда вскоре после того, как на улицах включили освещение. У ворот в маленькой будке сидела дежурная и читала. Ему пришлось довольно долго стучать в открытую дверь, пока она не оторвалась наконец от книги.

— Шевек, — представился он, поскольку, начиная разговор с незнакомым человеком, полагалось сперва назвать свое имя, как бы вручая ему необходимый инструмент для дальнейшего общения. Собственно, более никаких «инструментов» и вручить было нельзя. Никаких документов у одонийцев не существовало, никаких рангов и научных степеней, никаких соответственных форм вежливого обращения.

— Кокван, — откликнулась дежурная. — Разве вы не вчера должны были приехать?

— Изменили расписание грузовых дирижаблей. Мне найдется местечко?

— Номер 46 пустует. Это через двор и налево. Там для вас записка от Сабула. Он просил позвонить ему утром в административный отдел физического факультета.

— Спасибо! — сказал Шевек и быстро пошел через просторный асфальтированный двор, помахивая своим багажом — зимней курткой и запасными ботинками. Во всех комнатах, окна которых выходили во двор, горел свет. В вечерней тишине слышался негромкий гул — повсюду были люди. Что-то живое чудилось Шевеку в ясном пронзительно-холодном воздухе ночного города — не то надвигающаяся беда, не то какое-то обещание.

Время обеда еще не кончилось, и он быстренько забежал в институтскую столовую узнать, не осталось ли там чего-нибудь перекусить. Имя его, как оказалось, уже было внесено в списки постоянных посетителей. Еда была просто отменной! Имелся даже десерт — салат из консервированных фруктов. Шевек очень любил сладкое, а обедал он к тому же одним из последних, так что, не испытывая угрызений совести, взял себе вторую тарелку фруктового салата — его там оставалось еще немало. Он ел один за маленьким столиком. За столами побольше сидели группами молодые люди и о чем-то беседовали над пустыми уже тарелками; он услышал обрывки какой-то дискуссии о поведении аргона при сверхнизких температурах, а также — о поведении преподавателя химии во время коллоквиума и еще — о предполагаемой «кривизне времени». Один-два человека обернулись в его сторону, но не заговорили с ним, как это обычно бывает в маленьких коммунах, когда появляется незнакомый человек; смотрели они, правда, довольно дружелюбно, хотя, может быть, чуточку свысока.

Шевек отыскал комнату номер 46 в длинном коридоре, куда выходило множество других закрытых дверей. Все это явно были *отдельные* комнаты, и он удивился, почему регистраторша послала его именно сюда. С двух лет он спал в общих спальнях, где было от четырех до десяти кроватей. Шевек постучался. Тишина. Он открыл дверь. Комната была на одного человека. Внутрь проникал неяркий свет из коридора. Шевек включил лампу. Два кресла, письменный стол, на нем видавшая виды логарифмическая линейка, несколько книг, кушетка, заменявшая кровать, и на ней ручной вязки оранжевое одеяло. Здесь явно жил кто-то другой! Дежурная просто ошиблась. Шевек вышел и закрыл за собой дверь. Потом снова открыл ее и вошел, чтобы выключить в комнате свет. Только тут он заметил на письменном столе под лампой записку, нацарапанную на клочке бумаги: «Шевек! Позвоните утром в административный отдел физического

факультета. Тел. 2-4-1-154. Сабул».

Он кинул куртку на кресло, ботинки — на пол и принялся читать названия на корешках книг — это оказались обычные реферативные сборники по физике и математике, в зеленых обложках, с Кругом Жизни посредине. Шевек повесил куртку в шкаф, убрал с дороги ботинки и аккуратно задернул занавеску. Потом прошел к двери: до нее было четыре шага. Постоял там нерешительно минутку, а затем — впервые в жизни! — закрыл дверь своей собственной комнаты.

Сабул оказался маленьким, коренастым, неряшливым человеком лет сорока. Растительность у него на лице была темнее и грубее, чем обычно у анаррести, и даже образовывала некое подобие бородки. На нем был толстый зимний свитер, и он, судя по всему, не снимал его с прошлой зимы: края обшлагов были черны от грязи. Манера говорить у Сабула была резкая, ворчливая — какие-то неровные куски информации, вроде тех. в его записках, оторванных от чего попало клочках бумаги. Голос его напоминал рычание.

— Тебе необходимо выучить йотик! — рявкнул он.

— Йотик? — изумился Шевек.

— Я же сказал! Язык йотик.

— Но зачем?

— Чтобы читать работы физиков с Урраса! Атро, То, Ба-иска — всех. Ни одна из этих работ на правик не переведена и, похоже, переведена не будет. На Анарресе человек шесть от силы способны как-то понять эти работы. На любом языке.

— Но как же я выучу йотик?

— С помощью учебника и словаря, естественно!

— А где мне их взять? — не сдавался Шевек.

— Здесь! — рявкнул Сабул. Он порылся на полках, заваленных маленькими книжками в зеленых обложках. Движения у него были резкие, словно он на кого-то сердился. Наконец он нашел то, что искал, — два толстых тома без обложек на самой нижней полке стеллажа — и с грохотом швырнул на стол. — Скажешь, когда почувствуешь, что можешь уже читать Атро. А пока что мне с тобой делать нечего.

— Какими типами уравнений обычно пользуются уррасти?

— Да ерунда. Сам во всем разберешься.

— Здесь кто-нибудь занимается хронотопологией?

— Да, Турет. Можешь у него консультироваться. Но на лекции к нему не ходи: пустая трата времени.

— Я собирался ходить на лекции к Граваб.

— Зачем?

— Ее работы по частоте и цикличности...

Сабул не дал ему договорить; он сперва сел, потом снова вскочил. Он был все-таки невыносимо суетлив и одновременно будто скован. И вот-вот готов вспыхнуть — не человек, растопка для очага.

— Не трать время зря! Ты далеко обогнал старуху в теории Непрерывности, а прочие ее «плодотворные» идеи — сущий мусор.

— Меня интересуют принцип одновременности...

— Какой там еще «одновременности»! Что за спекулятивной чушью кормила тебя Митис? — Глаза физика метали молнии, под жесткими короткими волосами на лбу вздулись вены.

— Я сам организовал семинар по этой теме...

— А, ну-ну! Давай, расти! Тебе пора расти. Тем более теперь ты здесь, в Аббенае, в Центральном Институте. Только учти: мы здесь занимаемся физикой, а не религией. Отбрось в сторону свой мистицизм и поскорее вырастай. Как быстро ты сможешь выучить йотик?

— Мне понадобилось несколько лет, чтобы как следует выучить правик, — заметил Шевек. Однако его мягкая ирония осталась Сабулом совершенно незамеченной.

— Я выучил йотик за десять декад. Причем достаточно прилично, чтобы прочесть «Введение» То. Ах да! Черт возьми, тебе же нужен какой-нибудь текст для работы! Вот, этот вполне сойдет. На. Погоди-ка. — Он порылся в переполненном ящике стола и извлек оттуда книгу весьма, надо сказать, занятного вида: в синем переплете и без Круга Жизни на обложке. Название ее было напечатано золотыми буквами: «Poilea Afio-ite», что ровным счетом ничего Шевеку не сказало. Да и сами очертания некоторых букв показались ему незнакомыми. Шевек долго смотрел на эти слова, потом взял книжку у Сабула, но не открыл ее, а с благоговением держал в руках: это было то самое, что он давно хотел увидеть, некий инопланетный «артефакт», послание из другого мира.

Он вспомнил, как в детстве Палат показывал ему книгу, состоявшую «из одних цифр».

— Придешь, когда будешь в состоянии прочесть это, — буркнул Сабул.

Шевек повернулся, чтобы уйти, но рычание позади него стало громче:

— Держи эти книжки при себе! Их не всякий сможет переварить.

Шевек сперва так и застыл, потом вернулся к столу и сказал, немного подумав, в обычной своей спокойной и чуть

отстраненной манере:

— Я что-то вас не понимаю.

— Не позволяй больше никому читать их! Понял?

Шевек не ответил.

Сабул снова нервно вскочил и подошел к Шевеку вплотную.

— Послушай. Теперь ты член Центрального Института, естественных наук, член Физического синдиката, работаешь со мной, Сабулом. Ясно? А подобные привилегии требуют дополнительной ответственности. Я прав?

— То есть я должен чему-то научиться, но не могу ни с кем делиться теми знаниями, которые получу, — сформулировал Шевек после короткой заминки. Тон был утвердительный — он словно цитировал логическую установку.

— Ну а если бы ты нашел на улице пакет с капсулами, начиненными взрывчаткой, ты бы «поделился» ими с каждым мальчишкой? Эти книги — вроде взрывчатки. Ну, теперь понял?

— Да, отчасти.

— Это хорошо. — Сабул отвернулся, что-то все еще ворча, впрочем, видимо, скорее по привычке. Шевек пошел прочь, осторожно неся «взрывчатку» под мышкой и испытывая одновременно отвращение и всепоглощающее любопытство.

И тут же сел за работу: принялся изучать язык йотик в полном одиночестве в своей комнате номер 46 — отчасти соблюдая требования Сабула, отчасти потому, что привык работать в одиночку и для него это было естественно.

Поскольку Шевек был еще очень молод, он полагал, что в каком-то смысле не похож на всех остальных, кого знает. Для ребенка осознание собственного отличия от остальных всегда болезненно, поскольку, еще не успев ничего совершить, ребенок не может этого отличия оправдать. Надежное и любовное отношение взрослых и их присутствие рядом — а ведь взрослые тоже, по-своему конечно, являются отличными от остальных — служит для ребенка единственным утешением в такой ситуации; у Шевека такого человека рядом не было. Отец его, Палат, был человеком очень хорошим, надежным и очень его любил. Что бы ни натворил Шевек, Палат всегда находил для него оправдание, всегда был на его стороне, был ему верен. Однако сам Палат был таким же, как все; он не обладал этим проклятым «отличием от других»; для него жизнь в коммуне была легка и проста. Он любил Шевека, однако не мог показать ему, какова она, истинная свобода, не мог объяснить, что лишь признание за каждым права на одиночество дает возможность ощутить эту свободу.

А потому Шевек пользовался преимуществами одиночества, отдыхая от привычной сплоченной жизни маленькой коммуны и

даже от общения с теми немногочисленными друзьями, что у него там были. Здесь, в Аббенае, у него друзей не было, а поскольку ему не приходилось существовать в условиях общей спальни, он друзей и не заводил, слишком хорошо сознавая — даже в возрасте двадцати лет — собственную неординарность и одаренность, которые все усиливались; он был как бы обречен на одиночество, да и сам не слишком стремился к общению, и сокурсники, чувствуя его самобытность и обособленность, нечасто пытались сблизиться с ним.

Вскоре его «личная» территория стала ему даже дорога. Он наслаждался полной независимостью от соседей по общежитию и выходил из комнаты только в столовую — позавтракать и пообедать — и иногда днем, чтобы быстрым шагом прогуляться по городу и немного размять мышцы, привыкшие к значительно большим физическим нагрузкам; затем он снова возвращался в комнату номер 46, к грамматике языка йотик. Примерно один раз в декаду он, как и все, обязан был дежурить по уборке помещения, однако те, с кем он вместе работал, оказывались практически все ему не знакомы, так что эти дни не вносили особого психологического разлада в его стойкое одиночество и в успешное изучение языка йотик.

Сама по себе грамматика этого языка, сложная, нелогичная и изысканная, доставляла ему, пожалуй, даже удовольствие. Он быстро делал успехи, особенно после того, как составил для себя некий глоссарий для чтения физико-математических текстов. Он знал, что ему нужно, и хорошо разбирался в терминологии, связанной с этой областью науки, а если встречался с затруднениями, то собственная интуиция или сами математические уравнения помогали ему отыскать верный путь, который, однако, не всегда приводил его в «знакомую местность». Серьезнейший труд То — «Введение в физику времени» — отнюдь не был учебником для начинающих. К тому времени когда Шевек после долгих усилий добрался наконец до середины книги, он читал уже не столько на языке йотик, сколько на языке физики; и он понимал теперь, почему Сабул для начала заставил его читать работы физиков Урраса. Многие из этих ученых далеко опередили все достижения научной мысли Анарреса. Самые блестящие догадки, высказанные в работах Сабула о принципе неопределенности, на самом деле являлись неосознанным, видимо, переложением чужих идей ученых йоти.

Шевек с головой погружался и в другие книги, которые скупо и не спеша выдавал ему Сабул — основные работы современных физиков Урраса. Он совсем замкнулся, стал практически отшельником, не появляясь даже на собраниях Студенческого

синдиката; не ходил он и на собрания других синдикатов и федераций, за исключением довольно вялых семинаров, которые проводила Федерация физиков. Собрания подобных объединений, служившие средством общения друг с другом, были как бы внешней поведенческой рамкой в любом маленьком поселении для любого индивида. Но здесь, в большом городе, все это казалось значительно менее важным. Один человек здесь вообще практически не был заметен; всегда находились другие, готовые проявить активность, что-то организовать, и справлялись с этим достаточно хорошо. Итак, помимо обязательных дежурств по уборке общежития и лабораторий, остальное время было в его полном распоряжении. Шевек часто пропускал даже занятия физкультурой, обед или завтрак, хотя никогда — тот единственный курс лекций по частоте и цикличности, который читала Граваб.

Граваб была уже стара и частенько отвлекалась, улетала мыслью куда-то в сторону. На ее лекции ходило всего несколько человек, да и то с пропусками, как бы по очереди. Она вскоре выделила среди остальных худого юношу с большими ушами, который был единственным ее постоянным слушателем. И стала читать свои лекции, обращаясь исключительно к нему. Светлые, доброжелательные, умные глаза встречали ее взгляд, успокаивали, пробуждали мысль; она вспыхивала, вдохновляясь, и начинала читать — блестяще, вновь обретая утраченную было живость ума. Она парила слишком высоко над обыденностью мышления, и остальные студенты порой даже поднимали головы и смотрели вверх, смущенные, озадаченные, даже немного испуганные таким полетом мысли — те, разумеется, у кого хватало ума удивляться этому. Граваб видела из своего высока куда более широкие горизонты, и те, кого она брала с собой, лишь жмурились от страха, но тот светлоглазый юноша спокойно наблюдал за нею, и в лице его она читала ту же радость творчества, что переполняла и ее душу. То, что она упорно предлагала другим, чем хотела с ними поделиться в течение всей своей жизни, то, что никогда и никто так у нее и не принял, принял он, и не только принял, но и понял и разделил. Он был ее братом, несмотря на возрастную пропасть в пятьдесят лет. И ее спасением.

Когда они порой встречались в административном отделе факультета или в столовой, то и туг умудрялись говорить только о физике. Если же Граваб уставала и у нее попросту не хватало энергии на подобные беседы, тогда им практически нечего было сказать друг другу, ибо эта старая женщина была столь же застенчива, как и ее юный ученик.

— Вы мало едите, — говорила она ему в таких случаях. А он только молча улыбался, и уши у него краснели. И оба не знали, что говорить дальше.

Через полгода после приезда Шевек передал Сабулу небольшую работу, озаглавленную: «Критика гипотезы Атро о Непрерывности». Сабул вернул ему ее через десять дней и проворчал:

— Переведи это на йотик.

— Но я ее на йотик и писал! — удивился Шевек. — Я ведь пользовался терминологией Атро. Хорошо, я перепишу более аккуратно. Но для чего?

— Как для чего? Да для того, чтобы этот проклятый собственник ее прочитал! Через декаду, 5-го числа улетает корабль.

— Корабль? На Уррас?

— Ну да! Рейсовый грузовик. Чего удивительного?

Таким образом Шевек узнал, что планеты-близнецы обмениваются не только нефтью и ртутью, и не только книгами, вроде тех, которые он в настоящее время читает, но и — и это было потрясающе! — письмами. Письмами! Писать письма «проклятым собственникам»! Подданным государства, основанного на неравенстве! Индивидуалистам! Эксплуататорам! Поддерживающим мощь государственного аппарата и, в свою очередь, эксплуатируемым этим аппаратом! Неужели «собственники» с Урраса действительно способны обмениваться идеями со свободным народом Анарреса? И при этом не проявляют ни малейшей агрессивности, но делают это по собственной воле, свободно, на равных? Это что же, интеллектуальная солидарность? Или они просто пытаются доказать свое превосходство и в этой области? Самоутвердиться, прибрать к рукам чужие идеи? Сама мысль о возможности такого обмена письмами будила в душе Шевека тревогу, и все же интересно было бы выяснить?..

На него уже успело обрушиться столько подобных «открытий», что он вынужден был признаться в собственной — поразительной, непростительной! — наивности: умному и образованному юноше, каким был Шевек, не так-то легко было это сделать.

Первым и по-прежнему самым приятным было то, что занятия столь необходимым ему языком йотик следовало скрывать; это была настолько новая для него ситуация и настолько отвратительная с моральной точки зрения, что он еще не совсем смирился с нею. Совершенно очевидно, он никому непосредственно зла не причинял, не разделяя собственные

знания с другими. Кроме того, они ведь тоже могли выучить йотик. Да и что плохого, если кто-то узнает о его занятиях языком Урраса? Он был уверен: свобода — скорее в открытости, чем в скрытности; и потом, ради истинной свободы всегда стоит рискнуть. Вот только в чем он, этот риск? Однажды ему показалось, что Сабул просто не хочет, чтобы новые представления о законах физики получили распространение на Анарресе, желая сохранить эти знания для себя одного, владеть ими как собственностью, пользоваться ими как источником власти над своими же коллегами! Однако эта мысль была настолько шокирующей, настолько противоречила привычному мышлению, что Шевек с невероятным трудом подавил ее, удивительно настойчиво пробивавшую путь в его душе, и с презрением отбросил как абсолютно неприемлемую.

Затем еще эта отдельная комната. У него никогда в жизни не было отдельной комнаты. То, что это оказалось действительно удобно, моральной зацепкой, колючкой постоянно сидело в мозгу. Когда Шевек был ребенком, то знал: если кого-то кладут спать в отдельную комнату, это означает наказание за то, что провинившийся беспокоит всех остальных настолько, что его соседи по спальне не желают больше терпеть; то есть данный ребенок безусловно считался последним эгоистом. Одиночество было практически равносильно позору. Взрослые просили отдельную комнату, главным образом, когда хотели заняться сексом. В каждом общежитии имелось определенное количество таких отдельных комнат, которые парочка могла занять на одну ночь, или на декаду — в общем, так долго, как им того хотелось. Партнеры, то есть мужчина и женщина, жившие одной семьей, обычно занимали сдвоенные комнаты; в маленьких городках, где сдвоенных комнат не хватало, такие пары часто пристраивали еще одну комнату к крайней комнате в общежитии, и в итоге возникали длинные низкие, странной конфигурации — точно растянутые — строения, которые как бы расползались во все стороны, точно растения. Их насмешливо называли «семейно-товарными поездами». Считалось, что во всех иных случаях спать в общей спальне — самая обычная и естественная вещь. Можно было выбрать маленькую или большую комнату, а если тебе не нравились соседи, разрешалось перебраться в любую другую. Мастерские, лаборатории, студии, склады, служебные помещения — все это было общим. Можно было, конечно, уединиться, но в основном приходилось быть постоянно на людях, даже в купальнях. Уединение для занятий сексом было не только нормально и позволено всем, но и с большим пониманием воспринималось обществом; во всех остальных случаях уединение

считалось просто нефункциональным. Излишним, бессмысленным. Экономика Анарреса не в состоянии была осуществлять строительство, содержание, отопление, освещение индивидуальных домов и квартир. Люди, по природе своей асоциальные, вынуждены были сами удаляться от общества и сами заботились о себе. Никто им в этом не препятствовал. Такой человек мог построить себе дом, где хотел (хотя, если этот дом портил красивый вид или занимал участок плодородной земли, человеку под тяжким давлением соседей приходилось перебираться в другое место). Было, в общем, немало таких одиночек и отшельников — особенно на обочинах наиболее старых коммун Анарреса — которые очень гордились тем, что не принадлежат якобы к виду «социальных существ». Однако, согласно мировоззрению тех, кто принимал привилегии и обязательства общества солидарности, уединение обладало определенной ценностью только тогда, когда было функционально.

Поэтому первой реакцией Шевека на предоставление ему отдельной комнаты были возмущение и стыд. С какой стати его сюда засунули? Но вскоре он понял это и переменил свои взгляды. Именно отдельная комната как нельзя лучше подходила для той работы, которой он сейчас был поглощен. Если ему в полночь приходила в голову какая-то мысль, он мог включить свет и записать ее; если мысли являлись на рассвете, он мог продолжать развивать их все утро, и ему не мешали болтовня и шум соседей по комнате, занимающихся утренним туалетом. Если же голова просто не работала и приходилось целыми днями просиживать за письменным столом, тупо глядя в окно, никто у него за спиной не высказывал вслух удивления по поводу того, что он бездельничает. В итоге Ше-век пришел к выводу, что уединение для занятий физикой и математикой столь же желательно, как и для занятий сексом. И все-таки — неужели подобное одиночество столь уж необходимо?

Еще одним «испытанием» оказался десерт. В институтской столовой на обед всегда было что-то сладкое, и Шевеку это ужасно нравилось. Если можно было взять добавку, он всегда брал. Однако его «органически-общественное» сознание страдало при этом, точно желудок от переедания. Разве у всех, разве в каждой столовой планеты — особенно в отдаленных районах — такая же еда? Раньше его всегда убеждали, что это именно так, и он сам не раз мог убедиться в этом. Разумеется, местные отличия существовали, где-то чего-то не хватало, где-то наоборот; кроме того, могли возникнуть разные непредвиденные ситуации, как, например, не раз бывало в лагере, где жили сотрудники Проекта

озеленения. В столовой мог быть плохой повар или очень хороший — в общем, могли, конечно, быть всякие случайности, но в рамках единой, неменяющейся системы. Однако ни один повар, даже самый талантливый, не смог бы приготовить десерт без наличия соответствующих продуктов. В большей части столовых Анарреса десерт подавали раз или два в декаду. Здесь же десерт был каждый день. Почему? Неужели преподаватели и студенты Центрального Института естественных наук лучше, чем все остальные люди?

Шевек никому этих вопросов не задавал. Общественное сознание, мнение других — это была мощнейшая моральная сила, определявшая поведение большей части одонийцев, однако на Шевека она действовала, может быть, чуть меньше, чем на других. А потому многие мучившие его проблемы были такого свойства, что оказывались иным людям просто недоступны. И он привык решать их сам, молча, про себя. Так он поступил и сейчас, хотя моральные проблемы, с которыми он столкнулся, оказались для него в некотором роде куда более сложными, чем проблемы физики времени. Он ничего не спросил у других. Он просто перестал брать в столовой десерт.

Однако в общую спальню не переехал. Он положил на весы моральный дискомфорт и практические преимущества своего одиночества и обнаружил, что последние значительно перевешивают. Ему гораздо лучше работалось в отдельной комнате. Эту работу стоило сделать хорошо, она у него вроде бы спорилась. Значит, условия выполнения этой работы можно воспринимать как функциональные. Подобные соображения в его обществе считались весьма важными. Ответственность оправдывала привилегии.

И он увлеченно работал.

Он похудел. Ходил, почти не чувствуя собственного веса. Отсутствие физических нагрузок, постоянное сидение за столом, пренебрежение к сексу — все это казалось ему несущественным. Важна была только свобода — мыслей и действий. Он был свободен; он мог делать, что хотел и когда хотел. И как угодно долго. Так он и поступал. Работал. Работал, словно играл.

Он набрасывал заметки для целой серии гипотез, подводивших к созданию вполне связной теории Одновременности. Однако вскоре эти идеи стали казаться ему детской забавой — он видел перед собой куда более высокую вершину: Общую Теорию Времени. И намерен был этой вершины достигнуть, если, конечно, ему это удастся. Порой Шевек испытывал нечто вроде приступов клаустрофобии: ему казалось, что он заперт в небольшом помещении, находящемся посреди

обширного открытого пространства. Ах, если б он только сумел найти выход! Ясно увидеть, какую именно потайную дверцу нужно открыть! Развитие собственной интуиции стало навязчивой идеей. Всю осень и зиму он старался спать все меньше и меньше. Часа два ночью и часа два днем — этого ему вполне хватало; и эти короткие периоды сна были совсем не похожи на то, как он спал раньше — крепко, без сновидений; теперь он и во сне тоже как бы бодрствовал, только на каком-то ином уровне, ибо непрерывно видел сны, живые, исполненные смысла, являвшиеся как бы частью его работы. В этих снах он видел, как время поворачивает вспять, как река начинает подниматься вверх по руслу впадающего в нее ручья. Он держал два одномоментных мгновения в левой и правой руке и с улыбкой разводил руки, разделяя эти мгновения, точно один большой мыльный пузырь — на два. Он вскакивал с постели и начинал судорожно записывать, не успев еще как следует проснуться, те математические формулы, которые много дней не давались ему, ускользали, таяли во тьме. Он видел, как пространство сжимается вокруг него, словно некая сфера, рушащаяся внутрь и заполняющая собой царящую в ее центре пустоту; сфера смыкалась, смыкалась, ему уже нечем было дышать, и он просыпался с криком «Помогите!», и тут же заставлял себя замолчать и пытался — в молчании и одиночестве — спастись от понимания собственной своей вечной пустоты...

В холодный полдень, где-то под конец зимы он, направляясь домой из библиотеки, зашел в административный отдел физического факультета, чтобы посмотреть, нет ли для него писем. Собственно, никаких причин ожидать письмо у него не было: он ни разу не написал никому из друзей, оставшихся в Северном Поселении; однако уже дня два у него было отвратительно на душе: он сам уничтожил некоторые из своих наиболее красивых гипотез и тем самым вернул себя в исходную точку — после полугода тяжелейшей работы! Да и чувствовал он себя отчего-то неважно. Общие принципы Теории казались ему теперь настолько неясными, что вряд ли могли быть кому-то полезны. И почему-то ужасно болело горло. И очень хотелось, чтобы в почтовом ящике оказалось письмо от какого-нибудь хорошего человека. Или хотя бы кто-то из здешних его знакомых просто сказал: «Привет, Шев!» Но в административном отделе никого не оказалось, кроме Сабула.

— Вот, Шевек, взгляни-ка.

Он взял в руки книгу, которую протягивал ему Сабул: тоненькая книжонка в зеленом переплете с Кругом Жизни на обложке. Он открыл ее и увидел на титульном листе название:

«Критика гипотезы Атро о Непрерывности». Это была его собственная работа. А в предисловии к ней Атро высказывал ему свою признательность и приводил некоторые серьезные аргументы в защиту своей теории. И все это было переведено на правик и отпечатано в типографии Координационного Совета. Вот только авторов оказалось двое: Сабул и Шевек.

Сабул, вытянув шею, смотрел, как Шевек листает книжку; он буквально пожирал ее глазами, в глазах светилась тайная радость, даже его обычное ворчание стало глуше и напоминало приглушенный смех.

— Добили мы этого Атро! У-у, собственник проклятый! Пусть-ка теперь кто-нибудь попробует вякнуть о «детских погрешностях»! — Сабул десять лет лелеял свою ненависть ю журналу «Вопросы физики», издаваемому Университетом Йе Юн, который охарактеризовал его теоретические труды как «серый провинциализм, страдающий детскими погрешностями и определенным догматизмом, которым, как известно, страдает мышление одонийцев». — Вот теперь они увидели, кто из нас провинциал! — Сабул самодовольно ухмыльнулся. Они были знакомы почти год, однако Шевек не мог припомнить, когда еще видел Сабула улыбающимся.

Шевек уселся на противоположном конце комнаты, для чего ему пришлось убрать с дивана целую кипу каких-то бумаг; разумеется, помещение канцелярии принадлежало всем, однако Сабул самовольно захватил эту дальнюю комнату из двух имевшихся и завалил ее своими материалами и книгами, так что здесь, похоже, никогда никто и не пытался пристроиться. Шевек снова посмотрел на книгу, которую держал в руках, потом выглянул в окно. Он чувствовал себя совершенно больным, разбитым, да и выглядел, надо сказать, неважно. Какое-то неприятное напряжение не оставляло его, хотя с Сабулом он никогда прежде не испытывал ни стеснения, ни неловкости, как это часто случалось с ним в присутствии тех людей, с которыми он давно хотел познакомиться.

— Я и не знал, что вы ее перевели, — сказал он.

— Да, перевел, отредактировал особенно неудачные куски, вставил кое-какие связующие звенья, отполировал и издал. Дней двадцать работы. Ты вполне можешь гордиться этой книжкой: твои идеи вполне могут вылиться в самостоятельную книгу.

Ну, допустим, и в этой-то книжке идей самого Сабула не было ни одной. Она состояла исключительно из самостоятельных идей Шевека и опровергаемых им гипотез Атро.

— Да, конечно, — сказал Шевек. — А еще я бы хотел опубликовать свою последнюю работу, о реверсивности. Ее тоже

следовало бы послать Атро. Она была бы ему интересна, а то он как-то застрял на необратимости времени, а причин его реверсивности не видит.

— Опубликовать? Где это?

— Ну, она была бы написана на языке йотик... так что... опубликовать ее можно было бы на Уррасе. Например, послать ее Атро, чтобы он поместил ее в один из журналов...

— Ты не имеешь права публиковать там работы, которые не были до того опубликованы здесь.

— Но ведь с этой-то мы как раз так и поступили! Она почти целиком была впервые опубликована в журнале Университета Йе Юн.

— Я не сумел этому помешать, но почему, как по-твоему, я так спешил сдать ее в типографию? Ведь не думаешь же ты, что в КСПР все в восторге от нашей научной переписки с Уррасом? Синдикат охраны требует, чтобы буквально каждое слово в письмах, посылаемых отсюда на космических грузовиках, было одобрено экспертами Совета. И неужели ты не понимаешь, как провинциальные физики, для которых подобная возможность общения с Уррасом вообще недосягаема, относятся к тому, что мы этой возможностью пользуемся? Неужели ты думаешь, что они нам не завидуют? Да некоторые из них только и ждут, когда мы сделаем хоть один неверный шаг! И если им когда-нибудь удастся поймать нас на чем-либо недозволенном, мы навсегда лишимся возможности подобной переписки. Теперь тебе все ясно?

— Не все. Как, например, Институту удалось получить разрешение на подобную переписку?

— Благодаря тому, что в КСПР десять лет назад был избран наш преподаватель Пегвур. — Шевек знал, что Пегвур — физик весьма средней руки. — И с тех пор я действую исключительно аккуратно, дабы сохранить этот канал, понял?

Шевек кивнул.

— Кроме того, Атро и не подумает читать твою бредовую работенку. Я просмотрел ее и вернул тебе еще несколько декад назад. Не понимаю, когда ты перестанешь зря тратить время на те мистические теории, которым так привержена Граваб? Неужели не ясно, что старуха зря потратила на них свою жизнь? Если будешь продолжать в том же духе, тоже останешься в дураках. Что, разумеется, является твоим неотъемлемым правом. Однако меня ты в дураках не оставишь.

— А что, если я предложу эту работу для публикации здесь?

— Пустая трата времени.

Шевек проглотил и это, спокойно, согласно кивнул головой и встал. Все еще чуть угловатый, он топтался на месте, глубоко о

чем-то задумавшись. Зимний свет резко высвечивал его осунувшееся лицо и светлые волосы, которые он теперь заплетал сзади в косичку. Потом он подошел к письменному столу и взял из небольшой стопки новеньких книжечек одну.

— Я бы хотел послать ее Митис, — сказал он.

— Бери, сколько хочешь.... Послушай, Шевек, если, по-твоему, ты лучше знаешь, что именно следует делать, то передай свою работу прямо в отдел публикаций. Ведь моего разрешения тебе не требуется. У нас тут никакой иерархии нет. И я не стану тебе мешать. Я могу только давать советы.

— Но ведь это вы — главный консультант Синдиката публикаций по разделу физики, — сказал Шевек. — Мне казалось, мы все сэкономим время, если я спрошу вас насчет публикации прямо.

Он говорил спокойно и явно искренне. Его невозможно было укротить, хотя бы потому, что он совершенно не стремился к превосходству.

— Сэкономим время? Что ты хочешь этим сказать? — Са-бул был раздражен, однако и он все-таки тоже был одонийцем: он поморщился, словно ему противно было собственное лицемерие, и отвернулся от Шевека. Потом вдруг снова обернулся к нему и сказал язвительно и гневно: — Давай! Иди и отдай им эту чертову работу! Я скажу, что недостаточно компетентен, чтобы судить о ней, и предложу им проконсультироваться у Граваб. Она у нас известный специалист по принципам одновременности! Занимается всякой мистической чепухой! Вселенная, видите ли, вибрирует, как огромная струна арфы! И какая же, интересно, нота звучит на этой струне? Пассажи из «Гармонии чисел», я полагаю?.. В общем — я не в состоянии или, иными словами, не желаю советовать что-либо КСПР или его отделу публикаций по поводу ваших интеллектуальных «экскрементов»!

— Та работа, которую я написал сейчас для вас, — заметил Шевек, — является частью моего исследования, которое основано на идеях, высказанных Граваб. Если вы хотите получить это исследование целиком, вам придется мириться с определенной частью моих и ее гипотез. Зерно лучше всего прорастает, если землю удобрить навозом — так говорят у нас, в Северном Поселении.

Он еще минутку постоял, но, не дождавшись ответа, попрощался и вышел.

Он понимал, что выиграл это сражение, причем выиграл легко, без нажима. Почти без нажима. Кое в чем он все-таки нажал на Сабула.

Как и предсказывала Митис, ему пришлось «стать человеком

Сабула». Сабул уже давно перестал быть самостоятельно работающим, генерирующим собственные идеи ученым; его теперешняя высокая репутация покоилась на наличии у него власти и на экспроприации чужих идей. Вот теперь и Шевек обязан был рождать идеи, а слава доставалась Сабулу, авторитет которого все рос.

Это была совершенно нетерпимая, с точки зрения этических норм, ситуация, и Шевек должен был бы сразу с презрением отвергнуть предложение Сабула. Но не отверг. Сабул был ему необходим — чтобы иметь возможность опубликовать выстраданное и послать тем, кто способны понять его идеи, физикам с Урраса. Шевеку как воздух необходимы были их критика и сотрудничество.

Так что они заключили сделку — он и Сабул, — настоящую сделку, вполне спекулянтскую. И никакое это было не сражение, а обыкновенная купля-продажа. Ты — мне, а я — тебе. Если ты мне откажешь, я тебе тоже откажу. Договорились? Продано!.. Карьера Шевека, как и существование всего их общества, зависела от продолжения этого основополагающего, хотя и не признанного гласно, взаимовыгодного контракта. Нет, здесь все строилось не на взаимопомощи и солидарности, а на взаимной эксплуатации; на отношениях не органических, но механических. Разве можно верно построить уравнение с исходно неверными данными?

«Но я хочу довести эту работу до конца!» — уговаривал себя Шевек, бредя по дорожке к общежитию. День был серый, ветреный. Это мой долг, моя радость! В этом смысл всей моей жизни. Человек, с которым я вынужден работать, — мой соперник, желающий превосходства надо мной и над всеми остальными, спекулирующий своим положением, своей властью, но я этого пока что изменить не могу. Если я хочу вообще продолжать работать, мне придется работать с этим человеком.

Он вспомнил о Митис и ее предостережениях, о Региональном Институте, о той вечеринке перед отъездом из Северного Поселения. Как давно и далеко все это было! В каких мирных и надежно-спокойных краях! Он чуть не заплакал от ностальгии. Проходя под портиком главного здания Института, он заметил, что на него искоса глянула шедшая мимо девушка, и ему показалось, что она похожа на ту его знакомую — как же ее звали? — ту самую, с короткой стрижкой, которая еще без конца жевала жареные пирожки на прощальной вечеринке. Он остановился, обернулся, но девушка уже исчезла за углом. Впрочем, он, наверно, ошибся: у этой волосы были длинные. Ушла. Все, все ушло! Шевек вышел из-под прикрывавшего его портика. Ветер пронизывал насквозь. Моросил мелкий дождь.

Дождь здесь всегда в лучшем случае моросил, если вообще шел. Ужасно сухая планета! Сухая, бледная, недружелюбная. «Недружелюбная!» — Шевек произнес это вслух на языке йотик. Язык звучал очень странно. Дождь сек лицо, точно мелкие камешки. Это был недружелюбный дождь. Горло жутко болело, а теперь еще и голова просто раскалывалась. Он только сейчас начал догадываться, что скорее всего болен. Добравшись до комнаты номер 46, он прилег на постель, и ему показалось, что она значительно ниже, чем обычно, и по полу страшно дует. Его знобило, прямо-таки трясло, и он никак не мог унять дрожь. Он натянул оранжевое одеяло на голову, свернулся в клубок и попытался уснуть; но дрожать не перестал: ему казалось, что со всех сторон его обстреливают атомными снарядами, причем атака становилась все более ожесточенной по мере того, как повышалась температура.

Он никогда ничем не болел и не знал никаких физиологических страданий, кроме усталости. Не имея ни малейшего понятия, каково это, когда у тебя сильный жар, он решил, что сходит с ума. Страх перед наступающим безумием заставил его все же обратиться за помощью. Утром, хотя Шевек так и не решился постучать к соседям по коридору, поскольку уже начинал бредить, он с огромным трудом дотащился до местной больницы, находившейся в восьми кварталах от общежития. Холодные, залитые солнечным светом улицы медленно покачивались и вращались вокруг него. В больнице его «безумие» назвали относительно легкой формой пневмонии и велели ему идти в палату номер 2 и ложиться в постель. Он запротестовал. Медсестра назвала его эгоистом и объяснила, что тогда врачу придется без конца посещать его на дому, поскольку заболевание достаточно серьезное. Шевек смирился, пошел в палату номер 2 и лег. Все его соседи были стариками. Медсестра принесла ему стакан воды и какую-то таблетку.

— Что это? — спросил Шевек с подозрением. Зубы у него снова стучали от озноба.

— Жаропонижающее.

— А что это такое?

— Лекарство, от которого температура спадает.

— Мне это не требуется.

— Как хочешь, — пожала плечами сестра и вышла.

Среди молодых анаррести было весьма распространено мнение, что быть бальным стыдно; надо сказать, это был один из результатов весьма успешной профилактики различных заболеваний на их суровой планете, а также, возможно, некоторой путаницы, возникавшей в юных умах из-за смешения

понятий «здоровый/больной» и «сильный/слабый». Они чувствовали, что болезнь — это что-то сродни позорному проступку, пусть и непреднамеренному. Поддаться ей, проявить преступное слабоволие и начать принимать, например, болеутоляющее было, с их точки зрения, чуть ли не аморально. Молодежь насмерть стояла против всяких таблеток и уколов. В среднем возрасте, а тем более в старости большая часть этих героев меняла точку зрения. Боль порой становилась непереносимей стыда. Медсестра раздавала старикам в палате лекарства, они шутили с нею, а Шевек наблюдал за всем этим с тупым непониманием.

Позднее появился врач с готовым для инъекции шприцем.

— Я не хочу, — заявил Шевек.

— Не будь эгоистом, — возразил врач, — нечего тут к себе всеобщее внимание привлекать! А ну-ка, повернись на живот. — Шевек подчинился.

Еще чуть позже сиделка принесла ему напиться, но его так била дрожь, что большая часть воды пролилась на одеяло.

— Оставьте меня в покое, — внятно сказал он. — Кто вы такая? — Женщина сказала, но он не разобрал. И сказал, чтобы она уходила, что он чувствует себя прекрасно, а потом принялся объяснять ей, что гипотеза цикличности времени, хотя сама по себе непродуктивная, является основой его будущей теории Одновременности, ее краеугольным камнем. Он говорил то на правик, то на йотик и быстро писал формулы и уравнения в воздухе — ему казалось, что мелом на грифельной доске, — чтобы она и остальные члены семинарской группы как следует его поняли. Особенно его почему-то волновало, что они не совсем правильно поймут высказывание насчет краеугольного камня. Женщина коснулась его лица, убрала волосы назад и завязала тесемкой. Руки у нее были мягкие, прохладные. Он никогда не ощущал более приятного прикосновения. Он потянулся и хотел взять ее за руку. Но женщина уже ушла.

Проснулся он нескоро. Он мог довольно свободно дышать. Он чувствовал себя отлично. Все было в порядке! Вот только двигаться не хотелось. Казалось, что если начнешь двигаться, то нарушишь идеально-стабильное равновесие, воцарившееся в мире. Зимний свет на потолке был невыразимо прекрасен. Шевек бесконечно любовался его игрой. Старики, его соседи по палате, о чем-то беседовали и смеялись — старческими, глухими голосами, — и эти звуки тоже казались ему прекрасными. Та женщина, что уже приходила к нему, присела на краешек его кровати. Он улыбнулся ей.

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Точно заново родился! А вы кто?

Она тоже улыбнулась:

— Твоя мать.

— Значит, я действительно родился заново. И у меня должно быть новое тело, а это вроде бы то же самое.

— Господи, какую чушь ты несешь!

— Ничего подобного! Это здесь чушь, а на Уррасе Возрождение — существеннейшая часть их религиозных представлений.

— У тебя голова не болит? — Она коснулась его лба. — Температуры, кажется, нет. — Голосом своим она касалась в самой глубине души Шевека какой-то болевой точки, глубоко спрятанной ото всех, но сопротивляться он не мог, и боль проникала все глубже, глубже в душу... Он внимательно посмотрел на женщину и сказал с ужасом:

— Значит, ты — Рулаг!

— Я ведь уже сказала. Да, я Рулаг, твоя мать.

Странно, ей удавалось сохранять на лице выражение веселой беззаботности. Голос звучал весело. Но Шевек со своим лицом справиться не мог. И, хотя сил двигаться у него не было, он весь съежился и отполз от нее подальше с нескрываемым страхом, словно она была не его матерью, а его смертью. Если Рулаг и заметила это слабое движение, то виду не подала.

Она была красива — темноволосая, с тонким, нежным, будто точеным лицом, на котором совсем не было заметно морщинок, хотя ей, наверно, было уже за сорок. Все вокруг этой женщины, казалось, пребывало в гармонии, подчиняясь ее воле. Голос у нее был грудной, мягкий.

— Я и не знала, что ты в Аббенае, — сказала она. — Я вообще ничего о тебе не знала. Просто случайно зашла в отдел публикаций — просмотреть новинки и отобрать литературу для библиотеки инженерного факультета — и увидела книгу, где авторами значились Сабул и Шевек. Сабула я, разумеется, знаю. Но кто такой Шевек? Это имя показалось мне странно знакомым, но я по крайней мере минуты две никак не могла догадаться. Ты только представь себе! Мне это казалось невозможным. Ведь тому маленькому Шевеку, которого я когда-то знала, могло быть не более двадцати — вряд ли Сабул стал бы писать совместные работы по метакосмологии с каким-то мальчишкой. Так что я пошла узнавать, и какой-то мальчик в общежитии сказал, что ты в больнице... Кстати, эта больница поразительно плохо укомплектована. Я не понимаю, почему представители синдиката не запросят еще персонал из Медицинской федерации или не сократят количество принятых на лечение больных? Некоторые из

здешних сестер и врачей работают по восемь часов в день и больше! Разумеется, среди медиков встречаются люди, которые стремятся прежде всего к самопожертвованию... К сожалению, однако, это не всегда сопряжено с должной эффективностью... Странно было тебя увидеть. Я бы, видимо, так никогда и не познакомилась с тобой, если бы... Вы с Палатом поддерживаете отношения? Как он?

— Он умер.

— Да? — В голосе Рулаг не прозвучало ни притворного ужаса, ни искренней печали — только некая тоскливая привычность к этому слову, некая безжизненная пустота. Шевеку почему-то стало вдруг жаль ее — всего на мгновение.

— Давно он умер?

— Восемь лет назад.

— Ему ведь не больше тридцати пяти тогда было.

— В Широких Долинах случилось землетрясение... Мы там уже около пяти лет жили, он работал инженером-строителем. Во время землетрясения рухнул учебный центр. Палат вместе с другими пытался вытащить из-под развалин детей. И тут произошел второй толчок... Все, кто там был, погибли. Тридцать два человека.

— Ты тоже там был?

— Нет. Я уже уехал в Региональный Институт — учиться. Всего за десять дней до землетрясения.

Она помолчала; лицо ее было нежным и печальным.

— Бедный Палат. Как это похоже на него — умереть вместе с другими... Тридцать два человека!

— Их могло быть значительно больше, если бы Палат туда не полез, — сказал Шевек.

Рулаг посмотрела на него. Невозможно было определить по этому взгляду, какие чувства испытывала она сейчас. Слова, которые она затем сказала, могли случайно вырваться у нее. А может, она, напротив, долго обдумывала их — кто знает?

— Ты очень любил Палата. — Это звучало как спокойное утверждение.

Он не ответил.

— Но ты на него не похож. Зато очень похож на меня — только я темная, а ты светлый. Я думала, ты будешь похож на Палата. Я всегда так считала... Странно, насколько воображение способно заставить тебя быть в чем-то абсолютно уверенной... Значит, он тогда остался с тобой?

Шевек кивнул.

— Ему повезло. — Она не вздохнула, однако он почувствовал этот ее сдержанный вздох сожаления.

— Мне тоже.

Помолчали. Потом Рулаг слабо улыбнулась и сказала:

— Да, разумеется. Я, наверное, тоже должна была поддерживать с тобой связь... Ты на меня обижен? Ведь я никак не пыталась тебя разыскать.

— Обижен? Я тебя никогда не знал. Я тебя даже не помнил.

— Неправда. Мы с Палатой держали тебя дома, пока жили вместе, даже когда я отняла тебя от груди... Мы оба этого хотели. В первые годы жизни тесный контакт с родителями для ребенка жизненно важен; психологи это давно доказали. Полная социализация личности должна осуществляться только через несколько лет после рождения, а первые годы ребенок должен прожить с матерью и отцом... Я очень хотела, чтобы мы так и жили — все вместе... Я пыталась устроить Палату вызов в Аббенай. Но по его специальности никогда не было вакансий, а без официального вызова он приезжать ни за что не хотел. Упрямства в нем всегда хватало... Сперва он, правда, писал мне, о тебе рассказывал, потом перестал...

— Это сейчас неважно, — сказал Шевек. Его лицо, осунувшееся после болезни, было покрыто испариной, отчего лоб и щеки казались серебристыми и блестящими.

Снова возникла неловкая пауза, и Рулаг прервала ее своим приятным ровным голосом:

— Да нет, пожалуй, все-таки важно. Хорошо, что именно Палат остался с тобой, что именно он заботился о тебе в те годы, когда ты входил в общество других людей. На него всегда можйо было положиться, он был хорошим отцом. А я... я плохая мать. Для меня всегда на первом месте была работа. И все же я рада, что теперь ты здесь, Шевек! Возможно, теперь я тоже смогу быть чем-то для тебя полезной. Я знаю, Аббенай сперва производит отталкивающее впечатление. Чувствуешь себя потерянным, одиноким, не хватает того внимания, с которым к тебе относятся в маленьких городках. Ничего, я знаю здесь многих интересных людей, возможно, тебе захочется с ними познакомиться. И, возможно, они могут быть тебе весьма полезны. Я неплохо знаю Сабула и скорее всего представляю, что именно тебе в нем кажется неприемлемым. Мне известны также институтские нравы. Здесь, в

Аббенае, вообще ценят собственное превосходство над другими и любят играть во многие подобные игры. Нужен некоторый опыт, чтобы понять, как можно переиграть противника. В общем, я рада твоему приезду. Ты это знай. Странно, я никогда к этому не стремилась, но мне так приятно... радостно... Между прочим, я прочла твою книгу. Это ведь твоя

книга, верно? Иначе с какой стати Сабул взял в соавторы двадцатилетнего студента? Тема, правда, выше моего понимания, я ведь всего лишь инженер. Но кое-что я поняла и признаюсь: я горжусь тобой! Странно, не правда ли? Необъяснимо — ведь я не имею на это права. В моей гордости тобой даже есть нечто собственническое. Впрочем, когда становишься старше, требуются некоторые подтверждения... и они не всегда разумны. Но необходимы: чтобы просто продолжать жить.

Он видел ее одиночество. Ее боль. И отвергал все это. Это ему угрожало. Это угрожало его верности отцу, той чистой и постоянной любви к Палату, в которой коренилась и крепла его собственная жизнь. Какое она имела право, она, бросившая Палата в беде, прийти со своей бедой к его сыну! У него ничего для нее нет! Ничего он дать ей не может!

— Возможно, было бы лучше, — сказал он, — если бы ты продолжала думать обо мне — как просто об одном из многих.

— Ах вот как. — Она сказала это тихо, спокойно. И отвернулась.

Старички на другом конце палаты явно любовались ею, возбужденно подталкивали друг друга.

— Полагаю, — снова заговорила она, — тебе показалось, что я предъявляю на тебя какие-то права? Это не совсем так... Но я думала, что и ты, возможно, захочешь предъявить какие-то права на меня?

Он промолчал.

— Мы с тобой, конечно, не мать и сын, разве что чисто биологически, — снова слабо улыбнулась она. — Ты не помнишь меня, а тот малыш, которого помню я, теперь стал двадцатилетним юношей. Все в прошлом, все теперь не имеет значения. Однако мы с тобой брат и сестра — здесь, сейчас; и мы можем помочь друг другу. Вот это действительно имеет смысл. Тебе так не кажется?

— Не знаю.

С минуту она посидела молча, потом встала.

— Тебе нужно отдохнуть. Ты был очень болен — я ведь и раньше приходила... А сегодня мне сказали, что ты уже скоро поправишься. Не думаю, что приду сюда еще раз.

Он по-прежнему молчал.

— До свидания, Шевек, — сказала Рулаг и сразу отвернулась, но у него успело возникнуть кошмарное ощущение того, что лицо ее меняется на глазах — ломается, распадается на куски. Наверное, это был просто плод его воображения, но, когда она встала, это была совсем другая женщина. Очень красивая, уверенная в себе. Она вышла из палаты привычной изящной

походкой, и Шевек заметил, как она остановилась в коридоре и о чем-то, улыбаясь, заговорила с медсестрой. Когда она ушла, он дал волю страху, пришедшему вместе с ней, разбудившему в нем ощущение нарушенных обещаний, несвязности, непоследовательности Времени. И он сломался. И заплакал, пытаясь спрятать лицо, закрыть его руками, потому что у него не хватало сил даже просто отвернуться. Один из соседей, старый больной человек, подошел к нему и, присев на край кровати, потрепал по плечу.

— Ничего, братец. Ничего, — шептал он.

Шевек слышал его голос, чувствовал его ласку, но утешения это ему не приносило. Даже от слова «братец» в такой плохой час не исходило тепла, слишком высокой была та стена, что его сейчас окружала.

Глава 5
УРРАС

Шевек с облегчением перестал «быть туристом» и начал работать; ему надоело смотреть на этот рай со стороны, тем более в Университете Йе Юн начинался новый семестр.

Он взялся вести два семинара и открытый курс лекций. От него не требовали преподавательской работы, но он давно уже жаждал ее, и администрация Университета пошла ему навстречу. Что же касается «открытого класса», то это была не его и не их идея. К Шевеку с этой просьбой явилась целая делегация студентов, и он сразу согласился. Именно так обычно делалось в учебных центрах Анарреса: группы составлялись по требованию учащихся или же по инициативе преподавателей, или же благодаря тому и другому одновременно. Когда Шевек обнаружил, что руководство Университета скорее огорчено этим, ему стало смешно: неужели они ожидали, что студенты совершенно не склонны к анархии? Да это были бы просто не настоящие студенты! Всегда нужно стремиться выплыть на поверхность, даже если совсем опустился на дно.

У него не было намерения пойти навстречу администрации и отменить этот курс — он и сам раньше, будучи студентом, выдерживал подобные битвы, — и, поскольку он чувствовал себя абсолютно уверенно, его уверенность сообщалась и другим- Чтобы избежать неприятных публикаций в прессе, ректорат Университета сдался, и Шевек начал читать свой курс, в первый же день собрав немыслимую аудиторию — две тысячи человек! Вскоре посещаемость, правда, значительно упала. Он говорил исключительно о проблемах физики, никогда не отвлекаясь и не затрагивая ни личных, ни политических проблем, а физика, о которой шла речь, была доступна далеко не каждому. Однако несколько сотен студентов продолжали посещать занятия. Некоторые приходили из чистого любопытства — посмотреть на человека с луны; других Ше-век привлекал как личность: им достаточно было видеть этого анархиста, сторонника доктрины «свободы воли»; в его речах они улавливали что-то свое, даже если не способны были проследить за ходом его математических выкладок. Но самое удивительное — многие сумели все же уловить не только философский, но и математический смысл его теорий.

Им дали отличное образование, этим юным уррасти. Умы их были отточены, остры, готовы к восприятию. Когда они не

работали, то просто отдыхали, и при этом их не отупляли и не отвлекали десятком других обязанностей и обязательств. Они никогда не засыпали в аудитории, потому что устали от дежурства по общежитию, которое несли накануне. Общество Урраса поддерживало будущий цвет своей науки, и студенты Университета были абсолютно свободны от каких бы то ни было других забот. Ничто не отвлекало их от серьезных занятий.

Однако совершенно по-другому стоял вопрос о том, что они могли и чего не могли делать. Шевеку показалось, что их свобода от обязанностей и забот находится в прямой пропорции с нехваткой у них свободы инициативы.

Он ужаснулся, когда познакомился с их экзаменационной системой; он и представить себе не мог более отпугивающего средства для тех, кто естественным образом желает узнавать новое; особенно кошмарной казалась ему необходимость прямо перед экзаменом поспешно нахватывать недостающие знания и выталкивать эту непрожеванную и непереваренную массу по требованию экзаменатора. Сперва он отказывался устраивать какие бы то ни было контрольные или проверки, а также — ставить оценки, однако это настолько огорчало администрацию Университета, что он, не желая быть невежливым и неблагодарным по отношению к тем, кто его сюда пригласил, сдался и попросил своих студентов написать работу по любой проблеме в области физики, которая их интересует, пообещав поставить за самостоятельность мышления самые высшие оценки, чтобы университетские бюрократы смогли занести их в свои реестры. К его удивлению, довольно многие студенты явились к нему с жалобами. Они хотели, чтобы это он ставил перед ними цели и задачи, чтобы он спрашивал их по конкретным вопросам из области пройденного; сами же они не хотели ни ставить перед собой вопросы, ни думать о них — хотели лишь написать готовые ответы по хорошо выученному и проработанному материалу. А некоторые даже совершенно серьезно возражали против того, что Шевек всем ставил одинаковые оценки. Они считали, что так невозможно отличить выдающихся студентов от тупиц. Да и какой прок от упорной работы в течение семестра, если даже элементов соревнования не сохраняется? Тогда можно вообще ничего не делать!

— Что ж, разумеется, — сказал встревоженный Шевек. — В этом вы правы: если не хотите делать работу, то и не следует ее делать.

Они ушли, ничуть не успокоенные его ответом, но по-прежнему вежливые и почтительные. Вообще-то они были приятные ребята, открытые, вежливые, умеющие себя вести. То,

что Шевек прочитал по истории Урраса, в итоге заставило его прийти к выводу, что это настоящие аристократы — хотя это слово и редко использовалось в последнее время. Аристократы духа. Во времена феодализма представители аристократии посылали своих сыновей в университет, придавая, таким образом, первостепенное значение образованности. Теперь же это приобрело как бы обратный смысл: выпускники Университета уже считались аристократами и обладали определенным превосходством над остальными. Студенты с гордостью говорили Шевеку, что конкурс на получение стипендии с каждым годом становится все более жестким, но в нем могут участвовать все — этим доказывалась исходная демократичность данного учебного заведения. Он ответил:

— Вы вешаете на дверь еще один замок и называете это демократичностью?

Да, Шевеку нравились его вежливые умные студенты, йо он не испытывал особого тепла ни к одному из них. Они заранее строили свои карьеры — чисто академические или в промышленности. А то, что они узнавали у него на занятиях, да и знания вообще воспринимались ими всего лишь как средство для достижения конечной цели: успешной карьеры. Им было неважно — даже если они понимали, что Шевек мог предложить им дополнительно, — получат ли они эти дополнительные знания, если и без них сумеют занять подобающее место в обществе.

Никаких других обязанностей, кроме подготовки к двум семинарам и курсу лекций, у него не было; все остальное время целиком было в его распоряжении. Он не имел столько свободного времени с тех пор, когда ему было двадцать, с первых курсов учебы в Аббенае. А потом его общественная и личная жизнь становилась все более и более сложной и требовательной. Он был не только физиком, но еще и отцом семейства, одонийцем и, наконец, общественным реформатором. И ему некуда было сбежать от забот и ответственности, которые сыпались на него как из рога изобилия. Его никогда ни от чего не освобождали; он был свободен только трудиться, без конца что-то делать. А здесь, на Уррасе, все было иначе. Как и все преподаватели и учащиеся, он не обязан был делать ничего, буквально ничего! Кровати за них стелили, комнаты убирали, все бытовые проблемы на факультетах решал кто-то еще, перед ними же был открыт широкий путь — в Науку. И никаких жен, никаких семей. Вообще никаких женщин. Студентам в Университете Йе Юн жениться было запрещено. Женатые преподаватели обычно пять дней в неделю жили по-холостяцки в университетском городке и уезжали домой только на два выходных дня. Ничто не отвлекало

их от науки. Полная свобода — можно было заниматься только любимым делом; все материалы под рукой; интеллектуальные споры, разговоры — в любое время! И никакого давления. Просто рай да и только! Однако Шевек, похоже, никак не мог прийти в себя и по-настоящему взяться за работу.

Чего-то ему не хватало — в нем самом, как он считал, не в окружающей среде. Он, видно, еще не дорос до таких условий. У него не хватало совести — безвозмездно принимать то, что ему так щедро предлагалось. Он чувствовал себя каким-то обезвоженным, точно растение пустыни, хотя кругом раскинулся прекрасный оазис. Жизнь на Анарресе, ее необычайная суровость и требовательность, наложила на него свой отпечаток, закрыла его душу; воды жизни разливались вокруг него могучим потоком, а он все не мог напиться.

Он, разумеется, заставлял себя работать, но не чувствовал уверенности в себе. Он, казалось, утратил то научное чутье, которое, согласно собственной самооценке, считал своим главным преимуществом перед остальными физиками — ощущение того, в чем именно заключена действительно важная проблема и где тот ключ, что даст возможность проникнуть в самую ее сердцевину. Он работал в лаборатории природы света, очень много читал и за лето написал три работы: то есть, по обычным меркам, эти полгода были достаточно продуктивными. Однако он понимал, что по-настоящему-то он ничего не сделал.

Чем дольше он жил на Уррасе, тем менее реальным он ему казался. Он словно ускользал от него — этот полный жизненных сил, великолепный, неистощимый мир, который он тогда увидел из окон своей комнаты — в самый первый день пребывания на этой планете. Этот мир выскальзывал из его неловких рук чужака, избегал его, и, когда Шевек смотрел на то, что у него получилось, оказывалось, что это нечто совершенно отличное от того, к чему он стремился, что-то совсем ему не нужное, вроде смятой брошенной бумажки. Просто мусор.

Он получил деньги за написанные им работы. У него уже было на счету в Национальном банке 10 000 международных валютных единиц — премия Сео Оен, а также грант в 5 000, который ему предоставило правительство А-Йо. Теперь эта сумма еще увеличилась, благодаря его профессорской зарплате и гонорару, полученному в издательстве Университета за три последних монографии. Сперва все это казалось ему смешным; потом ему стало не по себе. Не может же он повернуться спиной как к чему-то нелепому к тому, что, в конце концов, представляет здесь первостепенную важность! Он попытался читать простенькие статьи по экономике, но это оказалось невыносимо

скучно — все равно что слушать, как кто-то рассказывает свой ужасно длинный и совершенно дурацкий сон. Он не смог заставить себя понять, как именно функционируют банки и тому подобное, потому что все операции этих капиталистических учреждений были для него столь же бессмысленны, как ритуалы какой-нибудь примитивной религии, как нечто варварское — столь же замысловатое, сколь и ненужное. В человеческих жертвоприношениях вполне могла быть, по крайней мере, хотя бы ошибочная и страшная, но все-таки красота; в ритуалах этих менял, где алчность, лень и зависть были призваны двигать всеми поступками людей, даже ужасное становилось банальным. Шевек смотрел на это чудовищное крючкотворство с презрением и без всякого интереса. Он не допускал, не мог допустить, что на самом деле ему от всего этого становится страшно.

Сайо Пае как-то раз повез его по магазинам. Шла уже вторая неделя пребывания Шевека в А-Йо. Хотя он не собирался стричь волосы — в конце концов, он считал их частью самого себя, — но в остальном хотел быть похожим на настоящего жителя Урраса. Ему надоело, что на него пялят глаза, как на чужеземную диковинку. Его прежний, слишком простой костюм выглядел здесь чуть ли не вызывающе, а мягкие, хотя и грубо сшитые ботинки, предназначенные для пустыни, казались весьма странными среди изящной городской обуви. Он сам попросил Пае помочь ему сменить гардероб, и они поехали на улицу Семтеневиа, элегантный торговый центр Нио Эссейи, чтобы заказать там обувь и одежду.

Сам по себе опыт подобной поездки оказался настолько ошеломляющим, что Шевек решил никогда больше его не повторять и поскорее выбросить все это из головы, однако и несколько месяцев спустя ему часто снились кошмарные сны об этой поездке. Улица Семтеневиа была мили две в длину, и по ней двигалась плотно спрессованная масса людей и транспорта. Здесь всё покупалось или продавалось. Куртки, пальто, различные наряды, вечерние платья, рубашки, брюки, спортивная одежда, майки, блузки, шляпы, обувь, носки, шарфы, шали, курточки, кепки, зонты, пижамы, купальные костюмы, одежда для коктейлей и деловых приемов, для пикников и путешествий, для театра и для занятий скейтбордингом, для торжественных обедов и охоты — все разное, сотни самых различных фасонов, сотни стилей и расцветок, фактуры и толщины ткани. Духи, часы, лампы, статуэтки, косметика, свечи, картины, фотокамеры, настольные и спортивные игры, вазы, диваны, чайники, подушки, куклы, дуршлаги, кастрюли, драгоценные украшения, ковры, зубочистки, календари... Он видел детскую погремушку из

платины и хрусталя, электрическую машинку для заточки карандашей, наручные часы с цифрами из бриллиантов; безделушки, сувениры, лакомства, записные книжки и прочую мелочь — все одинаково и совершенно бессмысленное, украшенное драгоценными металлами и самоцветами так, что совершенно невозможно было определить, что это такое и зачем оно. Квадратные километры, буквально забитые предметами роскоши, совершенно ненужными, излишними, «экскрементальными»... У одной из первых витрин Шевек остановился и с изумлением уставился на потрепанное, покрытое странными пятнами, какое-то косматое пальто, висевшее на самом видном месте среди прочих изысканных нарядов и украшений.

— Это пальто стоит 8400 единиц? — спросил он, не веря собственным глазам; как раз недавно он прочитал в газете, что здешний «прожиточный минимум» для семьи составляет примерно 2000 единиц в год.

— О да! Ведь это натуральный мех! Теперь большая редкость — ведь животных охраняет государство. — Пае явно был в восторге от косматого пальто. — Красивая вещь, правда? Женщины любят меха.

Они миновали еще один квартал, и Шевек понял, что дальше идти не в силах. Он чувствовал себя до крайности изможденным. Он больше не мог *смотреть*. Ему хотелось закрыть глаза.

И самое странное на этой кошмарной улице — что ни одна из невероятного множества выставленных для продажи вещей там не делалась. Вещи там только продавали. Но где же тогда мастерские, фабрики, заводы? Где фермеры, ремесленники, шахтеры, ткачи, химики, резчики, красильщики, дизайнеры? Где те руки, что изготовили все это? Спрятаны, чтобы не быть на виду. Где-то подальше. За стенами. А здесь водились только два сорта людей: покупатели и продавцы. И ни те ни другие не имели никакого отношения к созданию вещей. Только к обладанию ими.

Шевек обнаружил, что если с тебя один раз снимут мерки, то потом можно без конца заказывать все, что тебе захочется или понадобится, просто по телефону, и решил больше никогда не возвращаться на эту кошмарную улицу.

Заказанные костюмы и обувь прибыли через неделю. Шевек переоделся и некоторое время постоял перед огромным зеркалом в спальне. Отлично сидевший серый пиджак, белая сорочка, черные узкие брюки, черные носки, блестящие черные туфли — все это очень шло ему, высокому, худощавому. Он коснулся пальцем блестящего носка туфли. Это было очень похоже на кожу, хотя вряд ли такое возможно. Впрочем, тот же материал,

что и на креслах в гостиной... Он не выдержал и спросил кого-то, что это такое, и ему сказали: да, действительно, это кожа — точнее, шкура животных, тщательно выделанная. Шевек поморщился, вспомнив об этом. Он выпрямился и отвернулся от зеркала. Однако все же успел заметить, что в таком виде, нарядно и модно одетый, он еще больше похож на свою мать Рулаг.

В середине осени между семестрами были большие каникулы. Большая часть студентов разъезжалась по домам. Шевек отправился автостопом в горы Мейтейс с группой студентов и научных работников из лаборатории природы света, потом, вернувшись, сделал заявку на несколько часов работы за большим компьютером, который в течение семестра вечно был занят. Но, даже уставая до отвращения от работы, которая не давала никаких результатов, он работал не слишком усердно. Спал больше обычного, много гулял, читал и пытался убедить себя, что просто он всегда раньше чересчур торопился из-за постоянной нехватки времени, но нельзя, невозможно познать, хотя бы охватить взглядом целый новый мир всего лишь за несколько месяцев. Лужайки и рощи университетского парка были прекрасны — с кудрявыми деревьями, сияющими золотой осенней листвой, которую срывали ветер и дожди. Шевек увлекся поэзией; он читал стихи крупнейших поэтов йоти и теперь хорошо понимал, почему они так часто воспевали цвета и краски осени. Понимание этой поэзии принесло огромное наслаждение. И очень приятно было вернуться вечером в свою комнату, в этот дом, спокойная красота которого не переставала восхищать его. Хотя теперь он уже немного привык и к красоте и комфорту своего жилища. Привык он и к лицам своих коллег в профессорской; некоторые из них были ему более приятны, некоторые — менее, но все теперь уже были ему хорошо знакомы. Привык и к обильной и чрезвычайно разнообразной пище, количество которой сперва приводило его просто в смущение. Человек, который прислуживал ему за столом, быстро разобрался в его потребностях и вкусах и обслуживал его так, как, наверное, он сам бы себя не обслужил. Шевек по-прежнему не ел мяса; он, разумеется, попробовал его — из вежливости, а также пытаясь доказать себе, что должен подавить всякие там иррациональные предрассудки, — однако его желудок с ним не согласился и яростно восстал, устроив Шевеку два совершенно катастрофических приступа. Шевек сдался и прекратил подобные эксперименты с мясным; он остался вегетарианцем, хотя рыбу ел и вообще отличался отменным аппетитом. Он даже прибавил в весе — килограмма три-четыре — и выглядел сейчас очень

хорошо, загорелый и отдохнувший за каникулы. Сегодня, вставая из-за стола в огромном старинном зале столовой с невероятно высокими потолками, с балками над головой, с украшенными деревянными панелями и чьими-то портретами стенами, с зажженными на столах свечами, со сверканием серебра и тонкого фарфора, он с кем-то поздоровался с высоты своего огромного роста и двинулся было к выходу с обычным выражением миролюбивой отрешенности на лице, когда к нему через весь зал бросился Чифойлиск.

— У вас найдется две-три свободных минутки, Шевек?

— Да, конечно. Пойдемте ко мне?

Чифойлиск, похоже, колебался.

— Может быть, лучше в библиотеку? — предложил он. — Вам это все равно по пути, а мне нужно взять кое-что из книг.

Они пересекли двор, направляясь к библиотеке факультета естественных наук — таково было старомодное название физического факультета, сохранившееся в некоторых институтах даже на Анарресе. Сгущались сумерки, накрапывал дождь. Чифойлиск раскрыл зонт, а Шевек шел с непокрытой головой, не обращая внимания на дождь и воспринимая его, пожалуй, даже с большим удовольствием, чем жители Урраса солнечные погожие деньки.

— Вы же промокнете, — буркнул Чифойлиск. — У вас ведь, кажется, легкие не в порядке? Нужно быть осторожнее.

— Я прекрасно себя чувствую, — сказал Шевек и улыбнулся: быстрая ходьба и дождик освежили его. — Этот «прикрепленный» ко мне вашими властями врач прописал мне какие-то замечательные ингаляции. И знаете, мне чудесно помогло: я больше совсем не кашляю. Я его попросил перечислить названия этих процедур и лекарственных средств, которыми он пользовался, во время сеанса радиосвязи с нашим Синдикатом инициативных людей. И он мою просьбу с удовольствием выполнил. Знаете, такое простое средство, а облегчение огромное! И особенно эффективно при большом скоплении пыли в воздухе. Ну почему, почему никто не догадался делать подобные ингаляции раньше? Почему вообще мы работаем не вместе, Чифойлиск?

Чифойлиск хмыкнул со злой иронией. В читальном зале было тихо и пусто. Стеллажи со старыми книгами под изящными двойными арками из мрамора, священный полумрак; лампы — простые белые шары — на длинных читальных столах. И ни души, только смотритель поспешил за ними следом, чтобы разжечь огонь в мраморном камине и убедиться, что им ничего больше не нужно. Затем он снова исчез. Чифойлиск постоял у камина, глядя,

как разгорается растопка. Брови его над маленькими глазками были сдвинуты; грубоватое, смуглое, умное лицо казалось мгновенно постаревшим.

— У меня к вам неприятный разговор, Шевек, — хрипловато начал он. — Полагаю, вас это не слишком удивит.

— А в чем, собственно, дело?

— Интересно, понимаете ли вы, зачем вы здесь?

Помолчав, Шевек ответил:

— По-моему, да.

— В таком случае вы сознаете, что вас купили?

— Купили?

— Ну хорошо, скажем, «кооптировали», если вам это нравится больше. Послушайте, каким бы умницей ни был человек, он не может увидеть того, что видеть ему не дано. Как можете вы понять свое положение, свою нынешнюю роль здесь, в этом плутократическом олигархическом государстве, прибыв из маленькой коммуны голодающих идеалистов, буквально свалившись с небес?

— Уверяю вас, Чифойлиск, на Анарресе осталось не так уж много идеалистов. Первые поселенцы действительно были идеалистами, раз смогли покинуть эту цветущую планету ради наших бесплодных пустынь. Но то было семь поколений назад! Уверяю вас, наше общество весьма прагматично. Возможно, даже чересчур. Ибо сосредоточено исключительно на проблеме собственного выживания. Что уж такого «идеалистического» в кооперации, во взаимопомощи? Ведь там — это единственный способ выжить.

— Я не могу спорить с вами о ценностях учения Одо. Что отнюдь не значит, что мне этого никогда не хотелось! И я действительно немного разбираюсь в этом, смею вас уверить. Мы, моя страна, значительно ближе к одонийцам, чем А-Йо. Мы продукт того же великого революционного движения, имевшего место в восьмом веке, что и вы; мы социалисты.

— Но у вас ведь типичная иерархия! Государство Тху даже более централизовано, чем А-Йо. Тот, у кого в руках власть, контролирует все — правительство, управленческий аппарат, полицию, армию, образование, правовую систему, торговлю, производство... К тому же вы пользуетесь деньгами.

— Денежные отношения у нас в экономике основываются на том, что каждый получает по труду, то есть по стоимости своего труда — и получает не от капиталистов, которым вынужден служить, а от государства, членом которого является сам!

— А что, он сам и устанавливает, какова стоимость его труда?

— Послушайте, Шевек, почему бы вам не приехать в Тху и не посмотреть собственными глазами, как функционирует настоящая социалистическая система?

— Я знаю, как функционирует настоящая социалистическая система, — сказал Шевек. — Я могу вам это рассказать; но вот позволит ли мне ваше правительство разъяснить это у вас, в Тху?

Чифойлиск подтолкнул ногой полено, которое до сих пор еще не занялось. Лицо его, когда он смотрел на огонь, было исполненным горечи, от крыльев носа к уголкам рта пролегли глубокие резкие морщины. На вопрос Шевека он не ответил. Потом наконец промолвил:

— Я не собираюсь играть с вами в прятки. Это, так или иначе, к добру не привело бы. Но я должен спросить у вас: вы бы хотели поехать в Тху?

— Не сейчас, Чифойлиск.

— Но разве здесь вы можете чего-то добиться?..

— Мне нужно закончить работу. К тому же близится заседание Совета Государств Планеты...

— Да этот Совет уже лет тридцать у А-Йо в кармане! Не надейтесь, что они вам помогут. СГП — для вас не спасение!

— Так, значит, мне грозит опасность? — помолчав, спросил Шевек.

— Вы что, даже этого не поняли?

Повисла гнетущая тишина.

— Против кого же вы меня предостерегаете? — спросил чуть погодя Шевек.

— Ну, в первую очередь опасен Пае...

— Ах да, Пае... — Шевек оперся руками о каминную полку, украшенную золотистым орнаментом. — Пае — очень хороший физик. И весьма обязательный, услужливый человек. Но я ему не доверяю.

— Да? А почему?

— Видите ли... Он всегда ускользает, никогда не ответит прямо...

— Вот именно! Это вы очень точно подметили. Однако Пае опасен для вас, Шевек, не из-за своих личных качеств, не из-за своей изворотливости, а потому, что он верный и надежный агент правительства А-Йо. Он докладывает в тайную полицию, то есть в департамент национальной безопасности, о каждом вашем слове. И о моем тоже. Причем регулярно. Господи, я вас очень высоко ценю, Шевек, но неужели вы не понимаете, что ваша привычка оценивать каждого только с точки зрения его личных качеств здесь не годится? Это здесь попросту не работает! Вы должны сперва разобраться, что за силы стоят за тем или иным

«представителем науки».

Шевек подобрался, выпрямился и теперь, как и Чифой-лиск, смотрел на пляшущие в камине языки пламени.

— Откуда вам все это известно — о Пае? — спросил он.

— Из того же источника, из которого мне известно, что в вашей комнате имеется подслушивающее устройство. Как и в моей, впрочем. Вообще-то, я по роду своей деятельности обязан знать о таких вещах.

— Вы что, тоже тайный агент?

Лицо Чифойлиска стало еще суровее; он помолчал, потом вдруг повернулся к Шевеку и заговорил тихо и с ненавистью:

— Да, конечно! Иначе как бы я оказался здесь? Всем известно, что правительство Тху посылает за границу только тех, кому может доверять... А-мне они доверять могут! Потому что я не куплен, как все эти богатенькие профессора йоти. Я верю своему правительству, я патриот! — Он выплевывал слова с какой-то яростной решимостью и мукой. — Да посмотрите вы вокруг, Шевек! Вы же словно ребенок среди воров. Они к вам добры, они предоставили вам хорошую комнату, возможность читать лекции студентам, у вас есть деньги, вы совершаете поездки по старинным замкам, по самым лучшим предприятиям, по самым красивым деревням... Все самое лучшее! Все самое красивое! И складывается все так замечательно! Но почему? Почему они действительно привезли вас сюда с луны, хвалят вас, печатают ваши книги, обеспечивают вас абсолютно всем необходимым в лекционных залах, лабораториях и библиотеках? Неужели вы думаете, что они делают это из научного бескорыстия, из братской любви? Это экономика наживы, Шевек!

— Я знаю. Я прибыл сюда, чтобы заключить с ее представителями сделку.

— Сделку? Какую? Зачем?

Лицо Шевека стало таким же холодным и замкнутым, как после посещения крепости в Дрио.

— Вы же знаете, чего я хочу, Чифойлиск. Я хочу, чтобы мой народ вернулся из ссылки! Я прилетел в А-Йо, потому что не уверен, чтобы в Тху этого хотели бы. Вы боитесь анаррести. Вы боитесь, что мы можем принести с собой истинно революционные идеи, идеи той, старой, настоящей революции, которую вы во имя справедливости начали, а потом остановились на полпути. Здесь, в А-Йо, меня боятся меньше, потому что йоти давно забыли о той революции. Они больше в нее не верят, они думают, что, если людям дать достаточно разных вещей, они вполне удовлетворятся даже жизнью в тюрьме. Но ведь это не так и я никогда не поверю в это! Я хочу, чтобы рухнули тюремные стены. Я стремлюсь к

солидарности, солидарности наших народов. Я хочу свободного обмена между Уррасом и Анарресом. Я не щадил сил во имя этой цели на Анарресе, а теперь я пытаюсь сделать что-то на Урра-се. Там я действовал активно. Здесь — в рамках заключенной сделки.

— Сделки? Но какой?

— Ах, вы прекрасно все понимаете, Чифойлиск, — сказал тихо и с нажимом Шевек. — И прекрасно знаете, чего они от меня ждут.

— Да, знаю. Но я не знал, что вы ее уже создали! — Хриплый голос Чифойлиска стал похож на рычание, казалось, в горле у него что-то шипит и клокочет. — Значит, она существует — Общая Теория Времени?

Шевек молча смотрел на него — во взгляде его чуть сквозила ирония.

— Она у вас в компьютере? На бумаге? — не унимался Чифойлиск.

Шевек продолжал молчать еще с минуту, потом ответил прямо:

— Нет. Эта работа пока не завершена.

— Слава Богу!

— Почему?

— Потому что, если б она была завершена, они бы ее уже заполучили.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что сказал. Послушайте, разве не Одо утверждала, что везде, где существует собственность, существует и кража?

— Немного не так. «Чтобы создать вора, создайте собственника; чтобы создать преступление, создайте закон». Это из «Социального организма».

— Да-да, верно. Значит, там, где существуют секретные документы, существуют и люди, способные подобрать ключи от комнат, где эти документы хранятся.

Шевек поморщился и сказал:

— Вы правы. И это очень неприятно.

— Для вас, возможно. Но я не страдаю вашими комплексами, и меня не мучают дурацкие угрызения совести. Честно говоря, я знал, что у вас нет этой теории в записях. Но если б я хотя бы предполагал, что она у вас есть, я бы сделал все возможное, чтобы получить ее, использовал бы любые средства — убеждение, кражу, насилие. Если бы мне казалось, что мы можем силой похитить вас, не развязав при этом войну с А-Йо, я бы не преминул воспользоваться этим, лишь бы увезти вас вместе с вашей Теорией от этих жирных капиталистов и передать в наш

Центральный президиум. Ибо самая высшая цель для меня — служить своей стране во имя ее упрочения и благополучия.

— Да врете вы все, — миролюбиво сказал Шевек. — Возможно, вы действительно патриот своей родины, но для вас научная истина дороже патриотизма. И, возможно, ваше уважение к отдельным индивидам также сильнее так называемой любви к отечеству. Вы же не предадите меня, правда?

— Предал бы, если б смог! — свирепо рявкнул Чифойлиск. Он хотел было что-то еще прибавить, но не стал, а помолчав, сказал сердито и почти с отвращением: — Думайте, что хотите, Шевек. Я не могу открыть вам глаза насильно. Но помните: народу Тху вы нужны. Если вы наконец поймете, что происходит с вами здесь, приезжайте в Тху. Вы ошиблись и выбрали не тот народ для братанья! И если... А впрочем, это не мое дело! Если же вы так и не приедете в Тху, то, по крайней мере, не отдавайте свою Теорию этим йоти. Ничего им не давайте, этим менялам! Уезжайте отсюда. Уезжайте домой. Отдайте своему собственному народу то, что можете и хотите кому-то отдать!

— Моему народу это не нужно, — бесцветным тоном сказал Шевек. — Неужели вы думаете, что я не пробовал?

Дней через пять Шевек как-то поинтересовался, куда пропал Чифойлиск, и ему сказали, что он вернулся в Тху.

— Навсегда? А ведь даже словом не обмолвился, что собирается уезжать.

— Подданный государства Тху никогда не знает, когда получит приказ от своего президиума, — ответил Пае, ибо, разумеется, Пае и сообщил Шевеку об отъезде Чифойлиска. — А когда приказ им получен, подданный государства Тху должен мчаться со всех ног на зов своего правительства и по пути не отвлекаться и не останавливаться. Бедный старина Чиф! Интересно, какую ошибку он умудрился совершить?

Раза два в неделю Шевек ходил навестить старого Атро, жившего в хорошеньком маленьком домике на самой окраине университетского городка. Вместе с ним жили двое слуг, такие же старые, как он сам, которые нежно о нем заботились. В свои восемьдесят лет Атро, по его же собственным словам, был больше похож на памятник — памятник первоклассному физику. Хотя ему, в отличие от Граваб, удалось все же увидеть при жизни воплощенными на практике практически все свои идеи. Атро и Граваб тем не менее были в чем-то похожи: она была абсолютно бескорыстна, Атро же слишком долго прожил, чтобы питать к кому-то корыстный интерес. По крайней мере его интерес к Шевеку был чисто личным — дружеским и профессиональным.

Атро был первым среди тех, кто, исповедуя принципы классической физики, сумел пересмотреть свои взгляды в свете теоретических новшеств Шевека, связанных с проблемами пространства и времени. И он добровольно сражался принятым из рук Шевека оружием во имя его теорий и против всего научного истеблишмента Урраса, и эта битва продолжалась несколько лет, прежде чем последовала публикация полного варианта «Принципов Одновременности», вскоре после чего сторонники этой теории одержали наконец победу. Это была высочайшая вершина в жизни Атро. Он никогда бы не стал сражаться за то, что недостойно называться истиной, однако больше, чем саму истину, он любил восторг сражения за нее.

Атро прекрасно знал свою генеалогию — одиннадцативековую! — всех генералов, князей, крупных землевладельцев. Его семейству и до сих пор принадлежало поместье в семь тысяч акров с четырнадцатью деревнями в провинции Сие, наименее урбанизированной провинции А-Йо. Атро с удовольствием и даже с гордостью вставлял в свою речь различные провинциальные обороты и архаизмы. Излишним «патриотизмом» он явно не страдал, а правительство своей страны называл во всеуслышание «демагогами и ползучими политиканами». Его уважение купить было невозможно. И все же он дарил его, безвозмездно, любому ослу, который, как он говорил, «был из хорошей фамилии». В некотором роде для Шевека он был совершенно непостижим: загадка, аристократ до мозга костей. И все же его искреннее презрение как к деньгам, так и к власти заставляло Шевека чувствовать родственную душу скорее в нем, чем в ком-либо еще из тех, с кем он познакомился на Уррасе.

Однажды, когда они сидели вдвоем на застекленной веранде, украшенной разнообразными редкими видами цветов, совершенно не свойственных данному сезону, Атро случайно обронил: «мы, китаянцы...», и Шевек тут же поймал его на этом.

— «Китаянцы»? Разве это не «птичий» язык? — Понятие «птичий язык» выдумали газетчики и тележурналисты, оно часто звучало в популярных радиопередачах и фильмах, состряпанных для городских обывателей.

— Птичий! — согласился Атро. — Мой дорогой, где и когда вы, черт возьми, успели набраться этих вульгарных словечек? Разумеется, я имел в виду прежде всего Уррас и Анаррес!

— Странно, что вы пользуетесь термином, которым нас назвали инопланетяне, не принадлежащие к «созвездию Кита».

— Определение от противного, — радостно парировал старик. — Сто лет назад нам это слово не было нужно вообще.

Вполне годилось слово «человечество». Но шестьдесят с чем-то лет назад все изменилось. Мне было тогда семнадцать. Помнится, стоял чудесный солнечный денек, какие часто бывают в начале лета. Я упражнялся в верховой езде, и вдруг моя старшая сестра крикнула мне, высунувшись из окна: «Иди скорей! Они там с кем-то из дальнего космоса по радио разговаривают!» Моя бедная дорогая мама! Она страшно перепугалась: решила, что теперь нам конец — прилетят иноземные дьяволы... ну, вы понимаете... Но это оказались всего лишь хайнцы, что-то там квакавшие о мире и братстве... Итак, понятие «человечество» становилось, пожалуй, чересчур широким... Разве можно определить понятие «братство» лучше, чем понятием «не-вражда»? Определение от противного, мой дорогой! Мы с вами, вполне возможно, родственники. Всего несколько столетий назад ваши предки, например, пасли коз в этих горах, а мои — драли по три шкуры со своих серфов в Сие; и тем не менее! Чтобы понять подобное родство, нужно всего лишь встретиться с инопланетянином или хотя бы услышать о нем. С существом из другой солнечной системы. С так называемым представителем человечества, который не имеет с нами ничего общего, кроме примерно таких же двух ног, двух рук и одной головы с некоторым количеством извилин внутри!

— Но разве хайнцы не доказали, что мы...

— Все имеем инопланетное происхождение? Все являемся потомками хайнских межпланетных колонистов? Полмиллиона лет назад, или миллион, или два миллиона, а может, и три заселивших нашу галактику? Да, я знаком с этой теорией. Тоже мне — доказали! Клянусь простыми числами, Шевек, вы точно студент-первокурсник! Как вы можете серьезно говорить об исторической доказанности, если имеете дело с отрезком времени в два-три миллиона лет! Эти хайнцы швыряются тысячелетиями, точно мячами; что ж, они неплохие жонглеры, да только все это цирк! Религия моих предков утверждает, и, по-моему, не менее авторитетно, что я являюсь прямым потомком некоего Пинра Ода, которого великий бог сослал из Верхних Садов, потому что тот имел нахальство сосчитать свои пальцы на руках и ногах, затем сложил, получил двадцать и тем самым выпустил Время в свободный полет. Я бы предпочел этот миф мифу об инопланетных предках, если б мне пришлось выбирать!

Шевек рассмеялся; шутки Атро он всегда слушал с удовольствием. Однако на этот раз старик был серьезен. Он похлопал Шевека по плечу, сдвинул брови, пожевал губами, что всегда служило у него признаком душевного волнения, и сказал:

— Я надеюсь, вы, хотя бы отчасти, разделяете мои чувства, дорогой Шевек. Я искренне на это надеюсь. В обществе Анар-реса,

я уверен, есть немало такого, чем можно восхищаться, однако оно не учит вас отличать один народ от другого, не учит дискриминации, а ведь это самое лучшее из того, чему нас учит цивилизация. Я не хочу, чтобы какие-то проклятые хайнцы захватили вас врасплох благодаря вашим заявлениям насчет братства, общности корней и прочей чуши. Они прямо-таки затопят вас реками словес об «общности человечества» и станут призывать в эту дурацкую «лигу всех миров» или как там еще она называется. И мне бы ужасно не хотелось видеть, как вы проглотите эту наживку. Закон существования нормального общества — это борьба, соревнование, уничтожение слабых; безжалостная борьба за выживание. И я хочу видеть, как выживут лучшие! То человечество, которое я знаю. «Китаянцы» — то есть вы и я, Уррас и Анаррес. Сейчас мы впереди и хайнцев, и землян, и всяких там прочих, и мы должны остаться впереди. Они когда-то подарили нам тягу для межпланетных кораблей, но теперь мы строим куда лучшие корабли, чем они. Когда вы будете готовы обнародовать свою Общую Теорию, я бы от всего сердца желал — и я очень на это надеюсь! — что вы в первую очередь подумаете о долге перед своим народом, перед своими соплеменниками. О том, что такое верность родине и патриотизм, о том, кому вы должны в этом поклясться. — Старики легко плачут — светлые слезы выступили на полуослепших глазах Атро. Шевек положил руку старику на плечо, стараясь его подбодрить, но ничего не сказал.

— Они тоже получат ее, разумеется. В конечном итоге. Может быть, даже случайно. Так и должно быть. Научная истина всегда прорвется наружу, нельзя спрятать солнце под камнем. Но прежде чем они получат ее, я хочу, чтобы они за нее заплатили! Я хочу, чтобы мы первыми заняли место, полагающееся нам по праву. Я хочу, чтобы мой народ уважали! И именно это вы способны выиграть в соревновании с ними. Квантовый переход. Мгновенное перемещение в пространстве — если нам удастся подчинить скачкообразные переходы квантовых систем, то их межпланетный двигатель не будет стоить и горсти бобов. Вы же знаете, я не денег хочу. Я хочу, чтобы превосходство нашей науки было признано во всей Галактике! Как и превосходство нашего разума. Если суждено возникнуть некоей межзвездной цивилизации, этой пресловутой «лиге миров», то, клянусь, я желал бы, чтобы мой народ занял в ней подобающее место! Мы должны войти в эту цивилизацию не как представители низшей касты, но как благородные и уважаемые ее члены, как аристократы, держа в руках великий дар нашей собственной цивилизации — вот как это должно быть... Ладно, я порой слишком горячусь... особенно

когда думаю об этом... Между прочим, как продвигается ваша книга?

— Я в последнее время работал над гравитационной гипотезой Скаска. У меня такое ощущение, что он заблуждается, используя только частичные дифференциальные уравнения...

— Но ваша последняя работа тоже была по гравитации. Когда вы намерены приступить к настоящему делу?

— Вы же знаете, что обрести средства для достижения цели — это конец движения; во всяком случае для нас, одоний-цев, — не задумываясь ответил Шевек. — Кроме того, я не могу строить Общую Теорию Времени, опуская проблему гравитации, верно?

— Вы хотите сказать, что даете нам свою Теорию по кусочку, по капельке? — как-то подозрительно глянул на него Ат-ро. — Это мне в голову не приходило... Пожалуй, прочитаю-ка я еще разок вашу последнюю работу. Некоторые места в ней остались для меня не совсем ясны. Глаза, правда, ужасно устают в последнее время. По-моему, с этой штуковиной, которой я пользуюсь для чтения, что-то не в порядке. Она совершенно перестала держать текст в фокусе.

Шевек сочувственно и грустно посмотрел на старика, но ни слова более не сказал ему, на какой стадии находится разработка его Общей Теории.

Приглашения на приемы, торжественные открытия и тому подобное вручались Шевеку ежедневно. На некоторые он ходил, поскольку прибыл на Уррас с определенной миссией и должен был попытаться выполнить ее — внушить идею братства и солидарности двух миров. Он выступал с речами, и люди слушали его и говорили: «Как это верно!»

Порой ему было интересно: почему правительство не остановит его выступления? Чифойлиск, должно быть, что-то преувеличивал — в собственных, разумеется, целях — насчет здешних контроля и цензуры. Выступления Шевека носили чисто анархический характер, однако уррасти его не останавливали. Да и зачем? Они же все равно его не слушали. Казалось, он все время говорит с одними и теми же людьми: прекрасно одетыми, прекрасно накормленными, холеными, с изысканными манерами, улыбающимися. Неужели все люди на Урра-се такие? «Именно страдание собирает людей вместе»,— говорил им Шевек, и они кивали и соглашались: «Ах, как это верно!»

Он начинал их ненавидеть и, поняв это, резко перестал принимать их приглашения.

Но это означало признание собственного поражения, а также усиление изоляции, в которой он и без того ощущал себя здесь.

Он явно делал что-то не то. Не так... Это не они отсекают его от своего общества, уверял он себя, это он сам — как и всегда! — стремится к самоизоляции. Он был чудовищно, удушающе одинок среди множества людей, своих коллег, которых видел каждый день. Но самая большая беда была в том, что дело его, его Теория, стояло на месте. И никакие его идеи никого на Уррасе не затронули, несмотря на усилия стольких месяцев!

В общей гостиной преподавательского корпуса он как-то вечером заявил:

— А знаете, я так и не понял, как вы живете. Я, конечно, видел частные дома — с внешней стороны. Но изнутри мне знакома лишь ваша не-частная жизнь — в этой гостиной, в столовой, в лабораториях...

На следующий день Ойи смущенно пригласил Шевека к себе домой — на обед и на последующие два дня, выходные.

Дом Ойи находился в Амено, деревушке, расположенной в нескольких милях от Университета Йе Юн; по меркам урра-сти, это был довольно скромный домик, типичный для представителя «среднего класса», приметный, может быть, лишь своей старостью — ему было около трех веков. Он был построен из камня, а стены в комнатах отделаны деревянными панелями. Оконные и дверные проемы были украшены столь характерными для стиля йоти двойными арками. Шевеку сразу понравилось, что в доме просторно, не слишком много мебели, комнаты строгие, с отлично отполированными полами. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке среди экстравагантного убранства залов, где проходили всякие приемы. Уррасти безусловно обладали вкусом, однако это врожденное чувство часто вступало в противоречие с желанием показать себя и, главное, свое богатство. Естественные — эстетические — корни желания обладать какой-то прекрасной вещью были искажены требованиями чего-то совсем иного — соперничества экономического порядка, что в свою очередь сказывалось на качестве вещей: все они приобретали характер показной «роскошности». Было приятао, что в доме Ойи царят изящество и простота, достигаемые, видимо, благодаря сдерживанию этих порывов состязательной страсти.

В прихожей слуга помог ему снять пальто; жена Ойи вышла на минутку поздороваться с Шевеком — она была на кухне, отдавала последние указания повару, — но вскоре она окончательно присоединилась к ним, и Шевек обнаружил, что говорит почти исключительно с нею. Она вела себя очень дружелюбно и чем-то была похожа на него самого, что несколько его удивило.

Но до чего же приятно было снова беседовать с женщиной!

Ничего удивительного, что ему казалось, будто он существует в полной изоляции, причем какой-то совершенно искусственной: среди одних мужчин. В таком однополом обществе всегда не хватает легкого напряжения, создаваемого именно различиями полов. К тому же Сева Они была весьма привлекательна; глядя на изящную выпуклость ее затылка и чуть впалые виски, Шевек решил, что это не такой уж, в сущности, плохой обычай — брить головы, в том числе и женщинам. Сева была очень сдержанной, даже чуточку стеснительной; и когда ему удалось немного разговорить ее, он был страшно доволен.

За обеденным столом к ним присоединились двое детей. Сева Ойи извинилась:

— В здешних местах просто невозможно стало найти приличную няню!

Шевек покивал, не понимая, что в данном случае означает «няня». Он наблюдал за мальчиками с огромным облегчением и радостью. С тех пор как он улетел с Анарреса, он практически не видел детей.

Сыновья Ойи были очень чистенькие, вели себя спокойно и скромно, говорили, только когда к ним обращались; одеты они были в синие бархатные курточки и брючки. Дети смотрели на Шевека с восторгом, как на существо из далекого космоса. Старший, девятилетний, все время сурово поучал семилетнего братишку, шипел, что нельзя «так пялить глаза», и щипал, если младший ему не подчинялся. Тот отвечал ему тоже щипками и попытался даже пнуть его ногой под столом. Похоже, принцип возрастного превосходства был еще недостаточно хорошо им усвоен.

Дома Ойи оказался совсем другим человеком — простым, очень дружелюбным, свободным. Выражение таинственности исчезло с его лица, и он больше не растягивал слова, точно обдумывая каждый звук. Жена и дети относились к нему с уважением и любовью, и он отвечал им тем же. Шевеку приходилось слышать более чем достаточно весьма сомнительных высказываний Ойи в адрес женщин, и он был удивлен, увидев, как вежливо и почтительно, даже деликатно обращается Ойи со своей женой. «Это же настоящее рыцарство», — подумал Шевек; он совсем недавно узнал это слово. Однако вскоре пришел к выводу, что это нечто лучшее, чем просто рыцарство: Ойи был влюблен в собственную жену и полностью доверял ей. Примерно такие отношения обычно складывались и в семьях анаррести между любящими партнерами.

Шевеку казалось только, что семейный круг слишком узок для проявления личной свободы. Впрочем, он чувствовал себя

здесь настолько хорошо и естественно, настолько свободно, что желания что бы то ни было критиковать у него не возникало.

Во время одной из пауз среди общего разговора младший мальчик вдруг сказал тоненьким чистым голоском:

— А господин Шевек не умеет как следует вести себя!

— Это почему же? — спросил Шевек, прежде чем жена Ойи успела накинуться на сына с упреками. — Что я такого сделал?

— Вы не сказали «спасибо».

— За что?

— Когда я передал вам блюдо с маринованными овощами.

— Ини! Умолкни наконец!

«Садик! Не будь эгоисткой!» — Интонации были практически те же самые.

— Я думал, ты просто делишься ими со мной. Или это следует считать подарком? В нашей стране говорят «спасибо», только когда тебе что-нибудь дарят. А остальные вещи мы просто делим друг с другом и никогда даже не говорим об этом, понимаешь? Ты хочешь, чтобы я отдал тебе овощи обратно?

— Нет, я их не люблю, — ответил малыш, глядя прямо в лицо Шевеку своими темными, очень ясными глазами.

— Ну, в таком случае тебе тем более легко поделиться ими с кем-то другим, — сказал ему Шевек. Старший мальчик прямо-таки весь извертелся — так ему хотелось ущипнуть Ини, но Ини только засмеялся, поглядев на брата, и показал мелкие белые зубы. Потом, когда в разговоре снова наступила пауза, прошептал, наклонившись к Шевеку:

— Хотите посмотреть мою выдру?

— Хочу.

— Она там, в саду, за домом. Мама велела ее убрать, она боялась, что выдра может вас побеспокоить. Некоторые взрослые животных не любят.

— А мне очень нравится на них смотреть! У нас ведь в стране нет животных.

— Нет? — с изумлением уставился на него старший мальчик. — Папа! Господин Шевек говорит, что у них нет никаких животных!

Ини тоже удивленно посмотрел на Шевека:

— А что же у вас есть?

— Другие люди. Рыбы. Черви. И деревья-холум.

— А что такое деревья-холум?

Этот разговор затянулся еще на полчаса. Впервые Шевека на Уррасе просили описать природу Анарреса. Вопросы задавали дети, однако и взрослые слушали с интересом. Шевек старался не касаться этических моментов: он не собирался «разводить

пропаганду» среди своих гостеприимных хозяев. Он просто рассказывал, что представляет собой ужасная пустыня Даст, как красив город Аббенай, какую одежду носят на Анарресе, что делают люди, когда им нужна новая одежда, чему учат детей в школе. Последнее все-таки содержало некий пропагандистский элемент. Ини и Эви как зачарованные слушали его рассказ о занятиях в учебном центре, где помимо обычных уроков есть и уроки труда — фермерское дело, ковроткачество, вышивание и шитье, печатное и слесарное дело, уход за автодорогами, занятия драматургией, театром и музыкой, а также всеми прочими делами, которыми занимаются и взрослые. Но больше всего их поразило заявление Шевека, что анаррести никогда не наказывают детей, какой бы проступок они ни совершили.

— Хотя иногда, — честно признался Шевек, — все-таки наказывают: велят уйти и побыть некоторое время в одиночестве.

— Но что же тогда, — вырвалось у Ойи, словно этот вопрос не давал ему покоя очень давно, — что, если не страх перед наказанием, заставляет людей поддерживать порядок в обществе? Почему они не грабят и не убивают друг друга?

— А никто ничем не владеет, чтобы можно было у него что-то отнять. Если тебе что-то нужно, просто берешь это в распределительном центре. Что же касается насилия... ну, я не знаю, Ойи! Вот вы бы меня просто так убили? А если бы вам так уж это было бы нужно, разве смог бы какой-то закон остановить вас? Принуждение — наименее эффективный способ достигнуть порядка в обществе.

— Ну хорошо, пусть так. Но как вам удается заставить людей выполнять, например, грязную работу?

— Какую грязную работу? — спросила жена Ойи, не поняв вопроса.

— Убирать мусор, копать могилы... — начал Ойи, и Шевек подхватил:

— Добывать ртуть... — И чуть было не сказал: «Перерабатывать фекалии на удобрения», но вовремя вспомнил существующее у йоти табу на подобные «физиологизмы». В самом начале своего пребывания на Уррасе ему часто приходило в голову, что уррасти живут буквально среди гор «экскрементов», но никогда даже словом не обмолвятся об этом.

— В общем, мы все выполняем такую работу. Но никто не обязан заниматься ею слишком долго, если только ему самому это не нравится. Один раз в десять дней тебя могут попросить принять участие в подобных работах; существуют специальные списки, согласно которым работники все время сменяют друг друга. Самыми неприятными видами работы, а также самыми

опасными, вроде добычи ртути, обычно не полагается заниматься более полугода.

— Но в таком случае практически весь состав подобных предприятий — одни новички? Это же невыгодно! Ведь им еще нужно учиться!

— Да. Это действительно не слишком «выгодно» и эффективно, но что поделаешь? Нельзя же заставить человека выполнять работу, которая через несколько лет превратит его в инвалида или просто убьет? С какой стати ему ее выполнять?

— У вас можно отказаться выполнить приказ?

— А это не приказ, Ойи. Человек просто идет в Центр по распределению труда и говорит: я хотел бы заняться тем-то и тем-то, что у вас есть? И ему сообщают, где есть подходящая для него работа.

— Но в таком случае почему люди вообще соглашаются выполнять грязную работу? Почему? Хотя бы и один день из каждых десяти?

— Потому что такую работу делают все вместе... И каждый по отдельности. Есть и другие причины. Вы знаете, жизнь на Анарресе небогата — в отличие от здешней. В маленьких коммунах не слишком-то много развлечений, зато очень много работы, и ее просто необходимо сделать. Так что если ты главным образом занимаешься каким-то механическим или умственным трудом, то даже приятно каждый десятый день уехать куда-нибудь и поработать за городом — скажем, уложить ирригационную трубу или вспахать поле. Поработать со всеми вместе... И потом, в этом есть даже некий элемент соревнования, поединка. Здесь вы считаете, что основной стимул для работы — это деньги или желание преуспеть; но там, где денег нет, истинные побуждающие мотивы более прозрачны, наверное. Людям просто нравится что-то делать. И притом делать хорошо. Они берутся за опасные, трудные дела, потому что гордятся своими умениями, своей способностью выполнить что-то, иным недоступное, когда они могут — мы называем это эгоистическими наклонностями — проявить себя... Или показать? Я верно выбрал слово? Ну, как мальчишки кричат порой: «Эй, малявки, посмотрите, какой я сильный!» Понимаете? Человеку вообще нравится делать то, что у него хорошо получается... Но это уже вопрос скорее о целях и средствах. В конце концов, работа делается ради того, чтобы быть сделанной. Это самое большое удовольствие в жизни. И каждый лично сознает это. Не менее важно и понимание этого всем обществом, и даже мнение соседей... Никакой материальной награды за труд на Анарресе не существует; и никакого обязывающего работать закона тоже.

Важно только то удовлетворение, которое получает от работы сам человек, и уважение его друзей. В таких обстоятельствах мнение близких — это весьма могущественная сила.

— И никто никогда этому не сопротивляется?

— Видимо, бывает, но не слишком часто, — ответил Шевек.

— Так, значит, у вас там все очень много работают? — спросила жена Ойи. — А что бывает с теми, кто просто не хочет принимать участия в общем труде?

— Ну, он переезжает на другое место. Понимаете, остальные от него устают. Они над ним смеются или начинают обращаться с ним грубо, даже бьют иногда. В маленьких коммунах еще и так наказывают: договорятся и вычеркнут имя лодыря из списков в столовой, так что приходится ему самому готовить себе и есть в одиночестве, что весьма унизительно. И этот человек без конца переезжает с места на место, едет все дальше и дальше. Некоторые всю жизнь проводят в переездах. Такого человека называют «нучниб». Я и сам отчасти такой — ведь я уехал сюда, бросив порученную мне работу. Правда, я уехал дальше, чем все остальные. — Шевек сказал это спокойно; если в его голосе и прозвучала горечь, то детям она была незаметна, а взрослым — непонятна. Однако после его слов наступило недолгое молчание.

— Я не знаю, кто выполняет грязную работу здесь, — сказал он. — Я никогда не видел, как ее делают — и это очень странно. Кто этим занимается? Почему? Им что, больше платят?

— За опасную работу — иногда больше. За обычное обслуживание — нет. Меньше.

— Так почему же они в таком случае выполняют эту работу?

— Потому что маленькая зарплата лучше, чем никакой, — сказал Ойи, и в его-то голосе горечь прозвучала совершенно отчетливо. Жена его тут же постаралась переменить тему, но он продолжал: — Мой дед прислуживал в отеле. Мыл полы и менял белье на кроватях. В течение пятидесяти лет. По десять часов вдень. Шесть дней в неделю. Он занимался этим, чтобы прокормить себя и семью... — Ойи вдруг умолк и посмотрел на Шевека своим прежним, недоверчивым взглядом, а потом почти с вызовом глянул на жену. Та поспешно отвела глаза, нервно улыбнулась и сказала по-детски тоненьким голоском:

— Зато отец Димере очень преуспел в жизни. Под конец он стал владельцем четырех компаний. — Ее улыбка явно скрывала душевную боль; смуглые изящные руки были стиснуты на коленях.

— Вряд ли у вас, на Анарресе, есть преуспевающие люди, — сказал Ойи с неприятной иронией, но тут в столовую вошел повар, чтобы переменить тарелки, и разговор тут же прервался.

Мальчик Ини, словно понимая, что взрослые скорее всего будут молчать в присутствии слуги, спросил:

— Мама, можно господин Шевек после обеда посмотрит на мою выдру?

Когда они снова перешли в гостиную, Ини было разрешено принести свою любимицу. Это была почти уже взрослая сухопутная выдра, один из самых распространенных зверьков на Уррасе. Ойи объяснил, что этих выдр стали приручать с незапамятных времен — сперва для того, чтобы они таскали из воды улов, а потом просто держали в качестве «любимцев семьи». У выдры были короткие лапы, выгнутая дугой гибкая спинка, блестящая темно-коричневая шерсть. Это было первое содержавшееся не в клетке животное, которое Шевек видел вблизи. Надо сказать, выдра боялась его гораздо меньше, чем он ее. Особенно впечатляли ее белые острые зубы. Шевек осторожно протянул руку, чтобы погладить зверька, уж больно на этом настаивал Ини. Выдра села на задние лапы и внимательно посмотрела на Шевека. Глаза у нее были темные, золотистые, умные, любопытные, невинные.

— «Аммар», — прошептал Шевек, завороженный этим взглядом, — брат.

Выдра что-то проворчала, опустилась на все четыре лапки и с интересом стала обнюхивать туфли Шевека.

— Вы ей нравитесь, — сказал Ини.

— Она мне тоже, — откликнулся Шевек с легкой грустью. Когда он видел какое-нибудь животное, летящих птиц, прелесть осенней листвы на деревьях, сердце его каждый раз пронзала эта грусть, значительно снижавшая удовольствие от созерцания этих замечательных явлений живой природы. Не то чтобы он сразу же в такие моменты вспоминал Таквер, он вообще не думал о том, что ее нет с ним рядом. Скорее она как будто бы всегда была рядом, хотя он о ней вовсе не думал. Просто красота неведомых ранее животных и растений Урра-са была для него исполнена некоего тайного смысла, словно

Таквер через них посылала ему весть о себе, — Таквер, которая никогда их не увидит! Таквер, чьи предки в течение семи поколений жизни на Анарресе ни разу не коснулись рукой теплой шерстки животного, ни разу не любовались промельком птичьих крыльев в тени деревьев!

Ночь он провел в комнате под самой крышей, козырьком нависавшей над окном. Было прохладно, и он был этому даже рад — в университетском общежитии топили чересчур жарко. Комната была убрана очень просто: кровать, книжные полки, комод, кресло, крашеный деревянный стол. Как дома, подумал

он, стараясь не обращать внимания на высоту кровати и мягкость матраса, на замечательные шерстяные одеяла и шелковые простыни, на сделанные из слоновой кости ножички для разрезания бумаги и прочие роскошные безделушки на комоде, на кожаные переплеты книг и на то, что эта комната и все в ней, как и сам дом, и земля, на которой этот дом стоит, являются частной собственностью, собственностью Димере Ойи, хотя не он строил этот дом и не он натирал в нем полы... Шевек решил не думать об этом. В конце концов, бесконечная дискриминация была утомительна. Эго была хорошая, приятная комната, и она совсем не так уж сильно отличалась от любой отдельной комнаты в общежитиях Анарреса.

Ему снилась Таквер. Ему снилось, что она лежит с ним рядом, в этой постели, и обнимает его, и прижимается к нему всем телом... Но почему они здесь оказались? Что это за комната? Они вместе бродили по луне, было холодно, и они куда-то шли по ровному лунному полю, покрытому голубоватобелым снегом; хотя слой снега был тонок, но под ним при каждом шаге проглядывала еще более белая сияющая земля. Это было мертвое, совершенно мертвое место. «На самом деле там совсем не так», — говорил он Таквер, зная, что она напугана. Они шли к какой-то цели, к какой-то далекой линии на горизонте, к краю чего-то, казавшегося тонким и блестящим, точно сделанным из пластика, к какому-то далекому, с трудом различимому препятствию на том краю заснеженной равнины. Шевек с трудом подавлял страх, ему не хотелось приближаться к этой черте, но он говорил Таквер: «Мы скоро дойдем, ничего!» Но она не отвечала ему.

Глава 6
АНАРРЕС

После десятидневного пребывания в больнице Шевека выписали, и сосед из комнаты номер 45, математик Дезар, пришел навестить его. Он был высокий, очень худой, косоглазый, и во время разговора невозможно было сказать, смотрит он на тебя или нет. У них с Шевеком были неплохие отношения, хотя за весь год они вряд ли хоть раз обменялись друг с другом сколько-нибудь полной фразой.

Дезар вошел и молча уставился то ли на Шевека, то ли куда-то вбок.

— Что-нибудь надо? — спросил он наконец.

— Нет, я отлично обхожусь, спасибо.

— Может, обед?

— А себе? — Шевек тоже заговорил «телеграфным стилем».

— Ладно.

Дезар притащил из столовой обед на двоих, и они вместе поели в комнате у Шевека. Еще два дня Дезар приносил им обоим завтрак и обед, пока Шевек не почувствовал, что в состоянии снова ходить в столовую. Трудно было понять, почему Дезар вдруг решил о нем заботиться. Вел он себя не слишком любезно, да и понятие «всеобщего братства», видимо, значило для него крайне мало. Одну причину своей нелюдимости он явно скрывал от всех как позорную: то ли из-за чрезвычайной лени, то ли из-за тайной страсти к накопительству он устроил в своей комнате чудовищную свалку вещей, которые не имел ни права, ни причины держать там — это были тарелки из столовой, книги из библиотеки, набор инструментов для резьбы по дереву, микроскоп, восемь разных одеял, жуткое количество одежды, причем по большей части явно не его размера или такой, которую он, видимо, носил в возрасте восьми или десяти лет. Похоже, Дезар имел патологическую склонность посещать распределительные центры и набирать там вещи охапками вне зависимости от того, годились они ему или нет.

— Зачем ты хранишь весь этот хлам? — спросил Шевек, когда Дезар впервые впустил его к себе в комнату. Дезар уставился ему в переносицу и пробормотал:

— Просто так.

Тема, которую выбрал Дезар, была настолько эзотерической, что никто у них в Институте или в Федерации математиков не мог как следует проверить, насколько успешно у него

продвигаются дела. Именно поэтому, видимо, он ее и выбрал. И был уверен, что Шевек выбрал свою по тем же причинам.

— Черт возьми, — говорил он. — Работа? Да здесь и так хорошо. Классическая физика, квантовая теория, принцип одновременности — да какая, в сущности, тебе разница?

Иногда Шевеку Дезар бывал просто отвратителен, но, как ни странно, он даже несколько привязался к нему и сознательно поддерживал с ним отношения, поскольку это соответствовало его намерению переменить собственную жизнь «одиночки».

Благодаря болезни он понял, что если будет и дальше сторониться людей, то все равно рано или поздно сломается. К тому же с точки зрения одонийской морали его прежняя жизнь заслуживала осуждения, и Шевек безжалостно судил себя. До сих пор он все свое время тратил на себя одного, противореча тем самым основному этическому закону братства одонийцев — категорическому императиву. Шевек в двадцать один год отнюдь не был самовлюбленным эгоистом, и его моральные убеждения были искренни и стойки; однако порой он чувствовал, что некоторые основные понятия учения Одо ему пора пересматривать с позиций взрослого человека — Шевек был слишком умен и развит, чтобы не понимать, что тот «одонизм», который вдалбливают детям в учебных центрах взрослые, обладающие весьма посредственным интеллектом и существенной ограниченностью кругозора, подается в «обстриженной», «укороченной» форме, загнанной в жесткие рамки, и более похож на элементарное поклонение идолу. Да, до сих пор он жил неправильно, решил Шевек. Он должен отыскать верный путь. И постепенно полностью переменить свою жизнь.

Он запретил себе по ночам заниматься физикой — пять ночей из десяти он спал. Он добровольно вызвался работать в институтской комиссии по управлению хозяйством и бытом. Стал ходить на собрания Федерации физиков, на заседания Студенческого синдиката и на тренировки группы биоментального развития. В столовой он заставлял себя садиться вместе с другими за большой стол, а не пристраиваться за маленький отдельный столик, раскрыв перед собой книгу.

Удивительно, но оказалось, что люди вроде бы его ждали! Они сразу приняли его в свою среду, стали приглашать к себе — просто поговорить и на шумные студенческие вечеринки. Они брали его с собой на прогулки и пикники, и через три декады он узнал об Аббенае больше, чем за весь минувший год. Он стал ходить вместе со всеми на спортплощадки, в мастерские, в купальни, на фестивали, в музеи, в театры, на концерты...

Ах, эта музыка! Она стала для него откровением, радостным

потрясением.

Раньше он никогда не ходил на музыкальные вечера, отчасти потому, что по-детски думал, что музыку можно только исполнять самому, но не просто слушать. Раньше он никогда не задумывался, насколько она способна воздействовать на человека. В детстве он всегда участвовал в хоре или играл на каком-нибудь инструменте в школьном ансамбле; ему это очень нравилось, однако таланта особого у него не было. И это собственно было все, что он знал о музыке.

В учебных центрах учили всему, что может пригодиться в практической жизни; к искусству тоже относились с этих позиций: учили петь, преподавали основы метрики, ритмики, танца, учили пользоваться кистью и резцом, ножом и гончарным кругом, и так далее. Все это было весьма прагматично: дети учились видеть, говорить, слушать, двигаться, держать в руках инструменты. Никаких различий между искусствами и ремеслами как бы не было; искусство просто не считалось чем-то занимающим в жизни особое место, а воспринималось как один из основных технических способов общения, вроде речи. Так архитектура одонийцев довольно рано и вполне независимо приобрела определенный и весьма устойчивый стиль — очень простой, обладающий чистыми свободными пропорциями. Живопись и скульптура широко применялись, но исключительно как декоративные элементы архитектуры и градостроительства. Что же касается словесности и поэзии, то, они имели явную тенденцию к недолговечности и связаны были чаще всего с песней и танцем — в некоем синкретическом искусстве. И только театр развивался совершенно самостоятельно, только он один назывался «искусством» — считаясь достаточно сложным по своей структуре и функциям. Существовало множество стационарных и разъездных трупп актеров и танцоров; составлялись репертуарные компании, очень часто в них входили и драматурги. Существовал также театр мимики и жеста. Появлению артистов всегда радовались, как радовались дождям — особенно в изолированных друг от друга, разбросанных по каменистой пустыне городках. Выступления артистов были самым радостным событием года. Выросшая из чувства оторванности от своих древних корней и одновременно из необычайной сплоченности жителей Анарреса, воплотившая в себе то и другое, драма здесь достигла необычайного развития и силы воздействия.

Шевек, однако, не был слишком восприимчив к драме. Его очаровывало порой искусство монологов, но сама идея актерства, «притворства» была ему чужда. И только на втором году своего пребывания в Аббенае он наконец нашел «свое» искусство —

сотканное из Времени. Кто-то взял его с собой на концерт в Музыкальный синдикат. На следующий вечер он снова пошел туда. И ходил на каждый концерт — вместе со своими новыми знакомыми или без них, как получалось. Музыка оказалась куда более сильной потребностью, чем общение с приятелями, и приносила более глубокое удовлетворение.

Попытки Шевека вырваться из своего затворничества потерпели крах, и он это понимал. У него так и не появилось ни одного близкого друга. Он нравился девушкам, они охотно шли на близость с ним, но это не приносило ему должной радости. Это было обыкновенное удовлетворение потребности — так пищей утоляют голод. И после подобных сексуальных игр ему всегда бывало стыдно: ведь он включал другого человека в этот процесс чисто механически, точно неодушевленный предмет. Лучше уж заниматься мастурбацией, решил он. Он считал одиночество своей судьбой; ему казалось, что он пойман в ловушку собственной наследственности. Это ведь его мать, Рулаг, сказала тогда: «На первом месте у меня всегда была работа». Сказала спокойно, уверенно, подтверждая непреложность данного факта и свою неспособность что-либо изменить, вырваться из холодной ячейки одиночества. Точно так же было и с ним. Сердце его рвалось к людям, к тем, веселым и юным, что называли его братом, но между ними словно стояла стена. Он родился, чтобы быть одиноким — проклятый, холодный интеллектуал! Эгоист!

Да, на первом месте у него была работа; вот только удовлетворения она не приносила. Как и секс. Она должна быть радостью, удовольствием, но увы! Шевек упорно продолжал грызть те же «крепкие орешки» квантовой Теории, но ни на шаг не приближался к решению, например, «темпорального парадокса» То, не говоря уж о создании собственной теории Одновременности, которая, как ему казалось в прошлом году, была у него практически в руках. Теперь он просто диву давался своей тогдашней самоуверенности. Неужели год назад он действительно считал себя, двадцатилетнего мальчишку, способным создать теорию, которая потрясет основы релятивистской космологии? Должно быть, еще до того как свалиться в жару с воспалением легких, он заболел куда более серьезно: от излишней самоуверенности у него помутился рассудок! Шевек записался на два семинара по философии математики, убеждая себя, что эти занятия ему необходимы, и отказываясь признать, что мог бы сам вести любой из этих курсов не хуже тех преподавателей, у которых пытался чему-то научиться. Сабула он старался избегать.

В стремлении переделать свою жизнь к лучшему он

предпринял попытку поближе сойтись с Граваб. Она охотно шла навстречу его желаниям, но у нее уже не хватало сил; особенно тяжело ей приходилось зимой, когда она без конца болела. И все же, слабая, глухая и старая, она начала весной успешно читать курс лекций, но, к сожалению, хватило ее ненадолго. От усталости она становилась очень рассеянной и порой с трудом узнавала Шевека, но когда узнавала, то непременно тащила его к себе домой, и они целый вечер оживленно беседовали. В теории он видел уже значительно дальше Граваб, и постепенно ему стали надоедать эти чересчур долгие беседы об одном и том же. Либо нужно было продолжать часами толочь воду в ступе — ведь теоретические посылки Граваб он не только хорошо знал, но и отчасти уже опроверг, — либо следовало, причинив старухе страдание, попытаться объяснить ей, в чем она всю жизнь заблуждалась. И то и другое было за пределами его возможностей — ему ведь было всего двадцать! И он в конце концов стал избегать и Граваб, всегда испытывая при этом жестокие угрызения совести.

Больше в Институте не было никого, с кем он мог бы поговорить о своей теме. Квантовой теорией поля никто по-настоящему не занимался, а уж физикой времени и подавно. Шевеку хотелось научить кого-то, собрать группу единомышленников, но пока что преподавать ему не разрешали и аудиторию для подобных занятий не предоставляли. Студенческий синдикат отверг все его подобные требования — никому не хотелось ссориться с Сабулом.

За этот год он привык писать письма; он писал очень подробные письма Атро и другим физикам и математикам Урраса. Но лишь очень малая часть этих писем действительно была послана. Некоторые он, едва закончив, сразу же рвал на кусочки. Однажды он случайно обнаружил, что математик Лоай Ан, которому он написал целый трактат на шести страницах по вопросам реверсивности времени, умер двадцать лет назад — когда-то, читая «Геометрию времени» Ана, Шевек не стал тратить время на биографическую справку. Некоторые письма, которые он пытался отправить сам с грузовиками, прилетавшими с Урраса, не пропускали служащие Космопорта, который находился под непосредственным контролем со стороны Координационного Совета. Многие из служащих Космопорта обязаны были знать йотик. Эти «особые» знания и весьма ответственное положение явно сказывались на них, и менталитет их приобретал все более явную бюрократическую направленность; слово «нет» они произносили почти машинально, а письма, адресованные математикам и написанные с помощью математических символов

и уравнений, воспринимали как шифровки, и совершенно невозможно было убедить их, что это вовсе не так. Письма физикам проходили легче, особенно если Сабул, постоянный консультант Совета, давал «добро». Но он никогда не пропускал те письма, которые связаны были с проблемами, выходившими за пределы его собственных познаний. «Это вне моей компетенции!»— ворчал он, отпихивая такое письмо в сторону. Шевек все равно не оставлял попыток передавать письма служителям Космопорта, и они неизменно возвращались к нему с пометкой: «К вывозу не допущено».

В конце концов он изложил эту свою проблему перед Федерацией физиков, заседания которой Сабул посещал крайне редко. Но никто из членов Федерации не считал необходимой свободную переписку с «идеологическим противником». Ше-веку даже прочитали нотацию по поводу его увлеченности такими «таинственными» проблемами, что он, по его же собственному признанию, не может найти на собственной планете никого, достаточно компетентного в этих вопросах.

— Но это же совершенно новая область! — возмутился Шевек. И совершенно зря.

— Если это «совершенно новая область», так разделите знания о ней с нами, а не с собственниками-уррасти! — парировали его оппоненты.

— Да я не раз предлагал прочитать курс по этим проблемам или вести семинарские занятия, но мне всегда говорили, что для этого пока еще не пришло время и студенты ко мне ходить не будут. Неужели вы боитесь того, что для вас слишком ново?..

Друзей он себе, разумеется, подобными заявлениями не нажил. А члены Федерации были просто вне себя после его выступления.

Он продолжал писать письма на Уррас, даже когда знал, что не удастся послать ни одного. Сам факт того, что он пишет кому-то, способному его понять, давал стимул думать и двигаться вперед. Иначе .он чувствовал, что заходит в тупик.

Два-три раза в год он все же бывал вознагражден: получал письмо от Атро или еще от кого-то из физиков А-Йо или Тху; то были длинные письма, написанные мелким почерком, со множеством аргументов — сплошные теоретические выкладки, начиная со слов приветствия до подписи; все это было чудовищно трудным для понимания и связанным с различными проблемами метаматематической, этико-космологической и темпоральной физики. Письма были написаны на языке йотик — единственном языке, на котором Шевек мог говорить с людьми, которых не знал, но которые яростно пытались сражаться с его теориями, при

этом уважая его как оппонента, и он с наслаждением спорил с ними — с врагами его родины, со своими соперниками, с «проклятыми собственниками», с братьями.

Обычно несколько дней после получения такого письма к Шевеку было лучше не подходить: он бывал чрезвычайно раздражителен и настолько возбужден, что работал день и ночь; идеи выплескивались через край, били фонтаном, но постепенно рывки вверх, в полет мысли, становились все слабее, он вновь опускался на землю, на сухую бесплодную землю Анарреса, и сам иссыхал, поскольку иссякал источник его вдохновения.

Шевек заканчивал третий курс, когда умерла Граваб. Он попросил разрешения выступить на панихиде, устроенной, согласно обычаю, там, где покойная работала: в одной из больших аудиторий физического факультета. Он оказался единственным, кто пожелал выступить на похоронах Граваб. Не пришел ни один студент; они уже успели ее позабыть: Граваб два года практически не преподавала. В последний путь ее провожали некоторые пожилые преподаватели, а также сын Граваб, человек средних лет, агрохимик, работавший где-то на северо-востоке. Шевек поднялся на кафедру — отсюда старая Граваб читала им лекции... Хриплым голосом — теперь зимой он всегда похрипывал из-за хронического бронхита — он говорил собравшимся, что это Граваб создала фундамент науки о Времени, что она была величайшим космологом современности. «У нас в физике была своя Одо, — сказал он, — но при жизни мы не воздали ей должного». После этого выступления к Шевеку подошла какая-то старая женщина и стала благодарить его со слезами на глазах. «Мы всегда с нею вместе занимались уборкой в нашем блоке, когда дежурили, и это время проходило так хорошо, в таких интересных беседах!» — сказала она ему, щурясь на ледяном ветру, когда они вышли на улицу. Агрохимик пробормотал у гроба какие-то стандартные слова и поспешил поскорее вернуться к себе на северо-восток. С ощущением острого, непоправимого несчастья и тщетности собственных усилий Шевек до позднего вечера бесцельно шатался по городу.

Три года уже он здесь торчит и все без толку! Чего он достиг? Опубликовал книжонку — с помощью Сабула и при его «соавторстве»? Написал пять-шесть неопубликованных статей? Да еще зря выступил перед этими равнодушными людьми на похоронах Граваб.

Ничто из того, что он успел сделать, понято и воспринято не было. А если честно, то никакой необходимости в его творчестве нет; оно вообще не имеет смысла, оно *нефункционально* — хотя в теории науки понятие «функциональности» весьма относительно.

Просто он чувствовал, что в свои двадцать лет уже «сгорел» и более уж ничего не достигнет. Он зашел в тупик, уткнулся носом в очередную стену.

Шевек остановился перед залом Музыкального синдиката, чтобы прочитать программу концертов на следующую декаду. Сегодня концерта не было. Он повернулся, чтобы идти прочь, и нос к носу столкнулся с Бедапом.

Бедап, как всегда настороженный и готовый к обороне по причине сильной близорукости, явно его не узнавал. Шевек схватил его за руку.

— Шевек! Черт побери, это ты! — Они обнимались, хлопали друг друга по плечу, чуть отступали, чтобы поглядеть друг другу в глаза, и снова обнимались. Шевек был потрясен искренностью их старой привязанности и дружбы. Странно? Перед тем как он уехал, Бедап даже не особенно ему нравился. Они тогда практически разошлись. И даже ни разу не написали руг другу за все три года. Да, когда-то в детстве они дружили, но детство кончилось. И все же старая привязанность оказалась жива! Точно огонек вспыхнул над угольями их былой дружбы, стоило их поворошить.

Они ходили по городу и говорили, говорили, размахивая руками и перебивая друг друга, совершенно не замечая, куда идут. Широкие улицы Аббеная этой зимней ночью были тихи. На каждом перекрестке окутанный дымкой свет фонаря разливал серебристое сияние, в котором плясали сухие снежинки, похожие на чешуйки крохотных рыбешек. Снежинки отбрасывали тени-точки. Но слабый снег вскоре прекратился, и подул резкий ледяной ветер; стало невыносимо холодно. Разговаривать становилось трудно: омертвелые губы не слушались, зубы стучали. На остановке они дождались десятичасового трамвая — последнего, что шел в институтское общежитие. Бедап жил далеко, на восточной окраине города — слишком долго добираться по такому холоду.

Он осматривал комнату номер 46 с иронической усмешкой.

— Шев, ты живешь словно прогнивший капиталист с Урраса!

— Да ладно тебе! Это совсем не так плохо — иметь отдельную комнату. Попробуй-ка отыщи здесь что-нибудь лишнее, «экскрементальное»! — Действительно, в комнате стало не намного больше вещей с тех пор, как Шевек впервые переступил ее порог. Но Бедап тут же нашелся:

— Вон то одеяло!

— Оно тут уже было, когда я въехал. Я не знаю, кто его связал. Но оно очень мне пригодилось. Неужели, по-твоему, одеяло в такую холодину — тоже лишняя вещь?

— Пожалуй, нет. Но цвет у него безусловно «экскрементальный»! — не сдавался Бедап. — Поскольку я занимаюсь анализом светоцветовых функций, то должен заявить, что никакой потребности в оранжевом цвете вообще не существует. Оранжевый не выполняет в социальном организме никаких жизненно важных функций — даже на уровне клетки. Не важен он и в этическом отношении. Так зачем держать при себе то, что тебе не нужно? Перекрась, брат, его лучше в темно-зеленый. А это еще что такое?

— Мои записи.

— Они что, зашифрованы? — спросил Бедап; лицо у него посуровело еще больше, взгляд стал ледяным. Шевек помнил, что для Бедапа всегда было характерно минимальное стремление к уединению и обладанию чем-то личным. У него, например, никогда не было и не могло быть любимого карандаша, который он всегда носил бы с собой, или любимой старой рубашки, с которой невозможно расстаться, даже если она настолько сносилась, что место ей только в утильсырье. Когда же ему что-нибудь дарили, он принимал подарок, щадя чувства дарителя, но всегда потом каким-то образом умудрялся его потерять. Он прекрасно знал об этом своем свойстве и утверждал, что оно лишь доказывает его меньшую, чем у других, примитивность, что он практически являет собой ранний образчик Человека Будущего, настоящего и прирожденного одонийца. Однако стремление к уединению было и у него, хотя пряталось где-то в самой глубине его души. Чужую потребность в одиночестве он, впрочем, уважал и никогда не совал нос в чужие дела. Вот и сейчас он тоже сказал:

— Помнишь те дурацкие зашифрованные письма? Ты тогда еще участвовал в Проекте по озеленению побережья?

— Помню. Но это не шифр. Это язык йотик.

— Ты выучил йотик? А почему ты на нем пишешь свои работы?

— Потому, что никто на этой планете не в состоянии меня понять! А может, просто никто не желает разбираться. Единственный человек, который меня понимал, умер три дня назад.

— Сабул умер?

— Нет, Граваб. Сабул жив, хотя...

— Что — «хотя»?

— Видишь ли, Сабул — это наполовину зависть в чистом виде, а остальное — просто некомпетентность.

— А я считал его книгу по казуальности первоклассной работой. Ты и сам так говорил.

— Я и думал так — пока не прочитал источники. Все идеи в его книге принадлежат другим ученым — с Урраса. К тому же идеи эти далеко не новы. А у самого Сабула не возникло ни одной свежей мысли по меньшей мере за последние двадцать лет.

— А как у тебя самого со свежими мыслями? — спросил Бедап и посмотрел на Шевека исподлобья. Глаза у Бедапа были маленькие, он довольно сильно косил, но лицо в целом было неплохое, мужественное, и сам он выглядел очень надежным: крепкий, коренастый. У него была отвратительная многолетняя привычка грызть ногти, и теперь на больших пальцах остались только тоненькие полосочки, а кожа стала чрезвычайно чувствительной.

— Да никак, — ответил Шевек и плюхнулся на постель. — Куда-то меня не туда занесло.

— Вот как? — усмехнулся Бедап.

— Знаешь, я, наверное, в конце семестра попрошу перевести меня на другой факультет.

— На какой же?

— Мне все равно. На педагогический, на инженерный... Пора, видно, мне с физикой распрощаться.

Бедап сел на стул возле письменного стола, погрыз ноготь и сказал задумчиво:

— Ерунду ты какую-то затеял, по-моему.

— Да нет, просто выяснил предел своих возможностей.

— Вот уж не знал, что у твоих возможностей есть предел! В физике, разумеется. Недостатков и детской глупости в тебе хватает с избытком. А вот в физике... Я, конечно, ни квантовой физикой, ни Временем совсем не занимаюсь, но ведь не обязательно самому уметь плавать, чтобы понять, что такое рыба? И совершенно не обязательно испускать сияние, чтобы понять, что такое звезда...

Шевек посмотрел на своего старого друга и вдруг выпалил то, что никогда не решался сказать даже самому себе:

— Я часто думаю о самоубийстве. Даже слишком часто. Особенно в этом году. По-моему, это был бы наилучший выход из создавшегося тупика.

— Но вряд ли подходящий способ оказаться по ту сторону страданий.

Шевек натянуто улыбнулся:

— Ты это помнишь?

— Еще бы! По-моему, это был очень важный разговор. Во всяком случае, для меня. И для Таквер с Тирином тоже.

— Правда? — Шевек встал. В комнате от стены до стены было всего четыре шага, но он не мог стоять спокойно. — Тогда это

было и для меня очень важно. — Он остановился у окна.— Но с тех пор я сильно изменился. Здесь, в Аббенае, что-то не так. Не знаю, в чем дело.

— Зато я знаю, — сказал Бедап. — Это стена. Ты просто налетел на стену.

Шевек резко обернулся; глаза его смотрели испуганно.

— Стена?

— Ну да. В данном случае стеной для тебя является Сабул и те, кто его поддерживает в Координационном Совете. Что касается меня, то я провел в Аббенае четыре декады. Сорок дней. Вполне хватило, чтобы понять: даже если я проведу здесь сорок лет, то не завершу никакого труда и ничего не добьюсь — по крайней мере того, чего хочу добиться, то есть улучшить преподавание естественных наук в учебных центрах. Пока все не переменится. Или же пока я сам не перейду на сторону врага.

— Врага?

— Маленьких людей. Таких, как Сабул. Тех, у кого власть!

— О чем ты говоришь, Дап? У нас ведь нет ни одной властной структуры!

— Нет? А что же делает Сабула таким могущественным?

— Но только не властная структура, не государство, не правительство — мы же не на Уррасе, в конце концов!

— Не на Уррасе. И у нас нет государства, правительства, законов — это все так. Но, насколько я понимаю, идеи никогда не поддавались контролю со стороны законов и правительства, даже на Уррасе. Если бы идеи можно было контролировать, то как бы Одо сумела разработать и опубликовать свою теорию? Как смог бы одонизм стать всемирным движением? Главы государств пытались придушить его и потерпели неудачу. Невозможно уничтожить идеи, подавляя их. Их можно сокрушить лишь одним: пренебрежением, забвением. Нежеланием думать, нежеланием обмениваться знаниями. А именно это и свойственно нашему «идеальному» обществу! Сабул старается использовать тебя на полную катушку, а когда ему это не удается, ставит тебе палки в колеса — не дает публиковать работы, не разрешает преподавать, мешает даже просто работать для себя, «в стол». Верно? Иными словами — он имеет над тобой власть. Откуда же она у него берется? Нет, это не следствие былого авторитета — научного авторитета у него больше нет никакого — и не чувство собственного интеллектуального превосходства; он ведь не дурак и понимает, кто есть кто. Нет, его власть покоится на врожденной человеческой трусости, свойственной среднему обывателю. Мнение толпы! Общественное мнение! Вот та структура власти, частью которой он является, и он прекрасно знает, как ею

пользоваться. Непризнанное, непризнаваемое, недопустимое на словах, правительство у одонийцев все-таки есть; и оно действительно правит нашим обществом, удушая индивидуальное мышление, подавляя любое яркое проявление личности.

Шевек оперся руками о подоконник, глядя сквозь неясную дымку отражений в оконном стекле куда-то в темноту. Наконец он промолвил:

— Безумные у тебя идеи, Дап.

— Нет, брат, я в своем уме. Хотя многих сводит с ума именно попытка жить как бы вне реальной действительности.

А ведь наша реальная действительность ужасна. Она способна убить. И если ей дать время, наверняка убьет. Реальная действительность — это сплошные страдания. Между прочим, это твои слова! И в данном случае именно ложь, попытки уйти от реальной действительности — вот что сводит тебя с ума, заставляет желать себе смерти...

Шевек резко повернулся к нему:

— И все-таки нельзя всерьез утверждать, что у нас есть правительство!

— В толковом словаре Томара сказано: «Правительство: законное использование своего могущества для поддержания и расширения власти». Замени «законное» на «обычное» или «привычное» и получишь Сабула и Синдикат по образованию, а также Координационный Совет.

— Совет?

— Ну да, Координационный Совет теперь уже в основе своей — настоящая правящая верхушка бюрократии.

Воцарилась тишина. Потом Шевек как-то неестественно громко рассмеялся и сказал:

— Ну ладно, Дап, хватит! Это, конечно, забавно, но как-то немного болезненно, ты не находишь?

— Шев, а ты никогда не думал, что то, что по аналогии называется «болезненным», «нездоровым» — нездоровая замкнутость, нездоровый пессимизм, нездоровое стремление к одиночеству, болезненная асоциальность — все это, по аналогии же, может быть заменено словом «страдание»? Ведь ты именно это имел в виду, когда говорил о боли, страдании и его функции в организме?

— Нет, — яростно возразил Шевек. — Я говорил тогда о личности, о духовной жизни человека.

— Не только. И о физическом страдании тоже — об умирающем от ожогов человеке... А я говорю именно о духовных страданиях. О том, как люди видят, что бессмысленно пропадает

их талант, их труд, их жизнь. О том, как умные подчиняются глупцам. О силе и мужестве, задушенных завистью, жаждой власти, боязнью перемен. Перемены — это свобода, перемены — это жизнь. Разве есть что-либо более существенное в учении Одо, чем это? Но у нас ничто больше не меняется! Наше общество больно. И ты это понимаешь. И сам страдаешь от той болезни, которой поражено все общество. Которая ведет людей к самоубийству!

— Хватит, Дап! Давай прекратим этот разговор.

Бедап умолк. И принялся задумчиво грызть ноготь.

Шевек снова сел на постель, уронив голову на руки. Оба молчали. Снег прекратился. Сухой темный ветер бился в окно. В комнате было холодно; ни один из них так и не снял теплой куртки.

— Послушай, брат, — наконец заговорил Шевек, — это не наше общество подавляет частную инициативу. Это нищета природы Анарреса. Наша планета не создана для того, чтобы взрастить настоящую цивилизацию. Если мы не будем поддерживать друг друга, если мы не откажемся от своих личных желаний во имя всеобщего блага, то ничто в этом бесплодном мире не спасет нас. Так что солидарность — наш единственный источник жизни.

— Ну разумеется, солидарность! А как же! Даже на Уррасе, где пища буквально падает с деревьев, Одо утверждала, что только в солидарности наше спасение, что это наша единственная надежда. Вот только мы предали эту надежду! Позволили сотрудничеству превратиться в послушание. На Уррасе государство меньшинства. У нас же — большинства! Но тем не менее это настоящее государство. И общественное сознание — уже не живой организм, а машина власти, которой управляют бюрократы!

— Но ведь любой, ты или я, может подать заявление и быть выдвинутым в Координационный Совет буквально в течение нескольких декад! Неужели от этого мы сразу превратимся в бюрократов? В «боссов»?

— Дело не в том, из кого состоит Координационный Совет, Шев. Большая часть его членов — такие же люди, как мы. Все они даже слишком похожи на нас: хотят творить добро, наивны.. Да и вообще, дело вовсе не в КСПР. Дело в том, что творится на нашей планете. В учебных центрах, в институтах, в шахтах, на фабриках, на рыбозаводах, на консервных предприятиях, на агрофермах и на исследовательских станциях — везде, где есть специалисты, осуществляющие контроль, чья функция требует стабильности. Вот эта-то стабильность функций и создает основу для

авторитарных устремлений. В первые годы поселенцы на Анарресе хорошо помнили об этом — об условиях, в которых это возникает. Тогда люди очень осторожно подходили к вопросу о распределении готовой продукции и управлении людьми. Они так хорошо отделяли одну функцию от другой, что мы совершенно забыли: желание доминировать столь же характерно для человеческой природы (оно, пожалуй, даже является в ней определяющим), как и стремление к взаимопомощи, которое еще следует развивать, культивировать в каждом индивиде, в каждом новом поколении.

Но мы-то об этом забыли! Мы больше не даем образование во имя обретения свободы. Стремление к знаниям, важнейшая функция социального организма, превратилось в «систему образования» — застывшую, морализаторскую, авторитарную. Детишек учат, точно попугаев, повторять слова Одо, словно это законы, статьи конституции — но ведь это ничем не отличается от клятвопреступления!

Шевек колебался. Он на собственном опыте постиг слишком многое из того, о чем сейчас говорил Бедап. И в детстве, и здесь, в Институте. И у него не хватало духу возражать своему другу.

Бедап тотчас же безжалостно «закрепил» достигнутый успех:

— Проще всего не думать самому. Отыскать симпатичную спокойную иерархию и устроиться там, на какой-нибудь подходящей ступеньке. Только ничего не меняйте! Не вызывайте неодобрения членов вашего синдиката! Да, брат, позволить управлять собой легче всего.

— И все же это не государство, Дап! Эксперты, старые умелые специалисты способны управлять любой командой или синдикатом, потому что они лучше всех знают данное конкретное дело. А любое дело, в конце концов, нужно доводить до конца! Что же касается КСПР — да, ты прав, он вполне мог бы превратиться в иерархическую структуру, если бы сама его организация не мешала этому. Посмотри, как он устроен! Добровольцы, которых по списку выбирает большинство; потом целый год стажировки; потом еще четыре года пребывания в списке имеющих право голоса — и все! И никто там больше четырех лет не задерживается! При подобной системе трудно, пожалуй, набраться «властного» опыта.

— Некоторые работают там гораздо дольше.

— Советники? Но не они отвечают за результаты голосования.

— А эти результаты никому и не нужны. За сценой всем заправляют совсем другие люди...

— Да ладно тебе! Это же просто паранойя какая-то! «За

сценой»... За какой сценой? Любой может присутствовать на любом собрании КСПР, и если он член заинтересованного в конкретном вопросе синдиката, то может выступать во время дебатов и голосовать! Неужели ты хочешь доказать, что у нас здесь есть всякие политиканы, интриганы? — Шевек ужасно разозлился; его чуть оттопыренные уши побагровели; он почти кричал. Было уже поздно; на том конце квадратного двора свет не горел ни в одном окне. Дезар из комнаты номер 45 постучал в стенку: ему хотелось спать.

— Я говорю только то, что и тебе прекрасно известно, — ответил Бедап, значительно понижая голос. — То, что на самом деле в КСПР правят люди, подобные Сабулу, и это происходит из года в год.

— Если ты в этом так уверен, — прошипел Шевек обвиняющим тоном, — то почему до сих пор не рассказал всем? Почему не выступил на собрании в своем синдикате, если у тебя на руках факты? Ну а если твои идеи не выдерживают критики, то шептаться о них по ночам я не желаю!

Глаза Бедапа стали похожи на стальные бусинки.

— Господи, до чего же ты уверен в себе! — сказал он. — Впрочем, ты всегда был таким. Да ты только посмотри вокруг! Выгляни, черт бы тебя побрал, за пределы своего чистого разума! Я пришел к тебе и шепчусь с тобой только потому, что уверен: я могу доверять тебе! Черт возьми, с кем еще я могу поговорить? Чтобы не получилось как с Тирином.

— С Тирином? — Шевек был настолько потрясен, что, забывшись, снова заговорил громко. Бедап указал ему на стену, призывая говорить тише. — А что случилось с Тирином? Где он?

— В сумасшедшем доме, на острове Сегвина.

— В сумасшедшем доме?

Бедап забрался с ногами в кресло и обхватил колени руками. Теперь он говорил медленно, почти спокойно, даже как бы нехотя:

— Тирин написал пьесу и поставил ее — через год после твоего отъезда. Пьеса была смешная, сумасшедшая такая — ну, ты знаешь, как он может. — Бедап провел рукой по своим жестким, песочного цвета волосам и развязал тесемку, стягивавшую их на затылке. — Только кретинам такая пьеса могла показаться антиодонийской. Но, к сожалению, кретинов у нас немало. Ну и возник скандал. Тирину вынесли общественное порицание. Я ни разу до того не видел, чтобы кого-то порицали публично. Для этого все кому не лень являются на собрание твоего синдиката и поносят тебя. Должно быть, когда-то именно так в нашем обществе снимали с поста какого-нибудь зарвавшегося мастера,

решившего, что он теперь большой начальник. Теперь же у нас используют общественное порицание для того, чтобы сообщить человеку, что ему пора перестать мыслить самостоятельно. Это было просто отвратительно! Тирин такого, конечно, вынести не смог. По-моему, у него после этого даже крыша немного поехала. Ему казалось, что все против него. И тогда он начал говорить слишком много, и горькие то были речи. Но отнюдь не бессмысленные. Очень разумные, всегда критические и всегда очень горькие. И он готов был говорить с любым. В общем, все кончилось, как этого и следовало ожидать. Он получил диплом преподавателя математики и, естественно, попросил о соответствующем назначении. Назначение он получил — в дорожно-ремонтную бригаду на самом юге. Он стал протестовать, говорил, что это ошибка, однако компьютеры в ЦРТ все время выдавали ему один и тот же результат. И он поехал туда...

— Тир всегда избегал физической работы — с тех пор как я его знаю, с десяти лет, — прервал его Шевек. — Ему всегда удавалось выпросить себе какую-нибудь работу полегче, под крышей или за письменным столом. В Центре были, наверное, правы...

Бедап его будто не слышал:

— Я точно не знаю, что у них там случилось. Он несколько раз писал мне... но каждый раз его переводили на новое место. И всегда это была самая примитивная физическая работа где-нибудь в маленькой и очень далекой коммуне. Он несколько раз писал, что непременно откажется от следующего подобного назначения и вернется в Северное Поселение... что очень хочет повидаться со мной... Но так и не приехал. И писать перестал. В конце концов, я сам разыскал его — через компьютерные списки в ЦРТ. Мне выдали копию его учетной карточки; последние сведения в ней были таковы: «Отправлен на принудительное лечение. Остров Сегвина». Принудительное лечение! Разве Тирин кого-нибудь убил? Изнасиловал? За что же его отправлять в сумасшедший дом?

— В сумасшедший дом здоровых никогда силой не отправляют. Наверное, он просто сам попросил назначение туда на работу...

— Перестань вешать мне на уши эту лапшу! — внезапно зло сказал Бедап. — Он никогда никого не просил о таком назначении! Его просто довели до ручки, а потом сослали туда. Ты что, Шевек? Я же о Тирине говорю, о Тирине! Ты его помнишь?

— Я, между прочим, познакомился с ним раньше тебя! Ты что, думаешь, сумасшедший дом — это тюрьма? Вовсе нет. Это убежище для больных людей. Если там и есть убийцы и

хронические бездельники, то только потому, что он» сами туда попросились; там на них не оказывают давления, они свободны от бесконечных упреков. Но кого это ты так упорно называешь «они»? «Они довели его до ручки» и так далее? Ты что, хочешь сказать, что тебе больше не по вкусу наша социальная система? Что она исполнена зла? Что на самом деле «они» — это преследователи Тирина? Твои враги? Но ведь «они» — это же мы сами... наш единый социальный организм?

— Если ты можешь сбросить со счетов Тирина, если у тебя хватит совести считать его хроническим бездельником, то мне не о чем больше с тобой говорить, — сказал Бедап, скорчившийся в кресле. И в голосе его прозвучала такая неподдельная горечь и печаль, что «праведный» гнев Шевека тут же улетучился.

Некоторое время оба молчали.

— Я, пожалуй, лучше домой пойду, — сказал Бедап, неловко расправляя конечности и вставая.

— Отсюда же целый час пешком! Оставайся и не глупи!

— Ну, я думал... Поскольку...

— Не будь дураком, Дап.

— Ладно, останусь. Где у вас тут сортир?

— Налево, третья дверь.

Вернувшись, он сразу заявил, что ляжет на полу, но поскольку ни ковра, ни циновки на полу не было, а теплое одеяло было только одно, то эта идея, как спокойно заметил Шевек, представлялась абсолютно идиотичной. Оба они были мрачны и сердиты друг на друга; точно наставили друг другу синяков и разошлись, а гнев выпустить во время драки так и не успели. Шевек развернул скатанную постель, они легли и выключили свет. Серебристая ночь вошла в комнату — довольно светлая городская ночь, какая бывает, когда выпадет снег, от которого неярко отражаются ночные огни. Было очень холодно. И так приятно чувствовать тепло друг друга.

— Беру назад свои слова насчет твоего одеяла.

— Послушай, Дап, я вовсе не хотел...

— Ох, давай поговорим об этом утром.

— Верно.

Они придвинулись ближе. Шевек перевернулся на живот и через две минуты заснул. Бедап сперва очень старался не спать, но не устоял и все глубже и глубже соскальзывал в сонное тепло, в беззащитность, в доверчивость... Ночью кто-то из них громко вскрикнул во сне. Второй тут же сонно протянул руку и ласково погладил кричавшего, что-то успокоительно приговаривая. И это тепло дружеского прикосновения пересилило всякий страх.

Следующим вечером они встретились снова; разговор зашел о

том, не поселиться ли им вместе, как когда-то. Это заслуживало серьезного обсуждения: Шевек был абсолютно и безоговорочно гетеросексуалом, а Бедап — гомосексуалистом. Это могло серьезно осложнить совместную жизнь. Однако Шевек, явно желавший восстановить былую дружбу, понимал, какое большое значение для Бедапа имеет сексуальная сторона их отношений, и решил проявить терпимость, взяв инициативу в свои руки. Он с удивительной нежностью и тактом старался вновь «приручить» Бедапа. Они заняли отдельную комнату в одном из общежитий деловой части города и прожили там вдвоем дней десять, после чего вполне спокойно расстались — Бедап вернулся к себе, а Шевек — в комнату номер 46. К счастью, ни с той, ни с другой стороны не возникло достаточно сильного сексуального влечения, чтобы как-то продлить эту связь, однако былое доверие друг к другу было восстановлено полностью.

И все же Шевек порой задавал себе вопрос, что именно ему так нравится в Бедапе и почему он так ему доверяет. Он находил его теперешние взгляды отвратительными, а его упорные рассуждения на эту тему — утомительными. Они яростно спорили почти при каждой встрече, доходя чуть ли не до оскорблений. Расставаясь с Бедапом, Шевек часто обвинял себя в том, что просто-напросто старается сохранить верность старой дружбе, которую давно уже перерос, и сердито клялся себе, что больше никогда с Бедапом не увидится.

И все же, как ни странно, взрослый Бедап нравился ему гораздо больше, чем в детстве. Нелепый и настойчивый, догматик и разрушитель — да, все это в Бедапе было, однако была в нем и та свобода мышления, которой самому Шевеку не хватало и которой он даже отчасти опасался. Бедап переменил всю его жизнь, и Шевек наконец-то начал двигаться вперед, в частности благодаря их бесконечным спорам, в которых они, причиняя друг другу страдания, обретали истину, способность отрицать ранее незыблемое и отторгать его. Все это было Шевеку необходимо. Он не знал, что именно ищет, но знал теперь, где это нужно искать.

Впрочем, этот период исканий не прибавил в его жизни счастья и удачи. Он по-прежнему ничуть не продвинулся в своей работе. Мало того, бросив заниматься теорией, он вернулся к старым экспериментальным исследованиям в лаборатории радиационной физики, выбрав себе в напарники ловкого молчаливого парня с инженерного факультета, занимавшегося субатомными скоростями. Это была хорошо разработанная область знаний, и запоздалое обращение Шевека к конкретной теме было воспринято в Институте как знак того, что он наконец перестал «оригинальничать». Ему разрешили читать

самостоятельный курс — математическую физику, — но у него не возникло ощущения победы. Как раз наоборот: ему позволили, разрешили читать то, что он мог бы читать два года назад! Теперь его вообще мало чем можно было утешить. То, что стены его, столь прочного прежде, пуританского сознания чрезвычайно расширились, было связано с чем угодно, только не с покоем и удовлетворенностью. Он все сильнее чувствовал в своей душе холод и одиночество. У него было ощущение, что он заблудился, но отступать некуда и никакого убежища рядом нет, так что остается идти вперед, за эти стены, где царит еще больший холод, одиночество, чувство потерянности...

Зато Бедап приобрел в Аббенае множество друзей и поклонников, случайных и не слишком сильно к нему привязанных. Некоторым из его друзей очень нравился мрачноватый стеснительный юноша по имени Шевек. Сам Шевек не чувствовал себя своим в их компании, и эти ребята не стали ему ближе, чем более подходящие для него по интересам знакомые из Института, однако приятелей Бедапа отличала значительная независимость суждений, и общение с ними давало больше пищи для ума. Они сохраняли эту независимость любой ценой, даже становясь порой эксцентричными. Некоторые из них были интеллектуальными бездельниками, «нучни-би», и годами нигде не работали постоянно. Шевек их сурово осуждал; однако многие из них тем не менее нравились ему.

Один из них был композитор по имени Салас. Он, как и Шевек, стремился как можно больше узнать об окружающем мире. Салас весьма плохо разбирался в математике, однако Шевек мог объяснить почти любую физическую проблему с помощью аналогий или экспериментальных моделей, и Салас слушал его с огромным вниманием, оказавшись весьма способным учеником. Шевек с не меньшей готовностью слушал все, что Салас мог ему поведать о теории музыки, все, что Салас давал ему прослушать в записи или же сыграть сам на своем портативном инструменте. Но кое-что из рассказов Саласа о его жизни вызывало в душе Шевека странную тревогу. Салас в последнее время принял назначение в команду, занимавшуюся строительством канала на равнинах Темае, к востоку от Аббеная. Он приезжал в город на три свободных дня каждую декаду и жил то у одной девицы, то у другой. Сперва Шевек решил, что Салас согласился на такое назначение, потому что для разнообразия захотел поработать на свежем воздухе; но потом оказалось, что Саласу никогда и не предлагали ничего, хоть как-то связанного с музыкой. Только самую примитивную, не требующую никакой специальной'подготовки работу.

— А в каком списке ты числишься в ЦРТ? — спросил озадаченный этой ситуацией Шевек.

— В общем.

— Но ты же высококвалифицированный специалист! Ты же лет шесть или восемь по крайней мере учился в консерватории! Почему же тебе не предлагают, например, преподавать музыку?

— Предлагали. Я отказался. Я еще лет десять не смогу никого учить музыке. Вспомни: я композитор, а не исполнитель. И уж подавно не преподаватель.

— Но ведь и для композиторов должны существовать рабочие места!

— Где?

— В Музыкальном синдикате, наверное.

— Но Музыкальному синдикату мои сочинения не нравятся. И пока что практически никому другому тоже. Я же не могу сам по себе образовать отдельный синдикат, верно?

Салас был худой, маленький, с довольно большой уже лысиной; остаток волос он стриг очень коротко, так что они шелковистой бежевой опушкой окружали его лысину на затылке и над ушами. У него была очень хорошая, добрая улыбка, от которой все его живое лицо покрывалось морщинками.

— Понимаешь, я пишу не так, как меня учили в консерватории. Я пишу нефункциональную, с их точки зрения, музыку. — Он еще ласковее улыбнулся. — А им нужны хоралы. Я хоралы терпеть не могу! Им нравятся полифонические пьесы, вроде тех, что писал Сессур. А я его музыку тоже не перевариваю... Я пишу камерную музыку. Знаешь... Одну вещь, по-моему, можно было бы назвать «Принцип Одновременности»!.. Пять инструментов играют каждый независимую циклическую тему; и никакой мелодической каузальности! Весь последующий процесс полностью состоит из отдельных партий каждого инструмента. В целом получается очень здорово и даже гармонично. Но они эту музыку не слышат. Не хотят услышать. Не могут!

Шевек немножко подумал.

— Если ты назовешь ее «Счастье солидарности», — сказал он, — они ее непременно услышат! Тебе не кажется?

— Черт возьми! — сказал Бедап, прислушивавшийся к их разговору. — Впервые слышу циничное высказывание из твоих уст, Шев! Итак, в нашем полку прибыло!

Салас рассмеялся:

— Они разрешат ее прослушивание, но все равно завернут, когда речь пойдет о записи или концертном исполнении в регионах. Она написана «недостаточно органично».

— Ничего удивительного, что я никогда не слышал по-настоящему профессиональной музыки, пока жил в Северном Поселении, — возмутился Шевек. — Но каким образом они оправдывают свое вмешательство? Это же вкусовщина! Настоящая цензура! Ты пишешь музыку, а музыка сама по себе — искусство сотрудничества. Ей это присуще органически, по определению. Она явление общественное. Возможно, это самая благородная форма социального поведения, на которую мы, люди, способны! И, конечно же, занятие музыкой — одно из самых благородных, какое только может выбрать человек. И, разумеется, как и любое искусство, музыка требует, чтобы ею поделились с другими. Человек искусства всегда делится своим мастерством с другими, в этом суть его деятельности. И черт бы побрал этот твой синдикат — разве можно оправдать то, что тебе, музыканту, композитору, не дают возможности работать по специальности?

— Они не хотят делить мою музыку со мной, — весело заявил Салас. — Она их пугает.

Бедап был настроен более мрачно:

— Оправдаться можно тем, что музыка не приносит пользы. Вот рыть каналы — это важно, это полезно всем, как вы понимаете; а музыка что? Просто украшательство какое-то, декоративное искусство. Итак, круг натуральным образом замкнулся; мы вернулись в ту точку, откуда начинается вульгарный собственнический утилитаризм. Сложность и разнообразие жизни, энергия и воля, свобода изобретательства и инициативы — все, что занимало центральное место в теории Одо, в идеалах первых одонийцев, все мы отбросили прочь и прямой дорожкой вернулись к варварству: если это что-то новое, незнакомое, лучше беги от него подальше; если не можешь это съесть, лучше выброси!

Шевек вспомнил о своей судьбе и работе; ему нечего было возразить Бедапу; и все же он не мог полностью разделить его критическую позицию. Благодаря Бедапу он уже многое осознал, многое его возмущало в окружающей действительности, однако в глубине души он все же считал, что свободное мышление дано ему воспитанием и он не имеет права восстать против воспитавшего его общества одонийцев, его родного общества, которое, если разобраться как следует, революционно само по себе, ибо постоянно развивается, находится в вечном процессе перемен и отрицания старых ценностей. Чтобы подтвердить ценность этого общества и его силу, думал Шевек, нужно просто действовать, не боясь наказания, без надежды на успех и награду: действовать из самых искренних побуждений.

Бедап с приятелями решили на каникулы махнуть дней на десять автостопом в горы Не Терас и убедили Шевека поехать с ними. Шевеку очень хотелось в горы, однако его мало радовала перспектива в течение десяти дней выслушивать сентенции Бедапа. Все эти разговоры ужасно напоминали собрание, посвященное критике какой-либо конкретной проблемы, а этот вид общественной деятельности Шевеку всегда нравился меньше всего; он терпеть не мог, когда каждый вставал и публично «обличал» какие-то недостатки — в работе всей коммуны или просто в характерах своих соседей. Чем ближе были каникулы, тем больше он колебался. Однако в последний момент все же сунул в карман записную книжку, чтобы в любой момент иметь возможность отойти в сторонку и сделать вид, что работает, и поехал со всеми вместе.

Они встретились на рассвете за автобазой у Восточных Холмов — трое молодых мужчин и три девушки. Девушек Шевек не знал совсем, но Бедап почему-то представил его только двум из них. Когда они уже ехали по направлению к горам, он наклонился к третьей, сидевшей с ним рядом, и представился:

— Шевек.

— Я знаю, — откликнулась она.

До него дошло, что они, должно быть, встречались где-то раньше и ему бы тоже следовало знать ее имя. Уши у него покраснели.

— Ты, часом, не спятил? — туг же вмешался Бедап. — Таквер же училась вместе с нами в Северном Поселении, в Региональном Институте, и уже два года живет в Аббенае. Вы что, с тех пор друг друга не видели?

— Я его видела. Раза два. — И девушка рассмеялась. У нее был замечательный, звонкий и искренний смех человека, который любит вкусно поесть, выспаться, хорошо поработать. Смеялась она во весь рот, точно ребенок. Она была высокая и довольно тоненькая, но с округлыми плечами и широкими бедрами. Не очень хорошенькая, но приятная; лицо смуглое, умное, веселое. Глаза очень темные — не прозрачно-карие, но глубокие как бездна, темные, почти черные, но горячие, точно угли. Встретившись с этим взглядом, Шевек понял, какую непростительную ошибку совершил, забыв ее имя, и в тот же миг, не успев еще осознать это, почувствовал, что уже прощен, что ему наконец повезло, что фортуна наконец повернулась к нему лицом.

Они стали подниматься в горы.

Холодным вечером, на четвертый день путешествия, Ше-век и Таквер сидели на голом крутом склоне над горной рекой. В

сорока метрах под ними грохотал по камням стремительный поток; блестели влажные скалы. На Анарресе редко можно было увидеть бегущую воду; там вообще было очень мало рек. Только в горах текли немногочисленные ручьи и быстрые речки. Звук что-то кричавшей, гремевшей и певшей воды был нов для них.

Они карабкались над такими оврагами весь день и в итоге забрались довольно высоко; ноги страшно устали и теперь побаливали. Остальная часть их группы осталась отдыхать в Дорожном приюте — небольшом каменном здании, построенном самими туристами для туристов же и содержавшемся в образцовом порядке. Федерация туристов в Не Терас была наиболее активной и в ней наибольшее число добровольческих групп следили за окружающей средой и оберегали наиболее красивые виды, которых на Анарресе было совсем немного. Егерь, он же пожарник, который обычно жил в Дорожном приюте все лето, помог Бедапу и остальным состряпать неплохой обед из того, что имелось в укомплектованных весьма прилично кладовых. А после обеда Таквер и Шевек ушли прогуляться — просто так, сами не зная, куда пойдут.

Вокруг них по склону кружевными кругами расползлись заросли нежной лунной колючки. Ее жесткие хрупкие веточки серебрились в сумерках. В просвете между вершинами гор, на востоке, бледно светилось небо, возвещая восход луны. В молчании высоких голых утесов особенно шумливым казался бегущий внизу поток. Ни ветерка, ни облачка. Воздух над горными вершинами застыл и был цвета аметиста.

Некоторое время они посидели там молча.

— Я никогда еще так не привязывался к женщине. Меня тянет к тебе с самого первого дня нашего путешествия. — Шевек говорил холодным тоном, почти с презрением.

— Но у меня вовсе не было намерения испортить тебе каникулы, — возразила она серьезно и вдруг, как всегда громко, по-детски, расхохоталась. Слишком громко для горных сумерек.

— Ты их ничуть не испортила!

— Уже хорошо. А то я испугалась, что отвлекаю тебя от решения Великой Задачи.

— Отвлекаешь! Да то, что со мной творится, вообще на какое-то землетрясение похоже!

— Ничего себе! Вот спасибо.

— Дело вовсе не в тебе, — хрипло, но стараясь сохранить в тоне презрительность, сказал он. — Дело во мне.

— Это тебе только так кажется, — возразила она.

Снова надолго воцарилось молчание.

— Если ты хочешь заняться со мной сексом, — сказала она,

— то почему бы не спросить прямо?

— Потому что я не уверен, что хочу именно этого.

— Я тоже. — Она больше не улыбалась. — Послушай, — голос ее теперь звучал тихо и нежно; в нем было нечто схожее с ее горячими ласковыми глазами, — я кое-что должна сказать тебе... — Но что она должна была сказать ему, так и осталось невысказанным. И тогда он посмотрел на нее с такой мольбой, что она заторопилась и, скомкав мысль, быстро проговорила: — Ну, в общем, я просто хотела сказать, что просто секс ни с тобой, ни с кем-либо другим мне не нужен.

— Ты дала зарок?

— Нет! — с жаром возразила она, но объяснять ничего не стала.

— Ну а я, можно считать, дал, — сказал он и швырнул камешек в пенные воды. — А может, просто стал импотентом. Уже полгода никакого секса. Да и то в последний раз это было с Дапом — все равно что не было. А так, в целом, наверное около года уже. Знаешь, с каждым разом мне все эти забавы приносили все меньше удовлетворения, и я просто перестал предпринимать какие бы то ни было попытки встречаться с девушками. Такая ерунда не стоила беспокойства. Вообще почти ничего не стоила. И все же я... я помню... я знаю, как это должно быть.

— Ну да, в том-то и дело, — сказала Таквер серьезно. — Я когда-то тоже страшно веселилась, занимаясь этим, пока мне не стукнуло лет восемнадцать или девятнадцать. Сперва это было интересно, приятно возбуждало, но потом... Не знаю. В общем, как ты сказал, перестало приносить удовлетворение. А простеньких удовольствий я уже не хотела.

— Ты бы хотела иметь детей?

— Да, со временем.

Он кинул вниз еще один камешек, который исчез в темноте оврага, оставив лишь шумный след — бесконечную гармонию падения, состоящую из дисгармоничных звуков.

— А я хочу наконец завершить свою работу, — сказал он.

— И что, обет безбрачия этому способствует?

— Есть какая-то связь... Но я не уверен... Здесь явно не причинно-следственные отношения. К тому времени как примитивный секс стал мне надоедать, стала надоедать и работа. Причем ощущение ее бессмысленности все усиливалось. Три года — и никаких результатов. Полное бесплодие. По всем параметрам. Передо мной точно бесплодная пустыня раскинулась в безжалостном сиянии солнца... безжизненная, бесполезная... Ни воды, ни жизни, ни любви — пустое пространство, выстланное камнем... И камни, точно скелеты несчастных путников,

пытавшихся это пространство пересечь...

Таквер не засмеялась, слушая его чуть выспреннюю речь; она как-то нервно хихикнула, точно скрывая боль. Он вскинул голову и попытался получше рассмотреть ее лицо. За темноволосой головой Таквер небо было настолько ясным и холодным, что казалось твердью.

— Неужели это так плохо — просто получать удовольствие, Таквер? И почему ты от этого отказываешься?

— Ничего плохого в этом нет. И я от него не отказываюсь. Просто оно мне не нужно. Если я соглашусь получать его все время, то никогда не получу того, что мне действительно нужно.

— А что тебе действительно нужно?

Она не поднимала глаз, царапая ногтем поверхность выступившего из-под земли валуна. И молчала. Потом наклонилась, хотела сорвать стебелек лунной колючки, но не сорвала, а только коснулась его и погладила пальцем пушистый стебель и хрупкий листок. По тому, какими странно напряженными были ее движения, Шевек понял, что она старается сдержать бушующие в ее душе чувства, чтобы говорить спокойно. Когда ей удалось совладать с собой, она заговорила — тихим и чуть охрипшим голосом.

— Мне нужна прочная связь, — сказала она. — Настоящая. Когда люди принадлежат друг другу телом и душой и на всю жизнь. Ни больше ни меньше.

Она подняла голову и посмотрела на него — ему показалось, с презрением, а может, даже с ненавистью.

Таинственная, неведомая радость отчего-то вдруг стала подниматься в его душе — так звук и запах бегущей внизу воды пробивался к ним сейчас сквозь непроницаемую тьму. У него было ощущение безграничной и полной ясности, чистоты — словно его наконец выпустили на свободу. За головой Таквер разливалось сияние: восходила луна. Дальние вершины гор парили в ее свете — чистые, серебристые...

— Да, это именно то, что нужно, — сказал он спокойно и покорно, точно не ей, а самому себе, задумчиво, точно размышляя вслух. Сказал то, что всплыло из глубины его души: — Но я никогда не встречал таких отношений.

В голосе Таквер все еще слышался отголосок неприязни:

— Ты никогда и не мог.

— Почему же?

— Наверное, потому, что никогда не верил в возможность этого.

— Что ты хочешь этим сказать? Какую возможность ты имеешь в виду?

— Встретить человека.

Он задумался. Они сидели примерно на расстоянии метра друг от друга, поджав колени к подбородку и обхватив их руками, потому что становилось ужасно холодно. Воздух вливался в горло, точно вода со льдом. Они видели дыхание друг друга, облачками вырывавшееся изо рта и чуть подсвеченное луной.

— В ту ночь, когда я поверила в такую возможность, — сказала Таквер, — ты как раз собирался уезжать из Регионального Института. Помнишь вечеринку? После которой мы, несколько человек, просидели за разговорами всю ночь? Но это было так давно, четыре года назад. И ты даже не знал, как меня зовут... — Враждебность исчезла из ее голоса; она, похоже, уже хотела как-то оправдать забывчивость и рассеянность Шевека.

— Так, значит, ты уже тогда увидела во мне то, что я увидел в тебе лишь за четыре последних дня?

— Не знаю. Не уверена. Но это., это не было просто плотским влечением. Я ведь тебя куда раньше заметила, если честно. Но в тот вечер все было иначе; *я* тебя *увидела*. Хотя не знаю, что именно теперь видишь ты. Потому что сама я тогда по-настоящему не поняла, *что* увидела. Мы же почти не были знакомы. Только когда ты заговорил, мне показалось, что я вижу тебя очень ясно, как бы насквозь, до самых глубин. Но это вполне могло быть ошибкой; ты мог оказаться совсем другим, чем мне показалось. И это отнюдь не было бы твоей виной! Просто тогда, увидев что-то в тебе, я поняла: именно это мне нужно! И это не просто увлечение...

— И ты жила в Аббенае два года и даже не...

— Что «даже не»? Ведь все это было только с моей стороны! Можно сказать, выдумано мною. Ты даже имени моего не знал. В конце концов, прочную связь невозможно создать в одиночку!

— И ты боялась, что если придешь ко мне сама, то я могу и не захотеть подобной связи?

— Не боялась. Просто знала, что ты человек, который... которого невозможно заставить... Ну, в общем, да, правда, я боялась. Боялась тебя. Не того, что могу совершить ошибку... Я знала, что это не ошибка. Но ты был... самим собой. Ты ведь не похож на остальных, на большую их часть, ты же сам знаешь. Я боялась тебя, потому что знала: ты такой же, как я! — Под конец она почти кричала, но уже через несколько секунд успокоилась и сказала нежно, ласково: — Знаешь, Шевек, на самом деле ты все это не принимай близко к сердцу. Это не так уж и важно.

Он впервые услышал, как она произносит его имя, и обернулся. Заикаясь, чуть ли не задыхаясь, спросил:

— Не так важно? Сперва ты разъяснила мне... разъяснила, что

именно важно, что действительно было мне необходимо всю жизнь... а теперь говоришь, что это не так уж важно?!

Теперь их лица почти соприкасались, однако они не коснулись друг друга.

— Так, значит, тебе тоже нужно именно это?

— Да. Прочная связь. Это единственный шанс.

— Сейчас — и на всю жизнь?

— Сейчас и на всю жизнь.

«Жизнь!»— сказал ручеек, бежавший внизу по камням в холодной тьме.

Вернувшись из путешествия, Шевек и Таквер переехали в отдельную сдвоенную комнату. В ближайших к Институту общежитиях не было ни одной свободной, но Таквер отыскала то, что нужно, в старом общежитии на северной окраине города. Чтобы получить этот сдвоенный номер, им пришлось пойти к управляющей кварталом — Аббенай был поделен на две сотни административных единиц, которые назывались кварталами, — и ею оказалась полировальщица линз, которая работала дома и всех своих детей, их у нее было трое, держала при себе. Списки комнат она клала на шкаф, чтобы до них не добрались дети. Достав их оттуда, она проверила: большая отдельная комната была свободна; Шевек и Таквер тут же зарегистрировались у нее и стали переезжать.

Переезд много усилий не потребовал. Шевек за один раз перетащил в новое жилище ящик с бумагами, зимние ботинки и оранжевое одеяло. Таквер пришлось сходить за вещами три раза. Потом они сходили еще в местный распределительный центр, чтобы получить по новому комплекту одежды и постельного белья — этот акт, как смутно предполагала Таквер, был, с ее точки зрения, совершенно необходим для начала совместной жизни. Потом они вместе с Шевеком еще раз сходили в ее прежнее общежитие, чтобы принести некоторое количество довольно забавных вещей: сложных концентрической формы предметов, сделанных из проволоки, которые, будучи подвешенными к потолку, двигались и меняли свои очертания, но очень медленно, как бы исподволь. Таквер сама сделала эти штуки в мастерской и назвала их «Занятие Незаселенных пространств». Одно из двух кресел в комнате оказалось безнадежно сломанным, так что они отнесли его в мастерскую, где подобрали для себя другое, целое. После чего с вопросом меблировки было покончено. В новой комнате были высокие потолки и много воздуха, а также — места для «Незаселенных пространств». Общежитие стояло на невысоком холме, каких

было много на окраинах Аббеная, а в их комнате было угловое окно, куда всю вторую половину дня светило солнце и откуда открывался замечательный вид на город — видны были его улицы, площади, крыши домов, зелень парков и долины за ним.

Интимные отношения после столь долгого воздержания оказались для обоих не только радостью, но и серьезным испытанием. В первые несколько декад оба чувствовали себя совершенно выбитыми из колеи; Шевек то и дело испытывал какие-то дикие всплески возбуждения и беспокойства; Таквер тоже порой срывалась. Оба были сверхчувствительны и неопытны. Но напряжение постепенно начало спадать, когда они чуть лучше изучили друг друга. Их сексуальный голод изливался в страстное наслаждение, их желание быть вместе каждый день обновлялось и каждый день бывало удовлетворено.

Шевеку теперь стало ясно, и он ни секунды не сомневался в справедливости этого, что все те годы в этом городе, которые он считал «пропащими», были частью, преддверием его теперешнего великого счастья. Таквер, правда, не видела столь сложных причинных связей в сложившихся между ними отношениях, но она ведь не занималась физикой времени! Она представляла себе Время наивно — как расстилающуюся перед ней дорогу. Идешь, идешь вперед и куда-нибудь приходишь. Если повезет, приходишь туда, куда стоило прийти.

Но когда Шевек попытался переложить эту ее метафору в термины своей науки, объясняя, что, если прошлое и будущее остаются частью настоящего (благодаря памяти и намерениям), не существует и никакой «дороги» — идти попросту некуда, то она закивала и прервала его на середине лекции.

— Вот именно! — сказала она. — Именно некуда. И я никуда и не шла — целых четыре года. В жизни ведь не всегда выпадает удача. Жизнь только отчасти счастливая.

Ей было двадцать три, на полгода меньше, чем Шевеку. Она выросла в Круглой Долине, земледельческой коммуне на северо-востоке. Это были дикие места, и до того как Таквер поступила в Институт северного поселения, ей пришлось выполнять куда более тяжелую работу, чем большинству ее сверстников. В Круглой Долине всегда не хватало рабочих рук, хотя работы было полно, однако вклад этой небольшой коммуны в общую экономику планеты был невелик, и работа в этих местах никаким спросом не пользовалась. Им приходилось самим заботиться о себе, не надеясь на ЦРТ. Таквер с восьми лет каждый день по три часа выбирала солому и камешки из зерен дерева-холум на фабрике после занятий в школе. Мало что из той тяжелой и нужной работы, которой она занималась в детстве, как-то

обогатило ее личность: просто нужно было помочь коммуне выжить. Во время сборки урожая и во время сева все обитатели Круглой Долины от десяти до шестидесяти целыми днями работали в поле. В пятнадцать лет Таквер уже отвечала за составление графиков работы на четырех сотнях различных полей, а также помогала диетологу в городской столовой планировать меню и расход продуктов. Во всем этом для жителей Круглой Долины не было ничего необычного, и Таквер особенно не задумывалась о необходимости трудиться с раннего детства, однако подобные условия, разумеется, наложили свой отпечаток на ее характер и взгляды. Шевек, например, был очень рад, что не раз участвовал в различных срочных работах и не гнушался физического труда, ибо Таквер откровенно презирала тех, кто избегал «грязной работы».

— Ты бы послушал, как ноет этот Тинан, — говорила она, например, — потому что его, видите ли, на четыре декады — какой ужас! — отправляют убирать урожай земляного холума, а он у нас нежный, как рыбья икринка! Он что, земли в жизни не нюхал? — В таких случаях Таквер абсолютно не была склонна к альтруизму, да и темперамент у нее был ого-го.

В Региональном Институте она изучала биологию и получила несколько наград за студенческие работы, так что решила продолжить свое образование в Аббенае. Проучившись год в Центральном Институте, она попросила перевести ее в другой синдикат, который создавал новую лабораторию по изучению технологии разведения и улучшения питательных свойств рыбы и съедобных морских организмов, водившихся в трех океанах Анарреса. Когда Таквер спрашивали, чем она занимается, она отвечала: «Рыбьей генетикой». Ей нравилась эта работа; в ней сочетались две вещи, которые она особенно ценила: конкретность и реалистичность цели и точность исследований; занимаясь экспериментами, не направленными на улучшение жизни людей, она не получала бы удовлетворения. Правда, большая часть тех идей, что приходили Таквер в голову, имела крайне малое отношение к «рыбьей генетике».

Ее заботливое отношение к природе и живым существам было сродни страсти. Столь пристрастное отношение ко всему живому, весьма приблизительно называемое «любовью к природе», Шевек считал куда более всеобъемлющим, чем любовь к «рыбам и растениям». Есть такие души, думал он, которые навсегда срослись пуповиной с природой, и пуповина эта так и не была отсечена. Такие люди не воспринимают собственную смерть как врага; они смотрят в будущее, видя, как превращаются в перегной, очень полезный злакам... Было всегда странно видеть,

как Таквер берет в руки листок или просто камешек и становится как бы его продолжением; или этот предмет становится продолжением Таквер...

Она показала Шевеку огромные аквариумы с морской водой в своей лаборатории, где было больше полусотни различных видов рыб — большие и маленькие, бесцветные и чрезвычайно яркие, элегантные и уродливые. Он был очарован и ошеломлен.

Три океана Анарреса буквально кишели живыми существами, тогда как суша планеты была практически их лишена. Эти океаны или моря не имели сообщения друг с другом уже несколько миллионов лет, и формы жизни в них развивались по совершенно различным путям. Разнообразие морских тварей было просто потрясающим. Шевеку даже в голову никогда не приходило, что жизнь может иметь столько самых разнообразных проявлений и что, в конце концов, именно это разнообразие, вероятно, и есть основное свойство жизни.

На суше имелись, правда, растения — обычно растущие довольно далеко друг от друга и невысокие, — которые развивались довольно успешно, однако животные, когда-то попробовавшие дышать воздухом Анарреса, быстро бросили эту пагубную затею, поскольку климат планеты век от века становился все более засушливым, и на Анарресе наступила «эра пыли». Выжили некоторые виды бактерий — многие из них были лито-, фагами, а также несколько сотен разновидностей червей и ракообразных.

Человеку приходилось осторожно приспосабливаться, с риском для жизни искать себе местечко в крайне узкой нише этой хрупкой экологической системы. Если ловить рыбу (но без излишней алчности) и добросовестно возделывать те небольшие участки земли, которые могли давать урожай, используя в качестве удобрений как можно больше различных органических отходов, то приспособиться было можно. Однако более никаких животных человек допустить в свою нишу не мог. Для травоядных здесь не было травы, а для хищников — не было травоядных. Здесь не было цветущих растений и не было насекомых, которые могли бы цветущие растения опылять (все импортные фруктовые деревья опылялись искусственно). И удобрялись вручную. С Урраса сюда никогда не завозили никаких животных; это было строго запрещено; животные могли создать смертельную угрозу хрупкому равновесию здешней природы. Сюда прибыли только сами переселенцы, и они были настолько хорошо «очищены» как внутренне, так и внешне, что даже на себе и в себе привезли минимум фауны и флоры. На Анаррес не удалось попасть даже блохе.

— Мне нравится заниматься биологией моря, — говорила Таквер, стоя перед аквариумом. — Только в здешних морях существует настоящая, сложная жизнь, целая паутина хитросплетений. Эта рыбка ест вон ту, а та ест всякую мелочь, которая, в свою очередь, питается ресничными инфузориями, а те поглощают всякие бактерии и так далее. На суше у нас существует только три вида животных, все беспозвоночные — если не считать человека. Ужасно любопытная ситуация с биологической точки зрения! Мы, жители Анарреса, неестественным образом изолированы от природы своей планеты. В Старом Мире имеется восемнадцать видов наземных животных; там есть классы, например класс насекомых, который включают в себя прямо-таки бесчисленное множество подвидов, а некоторые из этих подвидов насчитывают миллиарды особей. Подумай только: куда ни глянь, всюду живые существа, с которыми ты разделяешь землю и воздух! Там, наверное, действительно легче ощутить себя частью чего-то большего... — Она проследила взглядом за изящными движениями маленькой голубой рыбки в полутьме аквариума. Шевек, слушая ее рассуждения, тоже невольно стал следить за рыбкой. Когда она ушла по делам, он еще довольно долго бродил среди огромных стеклянных резервуаров, а потом часто приходил к Таквер в лабораторию и, склоняя свою высоколобую голову физика-теоретика, любовался и восхищался крошечными странными существами, для которых настоящее вечно, которые не пытаются объяснить свои мысли и побуждения и даже не испытывают ни малейшей потребности оправдывать как-либо форму своего существования — тем более перед человеком.

На Анарресе обычно работали от пяти до семи часов в день, имея от двух до четырех выходных дней в декаду. Детали — то есть регулярность посещения, продолжительность рабочего дня, график выходных и так далее — обсуждались каждым со своей командой, синдикатом или федерацией отдельно, в зависимости от оптимального уровня кооперации и эффективности. Таквер вела самостоятельные исследования по собственному проекту, и в данном случае сам проект и, главное, живые рыбы предъявляли к ней свои особые требования; случалось, она каждый день проводила в лаборатории от двух до десяти часов и подолгу никаких выходных не имела. Шевек теперь преподавал даже в двух местах — вел «продвинутый» курс математики в учебном центре и читал курс лекций в Институте. Все эти занятия приходились на утренние часы, и к полудню он уже возвращался домой. Таквер обычно еще не было. Во всем здании царила тишина. Солнечный свет только во второй половине дня

добирался до их углового окна, из которого открывался такой замечательный вид на город и долины за ним, и пока что в комнате было темновато и холодно. Изящные концентрические «мобили», висевшие под потолком на различных уровнях, двигались с какой-то внутренней сосредоточенностью и определенностью, молча, загадочно — в точности так работают внутренние органы человека или его мозг. Шевек обычно садился за стол у окна и начинал работать — читал, делал записи, что-то подсчитывал... Постепенно солнце добиралось до их окна, заглядывало в комнату, проплывало по бумагам на столе, по его рукам и наконец наполняло все вокруг него своим сиянием и теплом. И он еще глубже погружался в работу. Фальстарты и напрасно потраченное время прошлых лет (как ему казалось) на самом деле оказались отличной предварительной подготовкой, основой, фундаментом, заложенным, правда, почти вслепую, но все же не таким уж плохим. И на этой основе методично и осторожно, однако с должным умением и уверенностью, которые давали ему опыт и знания, он строил прекрасную прочную структуру: теорию Одновременности.

Таквер, как и любому другому человеку, которому приходится жить вместе с «творческой личностью», приходилось порой нелегко. Она безусловно была Шевеку необходима, однако ее присутствие рядом часто становилось «отвлекающим моментом», поэтому она старалась не приходить домой слишком рано; Шевек тут же бросал работу, стоило ей войти, и она чувствовала, что это неправильно. Позднее, когда они оба значительно повзрослели и привыкли друг к другу, он мог и не заметить ее возвращения; но в двадцать четыре года для него это было абсолютно невозможно. А потому она распределяла свои дела в лаборатории так, чтобы приходить домой только к вечеру. Это было не очень удобно, ведь, с другой стороны, Шевек нуждался в постоянной заботе не меньше, чем мальки ее драгоценных рыб. В те дни когда у него не было занятий, она, придя домой, часто убеждалась, что он просидел за столом часов восемь подряд и, разумеется, ничего не ел, а когда вставал, то его шатало от усталости и руки у него дрожали. Он даже с трудом соображал, что говорит ей. «Творческие личности», пришла к выводу Таквер, способны настолько жестоко эксплуатировать подручные средства, то есть свой собственный организм, что доводят себя до полного истощения, выжимая буквально последние соки, так что потом такую «творческую личность» остается только выкинуть на свалку. Сообщив все это Шевеку, Таквер взялась за дело. Для нее вопроса о «замене» одной «творческой личности» на другую не существовало, так что

протест ее против жестокого обращения Шевека с самим собой был активным; она бы, пожалуй, с удовольствием закричала на него, подобно мужу Одо, Асьео, который однажды возмутился: «Господи, женщина, да неужели ты не можешь служить Истине каждый день, но понемножку?!» Вот только Таквер сама была женщиной, с Богом знакомства не водила, а потому действовала иначе.

Они сперва немного разговаривали, потом шли прогуляться или в купальню, потом обедали в институтской столовой. После обеда обычно бывали собрания или концерты. Иногда они ходили в гости к своим друзьям — Бедапу, Саласу и прочим членам их кружка, — или к Дезару и другим сотрудникам Института, или к коллегам и друзьям Таквер. Однако и собрания, и общение с друзьями имели для них второстепенное значение. У них не было потребности ни в общественной деятельности, ни в шумных компаниях. Им хватало друг друга, и они не могли и не очень пытались скрыть это. Похоже, остальных это не обижало. Как раз наоборот. Бедап, Салас, Дезар и многие другие приходили к ним, как изнывающий от жажды человек — к источнику воды. Сами они не очень тянулись к другим, но для этих других были как бы неким центром, притягивавшим людей к себе. Они ничего особенного для этого не делали; они были не более благожелательны, чем иные люди, и не такие уж интересные собеседники; и все же друзья их любили, не скрывали своей зависимости от них и вечно старались принести им что-нибудь в подарок — незначительные вещицы, которые на Анарресе часто дарили друг другу те, кто ничего не имел, но владел всем: шарф ручной вязки, кусочек гранита с вкраплениями алых гранатов, вазу, сделанную собственными руками, стихотворение о любви, набор резных деревянных пуговиц, спиралевидную раковину с берегов Соррубского океана. Отдавая свой подарок Таквер, они говорили: «Вот, может, Шеву понравится — будет чем бумаги прижимать». Или совали что-то Шевеку, убеждая его взглянуть и удостовериться: «Посмотри-ка, похоже, Таквер эти цвета к лицу?» Им словно хотелось с помощью подарков хотя бы отчасти разделить то, что возникло между Шевеком и Таквер, и поблагодарить их за это возникшее между ними чудо.

Стояло долгое лето, теплое и ясное лето 160 года. Благодаря обильным весенним дождям зазеленели равнины близ Аб-беная, пыль больше не висела в воздухе, и он казался необычайно прозрачным; днем солнце приятно грело, а по ночам небо было потрясающе звездным. Когда восходила луна, можно было отчетливо увидеть на ней границы континентов, порой скрывавшиеся под плотной массой облаков, которых всегда было

немало над Уррасом.

— Почему она так прекрасна? — спрашивала Таквер, лежа рядом с Шевеком под оранжевым одеялом в темной комнате. Над ними в неясной мгле покачивались «Незаселенные пространства», за окном сияла полная луна. — Ведь мы же знаем, что это обыкновенная планета, такая же, как наша, только климат на ней лучше, а люди хуже... потому что все они собственники, ведут войны, устанавливают разные законы и одни едят досыта, а другие голодают; но только ведь и они там стареют, и у них бывают неудачи, им тоже ревматизм скрючивает пальцы и заставляет хрустеть колени... Ведь мы все это знаем, так почему же их планета выглядит такой счастливой — словно жизнь там прямо-таки райская? Я, например, не могу смотреть на это волшебное сияние и представлять себе, что там, в вышине, живет какой-то отвратительный коротышка с засаленными рукавами и атрофировавшимся умом, вроде Са-була; нет, я просто не могу...

Их обнаженные руки и плечи были залиты лунным светом. Лицо Таквер в ореоле темных волос и окружавших постель теней тоже как бы светилось. Шевек коснулся ее посеребренного луной плеча своей серебряной рукой, восхищаясь неожиданным теплом этого прикосновения.

— Если ты способна видеть вещь как нечто целое, — сказал он, — она всегда кажется прекрасной. Планета, человек, любое проявление жизни... Но если приглядеться, рассмотреть детали, то любая планета может показаться просто грудой камней и грязи. И будничная жизнь тоже покажется малопривлекательной — тяжкий труд, усталость, растерянность, непонимание цели... Нужны расстояние, промежуток времени, простор — чтобы увидеть, как прекрасна та или иная планета, твоя собственная каменистая земля... Чтобы увидеть ее как луну! А чтобы увидеть, как прекрасна жизнь, нужно оказаться в самой выгодной для этого точке: на пороге смерти.

— Прекрасно! Нет уж, пусть Уррас остается себе в небесах и будет нашей луной — мне он не нужен! И я вовсе не хочу взбираться на собственное надгробие и оттуда оглядываться на прожитую жизнь, говоря: «О, как она была прекрасна!» Я хочу видеть, как она хороша, прямо сейчас, здесь, посреди отведенного мне пути! Мне совершенно ни к чему вечность.

— Это не имеет никакого отношения к вечности, — сказал Шевек, улыбаясь и нагибаясь к ней — худой, лохматый, сотканный из серебра и теней. — Чтобы увидеть жизнь как целое, тебе нужно лишь осознать, что она конечна, а ты смертна. Я умру, ты умрешь... иначе мы не могли бы любить друг друга. Солнце в небе когда-нибудь догорит дотла, иначе почему же оно старается

так сиять?

— Ах, вечно эти твои разговоры! Твоя проклятая философия!

— Разговоры? Это не просто разговоры, Так. Я же ничего не доказываю. Это не просто аргументы. Это реальные факты. Все это совсем близко, можно коснуться рукой. Смотри, я касаюсь Целостности. Держу ее в руках. Скажи, где здесь лунный свет, а где Таквер? Чего же мне бояться смерти, если я держу в руках вечность, если я держу в руках свет?..

— Не будь собственником, — буркнула Таквер.

— Милая, не плачь.

— А я и не плачу. Это ты плачешь. Это же твои слезы.

— Я просто замерз. Этот лунный свет ужасно холодный.

— Ляг.

Он весь дрожал, когда она обняла его.

— Мне страшно, Таквер, — прошептал он.

— Тихо, милый мой, родной мой, тихо...

И в ту ночь, как и во многие другие, они уснули, крепко обняв друг друга.

Глава 7
УРРАС

Шевек нашел письмо в кармане своей новой, подбитой овечьей шерстью куртки, которую заказал на зиму на той кошмарной улице. Он понятия не имел, как письмо попало к нему в карман. Оно, безусловно, не было послано по почте — почту приносили три раза в день, и она состояла в основном из рукописей и перепечаток научных работ, которые присылали ему физики со всех концов Урраса, а также из приглашений на приемы и бесхитростных посланий школьников. Записка представляла собой листок тонкой бумаги, свернутый несколько раз; конверта не было; разумеется, не было также ни марки, ни почтового штемпеля.

Шевек развернул листок, смутно подозревая, что там будет написано, и прочел: «Если вы действительно анархист, то почему считаете возможным сотрудничать с государством, предавшим народ Анарреса и надежды всех одонийцев? А может, вы прибыли сюда, чтобы возродить в нас эту надежду? Страдая от многих несправедливостей, подвергаясь репрессиям, мы взираем на вашу планету, нашу сестру, и она представляется нам маяком свободы во мраке ночи. Присоединяйтесь же к нам, вашим братьям!» Подписи не было, адреса тоже.

Шевек был потрясен до глубины души; письмо озадачило его; его не покидали мысли о здешних одонийцах; он думал о них не с удивлением, а с какой-то панической растерянностью. Он знал, что они здесь есть: но где их искать? Он до сих пор не встречал ни одного; он вообще ни разу не сумел ветре-

титься ни с кем из «простых» людей, ни с кем из «бедняков»... Он сам позволил, чтобы вокруг него возвели эти золоченые стены; он, собственно, даже этого не заметил. Он принял предложенные ему выгодные условия и это убежище в Университете как самый настоящий собственник! Его действительно «кооптировали» — в точности как говорил Чифойлиск.

Но он не знал, как теперь разрушить эти стены. А если бы знал, то куда б пошел? Паника охватила его. К кому обратиться за помощью? Со всех сторон улыбки богачей!

— Я бы хотел поговорить с вами, Эфор.

— Хорошо, господин Шевек. Извините, господин Шевек, я только поставлю это вот сюда и подам вам завтрак.

Он ловко поставил тяжелый поднос, быстро снял крышки с блюд, налил в чашку горячий шоколад — пышная пена поднялась

до самого края, однако ни капли не пролилось на скатерть. Опытный слуга, Эфор явно наслаждался этим *утренним* ритуалом — подношением завтрака — и собственным умением и ловкостью; ему явно не хотелось, чтобы какими-то непредвиденными действиями привычный ритуал нарушали. Обычно Эфор говорил очень грамотно и чисто, но стоило Шевеку выразить желание с ним побеседовать, и слуга тут же перешел на скачущий и невнятный столичный диалект. Шевек уже немного научился понимать его; проглоченные гласные, искаженные слова — во всем этом нетрудно было уловить вполне определенную закономерность, но при быстрой речи апокопа, то есть отпадение в словах последнего звука или даже нескольких звуков, все еще ставила его в тупик. Из-за нее он порой не понимал и половины сказанного. Точно закодированное послание или шифр, думал он, вроде того «шифра ньоти», который они выдумали в детстве, не желая, чтобы их понимали стальные.

Слуга почтительно ждал. Он знал — он хорошо запомнил все, чего Шевек терпеть не мог, еще в первую неделю — особенно чтобы ему подавали стул и стояли рядом, ожидая, пока он поест. Напряженная прямая фигура Эфора уже сама по себе свидетельствовала о том, что никакой надежды на неформальную беседу и быть не может.

— Может быть, вы присядете, Эфор?

— Как вам будет угодно, господин Шевек, — вежливо ответил слуга, подвинул к себе на полдюйма стул, однако так и не сел.

— Я вот о чем хотел поговорить с вами. Вы знаете, что я не люблю отдавать распоряжения...

— Я стараюсь все делать так, как вам нравится, господин Шевек. И не беспокоить вас по поводу дополнительных указаний.

— Да, это правда... но я совсем не это имел в виду. Вы знаете, в моей стране никто никому никаких приказов не отдает.

— И я так слышал, господин Шевек.

— Ну так вот: я хотел узнать вас получше как человека, равного мне, как моего брата. Вы, Эфор, единственный здесь, кто, насколько я знаю, не богат. То есть вы не из хозяев. Я очень хотел бы поговорить с вами по душам, узнать о вашей жизни...

Он в отчаянии умолк: на морщинистом лице Эфора отчетливо отразилось презрение. Да, он совершил все ошибки, какие только возможно! Эфор воспринимает его теперь как жалостливого любопытного дурака.

Шевек уронил руки на стол — с полнейшей безнадежностью! — и сказал:

— О, черт побери! Простите, Эфор! Я просто не сумел выразить свое желание словами. Пожалуйста, не обращайте

внимания.

— Как скажете, господин Шевек. — И Эфор удалился.

Ну вот и все. «Класс несобственников» остался столь же далеким и неведомым, как прежде, когда он пытался что-то обнаружить о нем в учебнике истории в Северном Поселении.

Близились каникулы между зимним и весенним семестрами. Шевек давно пообещал Ойи провести недельку в его семье.

За это время Ойи несколько раз приглашал его к себе в гости — всегда несколько неуклюже, словно выполняя некий долг гостеприимства или, возможно, приказ правительства. Однако дома он совершенно преображался, хотя все же вел себя с Шевеком чуть настороженно. Вся его семья проявляла к гостю искреннее дружелюбие, и уже на второй раз оба сына Ойи решили, что Шевек — старый и надежный друг. Их доверчивость и уверенность в том, что и Шевек платит им той же монетой, явно озадачивала Ойи. Ему было даже как-то не по себе; он не мог по-настоящему одобрять подобные отношения, однако не мог не признать, что Шевек действительно относится к мальчикам как старинный друг семьи или как старший брат. Они его обожали, а младший, Ини, прямо-таки страстно в него влюбился. Шевек был с ними добр, серьезен, честен и рассказывал им множество интересных историй о луне. Но было и еще нечто, куда более существенное, что действовало на Ини совершенно неотразимо, хотя мальчик не в силах был описать, что именно его так восхищает в Шевеке. Даже значительно позже, став старше и сознавая, сколь сильное, хотя и непонятное воздействие оказало на всю его жизнь детское увлечение Шевеком, Ини не находил слов, чтобы описать свои чувства; у него прорывались только отдельные слова, в которых как бы слышалось эхо тех переживаний: «странник», «ссылка», «одиночество».

Всю неделю шел снег; это был единственный за всю зиму по-настоящему сильный снегопад. Шевек никогда не видел, чтобы снег ложился на землю слоем больше двух сантиметров. Необычность, щедрость, мощь этой снеговой бури приводили его в восторг. Он упивался обилием снега. Все было таким восхитительно белым и холодным, таким молчаливым и равнодушным, что невозможно было назвать это изобилие «экскрементальным». Даже самый отъявленный одониец не решился бы это сделать. Воспринимать эту красоту иначе как чудо было бы проявлением душевной бедности. Как только небо чуть посветлело, Шевек вместе с мальчишками поспешил на улицу. Сыновья Ойи оценили снегопад столь же восторженно, как и он. Втроем они носились по просторному саду за домом, играли в снежки, строили в снегу туннели, замки и крепости.

Сева Ойи вместе со своей золовкой стояла у окна, наблюдая, как носятся ее дети и этот взрослый человек вместе с молодой выдрой по снежным сугробам. Выдра нашла себе замечательное развлечение — скатывалась на брюхе с одной из стен снежной крепости, как с горки, и это занятие ей явно не надоедало. Щеки мальчишек пылали. А мужчина, стянув шнурком на затылке длинные, уже отмеченные ранней сединой волосы, с покрасневшими от холода ушами, энергично руководил строительством очередного туннеля:

— Нет, не здесь! Вон там ройте!

— Где же лопата?

— Ой, у меня лед в кармане!

Голоса детей звенели не умолкая.

— Ну как тебе наш инопланетянин? — улыбнулась Сева.

— Величайший из ныне живущих физиков! — хмыкнула ее золовка Веа. — Какой смешной!

Когда Шевек вернулся в дом, отдуваясь и стряхивая снег, излучая запах морозца и ту веселую энергию, которая исходит от людей, только что возившихся в снегу, Ойи представил ему свою сестру. Шевек протянул молодой женщине свою большую, твердую, холодную руку и дружелюбно посмотрел на нее сверху вниз.

— Так вы сестра Димере? — сказал он. — Да, конечно, вы с ним похожи. — И это замечание, которое в устах любого другого человека Веа сочла бы совершенно пресным, банальным, показалось ей необычайно приятным. «Он настоящий мужчина, — думала она потом весь день, — это в нем сразу чувствуется. А почему, интересно знать?»

Веа Доем Ойи — таково было ее полное имя. Ее муж Доем возглавлял крупный промышленный комбинат, ему приходилось много ездить, и он по полгода жил за границей в качестве делового представителя своего правительства. Пока все это разъясняли Шевеку, он молча рассматривал Веа. Они действительно были очень похожи с Димере, однако то, что портило его, делая излишне слабым, женственным — маленький рост, хрупкость, бледность, томный взгляд миндалевидных черных глаз, ее превращало в настоящую красавицу; грудь и плечи Веа были округлыми, нежными и очень белыми. Во время обеда Шевек сидел рядом с нею за столом и просто глаз не мог отвести от обнаженных грудей, приподнятых жестким корсажем. Сам по себе обычай ходить полуголыми при такой холодной, морозной погоде казался ему весьма экстравагантным, но эти маленькие груди дышали такой же невинностью и чистотой, как снег за окном. Изгиб ее гордой шеи изящно и плавно переходил в

выпуклость затылка; наголо обритая головка была чрезвычайно изящна.

Да, это чертовски привлекательная женщина, решил Шевек. Что-то в ней есть от этих здешних кроватей: так же мягко льнет. Хотя, пожалуй, держится чересчур жеманно. Интересно, зачем она так сюсюкает?

Он старательно искал в ней недостатки; цеплялся буквально за каждую мелочь — слишком тонкий голос, привычно жеманную манеру хорошенькой миниатюрной женщины — цеплялся, как за соломинки, сам не замечая, что тонет. После обеда Веа должна была возвращаться в Нио Эссейю; она просто заехала повидаться с семьей брата. Шевеку стало страшно, что он никогда больше ее не увидит.

Но у Ойи разыгрался насморк, Сева не могла оставить детей.

— Шевек, вы не могли бы проводить Веа до станции?

— Господи, Димере! Пожалуйста, не заставляй своего бедного гостя сопровождать меня! Ведь не думаешь же ты, что на меня по дороге нападут волки? Или дикари-минграды совершат на город набег и утащат меня в свои гаремы? Или я замерзну в пути, и меня найдут завтра утром у дверей смотрителя станции, и в уголке мертвого глаза у меня будет поблескивать прощальная слезинка, а негнущиеся пальчики будут по-прежнему сжимать букетик увядших цветов? А что, это было бы даже забавно! — И Веа звонко рассмеялась; ее смех был похож на теплую, темную, ласковую волну, что с силой набегает на песок и все уносит в море, оставляя лишь влажный след. Она не хихикала — нет, она смеялась весело, искренне, как бы стирая жеманную скороговорку своих слов.

Шевек надел куртку и встал в дверях, ожидая ее.

Сперва они шли молча. Снег хрустел и поскрипывал под ногами.

— Вы действительно слишком вежливы для...

— Для кого?

— Для анархиста, — сказала она своим звонким детским голоском, в котором, впрочем, чувствовались чисто женские, теплые, вкрадчивые интонации. (Что-то общее было в ее тоне с тем, как разговаривали с ним Пае и Ойи в Университете и других официальных местах.) — Я даже разочарована. Я-то думала, вы будете неотесанным грубияном, даже опасным немного.

— Я такой и есть.

Она искоса на него взглянула. Голова ее была укутана алой шалью; на этом ярком фоне глаза ее, и без того оттененные белизной снега, казались необычайно темными и блестящими.

— Что же вы тогда, словно ручной, покорно провожаете меня

до станции? А, доктор Шевек?

— Шевек, — мягко поправил он. — Не «доктор», а просто: Шевек.

— Это что же, ваше полное имя — и никакого другого нет?

Он кивнул и улыбнулся. Он чувствовал себя отлично — был полон жизни, радовался ясному морозному воздуху, теплой отлично сшитой куртке на нем, хорошенькой женщине рядом... Никаких забот, никаких тревог, никаких тяжких мыслей — ничто не мучило его сегодня!

— А это правда, что анаррести имена дает компьютер?

— Правда.

— Как это ужасно — получить имя от какой-то машины!

— Почему ужасно?

— Но это же так механически, так неличностно...

— Это неверно. Что может быть более личным, более характерным для тебя, чем имя, которого нет больше ни у кого на планете?

— Ни у кого? Вы единственный на Анарресе Шевек?

— Пока я жив, да. Но до меня были и другие.

— Родственники, вы хотите сказать?

— Мы не особенно хорошо знаем своих родственников; видите ли, все мы считаемся родственниками. Я не знаю, кто были эти другие Шевеки; помню только одну женщину — она была из первых поселенцев. Это она изобрела подшипник, которым до сих пор пользуются у нас в тяжелом машиностроении, он так и называется: «шевек». — Шевек снова улыбнулся: — Очень неплохой способ увековечить себя.

Веа покачала головой:

— Господи! А как же вы отличаете женщин от мужчин?

— Ну, у нас есть некоторые испытанные способы...

Секунда — и она снова от души расхохоталась. До слез.

Потом вытерла глаза — от холода ресницы слипались — и сказала: — Да, вы все-таки действительно неотесанный нахал!.. А что же, они вот так и решили взять себе эти искусственные имена и придумали новый язык — чтобы отказаться от всего старого?

— Поселенцы Анарреса? Да. По-моему, они были неисправимыми романтиками.

— А вы разве нет?

— Нет. Мы очень прагматичны.

— Но ведь можно быть и романтичным прагматиком, — сказала она. Он не ожидал от нее столь глубоких мыслей.

— Да, пожалуй, — кивнул он.

— Что, например, может быть более романтичным, чем ваш прилет сюда — в полном одиночестве, без гроша в кармане, да

еще с намерением выступать от имени своего народа?

— Увы, я слишком скоро оказался полностью развращен вашей роскошью!

— Роскошью? В университетском общежитии? Господи! Дорогой мой! Они что же, ни разу не сводили вас ни в один приличный дом?

— Меня водили во многие дома, но все они так похожи! Я бы очень хотел наконец получше узнать Нио Эссейю. Я видел только внешнюю ее сторону — так сказать, нарядную обертку. — Он использовал это выражение, потому что с самого начала был восхищен привычкой обитателей Урраса буквально все заворачивать в чистую красивую бумагу или пластик, класть в нарядную коробку или оборачивать фольгой. Белье из прачечной, книги, овощи, одежда, лекарства — все попадало к нему в руки красиво и надежно упакованным. Даже пачки писчей бумаги были в пестрых пакетах. Словно предметы ни в коем случае не должны были касаться друг друга. У него и самого уже возникло ощущение, что и сам тоже давно и весьма аккуратно упакован в красивую обертку.

— Я понимаю. Они заставили вас пойти в Исторический музей... совершить поездку к памятнику Добунна... выслушать какую-нибудь речь в сенате! — Он засмеялся, потому что она в точности описала маршрут одной из его поездок, совершенных прошлым летом. — Да, я понимаю! Они всегда одинаково глупо ведут себя с иностранцами. Но я позабочусь о том, чтобы вы увидели настоящий Нио!

— Я бы очень хотел!..

— У меня много замечательных знакомых. Я их коллекционирую. А в своем Университете вы — как в ловушке; и все эти скучные профессора и политики... Кошмар! — Она продолжала болтать, и ему было приятно слушать ее: ощущение было похоже на невольное и бесцельное прикосновение солнечных лучей или падающих снежинок....

Они подошли к маленькой железнодорожной станции Амоено. У Веа был обратный билет, и поезд должен был подойти с минуты на минуту.

— Не ждите — замерзнете.

Он не ответил; просто стоял рядом, громадный в своей подбитой мехом куртке, и смотрел на нее ласково и любовно.

Она опустила глаза, стряхнула снежинку с вышитого обшлага своего пальто.

— У вас есть жена, Шевек?

— Нет.

— И никакой семьи?

— Ах... да, конечно! У меня есть парт... любимая женщина; у нас с ней двое детей. Извините, я думал о другом. Понятие «жена», видите ли... я всегда считал, что оно свойственно только Уррасу.

— А что такое «партнер»? — Она озорно посмотрела прямо на него.

— Наверное, то же самое, что у вас «жена» или «муж».

— Но почему же ваша жена не прилетела с вами вместе?

— Она не захотела; да и младшей дочке всего год... Нет, теперь уже два. А еще... — Он колебался.

— Что же еще?

— Видите ли, там у нее есть любимая работа, а здесь ее не было бы. Если бы я знал тогда, сколь многое здесь ей пришлось бы по душе, я бы уговорил, упросил ее поехать. Но я не знал. Да и потом это вопрос безопасности, вы же понимаете.

— Безопасности — здесь?

Он снова поколебался, но все же сказал:

— Не только. И там — когда придется возвращаться.

— И что же с вами тогда может случиться? — спросила Веа; глаза ее округлились от любопытства. Поезд уже показался из-за холма, подъезжая к станции.

— О, может быть, и ничего. Но некоторые люди там считают меня предателем, потому что я всегда пытался наладить дружеские отношения с Уррасом. Вот эти люди могут выкинуть весьма неприятные штуки... И мне бы не хотелось подвергать опасности ни ее, ни детей. У нас уже были некоторые неприятности перед моим отъездом. Вполне достаточно.

— Вы хотите сказать, что вам грозит реальная опасность?

Он наклонился к ней, потому что голос ее заглушал грохот подходившего поезда.

— Не знаю, — улыбаясь сказал он. — А знаете, наши поезда выглядят примерно так же. Если хорошо придумано, то ничего менять и не нужно. — Он проводил ее к вагону первого класса. Поскольку она остановилась у двери, не открывая ее, он распахнул перед ней дверь и сунул голову в купе — из любопытства. — Хотя изнутри они совсем не похожи на наши! Это только ваше купе? Здесь больше никого не будет?

— Ну конечно. Ненавижу ездить вторым классом! Все мужчины там жуют эту жвачку, меру, и все время плюются. А на Анарресе тоже меру жуют? Нет, конечно же, ее там нет. Ах, как много еще я хотела бы спросить о вас и вашей стране!

— Я бы с огромным удовольствием рассказал об этом, только никто не спрашивает.

— Так давайте встретимся снова и обо всем поговорим,

хорошо? Когда вы в следующий раз приедете в Нио, вы мне позвоните, договорились?

— Договорились, — добродушно пообещал он.

— Вот и хорошо! Я знаю, вы обещаний не нарушаете. Я ничего о вас не знаю, кроме этого. А это я просто чувствую. До свидания, Шевек. — Она на мгновение положила свою ручку в перчатке на его руку, которой он придерживал дверь. Затем два раза прозвонил колокол, Шевек захлопнул дверь, и поезд тронулся. За окном промелькнуло белое лицо Веа и ее алый шарф.

Он шел назад в весьма приподнятом настроении, а потом до темноты играл с Ини в снежки.

«Революция в Бенбили! Диктатор бежал! Передовые отряды мятежников удерживают столицу! Внеочередное заседание Совета Государств Планеты! Возможность вторжения войск А-Йо».

Первая полоса газетенки пестрела подобными заголовками, набранными самым крупным шрифтом. Об орфографии и грамматике запальчивых статеек никто не думал. «Ко вчерашн. вечеру восставшие захватили весь запади, район Меск-ти и упорно теснят правительствен, войска...» Шевеку казалось, что он слышит речь Эфора. Так обычно говорили в Нио — глотая концы слов, не согласуя прошедшее и будущее время, а заменяя их одним, абсолютно неопределенным и непрерывным настоящим временем.

Шевек прочитал газеты и полез за информацией о Бенбили в Энциклопедию, изданную СГП. Формально это государство представляло собой парламентскую демократию, а на самом деле — военную диктатуру; в стране правили генералы. Бенбили занимало обширную территорию в западном полушарии, покрытую горами и засушливыми саваннами; население было весьма малочисленным, уровень жизни низкий. «Мне все же следовало отправиться в Бенбили»,— подумал Шевек и сразу представил себе бледные равнины, постоянно дующие ветры... Новости о Бенбили странным образом тревожили его душу. Он жадно ловил по радио каждую сводку новостей, хотя раньше радио практически не включал, обнаружив, что оно используется главным образом для рекламы. Сообщения по радио, как и сводки, передаваемые по государственному телефаксу в общественных местах, были краткими и сухими; странный контраст составляли они с тем, что буквально на каждой полосе кричали о революции в Бенбили популярные у простого народа газетенки.

Генерал Хавеверт, бывший президент, благополучно бежал на

своем знаменитом военном самолете, но некоторые другие, хотя и менее важные, генералы были пойманы и кастрированы — это наказание жители Бенбили традиционно предпочитали смертной казни. Отступающая под натиском повстанцев армия сжигала поля и селения, не щадя своих соотечественников. Всюду возникали партизанские отряды. В Мескти, столице государства, революционеры открыли тюрьмы, амнистировав всех заключенных. Когда Шевек прочитал об этом, у него екнуло сердце. Еще есть надежда, все еще есть... Он следил за новостями об этой далекой восставшей стране со все возрастающим вниманием. На четвертый день по телефаксу передали, что на заседании СГП официальный представитель А-Йо заявил, что правительство его страны, желая поддержать законного президента Бенбили генерала Хавеверта, посылает ему вооруженное подкрепление.

Революционеры Бенбили по большей части даже не были толком вооружены. А войска йоти явятся туда с пушками, с броневиками, с самолетами, с бомбами! Когда Шевек прочитал о военных приготовлениях А-Йо в одной из газет, его чуть не стошнило.

Да, ему было тошно, он был взбешен, и поговорить ему было не с кем. Не с Пае же! Атро был ярым милитаристом. Ойи, правда, обладал кое-какими представлениями об этике, однако его личная уязвимость и постоянное беспокойство по поводу своей драгоценной собственности требовали от него жесткого соблюдения установленных законов. Он способен был испытывать личную симпатию к Шевеку только в том случае, если ему удавалось забыть о том, что Шевек — анархист и представитель иного государства. Вспомнив же об этом, он начинал витиевато разъяснять Шевеку, что общество одо-нийцев, хотя и называет себя анархическим, на самом деле исповедует примитивный популизм, совершенно напрасно считая, что порядок у них поддерживается без законов и правительства; это им просто кажется, потому что, во-первых, их слишком мало, а во-вторых, рядом с ними нет ни одного государства с иным строем. А вот если бы им, их территории и собственности, угрожал агрессивный соперник, они непременно вынуждены были бы посмотреть реальной действительности в глаза, иначе их бы просто вышвырнули из родного гнезда. Вот и мятежники Бенбили скоро очнутся и посмотрят в лицо реальной действительности, обнаружив, что в свободе мало хорошего, если нет пушек, чтобы ее отстоять. В принципе, говорил Ойи, не имеет определяющего значения, кто именно правит в Бенбили или думает, что правит: реально мыслящих политиков больше заботит борьба А-Йо и Тху.

— Реально мыслящих политиков... — задумчиво повторил Шевек и глянул на Ойи. — Занятная фраза — для физика.

— Вовсе нет. И политик, и физик имеют дело с природой вещей, с реальными силами, с основными законами бытия.

— Вы что же, помещаете ваши дурацкие «законы», защищающие благополучие собственников, ваши «вооруженные силы», то есть пушки и бомбы, в один ряд с законом энтропии и законом гравитации? Я был более высокого мнения о ваших умственных способностях, дорогой Димере!

Ойи весь съежился, когда в него ударила эта шаровая молния нескрываемого презрения, и умолк. Шевек тоже ничего более не прибавил. Однако Ойи этой отповеди не забыл. Слова Шевека всплывали в его памяти не раз, вызывая жгучий стыд. Если бы Шевек был просто смешным идеалистом и пытался заткнуть ему рот своими простодушными утопическими доводами, сумев одержать над ним кратковременную победу в каком-нибудь одном-единственном споре, этот позор он бы пережил относительно легко; но Шевек был гениальным физиком и замечательным человеком, которого Ойи не мог не любить, не мог не преклоняться перед ним до такой степени, что высшей наградой было бы его уважение, и если этот Шевек испытывал к нему презрение, то позор становился поистине нестерпимым, и Ойи знал, что всю оставшуюся жизнь он вынужден будет скрывать его от всех, прятать в самом дальнем уголке своей души.

Революция в Бенбили обострила некоторые проблемы и для самого Шевека; в частности, проблему его изолированности, его вынужденного молчания.

Ему было трудно не доверять тем людям, которые его окружали. Он вырос в обществе, целиком и полностью основанном на солидарности и взаимопомощи. И вот он оказался полностью оторванным от этого общества и свойственной ему культуры отношений, но старая, впитанная с молоком матери привычка доверять людям осталась. Ему по-прежнему казалось, что люди всегда помогут.

Однако предостережения Чифойлиска, которые он пытался выбросить из головы, снова и снова приходили на ум. Нравится это ему или нет, а здесь он должен научиться недоверию. Он должен научиться молчать; должен научиться хранить свою собственность при себе; должен поддерживать ту власть над ними, которую обрел, заключив с ними сделку.

Он стал совсем мало говорить, а записывать — еще меньше, хотя его рабочий стол был вечно завален всякими ненужными бумагами. Немногочисленные рабочие записи всегда находились при нем, то есть буквально на нем — в одном из бесчисленных

внутренних карманов. Он никогда не выключал свой компьютер, предварительно не проверив, что стер все наработанное за день.

Он понимал, что находится на пороге великого открытия — той самой Общей Теории Времени, которая так необходима была йоти для осуществления дальних космических полетов и поддержания государственного престижа. Но понимал он также и то, что пока что теория эта еще не родилась и, возможно, никогда не родится. Но абсолютно ни с кем не говорил о возможности ее появления или непоявления на свет.

До отлета с Анарреса он считал, что Общая Теория Времени практически у него в кармане. Он уже составил все необходимые уравнения, вывел формулы, и Сабул знал, что он их вывел, и предлагал ему примирение и признание — в обмен на возможность напечатать это открытие и самому хоть что-то урвать от славы первооткрывателя. Сабулу он отказал, но не считал это таким уж великим поступком со своей стороны. В конце концов, моральной победой над Сабулом и подобными ему могло быть только одно: издание Теории в своем Синдикате инициативных людей. Однако этого он сделать не сумел. Он пока еще не был в достаточной степени уверен, что работа готова к публикации. Кое-что в этих формулах представлялось ему не совсем верным, кое-что хотелось доделать, улучшить, подправить... Поскольку над Общей Теорией он работал минимум десять лет, то не видел ничего страшною в том, чтобы потратить еще немного времени и окончательно отшлифовать ее.

Но маленькие недостатки чем дальше, тем казались серьезнее. Видимо, у них была какая-то общая причина, серьезная, существенная... Трещина, проходившая прямо через фундамент... В ночь накануне отлета с Анарреса он сжег все черновики с выкладками Общей Теории и прилетел на Уррас с пустыми руками. И, если пользоваться лексиконом уррасти, вот уже полгода блефовал, водил всех за нос.

А может, он обманывал самого себя?

Что ж, вполне возможно. Общая Теория Времени — достаточно иллюзорная цель. Возможно также — хотя принцип неопределенности и принцип одновременности вполне могут быть объединены в общую теорию, — что вовсе не ему суждено выполнить эту задачу. Он уже десять лет бьется над этой проблемой, но так и не решил ее. Математики и физики, эти гиганты мысли, обычно совершают свои великие открытия молодыми. А ему уже стукнуло сорок. Вполне вероятно, что он просто перегорел, что он кончен как теоретик.

Он прекрасно помнил подобные периоды депрессии в своей жизни, когда его терзали мрачные мысли и предчувствия неудач,

хотя в те времена его творческая активность еще была на высоте. Нет, он просто хочет подбодрить себя, уговорить, что такое уже бывало и это пройдет! Он даже обозлился на себя. Что за наивность, черт побери! Интерпретировать законы времени как каузальные довольно глупо для опытного хронософиста. Неужели у него в сорок лет уже начался старческий маразм? Нет, лучше заняться не столь глобальной, но тоже весьма существенной и вполне практической задачей — отработать концепцию дискретности. Возможно, это хоть кому-то другому пригодится в дальнейшем.

Но даже занимаясь этой, вполне конкретной проблемой, даже просто обсуждая ее с другими физиками, он чувствовал, что главное он от них скрывает. И они это прекрасно понимают.

Он устал таиться, устал молчать, ничего не обсуждать с другими: ни революцию в Бенбили, ни по-настоящему волнующие его проблемы физики — ничего!

Шевек шел в Университет читать лекцию. На ветвях, покрытых совсем еще молодой листвой, распевали птицы. Он не слышал их пения всю зиму и наслаждался им от души. «Тю-фьюить, — нежно выпевали они, — это моя собственность-сть-сть — фьюить! Это моя тю-тю-тю — территория!»

Он минутку постоял под деревьями, прислушиваясь.

Потом решительно свернул с тропинки, пересек территорию городка в противоположном направлении и двинулся к железнодорожной станции, где сел на утренний поезд в Нио Эссейю. Должна же на этой проклятой планете существовать хотя бы одна открытая дверь!

В поезде он думал о том, что хорошо бы поскорее выбраться из А-Йо; может быть, даже уехать в Бенбили... Однако до конца эту мысль так и не додумал. Туда ведь нужно лететь на самолете или плыть на пароходе... Да его тут же выследят и остановят! Единственное место, где можно хотя бы на время уйти из поля зрения гостеприимных и столь сильно пекущихся о нем хозяев, — это в столице, прямо у них под носом.

Это, разумеется, не было спасением. Даже если бы он действительно сумел выбраться из А-Йо, все равно остался бы заперт — на планете Уррас. И сегодняшний его поступок тоже нельзя назвать побегом, что бы там ни говорили в правительственных кругах с их мистическим отношением к государственным законам. Но Шевек вдруг пришел в веселое расположение духа, чего с ним не было уже давно — он подумал о том, как засуетятся его благожелательные и чересчур заботливые хозяева, когда, пусть ненадолго, решат, что он действительно бежал.

Стоял по-настоящему теплый весенний день. Поля зеленели, повсюду блестели лужи. На пастбищах вместе со взрослыми животными паслись малыши. Особенно очаровательны были ягнята, подпрыгивающие, точно маленькие белые шарики, и весело помахивающие хвостиками. В загонах, в полном одиночестве пребывали хозяева стад — бараны, жеребцы, быки с могучими шеями — налитые соками, точно грозовые тучи, и чрезвычайно обремененные заботой о грядущих поколениях. Чайки хлопали крыльями над зарослями по берегам прудов и озер — белые над голубым, — и над головой белые облака оживляли прозрачную теплую синеву небес. Ветви садовых деревьев были покрыты красными бутонами, среди которых уже распустились отдельные цветы, розовые и белые. Глядя из окна поезда, Шевек чувствовал, как успокаивается его беспокойный мятежный дух, готовый сложить оружие, смириться перед красотой этого дивного дня. Эта красота казалась Шевеку несправедливой. Что такого особенного сделали уррасти, чтобы заслужить ее? Почему она дарована им — так щедро, так милостиво, — а его собственный народ получил так мало, так ужасно мало этой красоты? Был обделен с самого начала!

Ну вот, я уже и думаю как настоящий уррасти, сказал он себе, как проклятый собственник. Разве можно заслужить красоту природы? Или саму жизнь? Какая чушь! Он попытался вообще ни о чем не думать и просто позволить себе смотреть на солнечный свет за окном, на теплое небо, на маленьких овечек, пасущихся на весенних полях...

Нио Эссейя — город с четырехмиллионным населением — вздымала свои изящные сверкающие башни по ту сторону зеленых болотистых лугов, примыкавших к эстуарию, и сейчас башни эти казались сотканными из тумана и солнечного света. Когда поезд легко взлетел на виадук, город стал виден лучше, дома стали как бы выше, их очертания четче, стены определеннее и массивнее, а потом город вдруг замкнулся над мчавшимся поездом, и тот нырнул в гулкую темноту туннеля подземки. Вскоре он остановился, все двери его двадцати вагонов открылись, и пассажиры наконец вышли на свободу — на широкие великолепные перроны Центрального вокзала, украшенного куполом цвета слоновой кости и лазури. Насколько Шевек знал, это был самый большой купол, когда-либо созданный рукой человека.

Шевек брел по просторным мраморным залам под этим невероятным, воздушно-легким куполом, пока не добрался до длинного ряда дверей, через которые без конца входили и выходили люди, и каждый из них был чем-то озабочен, каждый

был сам по себе. Все они почему-то казались ему встревоженными. Он и раньше часто замечал на лицах уррасти эту тревогу и все недоумевал, отчего она. Неужели они, при всем своем богатстве, постоянно вынуждены беспокоиться о том, как бы раздобыть еще денег, как бы не умереть в бедности? Или же это вовсе не тревога, а чувство вины — пред теми, у кого денег значительно меньше? Ведь такие здесь существовали всегда. Так или иначе, а эта озабоченность, тревога или еще какое-то иное чувство придавали их лицам некое сходство, и Шевек чувствовал себя среди этих людей особенно одиноким. Сбежав от своих доброжелательных гидов и верных стражей, он не подумал о том, каково будет ему одному оказаться среди массы людей, где ни один не доверяет другому, где основным моральным допущением является не желание помочь, а взаимная агрессивность. Он чувствовал, что даже немного напуган этим.

Бродя по городу, он слабо представлял себе, как можно отличить тех, кто не принадлежит к классу собственников, если таковые там действительно существуют; ему хотелось поговорить с так называемыми представителями рабочего класса, но все, с кем он пытался вступить в разговор, куда-то торопились, спешили по своим делам и не желали тратить драгоценное время на бессмысленные беседы. Их торопливость заразила и его. Ему показалось, что и он должен куда-то поскорее пойти, выбраться на солнечный свет, что и сделал, поднявшись из метро на забитую народом великолепную улицу Мойе. Но куда идти? В Национальную библиотеку? В зоопарк? Нет, любоваться достопримечательностями ему совсем не хотелось!

Он нерешительно остановился возле лотка, на котором продавались газеты и всякие безделушки. Заголовки газет гласили: «Тху посылает войска на помощь мятежникам Бенбили!», однако он как-то на эти слова не отреагировал. Он смотрел не столько на газеты, сколько на цветные фотографии, выставленные здесь же. Ему вдруг пришло в голову, что у него совсем ничего нет на память об Уррасе, ни одного снимка. Когда отправляешься в путешествие, нужно привезти домой хоть какие-то сувениры. Фотографии были хороши: сценки из жизни А-Йо; горы, куда они ездили на прогулку; высотные здания Нио; часовня в Йе Юн (это практически был вид из окна его комнаты); деревенская девушка в красивом национальном костюме; башни Родарреда и та самая, что впервые привлекла его внимание; ягненок на усыпанном цветами лугу, явно пребывающий в прекрасном настроении и взбрыкивающий от восторга. Маленькой Пилюн очень понравился бы этот ягненок. Шевек отобрал по одной из всех имевшихся фотографий и подал кассиру.

— Так, и еще пять — это будет пятьдесят, а с ягненком — шестьдесят. И эту карту? Да, вы совершенно правы, прекрасный денек сегодня! Наконец-то весна наступила. А помельче у вас нет? — Шевек протянул кассиру банкноту в двадцать единиц. Он вытряхнул из карманов сдачу, полученную при покупке железнодорожного билета, и после непродолжительного ознакомления с купюрами и монетами набрал искомую сумму. — Совершенно верно, спасибо большое, желаю вам приятно провести день!

Неужели за деньги можно купить вежливость, как фотографии и карту города? Интересно, насколько вежливым был бы этот продавец, если бы жил на Анарресе, пришел в распределительный центр и мог бы взять, что хочет, нигде ничего не записывая?

Совершенно бессмысленно даже думать об этом! Живешь в Стране Собственников, вот и думай, как собственник! Одевайся, как собственник, ешь, как собственник, поступай, как собственник, будь собственником!

В деловой части Нио никаких парков не было, здесь земля была слишком дорога, чтобы использовать ее для развлечений. Он уходил все дальше по одинаковым широким, великолепным улицам. Дойдя до торговой улицы Семтеневиа, он торопливо пересек ее, не желая, чтобы в столь солнечный денек повторялся тот кошмар, и вскоре оказался в деловом центре города: банки, различные конторы, правительственные учреждения... Неужели вся Нио Эссейя такова? Гигантские сверкающие коробки из камня и стекла, роскошно украшенные, но пустые внутри.

Проходя мимо огромной витрины с надписью «Художественная галерея», он вошел в дверь, надеясь среди предметов искусства обрести спасение от той душевной клаустрофобии, что терзала его на улицах, надеясь вновь ощутить красоту этой планеты в одном из ее музеев. Но оказалось, что все картины снабжены бирками с указанными на них ценами! Он долго смотрел на искусно написанную обнаженную натуру. Цена этой картины была 4 000 м. в. е.

— Это работа Феи Фейте, — сообщил Шевеку темноволосый человек, неслышно появляясь у него из-за плеча. — На прошлой неделе у нас было пять его картин — они уже давно самые ценные на рынке. Отличный способ вложить деньги. Очень вам советую!

— Четыре тысячи — сумма, которой хватит двум семьям, чтобы прожить в этом городе целый год, — задумчиво сказал Шевек.

Темноволосый человек внимательно на него посмотрел и

сказал, растягивая слова:

— Да, конечно... Но, видите ли... это же произведение искусства...

— Искусства? Человек создает произведения искусства, потому что не может иначе. А почему была написана эта картина? Для чего?

— Так вы, должно быть, художник? — сказал хозяин галереи чуть презрительно.

— Нет, просто я способен отличить дерьмо от настоящей вещи! — Торговец картинами так и шарахнулся от него. Оказавшись на безопасном расстоянии, он проворчал, что немедленно вызовет полицию. Шевек показал ему язык и быстро вышел из магазина. Пройдя с полквартала, он остановился. Нет, так нельзя!

А как можно? И куда же все-таки пойти?

К кому-нибудь... К кому-нибудь другому... К другому человеку. К человеку! К тому, кто поможет, просто окажет помощь, а не продаст ее за деньги. Но к кому? Куда?

Он подумал о детях Ойи, маленьких мальчиках, которые искренне его полюбили, и некоторое время больше ни о ком думать не мог. Потом в его памяти возник другой образ, далекий, расплывчатый — сестра Ойи. Как же ее звали? Она просила его непременно позвонить. И дважды присылала ему приглашения на обед, написанные аккуратным детским почерком на плотной надушенной бумаге. Он-то на эти приглашения и внимания не обратил. Но теперь о них вспомнил.

Он вспомнил и ту записку, что неведомым образом оказалась у него в кармане: «Присоединяйтесь к нам, вашим братьям». Но где они здесь, его «братья»?

Он зашел в ближайший магазин. Это была кондитерская, вся в блеске золота и розовых бутоньерок; длинные ряды прозрачных прилавков с красивыми коробками, жестянками, корзинками с печеньем и конфетами; нечто розовое, шоколадное, кремовое, золотистое... Он спросил женщину у кассы, не поможет ли она ему отыскать нужный номер телефона. После той вспышки неудержимого гнева в художественном салоне он присмирел и чувствовал себя настолько невежественным и чужим в этой стране, что своим смирением тут же завоевал сочувствие женщины; она не только помогла ему отыскать нужное имя и фамилию в невероятных объемов телефонной книге, но даже позволила позвонить по служебному телефону.

— Я слушаю, кто это? — послышалось в трубке.

— Это Шевек, — сказал он и умолк. Телефон в его восприятии был средством передачи срочной и необходимой

информации — сообщений о смерти, о рождении ребенка, о землетрясении... Он понятия не имел, что говорить дальше.

— Кто? Шевек? Это правда вы? Как это мило, что вы наконец позвонили! Я, кажется, даже окончательно проснулась. Нет, это действительно вы?

— Вы спали?

— Крепко спала. И до сих пор валяюсь в постели. Здесь так уютно, тепло... Но, Боже мой, где вы находитесь?

— По-моему, на улице Кае Секае.

— Господи, что вам там понадобилось? Давайте лучше встретимся. А кстати, который час? Господи, уже полдень! Знаете что, приходите к лодочной станции на пруду — это в парке Старого Дворца. Я вас там встречу. Сможете найти это место? Послушайте, сегодня у меня поистине райский вечер, такая замечательная вечеринка! Вы непременно должны остаться... — Она еще некоторое время продолжала трещать о чем-то своем, а он соглашался с каждым ее словом. Когда он повесил трубку, знакомая продавщица улыбнулась ему:

— По-моему, вам бы неплохо было купить ей коробку конфет.

— Правда? Вы так полагаете? — остановился он.

— Никогда не повредит, уверяю вас.

В голосе ее звучало какое-то бесстыдное веселье. Сам воздух в кондитерской был теплым и сладким, словно здесь собрались все самые соблазнительные ароматы весны. Шевек, растерянно озираясь, стоял среди множества хорошеньких коробок со сластями, роскошных, высоких, тяжелых коробок, похожих на мечтательных коров на лугу или, точнее, на тех баранов и быков в загонах, озабоченных тем, что пробудило в них весеннее тепло.

— Я вам подберу именно то, что нужно, — сказала продавщица и стала наполнять небольшую металлическую коробку, изящно украшенную эмалью, миниатюрными шоколадными листиками и розочками, сплетенными из сахарных нитей. Потом завернула коробку в прелестную, ситцевой расцветки бумагу и положила в картонный ларчик, оклеенный серебряной бумагой, и все это завернула в плотную розовую бумагу и перевязала зеленой бархатной лентой. В каждом ее ловком движении читалось шутливо-сочувственное отношение к Шевеку, она подмигивала ему, точно соучастница, вручая сверток, и он, пробормотав слова благодарности, хотел было поскорее уйти, но она мягко остановила его:

— Десять шестьдесят с вас.

Она могла бы, наверное, даже вообще не взять с него денег, пожалев его, как женщины умеют жалеть сильных муж-

чин, но он тут же послушно вернулся и смущенно отсчитал

деньги.

Он довольно быстро отыскал дорогу в подземку и нужное направление, добрался до парка при Старом Дворце, нашел пруд с лодочной станцией, где прелестно одетые детишки пускали игрушечные кораблики — потрясающие маленькие суденышки с шелковыми парусами, так и сиявшие на солнце. На том берегу широкого, сверкающего пруда он заметил Веа и поспешил к ней навстречу, ощущая вокруг себя весну — солнце, теплый ветер, темные ветви старых деревьев, покрытые молодой светло-зеленой листвой...

Они перекусили в парке, устроившись на веранде ресторана под высокой, куполом, стеклянной крышей. Деревья, оказавшиеся также под крышей, успели на солнце полностью развернуть лист; это были ивы, склонявшиеся над прудом, где лениво плавали какие-то толстые белые птицы, следившие за посетителями ресторана и с жадностью ожидавшие подачки. Веа ничего не стала заказывать сама, дав Шевеку понять, что полностью полагается на него, однако опытный официант так ловко подсказал ему, какой заказ сделать, что Шевек в итоге решил, что все это выбрал он сам. К счастью, в карманах у него было полно денег. Еда была великолепна. Он никогда еще не пробовал столь изысканных блюд. Всю жизнь он привык есть два раза в день, так что и на Уррасе обычно избегал ленча, но сегодня он ел с удовольствием и аппетитом, тогда как Веа деликатно пробовала кусочек того, крошку другого. Наконец он просто заставил себя остановиться, и она рассмеялась, видя его столь удрученным.

— Я слишком много съел!

— Ничего, немножко прогуляемся, и все будет в порядке.

Погуляли они действительно совсем немного: медленно прошлись по травке, а минут через десять Веа изящным движением опустилась на пригорок под огромным кустом с золотистыми цветами. Шевек сел рядом. Да она же «спекулирует собственным телом»! Это выражение Таквер он вспомнил сразу, едва взглянув на кокетливо выставленную изящную ножку Веа в маленькой белой туфельке на очень высоком каблуке. Таквер считала, что так ведут себя женщины, которые используют свою сексапильность как оружие в отношениях с мужчинами. Похоже, Веа была «спекулянткой» высшей пробы. Туфли, одежда, косметика, украшения, жесты — все в ней провоцировало, соблазняло. Она являла собой столь изысканно и тщательно оформленную женскую плоть, что, казалось, разум ей просто ни к чему. О да, в ней действительно была воплощена вся та мечта о сексуальности и эротичности, которую мужчины йоти старательно подавляли в себе самих и изливали лишь во снах и

мечтаниях, в романах и поэзии, в бесчисленных изображениях обнаженного женского тела, в страстной музыке, в архитектуре с ее плавными изгибами и бесконечными куполами, в чрезмерной любви к сладостям, в оформлении купален, в этих непристойно мягких постелях... Веа была изысканным кушаньем и совершенно готовым для того, чтобы им полакомиться.

Ее головка, полностью выбритая, была припудрена тальком, содержавшим, видимо, крошечные блестки слюды, которые чуть поблескивали, подчеркивая изящную форму черепа. На плечи она накинула легкую, прозрачную шаль или накидку, под которой ее округлые плечи и нежная кожа рук выглядели еще более соблазнительными, чем когда были полностью обнажены. Груди у нее на этот раз были прикрыты: на улице здешние женщины не появлялись с обнаженной грудью, приберегая свою наготу для своих хозяев: мужей, любовников, «друзей». На запястьях позвякивали золотые браслеты, а в ямке под горлом сверкал, выделяясь на нежной коже, один-единственный крупный синий камень.

— Как он там удерживается? — вырвалось у Шевека.

— Кто? — Поскольку Веа не могла видеть камень сама, то, притворившись, что не понимает, буквально заставила его коснуться рукой ее груди. Шевек улыбнулся:

— Он что, приклеен?

— Ах вот вы о чем! Нет, у меня там малюсенький магнит, а на камне с обратной стороны крошечная металлическая пластинка. А может, наоборот... но это неважно. Так или иначе, мы с ним прилипаем друг к другу.

— У вас магнит под кожей? — ужаснулся Шевек.

Веа улыбнулась, сняла сапфир, и он убедился, что на коже действительно виден крошечный серебристый шрамик — точнее, намек на него.

— Видимо, в целом я у вас вызываю потрясающую неприязнь! — засмеялась Веа. — Ничего, это даже освежает! Я чувствую себя совершенно свободной, ведь ни одно мое слово или поступок уже не смогут повлиять на то, как низко я пала в ваших глазах, доктор Шевек. Я практически достигла дна!

— Ничего подобного! — запротестовал он, понимая, что она с ним играет, что это простое кокетство, но очень плохо разбираясь в правилах подобной игры.

Нет-нет; я сразу способна заметить особое отношение к себе. Особенно когда это отвращение — вот как у вас. — И она скорчила потешную гримаску; оба рассмеялись. — Я что же, действительно так сильно отличаюсь от женщин анаррести?

— О да!

— Они, наверно, все силачки? Высокие, с отлично развитой мускулатурой? И ходят в ботинках, а ноги у них крупные, ступни плоские... А одеваются они что, только в «удобную» одежду? А сколько раз в месяц они бреют голову? Один?

— Они ее совсем не бреют.

— Никогда? И тело тоже? Нигде? Господи! Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом.

— О вас, например. — Он низко наклонился к ней, и аромат ее духов и тела окутал его сладострастной пеленой. — Мне очень хочется знать, удовлетворяет ли женщину уррасти вечное положение существа низшего порядка?

— По отношению к кому?

— К мужчинам.

— Ах вот как вы считаете!.. А что заставляет вас так думать?

— Мне кажется, что все интересное в вашем обществе делается мужчинами. Промышленность, искусство, управление государством, принятие жизненно важных решений — все это в руках мужчин. И потом... всю жизнь вы, женщины, носите имя своего хозяина — сперва отца, а потом мужа. Мужчины учатся в школе, затем в институте, но я не видел ни одной женщины-студентки. Преподаватели, судьи, полицейские, члены правительства — все это исключительно мужчины, не правда ли? Почему же вы не пытаетесь делать то, что нравится вам?

— Но ведь мы делаем именно то, что нам нравится! Женщинам совсем не обязательно пачкать себе руки, или носить медные шлемы, или орать друг на друга на заседаниях Совета директоров.

— Но тогда чем же, чем вы занимаетесь?

— Как? Управляем мужчинами, разумеется! И знаете, об этом можно говорить в их обществе совершенно спокойно, потому что они никогда вам не поверят. Они скажут: ну-ну, глупышки они, эти женщины! Выдумщицы! Погладят по головке свою жену или любовницу и двинутся дальше, позвякивая медалями, абсолютно довольные собой.

— А вы довольны собой?

— Да, безусловно.

— Я этому не верю!

— Потому что это не соответствует вашим принципам? У мужчин всегда имеются свои принципы и теории, и все вокруг, разумеется, должно им соответствовать.

— Нет, дело вовсе не в этом! Просто мне показалось, что вы... постоянно беспокойны, словно чем-то не удовлетворены... а потому — опасны!

— Ну уж и опасна! — Веа радостно засмеялась. — Какой

странный, удивительный комплимент! Почему же я опасна, Шевек?

— Но это же просто! Вы ведь отлично понимаете, сколь ценную вещь представляете собой в глазах мужчин. Но все-таки вещь, которой можно владеть, которую можно покупать и продавать... И вы только и думаете: как бы провести этих нахалов, стремящихся владеть мною, как бы им отомстить...

Веа решительно прикрыла ему рот своей маленькой ладошкой.

— Довольно, — сказала она. — Я знаю, что вы вовсе не хотели быть вульгарным, и потому лишь вас прощаю. Однако достаточно.

Он нахмурился — ему было неприятно лицемерие Веа; кроме того, он боялся, что действительно мог больно задеть ее. Он все еще ощущал легкое прикосновение ее душистой ладони к своим губам...

— Простите! — искренне сказал он.

— Нет-нет, ничего страшного. Я не обиделась. Разве вы могли что-нибудь понять в нашей жизни, свалившись с луны? И, в конце концов, вы всего лишь мужчина... — Она рассмеялась. — Ладно, я вам вот что посоветую: возьмите любую из ваших «сестер» у себя на луне, дайте ей возможность снять свои ужасные башмаки, принять ванну, умастить свое тело благовониями, удалить на нем всю лишнюю растительность, а потом надеть пару хорошеньких туфелек, украсить пупок красивым камнем и всласть подушиться, и вы сами увидите, как ей это понравится! И вам тоже! Я уверена! Но только ведь вы так не сделаете; вы, бедняжки, все играете в свои теории, в братьев и сестер, не позволяя себе никаких развлечений!

— О, как вы правы! — подыграл ей Шевек. — Никогда и никаких развлечений! Никогда! Целыми днями мы роемся в шахтах, добывая свинец и золото, а ближе к ночи, пообедав наконец тремя корешками, сваренными в двух ложках отвратительной опресненной воды, немузыкально повторяем хором высказывания великой Одо, пока не придет время ложиться спать. И спим мы, разумеется, по отдельности и не снимая тех самых ужасных грубых башмаков, которые носим псе без исключения.

Он не настолько бегло говорил на йотик, чтобы суметь выразить этот «полет мысли»; это была одна из его внезапных «поэтических» язвительных фантазий, которые только Таквер и Садик слышали достаточно часто; но, хотя его йотик и был далек от совершенства, эта пылкая речь все же поразила Веа. Ее громкий смех разлетелся по всему парку.

— Господи, да ведь вы отлично умеете шутить! А есть что-нибудь на свете, чего вы не умеете?

— Я не умею торговать, — честно ответил он.

Она, все еще улыбаясь, внимательно посмотрела на него. В ее позе было что-то профессиональное, актерское. Люди обычно не глядят так долго и так пристально друг другу в глаза. Если только это не мать и дитя или же врач и его пациент. А еще так смотрят друг на друга любовники.

Шевек сел.

— Я бы еще прогулялся, — решительно заявил он.

Она протянула ему руку, чтобы он помог ей подняться с земли. Жест был ленивый, приглашающий... Но сказала она нечто совсем иное, с какой-то неуверенной теплотой:

— Вы действительно ведете себя как брат... Ну, возьмите же мою руку. Не бойтесь, я вас потом отпущу!

Они побродили по тропинкам обширного парка. Зашли во дворец, превращенный в музей. Как сказала Веа, всегда приятно посмотреть на то, как жили короли. Она с удовольствием любовалась выставленными драгоценностями и портретами напыщенных правителей. Стены дворца были увешаны гобеленами; резные каминные полки уставлены серебряными, золотыми, хрустальными вазами и статуэтками из редких пород дерева; на полу лежали роскошные ковры. За бархатными лентами по углам стояли охранники. Их черно-алые формы прекрасно сочетались с великолепием залов; они сверкали золочеными галунами и покачивали пышными султанами перьев на шлемах. Однако лица у них были совсем не к месту: скучные, усталые. Охранникам явно надоело торчать целый день у всех на виду, ничего не делая. Шевек и Веа подошли к стеклянной витрине, внутри которой лежал плащ, который королева Теаэа велела сделать из кожи мятежников — из смуглой человеческой кожи, которую с людей содрали заживо. Эта ужасная женщина с вызовом надевала свой плащ, выходя к измученной эпидемией чумы толпе, и молила Бога, чтобы он остановил распространение страшной заразы. Было это четырнадцать веков назад.

— По-моему, очень похоже на шевро, — сказала Веа, рассматривая выцветший от времени плащ. Потом вскинула глаза на Шевека: — Вам нехорошо?

— Мне, кажется, лучше выйти на воздух...

В парке смертельная бледность постепенно сошла с его щек, но на дворец он все еще оглядывался с ненавистью.

— Почему ваш народ так бережно хранит то, чего должен был бы стыдиться? — спросил он.

— Но это же наша история! Разумеется, теперь ничего

подобного просто быть не может!

Она повела его в театр на дневной спектакль — там шла какая-то комедия о молодоженах и их матерях, полная шуток по поводу секса, где, однако, сам секс ни разу ни одним словом обозначен не был. Шевеку было скучно, и он старался смеяться в тех местах, когда смеялась Веа, чтобы не вызывать подозрений. После спектакля они отправились в один из центральных ресторанов, место исключительно для состоятельных клиентов. Обед стоил им сто валютных единиц. Шевек ел очень мало, поскольку хорошо закусил днем, однако поддался на уговоры Веа и выпил два или три бокала вина, которое, вопреки его ожиданиям, оказалось очень вкусным, создавало приятную легкость в общении и, похоже, нисколько не отражалось на умственных способностях. У него не хватило наличных денег, чтобы расплатиться за обед, но Веа не предложила заплатить свою долю, а просто посоветовала ему выписать чек, что он и сделал. Потом они взяли такси и поехали к Веа домой; с шофером она также предоставила ему право расплачиваться самому. Неужели, недоумевал он, Веа и есть самая настоящая дорогая проститутка? То самое загадочное существо, о котором намекали учебники? Проститутки, которых довольно подробно описывала Одо, были бедными женщинами, а Веа, безусловно, таковой не была. Рассказывая ему о подготовке своей вечеринки, она подробно сообщила, что именно поручила сделать своему повару, своей горничной и своему «личному» поставщику провизии. Более того, мужчины в Университете говорили о проститутках презрительно, с отвращением, как о грязных и беспардонных тварях, тогда как Веа, несмотря на явную склонность обольщать мужчин, проявила такую чрезвычайную чувствительность к прямым разговорам об интимных отношениях и даже к некоторым «физиологизмам» в речи Шевека, касавшимся секса, что он стал следить за своей речью особенно тщательно, как делал бы это дома, на Анарресе, в присутствии девочки лет десяти. И все же он никак не мог понять, что же такое Веа.

Комнаты в квартире Веа были просторными, роскошно обставленными; из окон открывался прекрасный вид на сияющий огнями Нио; мебель была исключительно белого цвета, даже ковер на полу был белоснежный. Но Шевек уже отчасти стал невосприимчив к роскоши; кроме того, ему почему-то ужасно хотелось спать. Гости должны были прибыть не раньше чем через час, и, когда Веа ушла переодеваться, он уснул, устроившись в огромном белом кресле в гостиной. Его разбудила служанка, загремев чем-то на столе, и почти сразу же в гостиную вошла Веа в красивом вечернем платье, какие обычно надевали на приемы

женщины йоти — широкая плиссированная юбка до пола, начинавшаяся от бедер, и под самой грудью жесткий корсаж, поддерживавший ее. Талия и грудь Веа были обнажены. В пупке поблескивал небольшой драгоценный камешек — в точности как в том фильме, который они с Тирином и Бедапом смотрели четверть века назад в Региональном Институте Северного Поселения... Полупро-снувшись, но почему-то встревоженный до глубины души, Шевек во все глаза смотрел на нее.

Она тоже посмотрела ему прямо в глаза и слегка улыбнулась.

Потом села возле него на низенький пушистый пуфик и снова посмотрела на него — кокетливо, снизу вверх. Потом неторопливо расправила свою белую юбку на коленях и сказала:

— Ну а теперь расскажите мне, как все-таки у вас это делается на Анарресе... Ну, между мужчиной и женщиной.

Это было просто невероятно! Ее горничная и присланный поставщиком провизии человек находились там же в гостиной; она знала, что у него есть Таквер; и он знал, что она это знает; и до сих пор между ними не было произнесено ни одного слова о половых отношениях — она этого не допускала. Хотя, разумеется, и это ее платье, и жесты, и интонации — все это выглядело как чистой воды «приглашение к сексу».

— Между мужчиной и женщиной у нас это делается так, как они сами того захотят, — сказал он довольно грубо. — Оба вместе. И каждый по отдельности.

— Значит, это правда, что у вас отсутствует всякое понятие о приличиях, о морали? — спросила она, с одной стороны явно потрясенная его словами, но одновременно почему-то ими обрадованная.

— Я не знаю, что вы имеете в виду. Причинить человеку страдания там означает то же самое, что и здесь.

— Вы хотите сказать, что придерживаетесь все тех же старых правил? Видите ли, я лично считаю, что мораль — это предрассудок, вроде религии. Давно пора выбросить ее на помойку.

— Однако в моем обществе, — сказал он, несколько озадаченный подобным заявлением, — как раз и осуществляется попытка достигнуть высокой морали, высокой нравственной чистоты. Можно выбросить на помойку морализирование да, согласен, ему там самое место, как и всем устаревшим правилам, законам, системе наказаний. Но человек безусловно должен уметь отличать хорошее от плохого и выбирать между добром и злом.

— Значит, вы выбрасываете все «можно» и «нельзя»? Но, знаете, я думаю, что вы, одонийцы, многое теряете, выбрасывая

заодно священников и судей, законы о разводе и все такое прочее, хотя все, что за ними стоит, всю эту нравственную муть как раз сохраняете. Вы просто заталкиваете законы нравственности вглубь, в собственное сознание. И становитесь снова рабами тех же законов! Нет, по-настоящему свободными вы не являетесь!

— Откуда вы этого набрались, Веа?

— Я прочитала одну умную статью насчет учения Одо, — сказала она. — И потом, мы же с вами целый день провели вместе! Я вас почти не знаю, но кое-что о вас я поняла. Я знаю, например, что в душе у вас что-то вроде... да-да, там у вас королева Теаэа, которая командует вами, старая тиранка, как когда-то командовала своими рабами! Она говорит: делайте это! И вы делаете. Она говорит: не сметь! И вы подчиняетесь.

— Так вот откуда она, оказывается, — сказал он, улыбаясь. — Значит, это я ее выдумал?

— Да нет. Пусть уж остается в своем дворце. Тогда вы сможете восставать против нее. Ведь вы бы обязательно стали делать это, правда? Ваш прапрапрадед так и поступил, наверное; по крайней мере сбежал отсюда на луну. Но королеву нашу он взял с собой, и она все еще сидит в вас, командует вами!

— Возможно. Но на Анарресе она хорошо поняла: если она велит мне причинить страдания другому, я причиню их самому себе.

— Старые ханжеские заверения! Жизнь — это борьба, и побеждает в ней сильнейший. А цивилизация всего лишь призвана прикрывать ненависть красивыми фразами да скрывать творящееся кругом кровопролитие!

— Ваша цивилизация. Мы же не скрываем ничего. Наша цивилизация проста и прозрачна — там королева Теаэа всегда в своем плаще из человеческой кожи. Мы следуем закону эволюции и только ему.

— Согласно закону эволюции, как раз и выживает сильнейший!

— Верно. Но среди всех общественных существ сильнейшими являются те, кто наиболее социален. Или, с точки зрения человека, наиболее этичен. Видите ли, у нас, на Анарресе, нет ни жертв, ни врагов. Мы воспринимаем себя как целое; у нас есть только мы сами. Ведь, причиняя страдания другим, сам особой силы не обретешь. Наоборот, проявишь собственную слабость.

— Мне совершенно безразлично, кто, где и кому причиняет страдания. Мне совершенно безразличны все остальные, да и всем остальным до меня тоже дела нет, они только притворяются, что это не так. А я притворяться не хочу! Я хочу быть свободной!

— Но, Веа... — мягко начал он, до глубины души тронутый

этим страстным порывом, но тут у дверей прозвонил колокольчик. Веа встала, поправила юбку, изобразила на лице радостную улыбку и направилась встречать своих гостей.

Гости собирались примерно час. Всего пришло человек тридцать—сорок. Сперва Шевек чувствовал себя чрезвычайно неловко; но что еще хуже — он скучал. Это оказалась очередная шумная вечеринка, где все стояли с бокалами в руках, без конца улыбались и разговаривали ни о чем. Но вскоре стало веселее. Всюду вспыхивали споры, люди, объединившись группками, усаживались в сторонке и начинали что-то оживленно обсуждать. Слуги разносили подносы с закусками — крохотными бутербродиками, тартинками, кусочками мяса и рыбы. Услужливые официанты постоянно наполняли стаканы. У Шевека тоже в руках был стакан с каким-то напитком. Он уже несколько месяцев наблюдал, как много уррасти поглощают порой алкоголя, однако от этого, похоже, никто не заболевал. Напиток, который ему подали, имел лекарственный привкус, но кто-то объяснил, что это в основном газированная вода и сок. Пить ему очень хотелось, и он залпом осушил стакан.

Двое гостей все время норовили завести с ним беседу о физике. Один был достаточно вежлив и застенчив, так что уклониться от разговора с ним не составляло труда — Шевеку всегда очень трудно было говорить о физике с дилетантами. Однако второй оказался поистине несносен и чрезвычайно упорен; в итоге Шевек оставил попытки избежать беседы с ним, и, разумеется, оказалось, что этот тип знает буквально все на свете. Возможно потому, что был очень богат.

— Насколько я понимаю, — заявил он Шевеку, — ваша теория Одновременности отрицает наиболее очевидное свойство времени — его текучесть?

— Видите ли, — любезно откликнулся Шевек, — в физике следует быть очень осторожным с тем, что называют «свойством». Это ведь не бизнес. — В мягкости его тона было нечто такое, что Веа, болтавшая с кем-то рядом, тут же повернулась к ним и стала прислушиваться к разговору. — В рамках теории Одновременности текучесть или последовательность, строго говоря, вообще не рассматривается как объективное физическое свойство, но как явление исключительно субъективное.

— Ах, оставьте свои умные речи и не пугайте беднягу Диэрри, — вмешалась Веа, — и расскажите нам, бедным, простыми словами, что это значит. — Шевек улыбнулся: она удивительно тонко почувствовала его раздражение.

— Ну например, — начал он уже спокойнее. — Вот нам кажется, что время «проходит», течет мимо нас. А что, если это

мы движемся вперед — от прошлого к будущему? Как если бы читали книгу от первой страницы до последней? Книга лежит перед нами целиком — заключенная между двумя обложками. Но если вам хочется понять роман, вы должны прочитать его с первой страницы, двигаясь в строго определенном порядке, верно? Точно так же можно воспринимать и Вселенную: как очень большую книгу, а нас — как очень маленьких ее читателей.

— Но в том-то и дело, — возразил Диэрри, — что мы, чисто эмпирически, воспринимаем Вселенную как некую последовательность времен и событий, как поток. Таково ее основное свойство. Но какова же в этом случае польза от теории, которая доказывает, что на некоем «более высоком» уровне, а может и в иной плоскости, Вселенная может восприниматься как нечто застывшее, вечное — во времени и пространстве? Возможно, для теоретиков решить такую задачку и забавно, но практической применимости у подобной теории нет! Она не имеет отношения к реальной жизни. Если только в ней нет ключа к созданию машины времени, разумеется! — прибавил он с каким-то отвратительным веселым подмигиванием.

— Но мы даже эмпирически далеко не всегда воспринимаем Вселенную как некую последовательность, — удивился Шевек. — Неужели вам никогда не снятся сны, господин Диэрри? — Он был очень горд собой: наконец-то он вовремя вспомнил и назвал кого-то «господин»!

— Какое это имеет значение? Разве мои сны имеют отношение ко Вселенной?

— Видите ли, очень похоже, что мы способны воспринимать время только разумом. У младенца вообще никакого понятия о времени нет; в принципе он может полностью дистанцировать себя от Прошлого и понять, как оно соотносится с Настоящим и Будущим. Он не знает, что время проходит. Он не понимает, что такое смерть. Человек, не имеющий разума, пребывает в том же состоянии, что и человек, разум которого как бы выключен, работает одно подсознание. То есть во время сна. Во время сна времени как бы не существует; всякая последовательность событий и явлений смещена, а то и полностью изменена. Меняются местами причина и следствие. В мифе, в легенде времени также не существует. Какое прошлое имеет в виду сказка, начинаясь словами: «Давным-давно жили-были...»? Таким образом, мистики, связывая разум и бессознательное, воспринимают это как единый процесс и тем самым обретают способность понять вечную необходимость возврата к истокам.

— Да, верно! — с воодушевлением подхватил до той поры молчавший застенчивый собеседник. — Теборес, например-еще в

восьмом тысячелетии он писал: «Лишенная разума душа существует совместно со Вселенной...»

— Послушайте, мы же не дети неразумные, в конце концов! — резко оборвал его Диэрри. — Мы не только разумны, но и рациональны. А ваша теория, господин Шевек, случайно — не разновидность мистического регрессивизма?

Повисло молчание. Шевек не отвечал: тянул время. Он угостился тарталеткой, которую, впрочем, есть ему совсем не хотелось, однако возражать этому Диэрри хотелось еще меньше. Он сегодня уже один раз вышел из себя и оказался в дураках.

— Возможно, ее можно рассматривать как некую попытку нарушить существующее равновесие научных понятий, — неторопливо начал он. — Видите ли, классическая теория, согласно которой все физические величины могут изменяться лишь непрерывно и последовательно, прекрасно объясняет наше ощущение линейности времени и очевидности эволюции, как и процессы созидания и смерти. Но далее эта теория не идет. Она не может объяснить, почему все же некоторые вещи и явления остаются неизменными. Она трактует время всегда как вектор, но никогда — как круг.

Круг? — удивился второй, вежливый собеседник Шеве-ка, однако в глазах его светилось такое горячее желание что-то понять, что Шевек не устоял. Забыв о Диэрри, он с энтузиазмом, размахивая руками, погрузился в рассуждения, словно желал прямо здесь, сейчас, наяву показать эти векторы, эти циклы, эту вибрацию времени, о которых он постоянно думал и писал.

— Время в такой же степени циклично, как и линейно, — говорил он. — Это сродни периодичности обращения планеты вокруг своего солнца, понимаете? Один цикл, то есть одно обращение, — мы принимаем за год, верно? Два цикла равны двум годам и так далее. Эти обращения планеты вокруг солнца можно считать бесконечно — если бы, скажем, нашелся такой «наблюдатель». Такова и наша система отсчета времени, наше летосчисление. Но где внутри этой циклической системы отсчета начало времени? Где его конец? Бесконечное повторение одного и того же цикла — процесс вневременной, не имеющий ко времени отношения. Чтобы воспринимать его как временной, его необходимо соотнести с каким-либо другим процессом — не важно, циклическим или нет. И знаете, что весьма любопытно? Атомы, как вам известно, совершают движение по орбите. Внутри атомов электроны также совершают циклическое движение вокруг ядра, внутри которого еще более мелкие частицы делают то же самое. Именно эти крошечные составляющие, находящиеся в постоянном циклическом движении относительно друг друга, и

сообщают атому и всей материи достаточное постоянство, которое и делает эволюцию возможной. Крошечные «безвременности», соединенные вместе, создают время! Примерно то же самое происходит и в космосе — только в несоизмеримо большем масштабе; и получается, что вся Вселенная — это некий циклический процесс, относительно регулярная вибрация пространства, его сжатие и приход в «возбужденное состояние», что примерно соотносимо с дискретным изменением количества энергии атома при квантовом переходе. Никаких «до» и «после». Только внутри каждого из этих великих циклов, только в течение определенного периода жизни человечества можно говорить о существовании линейного времени, эволюций, перемен. Таким образом, получается, что у времени как бы два аспекта: вектор — летящая стрела, бегущая река, — без которого в нашей жизни нет перемен, нет прогресса, нет направления и не может быть созидания, и круг или цикл, без которого возникает хаос, бессмысленная череда и смена мгновений, мир без летосчисления, без смены времен года, без обещаний...

— Но это же две абсолютно противоположные вещи! — возмутился Диэрри, поглядывая на Шевека с явным превосходством. — Из того, что утверждаете вы, следует, что лишь один из этих ваших аспектов реален, второй же — просто иллюзия.

— Так говорили когда-то многие физики, — спокойно кивнул Шевек.

— Но какова ваша личная точка зрения? — спросил тот, который действительно хотел что-то понять.

— Ну, я считаю, что существование двух аспектов предоставляет довольно простой способ выйти из затруднительного положения. Никто не сможет отмахнуться от собственного бытия и не станет отрицать происходящие с ним перемены как иллюзии, верно? Стать кем-то, не существуя вообще — бессмыслица. А существовать в неизменном, застывшем состоянии — ужасная скука... Если разум способен воспринять оба эти аспекта времени и их взамосвязанность и взаимозависимость, то условия этого восприятия должна обеспечить некая единственно верная хрономософия.

— Ну и какова же будет польза от того, что мы это поймем? — снова влез Диэрри. — Ведь понимание этого не имеет никакого практического применения. Обыкновенное жонглирование словами и понятиями! Вам так не кажется?

— Вы ставите вопрос, как типичный собственник, господин Диэрри, — сказал Шевек. И ни одна живая душа здесь не догадалась, что он назвал своего оппонента самым

оскорбительным, самым презрительным словом из своего лексикона анаррести. Наоборот! Диэрри даже согласно покивал, с довольным видом принимая подобный «комплимент». И только Веа уловила некое напряжение в голосе Шевека и снова вмешалась:

— Господа, я практически ни слова не понимаю из того, о чем вы говорите, но, по-моему, даже если я что-то и поняла — например, насчет той «книги» и сиюминутности существования всего на свете, — то скажите: почему же тогда мы не можем предсказывать будущее? Если оно уже существует? Или это все же возможно?

— Нет-нет, — обернулся к ней застенчивый собеседник Шевека, на некоторое время переставая быть таким уж застенчивым, — вы не правы, дорогая! Время — это ведь не кушетка и не дом, оно не существует столь материально, как эти предметы. Его нельзя, например, обойти кругом, войти в него или из него выйти... — Веа с веселым видом закивала, словно ей сразу стало легче, как только она стала играть роль «ученицы». А застенчивый собеседник после ответа ей, видимо, исполнился верой в себя и теперь уже повернулся к Диэрри:

— Мне кажется, применение теории Одновременности и физики времени вообще ценно прежде всего для этики. Вы со мной согласны, доктор Шевек?

— Для этики? Вполне возможно. Не знаю, не уверен. Видите ли, я занимаюсь главным образом математикой; вряд ли возможно составить уравнения этики, скажем, поведения...

— Почему же нет? — снова возник самодовольный Диэрри, но Шевек не обратил на него внимания и продолжал:

— Хотя ваше замечание справедливо: истинная хронософия действительно немалое внимание уделяет этике. Поскольку наше ощущение времени имеет самое непосредственное отношение к способности отделять причину от следствия, средства от цели. Опять же — ребенок или животное не способны увидеть связь того, что они делают в настоящий момент, с тем, что станет следствием их действий. Они не могут понять принцип действия шкива и создать его. И не могут дать обещание. Мы можем. Понимая различие между «сейчас» и «несейчас», мы можем связать эти мгновения. Но тут уже на сцене появляются мораль и ответственность. Утверждение, что хорошей цели можно достичь дурными средствами, равносильно утверждению о том, что если потянуть за веревку на этом шкиве, то тяжесть будет поднята с помощью соседнего. Нарушить обещание — значит отрицать реальность прошлого, а стало быть, отрицать и надежду на реальное будущее. Если время и причина функционально

взаимосвязаны, если мы вообще — существа времени, то нам лучше узнать время поближе, признать его могущество, постараться понять его свойства и — извлечь из этого максимум пользы для себя, действуя разумно и ответственно.

— Но позвольте! — Диэрри был несказанно доволен собственным острым умом и умением следить за ходом беседы. — Вы же только что утверждали, что в вашей системе Одновременности не существует ни прошлого, ни будущего — только некое вечное настоящее. Так как же можно быть ответственным за ту книгу, которая уже написана? Вы можете только прочитать ее и ничего больше! У вас нет ни выбора, ни свободы действия.

— Вы правы, такова основная дилемма детерминизма. И это является имплицитным для системы Одновременности. Однако классическая теория также имеет свои, в том числе и деструктивные, дилеммы. Примерно как в той дурацкой истории о камне и дереве, в которое вы бросаетесь камнями. Если вы сторонник Одновременности, то камень уже попал в дерево, а если вы «классицист», то есть сторонник последовательности действий, то он никогда не сможет в него попасть... Что вы предпочтете? Возможно, вы предпочитаете бросать камни, не задумываясь, не делая выбора. Я же предпочитаю трудные пути, так что не могу отказаться ни от одной из этих теорий.

— Но как... как их соединить? — вырвалось у застенчивого.

От отчаяния Шевек чуть не рассмеялся ему в лицо.

— Не знаю! Я над этим всю жизнь бьюсь. Ведь в конце концов камень-то в дерево все-таки попадает. И ни классическая физика, ни теория квантового перехода, ни теория Одновременности этого не объясняют. Нам нужна не чистота теории, а ее комплексность, сложность. Нам нужно признать взаимосвязанность причины и следствия, средства и цели. Наша космологическая модель должна быть столь же бесконечной и неистощимой, как и сам космос. И в эту комплексную модель должен быть включен не только момент непрерывности, но и момент созидания, не только геометрия, но и этика. Мы стремимся не столько получить конкретный ответ, сколько хотим узнать: как правильно задать вопрос...

— Все это прекрасно, однако промышленности нужны именно конкретные ответы, — сказал Диэрри.

Шевек медленно повернулся, посмотрел на него сверху вниз и ничего не сказал.

Повисло тяжелое молчание, которое, как всегда, поспешила нарушить Веа, изящно и непоследовательно изменив тему разговора и вернувшись к светской болтовне о возможностях

предсказания будущего. Все тут же оживленно принялись рассказывать случаи из собственной жизни, истории о встречах с ясновидцами и предсказателями судьбы.

Шевек в этом разговоре участия не принимал. Он решил вообще больше не отвечать ни на один серьезный вопрос. И еще — его почему-то мучила ужасная жажда. Он с удовольствием позволил официанту наполнить его бокал и залпом выпил приятный пузырящийся напиток. Потом, пытаясь успокоиться и снять напряжение, принялся разглядывать гостей. Все кругом вели себя чрезвычайно эмоционально, что было довольно странно для йоти, — кричали, громко смеялись, перебивали друг друга. Одна парочка предавалась практически у всех на виду совершенно бесстыдным ласкам. Шевек с отвращением отвернулся. Неужели они настолько эгоистичны? Ласкать друг друга и совокупляться на глазах у тех, кто лишен пары, считалось на Анарресе столь же непристойно и вульгарно, как есть на глазах у голодных и не делиться с ними. Он прислушался к разговору своих прежних собеседников. Теперь с предсказаний судьбы они переключились на политику — спорили о войне, о том, что предпримут дальше Тху и А-Йо, что решит Совет Государств Планеты и так далее.

— Почему вы всегда говорите об этом конфликте так абстрактно? — спросил он внезапно, сам себе удивляясь: ведь он решил ни в какие разговоры больше не вступать. — Ведь это не просто названия государств — это живые люди, которые убивают друг друга. Почему на эту войну отправляют солдат? Почему вообще человек идет убивать незнакомых ему людей?

— Но ведь солдаты и существуют для того, чтобы убивать, — заметила маленькая блондинка, присоединившаяся к прежней компании. В пупке ее переливался радужными красками опал. Несколько мужчин тут же принялись объяснять Шевеку принцип национального суверенитета. Веа вмешалась:

— Господа, дайте же ему сказать! А как бы вы, доктор Шевек, разрешили эту дурацкую проблему?

— Эту «дурацкую» проблему решить очень просто, и решение ее буквально у вас под носом.

— Вот как? И в чем же оно заключается?

— В том, как мы строим свои отношения на Анарресе.

— Но то, что вы делаете у себя на луне, отнюдь не панацея от наших здешних проблем.

— Человеческие проблемы везде одинаковы. Человеку нужно выжить. Как виду, как группе существ, как индивиду.

— Но национальная самооборона!.. — выкрикнул кто-то.

С ним яростно спорили; он не сдавался. Он прекрасно знал,

что именно хочет сказать, и понимал, что такие аргументы должны убедить любого. Но почему-то ему никак не удавалось выразить эти аргументы с помощью слов. Вокруг стоял дикий шум; все практически кричали. Маленькая блондинка приглашающе похлопала ладонью по широкому подлокотнику кресла, в котором сидела, и Шевек охотно присел с нею рядом. Ее бритая шелковистая на ощупь головка тут же просунулась ему под руку.

— Ну что, человек с луны, как дела? — спросила она.

Веа, время от времени отходившая к другим гостям, сейчас снова вернулась. Он видел, что лицо ее разрумянилось, а огромные темные глаза влажно блестят. Потом вдруг ему показалось, что на противоположном конце огромной гостиной мелькнул Пае, но потом все лица снова слились в некое беспорядочное мелькание. Все вокруг как бы не имело ни начала, ни конца, происходило как бы урывками, со странными паузами-пустотами внутри; ему точно позволили наблюдать за воплощением в жизнь гениальной гипотезы старой Граваб о цикличности космоса.

— Необходимо поддерживать принцип законного правления обществом, иначе все мы скатимся в болото элементарной анархии! — гремел какой-то насупленный толстяк.

— А вы попробуйте — скатитесь! Ничего страшного. Мы уже полтораста лет существуем в этом «болоте» и прекрасно себя чувствуем, — спокойно заметил ему Шевек.

Блондинка кокетливо высунула изящную ножку в серебряной открытой туфельке на высоком каблуке из-под платья, расшитого по подолу множеством жемчужинок.

— Нет, вы нам расскажите, как вы в действительности чувствуете себя на вашем Анарресе? — попросила Веа. — Неужели там действительно так чудесно?

Она примостилась на подушке у самых его колен; ее нежные обнаженные груди смотрели прямо ему в лицо своими невидящими глазами сосков; алые губы соблазнительно улыбались.

Что-то темное шевельнулось в душе Шевека; все вокруг будто на мгновение померкло. Он снова ощутил страшную жажду; во рту пересохло. Он сделал несколько больших глотков из бокала, только что услужливо наполненного официантом.

— Не знаю, что вам о нем рассказать, — проговорил он с трудом; язык еле ворочался во рту. — Нет, конечно же, там не «чудесно». Это довольно безобразная планета. Совсем не такая, как ваша. Анаррес — это сплошная пыль и мертвые бесплодные холмы. Все, что там растет, очень сухое, бледное. И люди не

слишком красивы. У них такие же большие руки и ноги, как у меня или вон того официанта. Но зато там никто не страдает ожирением. Мыться из-за обилия пыли и тяжелой работы приходится каждый день и всем вместе — у нас мало воды. Никто здесь не моется вместе с другими... Города у нас небольшие и довольно скучные. Разумеется, никаких дворцов. Жизнь, в общем, тяжела и довольно монотонна. И не всегда можно получить то, что хочешь, или даже самое необходимое, потому что всего вечно не хватает. У вас, на Уррасе, всего более чем достаточно. Достаточно воздуха, достаточно осадков, много травы, огромные океаны, сколько угодно еды, прекрасная музыка и здания, множество фабрик и самых различных машин, всем можно иметь сколько угодно книг и одежды. У вас даже история чрезвычайно богата... У вас есть все. Мы же бедны. Мы не имеем и никогда не будем иметь того, что есть здесь. А здесь все прекрасно. Кроме человеческих лиц. Зато на Анарресе очень мало красивого, но человеческие лица поистине прекрасны! Лица женщин и мужчин, лица детей. У нас нет практически ничего — только мы сами. Здесь все затмевает блеск драгоценностей и пестрота нарядов, там вы видите в первую очередь глаза! Прекрасные глаза людей, и в них — великолепие человеческого духа. Потому что у нас люди свободны, а здесь... Ведь вы, обладая собственностью, сами же находитесь в ее власти. Вы сами заключили себя в тюрьму. Каждый заперся в своей темнице вместе с грудой того, чем он владеет. Вы живете в этой тюрьме, умираете в ней... И в ваших глазах я вижу только одно: стены, стены кругом!

Все молча смотрели на него.

Его голос гулко разносился в полной тишине. Он почувствовал вдруг, как горят его уши... Потом почувствовал внутри себя какую-то пустоту; уже знакомое темное чувство вновь шевельнулось в его душе...

— Мне что-то душно, — сказал он и встал. Веа тут же взяла его под руку и, чуть усмехаясь, повлекла куда-то. Он послушно позволил ей себя увести. Уши больше не горели; он чувствовал, что, должно быть, очень бледен теперь. Дурнота не проходила, и он очень надеялся, что Веа приведет его в ванную комнату или хотя бы к окну, где можно вдохнуть свежего воздуха. Однако они оказались в какой-то просторной и темноватой комнате, видимо, спальне. У одной стены громоздилось пышное белое ложе, стену напротив почти всю занимало зеркало. Приятно пахло свежим бельем, духами, еще чем-то интимным...

— Вы несносны, вы слишком много пьете, — сказала Веа. Она стояла совсем близко и смотрела ему прямо в глаза. Потом снова чуть усмехнулась, глаза ее блеснули в полутьме. — Ну да,

несносны! Вы невозможны, вы потрясающе им ответили! Ах, какие у них были лица! Пожалуй, я вас за это поцелую. — Она привстала на цыпочки и потянулась к нему губами; перед глазами Шевека была ее белоснежная шея, обнаженная грудь... Он крепко обнял ее и страстно поцеловал в губы, с силой запрокинув ей голову, потом стал целовать горло, грудь... Веа сперва обмякла, тело ее словно вдруг лишилось костей, она повисла у него в руках, потом вздрогнула, засмеялась и стала потихоньку отталкивать его.

— Ох нет!.. Нет, не надо, возьмите себя в руки... Ну хватит, довольно, нам же нужно вернуться к гостям. Нет, Шевек, успокойтесь же! Это совсем никуда не годится!

На ее лепет он даже не отвечал. Он упорно тащил ее к белоснежной постели в глубине комнаты, и она шла, хотя и продолжала что-то говорить. Одной рукой прижимая к себе Веа, другой он пытался справиться с той невероятно сложной одеждой, что была на нем, и наконец ему как-то удалось расстегнуть штаны. Теперь задачей номер два оказалось платье Веа; казалось, ее юбка едва держится на бедрах, однако расстегнуть тугой пояс он не сумел.

— Ну все, хватит! — сердито сказала она. — Послушайте, Шевек, так не делают. Не сейчас, отпустите меня. Я ведь даже противозачаточную пилюлю не приняла. У меня могут быть неприятности. Тем более мой муж возвращается только через две недели! Да отпустите же меня, наконец! — Но уже он не мог отпустить ее. Он льнул к этой нежной надушенной плоти, чуть влажной от волнения. — Послушайте, Шевек, вы испортите мне платье, будет неудобно перед гостями... Ради Бога, Шевек! Погодите... Ну хорошо, подождите немного, мы все устроим, назначим подходящее место и встретимся... Здесь нельзя, я должна заботиться о своей репутации, а горничной я не доверяю... Если вы подождете немного... Не сейчас, Шевек! Не сейчас! Не сейчас! — Она изо всех сил оттолкнула его, испуганная этой неукротимой настойчивостью, он чуть отстранился, несколько смутившись, но остановиться уже не мог, а ее сопротивление и непритворный испуг лишь распалили его. Он резко прижал ее к себе, и семя его выплеснулось прямо на белый шелк ее платья.

— Отпустите же меня! Отпустите! — Она повторяла это пронзительным, свистящим шепотом, пока он действительно ее не выпустил. Голова у него шла кругом. Он тщетно пытался привести в порядок свои штаны.

— Я... Простите, Веа! Мне очень жаль... Я думал, вы хотите...

— Боже мой! — Веа с отвращением смотрела на свою юбку. —

Какая гадость! Вот уж право... Теперь мне придется переодеться!

Шевек застыл, хватая ртом воздух; руки висели как плети. Потом он вдруг резко повернулся и бросился вон из полутемной спальни. Снова оказавшись в ярко освещенной гостиной, где веселье было в разгаре, он стал пробираться к выходу, споткнулся о чью-то ногу и понял, что путь ему безнадежно преграждают бесконечные тела, дорогие одежды, блеск драгоценностей, обнаженные женские груди, сияние огней, громоздкая мебель... Он налетел на стол, посреди которого стояло огромное серебряное блюдо с изысканными лакомствами, разложенными концентрическими кругами. Увидев все эти яства, Шевек задохнулся, попытался глотнуть воздуха, согнулся пополам, и его вырвало прямо на блюдо.

— Я отвезу его домой, — сказал Пае.

— Пожалуйста, отвезите его куда угодно! — Веа была раздражена. — А что, вам пришлось его искать, Сайо?

— Совсем немного. К счастью, Димере догадался позвонить вам.

— Он будет счастлив увидеть вас, когда очнется.

— Ничего. Пока что с ним хлопот не будет. В холле он совсем отключился. Можно мне позвонить от вас?

— Разумеется. И передайте мой горячий привет вашему шефу! — засмеялась Веа.

Ойи приехал за Шевеком к сестре вместе с Пае. Сейчас они сидели рядом на среднем сиденье огромного правительственного лимузина, который Пае всегда мог вызвать в случае надобности — на нем они прошлым летом везли из Космопорта Шевека. В данный же момент Шевек лежал бесформенной грудой на заднем сиденье.

— Он весь день пробыл в обществе твоей сестры? — спросил Пае.

— Во всяком случае, с полудня.

— Слава Богу!

— Ну что ты так боишься, что он забредет в трущобы? Они там, на Анарресе совершенно убеждены, что у нас чуть ли не рабство, полно людей, получающих нищенскую зарплату и так далее. Да пусть он видит все, что хочет!

— Мне наплевать, что он увидит. Нельзя допустить, чтобы увидели его. Ты в последнее время в эти паршивые газетенки заглядывал? А листовки в Старом Городе видел? Насчет «гонца», «предвестника» и тому подобного? Они все цитируют тот известный миф «О гонце, что приходит, опережая свое тысячелетие» — об изгое, что «несет в пустых руках грядущее время». Этим проклятым сбродом в очередной раз овладели

апокалиптические настроения. Ищут себе предводителя. Катализатор активности. Ширятся слухи о всеобщей забастовке. Нет, они никогда и ничему не научатся! Мало их учили, видно. Всех этих чертовых мятежников надо послать драться с Тху — только так от них будет какая-то польза.

Оба умолкли, и больше до конца поездки ни один не сказал ни слова.

Ночной сторож помог им перенести Шевека из машины в его комнаты. Когда его швырнули на кровать, он тут же снова захрапел.

Ойи чуть задержался, чтобы снять с Шевека туфли и укрыть его одеялом. Дыхание пьяного было настолько зловонным, что Ойи отшатнулся. В душе его боролись любовь к этому человеку, отвращение и страх. Нахмурившись, он проворчал: «Вот еще кретин чертов!», выключил свет и вышел в соседнюю комнату. Пае стоял у письменного стола, просматривая записи Шевека.

— Оставь! — бросил Ойи; на лице его появилось еще более брезгливое выражение. — Пошли. Уже два часа ночи! Я еле на ногах держусь.

— Слушай, Димере, — удивленно глянул на него Ойи, — здесь же абсолютно ничего нет! Чем же этот ублюдок занимался все это время? Неужели он просто мошенник? Да этот «простодушный крестьянин» из чертовой «Утопии» всех нас вокруг пальца обвел! Где его великая Теория? И когда мы сможем решить проблему нуль-транспортировки и утереть нос этим хайнцам? Девять, нет, десять месяцев мы этого ублюдка холим и лелеем, а проку от него никакого! — И все-таки один из листков Пае сунул в карман, прежде чем последовать за Ойи к двери.

Глава 8
АНАРРЕС

Они собрались на стадионе Северного парка, все шестеро; над городом в лучах заходящего солнца золотились клубы пыли и плыла жара. У всех в желудках была приятная тяжесть сытной и вкусной еды — это был праздник середины лета, День Восстания (в честь первого крупного мятежа в Нио Эссейе в 740 году), и повсюду на улицах, прямо на открытом огне, готовили угощение. Надо сказать, угостились они не раз. Повара и работники столовых в этот день пользовались особым почетом — ведь именно они и начали два века назад ту забастовку, которая в итоге привела к восстанию. Таких традиций и праздников на Анарресе было много, некоторые установили еще первые поселенцы, а другие, вроде Праздника сбора урожая или дня летнего Солнцестояния, возникли спонтанно, в соответствии с ритмом жизни, установившимся на планете, среди тех, кто, работая вместе, вместе и веселился.

Шестеро друзей, разумеется, устроили дискуссию, довольно бессвязную впрочем, и только Таквер была чрезвычайно бодра и рассуждала разумно; она съела неимоверное количество жареных пирожков и маринованных овощей, несколько часов подряд танцевала, однако это пошло ей только на пользу.

— Вот скажите, почему Квигот получил назначение на рыбозаводы Керанского моря? Ведь там ему придется все начинать сызнова! А Туриб между тем осталась здесь. — С тех пор как ее собственный исследовательский проект слили с проектом, находившимся под опекой непосредственно Координационного Совета, Таквер стала ревностной поклонницей многих идей Бедапа. — А все потому, что Квигот — хороший биолог, умница, который просто не согласен с дурацкими теориями Симаса, а Туриб — ничтожество, пустышка, зато умеет отлично потереть Симасу спинку в купальне! Я вам гарантирую, что именно Туриб станет руководить всей программой, когда Си-мас уйдет на пенсию!. Пари готова держать!

— А что это такое? — спросил кто-то лениво; приятели Таквер были не слишком готовы сейчас к дискуссии по социальным проблемам.

Только Бедап, который в последнее время несколько растолстел, усердно бегал трусцой по дорожке стадиона, а остальные и не думали заниматься спортом: сидели на пыльной скамье под деревьями и болтали.

— Это слово йотик, — пояснил Шевек. — Уррасти любят играть в эту игру. Тот, кто угадывает верно возможный результат чего-либо, получает собственность проигравшего. — Шевек давно уже перестал соблюдать запрет Сабула, и все его друзья знали, что он изучал йотик.

— А как же это слово попало в наш язык? — спросил кто-то.

— Это все первые переселенцы. Они вынуждены были учить правик уже взрослыми, а думали по-прежнему на старом языке. Ведь и выражение «черт побери!» в словаре правик отсутствует. Это тоже слово йоти. Фаригв, изобретая наш язык, никаких ругательств не придумал, а может, его компьютеры просто не поняли, в чем необходимость подобных выражений.

— А вот что такое, например, «ад»? — спросила Таквер. — Я всегда считала, что это фабрика по переработке фекалий в том городке, где я выросла. Честное слово! По-моему, выражение «пошел к черту», то есть в «ад», означает, что тебя посылают в самое плохое место, какое только может быть на свете.

Дезар, который уже получил постоянное назначение на работу в Институте, однако по-прежнему вертелся возле Ше-века, хотя Таквер сторонился и разговаривал с ней редко, сказал, как всегда, чрезвычайно кратко:

— То есть на Уррас.

— Ничего подобного. На Уррасе тебя посылают к черту, когда проклянут.

— Ад — это назначение на все лето в юго-западные пустыни, — сказал Террус, эколог, старый друг Таквер. — А в йотик это связано с религиозными представлениями уррае-ти. Шев, неужели тебе так уж необходимо читать их труды по религии?

— Некоторые из старых физиков Урраса строили свои теории исключительно по религиозной модели, — откликнулся Шевек. — Такие концепции и сейчас еще в ходу. А вообще-то «ад» означает «обитель абсолютного Зла».

— Ну точно! Фабрика по переработке дерьма в Круглой Долине! — сказала Таквер. — Я так и думала.

Подбежал запыхавшийся Бедап, совершенно белый от пыли. Ручейки пота проложили в пыли дорожки. Бедап тяжело плюхнулся рядом с Шевеком и шумно выдохнул воздух.

— Скажи что-нибудь на йотик, — попросил Ришат, один из студентов Шевека. — Как он, интересно, звучит?

— Ты же знаешь. «Иди к черту!», «черт побери!»...

— Ну хватит ругаться в присутствии дамы! — притворно возмутилась Таквер. — Скажи целое приличное предложение.

Шевек добродушно улыбнулся и произнес нечто довольно длинное.

— Я не совсем, правда, уверен в произношении, — прибавил он. — Только догадываюсь, как должно быть.

— А что это ты сказал?

— «Если то, что время “проходит”, является свойством человеческого сознания, то прошлое и будущее — это функции нашего разума». Это цитата. Из работы Керемхо, предтечи классической теории.

— Как странно, что мы порой не можем понять точно таких же, как мы, людей, потому что они говорят на другом языке.

— Эти люди даже на своей планете друг друга понять не могут. И вообще у них там сотни различных языков в этих их бесконечных государствах...

— Ох, воды бы мне сейчас! Напиться бы вдоволь! — все еще тяжело дыша, простонал Бедап.

— Нет воды. И, похоже, долго еще не будет, — серьезно ответил ему Террус. — Дождей не было уже восемнадцать декад, точнее 183 дня! Самая длительная засуха в долине Аббеная за последние сорок лет.

— Если так будет продолжаться, чего доброго придется очищать и пить собственную мочу, как это делали в 20 году. Эй, Шев, не угодно ли стаканчик «писки»?

— Ты не шути, — сказал Террус. — Мы ведь буквально на ниточке сейчас висим. Будет ли еще дождь? Листовые культуры в Южном Поселении уже погибли. Там тридцать декад дождей не выпадало.

Все дружно посмотрели в затянутое золотистой дымкой небо. Зубчатые листья на деревьях, под которыми они сидели, привезенных из Старого Мира, поникли и свернулись в трубочки.

— Не будет второй засухи! — сказал Дезар. — Предотвратят! Используют современные опресняющие растения.

— Ими можно только смягчить последствия засухи, — мягко возразил Террус. — Но не предотвратить ее.

Зима в тот год наступила рано, холодная и бесснежная. Широкие улицы Аббеная были покрыты замерзшей пылью; низкие дома будто припали к земле. Вода для мытья отмерялась чрезвычайно строго: гораздо существеннее было удовлетворить жажду и голод. Двадцать миллионов жителей Анарреса одевало и кормило дерево-холум, точнее, его многочисленные разновидности, у которых использовалось все: листья, древесина, семена, клубневидные корни. В мастерских и на складах имелся некоторый запас тканей из волокна холум, однако достаточных запасов пищи на Анарресе не было никогда. Сейчас каждую каплю воды старались отдать земле, чтобы поддержать жизнь

растений. Небо над столицей было безоблачным, однако его скрывала мрачная пелена — ветер поднимал в воздух тучи пыли, принося ее из более засушливых районов юга и запада. Лишь иногда, когда ветер дул с севера, с гор Не Терас, желтая мгла рассеивалась и проглядывало холодное ярко-синее небо, в зените имевшее фиолетовый оттенок.

Таквер была беременна. Чаще всего она чувствовала себя неплохо, была добродушной, хотя и немного сонной.

— Я рыба, — говорила она. — Я рыба в воде. И я внутри того младенца, который во мне.

Но иногда она слишком уставала на работе. К тому же ей постоянно хотелось есть, поскольку порции в столовых были несколько урезаны в связи с засухой. Правда, беременные женщины, дети и старики ежедневно получали небольшую добавку к рациону — второй завтрак в 11 часов утра, — но Таквер часто пропускала его из-за жесткого графика работы в лаборатории. Она могла пропустить завтрак, но покормить рыб в аквариумах должна была обязательно. Друзья часто приносили ей что-то, специально сэкономленное за обедом — банку супа, несколько ломтиков консервированных фруктов, — и она все это съедала с благодарностью, не переставая, однако, мечтать о сладком, но сладкого на Анарресе, тем более сейчас, особенно не хватало. Переутомившись на работе, Таквер становилась беспокойной, легко огорчалась по пустякам или же вдруг вспыхивала ни с того ни с сего, как спичка.

Поздней осенью Шевек закончил «Принципы Одновременности» и передал рукопись Сабулу, одобрение которого было необходимо для того, чтобы книгу издали. Десять, двадцать, тридцать дней Сабул о рукописи молчал, а на вопросы Шевека отвечал, что у него не хватает времени и он никак не соберется ее прочесть. Шевек ждал. Прошло ползимы. Каждый день продолжали дуть сухие холодные ветры; земля промерзла насквозь. Казалось, вся жизнь вокруг замерла, застыла, безнадежно ожидая дождя, тепла, возрождения...

В комнате было темно. На улицах только-только зажглись огни, слабо мерцая под тяжелым темно-серым куполом небес. Войдя в дом, Таквер зажгла свет и присела прямо в пальто у электрокамина.

— Ух, как я замерзла! Ужас! Ноги просто окоченели, точно я босиком по льду шла. Я прямо чуть не заплакала — так больно было, еле добралась. Проклятые спекулянтские ботинки! Неужели у нас не могут делать нормальную обувь? А ты чего в темноте сидишь?

— Не знаю.

— Ты обедал? Я немного перекусила в Льготной по дороге домой. Пришлось задержаться — у кукури вот-вот должны были вылупиться мальки, а их обязательно нужно сразу отделять от взрослых особей, пока те малышей не сожрали. Нет, ты скажи мне, ты хоть что-нибудь ел?

— Нет.

— Перестань. Ну пожалуйста, не будь сегодня таким! Иначе я просто разревусь, а меня уже и так от собственных слез тошнит. Чертовы гормоны! Жаль, что мы не размножаемся, как рыбы, а как было бы хорошо: отложил икру и плыви, куда хочешь! А то еще можно вернуться и собственными детенышами пообедать... Ну хватит, Шев, не сиди с мертвым лицом. Не могу я, когда у тебя такие глаза! — Таквер уже чуть не плакала. Она по-прежнему сидела, скорчившись, у камина и тщетно пыталась расшнуровать ботинки негнущимися, замерзшими пальцами.

Шевек молчал.

— Слушай, в чем дело? Ну что ты все молчишь?

— Сегодня меня пригласил наконец Сабул, — сказал Шевек равнодушным тоном. — Он отказывается рекомендовать «Принципы» — ни к печати, ни на экспорт.

Таквер оставила свою бесполезную борьбу со шнурками и минутку посидела спокойно. Потом оглянулась на Шевека через плечо и осторожно спросила:

— Что именно он сказал?

— Его замечания на столе.

Она встала, прошаркала в одном ботинке к столу и стала читать себе под нос лежавший поверх остальных бумаг листок, засунув руки поглубже в карманы:

— Так... «Классическая теория всегда являлась столбовой дорогой для развития хронософии... ее принципы признаны всем одонийским обществом со времен Заселения... Самолюбование и эгоизм ... проявившиеся в отказе от этих принципов, могут привести лишь к бессмысленному накручиванию одной бесплодной гипотезы на другую... или же к повторению некоторых религиозно-спекулятивных теорий, созданных продажными псевдоучеными государств Урраса...» Сам ты продажная тварь! — не выдержала Таквер. — Ах ты, дрянь! Узколобый завистливый краснобай, спекулирующий идеями Одо! Неужели он пошлет этот отзыв в Издательский синдикат?

— Уже послал.

Таквер снова опустилась на пол и принялась яростно бороться со вторым ботинком, время от времени поглядывая на Шевека. Однако к нему она так и не подошла, не попыталась его

хотя бы коснуться; она вообще некоторое время молчала, а когда заговорила, в голосе ее уже не было ни слез, ни возмущения. Он звучал как обычно — ласково, глуховато, как бы с затаенным мурлыканьем.

— Что ты будешь делать, Шев?

— Ничего тут не поделаешь.

— Нет, мы эту книгу непременно напечатаем! Создадим свой синдикат, научимся набирать и так далее и все сделаем сами.

— Бумага выдается по минимуму. Только на то, что имеет «жизненно важное значение» — решение Координационного Совета, пока не будет ясно, что плантации деревьев-холум спасены.

— А нельзя ли как-то замаскировать твою работу? Немножко завуалировать истинный смысл выводов, украсить «фестончиками» из классической физики... Чтобы ее все-таки пропустили, а?

— Невозможно. Нельзя черное выдать за белое.

Она не стала спрашивать насчет обходных путей, возможностей опубликовать работу через голову Сабула. Для анаррести это было бы вопиющим нарушением законов этики. Да и не было никаких обходных путей. Не можешь работать вместе со всеми — работай один.

— А что, если... — Она нерешительно умолкла. Встала, подошла к камину и прислонила к нему снятые наконец совершенно ледяные ботинки. Потом сняла пальто, аккуратно повесила его, накинула на плечи тяжелую, ручной работы шаль и, охнув тихонько, присела на краешек кровати. Посидев немного, она подняла глаза на Шевека. Тот продолжал сидеть в прежней позе — к ней боком; профиль его четко вырисовывался на фоне окна. — А что, если, — снова заговорила Так-вер, — предложить ему подписать эту работу в качестве твоего соавтора? Как ту, самую первую?

— Сабул не поставит свою подпись под «повторением религиозно-спекулятивных теорий».

— Ты уверен? А по-моему, именно этого он и добивается. Он же понимает, что ты создал! Ты и сам всегда говорил, что он тщеславен. Он знает, что «Принципы» подрывают основы классической теории и способны все его собственные работы отправить в мусорный ящик. Но если бы он мог разделить с тобой славу первооткрывателя... Для него ведь существует только собственное «я»! Если бы он всюду мог говорить, что это его книга...

— Я уж скорей разделю с ним тебя, — с горечью возразил Шевек.

— А ты попробуй посмотреть на это иначе, Шев. Ведь главное — это сама твоя работа, твои идеи. Вот послушай: мы с тобой хотим родить ребенка, мы уже любим его, мы намерены сами воспитывать малыша, но если вдруг окажется,, что по какой-то причине его нельзя будет оставить с нами, если он непременно умрет дома и сможет выжить только в больнице, если для его спасения потребуется его отдать и никогда больше его не видеть, даже имени его не знать... Если бы перед нами стоял такой выбор, что бы ты предпочел? Оставить его у себя и дать ему умереть, или расстаться с ним — и позволить ему жить?

— Не знаю, — сказал он и уронил голову на руки. Потом ветрепенулся и яростно потер виски. — Да, разумеется... Да. Но это... но я...

— Родной мой. — Таквер стиснула на коленях руки, но до него так и не дотронулась. — Не имеет значения, чье имя будет на обложке. Люди поймут. Главное — сама книга.

— Но «Принципы» — это все равно что я сам. — Он закрыл глаза и застыл, точно мертвый. И тут она все же подошла к нему и коснулась его — так легко и нежно, точно под руками у нее была открытая рана.

В начале 164 года первое — сокращенное и коренным образом измененное — издание «Принципов Одновременности» увидело свет в Аббенае; авторами значились Сабул и Шевек. Координационный Совет по-прежнему разрешал печатать только самую необходимую информацию, однако Сабулу, имевшему влияние в издательских кругах, удалось убедить Совет в чрезвычайной пропагандистской ценности данной книги, особенно за границей. Уррас, сказал он, процветает, тогда как на Анарресе царят засуха и голод. Доставленные оттуда периодические издания полны ужасающих пророчеств относительно скорого и неизбежного краха одонийской экономики. Разве есть лучший способ противостоять этим утверждениям, чем публикация работы чисто теоретической, доказывающей, что есть еще порох в пороховнице? «Этот величественный монумент чистой науки, — писал Сабул в своей новой рецензии, — парит над проблемами материальной вражды и выгоды, доказывая несомненную жизнеспособность одонийского общества и его абсолютную победу над иерархическим обществом собственников».

Итак, работа была опубликована в соавторстве с Сабулом, и пятнадцать ее экземпляров (из трехсот) отправились на грузовом корабле «Старательный» на планету Уррас, в государство А-Йо. Шевек изданную книжку даже не открыл. Однако в

подготовленный к отсылке на Уррас пакет вложил копию полного варианта собственной рукописи и на первой странице приписал просьбу — передать рукопись доктору Атро с физического факультета Университета Йе Юн с наилучшими пожеланиями от автора. Он знал, что Сабул, который давал окончательное «добро» всему пакету, не мог не заметить этого дополнения; он мог беспрепятственно конфисковать рукопись; мог ее пропустить, понимая, что «кастрированная» им книга никогда не произведет на физиков Урраса должного эффекта. Он ничего не сказал Шевеку о судьбе рукописи, а тот ни о чем его не спросил.

В ту весну Шевек вообще был исключительно неразговорчив. Он добровольно согласился принимать участие в строительстве нового водоочистительного предприятия на южной окраине Аббеная и либо целыми днями пропадал там, либо занимался со студентами. Кроме того, он снова занялся исследованием субатомных структур, часто.работая вечерами на институтском ускорителе или в лабораториях. В присутствии Таквер и друзей он был тих, спокоен и холоден.

Таквер вот-вот должна была родить; живот у нее стал огромным, ходила она вразвалку, точно неся перед собой огромную тяжелую корзину с бельем. Но работы в лаборатории не оставила, пока не подыскала подходящую замену и не обучила всему, что считала необходимым. В первое же утро, когда она, сдав наконец дела, отправилась домой, чтобы немного отдохнуть, у нее начались схватки. Почти на две недели позже срока. Несколько часов она пролежала одна — Шевек вернулся лишь к вечеру.

— Можешь сходить за акушеркой, — спокойно сообщила ему Таквер. — Скажи, что схватки следуют примерно минут через пять, но пока довольно ровно. Бегом не беги — ничего страшного, успеешь.

Но он побежал, и когда акушерки на месте не оказалось, его охватила настоящая паника. Терапевта тоже почему-то не было, и ни один из них даже записки не оставил на двери кабинета, как обычно, чтобы можно было их как-то отыскать. Сердце бешено забилось у Шевека в груди: он вдруг с ужасающей ясностью увидел все события последнего времени и свою роль в них. Отсутствие медицинской помощи было наказанием — ему, ибо он совсем отдалился от Таквер за эту зиму, после решения напечатать книгу в соавторстве с Сабу-лом. Он бросил Таквер в таком положении, а она... становилась все более тихой, какой-то пассивной... Очень терпеливой. Теперь он понимал почему: это она готовилась к смерти! Она сама отошла в сторону, чтобы не мешать ему, а он даже попытки не сделал последовать за нею! Его

заботило только собственное горе, собственное разочарование, но никогда — ее страхи, ее мужественная борьба за будущего ребенка. Он сам бросил ее — он хотел, чтобы все оставили его в покое! — и вот теперь она уходит, уже ушла... слишком далеко, чтобы он мог догнать ее... и уйдет еще дальше, одна, навсегда...

В районную больницу он примчался настолько запыхавшимся и обессиленным, что там сперва решили, что у него плохо с сердцем. Он объяснил, в чем дело, и они тут же послали за акушеркой, а ему велели идти домой, поскольку роженицу нехорошо оставлять одну. Он бежал, и с каждым шагом в нем рос ужас, уверенность в том, что он потеряет Таквер.

Однако, влетев в дом, он не смог даже упасть перед ней на колени и попросить прощения: у Таквер не было ни сил, ни времени на эмоциональные сцены — она уже успела все снять с постели, постелила чистую простыню и вовсю трудилась, рожая их дочь. Она не кричала, не выла, не плакала, словно ей и не было больно: она работала. Как только наступала очередная схватка, а они теперь шли очень часто, она старалась не напрягаться и дышать правильно, а когда боль отпускала, издавала громкое удовлетворенное «уфф!», точно только что неимоверным усилием подняла что-то очень тяжелое. Шевек никогда не видел, чтобы какая-нибудь работа требовала от человека столь интенсивного напряжения души и тела.

И естественно, ему очень хотелось помочь Таквер. Он крепко держал ее за руки и тянул на себя, когда Таквер подавала ему соответствующий знак; они довольно быстро приспособились делать это, когда начались потуги, и за этим занятием их застала прибежавшая акушерка. Таквер так и родила — присев на корточки, прижавшись лицом к бедру Шевека и крепко держась руками за его сомкнутые замком руки.

— Ну вот и все! — негромко сказала акушерка под тяжкое, точно работа парового молота, дыхание Таквер, держа на руках покрытое слизью, крошечное, но все же самое настоящее человеческое существо. За ребенком на пол вылилась целая лужа крови и выпало что-то еще — ужасное, аморфное, неживое, — и ужас, который Шевек успел уже позабыть, охватил его с удвоенной силой. Ему казалось, он видит перед собой смерть. Таквер отпустила его руки и сползла, совершенно обессиленная, к его ногам. Он склонился над нею, окаменев от ужаса и горя.

— Ага, это хорошо! — сказала почему-то акушерка. — Не стой. Помоги-ка перенести ее на постель, а я все это уберу.

— Я хочу вымыться, — послышался слабый голос Таквер.

— Вот-вот, помоги ей привести себя в порядок, — посоветовала Шевеку акушерка. — Вон стерильные полотенца...

вон те.

— Уа-уа-уа, — сказал вдруг рядом кто-то еще.

Шевеку показалось, что в комнате стало очень людно.

— Ну, обмыл ее? Ладно, хватит, — остановила его акушерка. — Возьми-ка малышку — пусть мать приложит ее к груди. И девочке полезно, и кровотечение остановить поможет. А я пока быстренько отнесу плаценту в больницу, суну в холодильник и сразу вернусь, минут через десять, не больше.

— А где же... Где...

— Да в колыбели, — бросила акушерка, уже выходя за дверь, и Шевек с изумлением обнаружил рядом очень маленькую кроватку, вспомнив, что на самом деле ее приготовили уже давно, больше месяца назад. Девочка была там. Каким-то немыслимым образом во всей этой суете акушерка успела не только обмыть ребенка, но и одеть в чистую распашонку и запеленать, и теперь малышка уже совсем не была похожа на покрытую слизью рыбину. Смеркалось, причем удивительно быстро — как все, что происходило сегодня. Уже во всех окнах горел свет. Шевек взял на руки дочь, личико у нее было невероятно маленьким, с нежными, почти прозрачными сомкнутыми веками...

— Давай-ка мне малыша, — сказала Таквер. — Ой, ну пожалуйста, Шев, давай скорее!

Он пронес ребенка через всю комнату и очень осторожно опустил в объятия Таквер.

— Ах! — вырвалось у нее. Это был тихий вздох облегчения после честно одержанной победы.

— Кто у нас? — сонно спросила Таквер через некоторое время.

Шевек сидел рядом, на краешке кровати, и смотрел на ребенка, смущенный крошечными ручками и ножками и совершенно обалдевший.

— Девочка.

Вскоре вернулась акушерка и занялась наведением порядка в комнате.

— Вы оба просто молодцы! — похвалила она их. — Отлично со всем справились! — Они молча восприняли эту похвалу. Шевек потупился. — Я завтра утречком забегу, — пообещала акушерка и ушла. Девочка и Таквер уснули. Шевек положил голову на подушку рядом с Таквер и ощутил знакомый, чуть мускусный запах ее кожи. Но сейчас к этому запаху примешивалось что-то еще, какое-то нежное благоухание... Таквер спала на боку, прижав девочку к груди. Очень нежно Шевек обнял ее и, окутанный этим ароматом жизни, тоже заснул.

Одониец имел к моногамии не большую склонность, чем, скажем, к совместному производству, к балету или изготовлению строительных материалов. Партнерство в семейных отношениях носило совершенно свободный характер, как во всех прочих сферах жизни. Такие отношения могли порой длиться годами, порою же партнеры расставались очень быстро. Социального института брака не существовало. И расставание партнеров никем не порицалось — это было исключительно их личным делом.

Все это полностью согласовывалось с теорией Одо. Прочность обещания, даже если даешь его на неопределенных условиях, была тем основным понятием, которое коренилось глубоко в сознании одонийцев. С первого взгляда могло показаться, что непременное условие «свободы любых перемен» как бы полностью обесценивает саму идею надежности обещания или клятвы; однако именно эта свобода и придавала любому данному обещанию особый смысл. Обещание становилось подобным избранному направлению, ибо являлось как бы самоограничением выбора. Как указывала Одо, если направление не избрано, если человек или общество никуда не движется, то никаких перемен и не произойдет. Свобода выбора и перемен, предоставленная человеку, останется неиспользованной, как если бы этот человек был заключен в тюрьму, но только построенную им самим, в лабиринт, из которого выхода нет. Таким образом, с точки зрения Одо, обещание, клятва, сама идея верности превращались в основную движущую силу, в основной этический вектор сложного понятия свободы.

Многие, впрочем, считали, что идея верности совершенно неоправданно применяется к интимным отношениям между мужчиной и женщиной. Они говорили, что в данном случае Одо «подвела» ее принадлежность к женскому полу. Порой она в своих работах доходила практически до полного отказа от истинной свободы любви; в таких случаях ее критиковали за «чересчур женский» подход к этой проблеме, за то, что она пишет «не для мужчин». Надо сказать, что довольно многие женщины также критиковали Одо за подобную точку зрения; по всей видимости, она оказалась не понятой не только мужчинами, но неким определенным типом людей, составляющим весьма значительную часть человечества, — теми, для кого эксперимент и разнообразие составляют суть и основу сексуальных отношений.

Хотя сама Одо, возможно, недостаточно хорошо понимала таких людей, она одновременно считала и тех, кто намеревался сохранять верность друг другу, некоей «собственнической аберрацией нормы; таким образом, ее теория все же гораздо

лучше подходила для временных любовников, а не для тех, кто вступал в длительные партнерские отношения. Никакого закона о семье, никаких ограничений, никаких наказаний, никакой ответственности, никакого неодобрения по отношению к любым формам сексуальных отношений. Исключение составляли лишь насильники; за изнасилование ребенка или женщины соседи вполне могли наказать преступника чрезвычайно жестоко, если он не успевал сам предать себя в руки куда более мягкие — укрыться в центре принудительного лечения. Однако насилие в одонийском обществе встречалось исключительно редко — ведь здесь удовлетворение сексуальных потребностей воспринималось как норма с момента достижения человеком половой зрелости, а единственным социально-этическим ограничением было довольно мягкое требование соблюдения интимности (подобная «скромность» была, по сути дела, вынужденной, навязанной особенностями жизни в тесной коммуне).

У тех, кто все же решался создать некое подобие семьи — гомосексуальной или гетеросексуальной, — возникали свои проблемы, совершенно неведомые сторонникам «свободной любви». Партнеры, особенно живущие вместе длительное время, неизбежно сталкивались не только с ревностью, пробуждением собственнических инстинктов и прочими «недугами», для которых моногамный союз обеспечивает столь благоприятную почву, но и с давлением извне. Такая пара, например, всегда должна была помнить, что их в любой момент могут разлучить в связи, скажем, с необходимостью перераспределения рабочей силы.

Сотрудники ЦРТ, в общем, старались не разлучать подобные пары или же воссоединяли их, как только это вновь становилось возможным; однако возможным это оказывалось не всегда, особенно если мужчин поголовно призывали на какие-то срочные работы. Да никто и не ожидал, что Центр станет переделывать свои списки и вносить коррективы в программы компьютеров во имя воссоединения какой-то пары. Во имя продолжения жизни на планете каждый анаррести готов был в любой момент отправиться туда, где он более всего нужен, и делать ту работу, в которой на данный момент была наибольшая потребность. Человек вырастал, воспринимая произвольное распределение назначений на работу как основополагающий фактор жизни, как неотложную, постоянную социальную необходимость; тогда как семья, супружество считались исключительно личным делом, тем выбором, который можно было совершить только в пределах иного, более важного множества выборов.

Но когда направление выбрано по собственной доброй воле и

от души, может показаться, что все вокруг способствует твоему продвижению вперед. Зачастую возможность и реальность разлуки служила лишь укреплению взаимной верности партнеров. В стремлении сохранить верность друг другу было что-то от вызова Судьбе и, возможно, обществу — где не существовало ни правовых, ни моральных наказаний за неверность, где на разлуку приходилось соглашаться добровольно, где вас могли разлучить в любое время и на долгие годы... Впрочем, люди всегда любили бросать вызов Судьбе и искали свободы в ее противоположности.

В 164 году многие из тех, кто никогда не пытался бросать вызов Судьбе, попробовали, что это значит; и многим понравилось испытывать себя на прочность, понравилось ощущение опасности. Засуха, начавшаяся летом 163 года, не закончилась к зиме, и к лету следующею, 164 года возникли серьезные экономические трудности и угроза голода.

Рационы были строго ограничены; график работ составлен по принудительному образцу. Борьба за то, чтобы вырастить хоть какой-то урожай и суметь правильно распределить запасы, приобрела конвульсивный, отчаянный характер. И все же люди не впадали в отчаяние. Одо писала: «Ребенок, свободный от бремени собственничества, от бремени экономического соперничества, вырастет с желанием всегда делать то, что необходимо всем, и будет способен радоваться, делая это. Работа бессмысленна, если она омрачает душу. Радость матери, кормящей своего малыша, или учителя, или удачливого охотника, или хорошего повара, или умелого работника — любого, кто делает нужную другим работу и делает ее хорошо, — удивительно сильна и прочна, она является, возможно, одним из самых глубоких источников человеческой признательности и социальности». В этом смысле Аббенай летом 164 года был подхвачен как бы неким незримым потоком счастья. Работа делалась всеми с легкой, открытой душой, как бы тяжела она ни была, и всегда ощущалась готовность любого забыть о своих личных заботах и проблемах во имя общего дела. Вновь ожили старые лозунги времен Заселения. Было упоительно сознавать, что связи между отдельными членами общества лишь упрочились, несмотря на все тяжкие испытания.

В начале лета Координационный Совет расклеил объявления о том, что люди могут сократить свой рабочий день примерно на час, поскольку содержание белка в их рационе не является достаточным для восстановления затраченной за полный рабочий день энергии. Могучая трудовая активность пошла на спад, стих шум городских улиц. Люди, закончив работу, лениво слонялись

по площадям и скверам, играли в шары или просто сидели в дверях своих фабрик и мастерских, вступая в разговоры с прохожими. В городе стало заметно меньше людей — десятки тысяч уехали добровольцами на срочные сельскохозяйственные работы. Однако взаимное доверие, солидарность людей одерживали верх над депрессией и тревогой. «Мы друг друга насквозь видим», — честно признавались они, действительно исхудавшие до крайности, но не утратившие присутствия духа и жизненной энергии. Когда в северных пригородах пересохли колодцы, временные водопроводы из других районов были проложены туда буквально за тридцать часов — добровольцами, после трудового дня, людьми как высокой квалификации, так и необученными, взрослыми и подростками.

В конце лета Шевек был послан на сельскохозяйственные работы в Южное Поселение, на ферму Красные Ручьи. Синоптики надеялись на дожди, которые должны были выпасть в экваториальных районах во время муссона, и нужно было попытаться вырастить урожай до возвращения засухи.

Он давно уже ждал подобного назначения, поскольку строительство водоочистного предприятия было завершено и он сам внес свое имя в общий список. А пока он вел занятия со студентами, много читал, участвовал в любых срочных работах, какие объявлялись в их квартале или в городе, и возвращался домой, к Таквер и маленькой дочери. Таквер через пять декад после родов снова вышла на работу в лабораторию, но бывала там теперь только по утрам. Как кормящая мать она получала некоторые белковые и углеводные добавки и очень старалась их не пропустить. Друзья не могли теперь делиться с нею едой — лишней еды просто не было. Таквер очень похудела, но вид у нее все равно был цветущий, и девочка тоже была небольшая, но крепенькая.

Шевеку возня с дочкой доставляла огромное удовольствие. Оставаясь с ней наедине по утрам (они отдавали ее в ясли, только в те дни, когда у него были лекции или приходилось выходить на срочную работу), он испытывал щемящее чувство собственной необходимости, которое, собственно, и является счастливым бременем и наградой родительства. Живая, чутко на все реагирующая девочка оказалась великолепной слушательницей, и Шевек вовсю развертывал перед ней свои словесные фантазии, которые Таквер добродушно называла «проблесками безумия». Он, например, брал малышку на колени и читал ей совершенно немыслимые лекции по космологии, объясняя, что время — это на самом деле пространство, только как бы вывернутое наизнанку, а фотон — иная ипостась кванта, объясняющая,

почему расстояние можно считать одним из случайно проявляющихся свойств света. Шевек давал дочери экстравагантные, бесконечно менявшиеся прозвища, читал ей смешные и забавные «мнемонические» стишки собственного сочинения: «Время — оковы, Время — тиран, сверхмеханический, сверхорганический...», и — ух! — подбрасывал ее в воздух, а она попискивала от удовольствия и размахивала своими толстенькими ручонками. В итоге счастливы были оба. Когда же Шевек получил назначение на юг, то сердце его сжала щемящая тоска. Он все-таки очень надеялся, что его пошлют не так далеко от Аббеная. Однако, вместе с весьма неприятной необходимостью расставаться с Таквер и дочкой на целых шестьдесят дней, откуда-то возникла твердая уверенность в том, что он непременно вернется назад. И пока эта уверенность у него была, он ни на что не жаловался.

Вечером, накануне его отъезда, к ним зашел Бедап; они вместе пообедали в институтской столовой, а потом долго сидели и разговаривали у них дома, не зажигая света и открыв окна. Стояла жуткая духота. Бедап, который обычно ел в маленькой столовой, где поваров можно было попросить порой приготовить что-то по специальному заказу, сэкономил весь свой спецпаек соков и принес с собой небольшую бутылочку, которую с гордостью и вытащил из кармана, точно напоминание о давно минувших вечеринках. Они пустили ее по кругу и с наслаждением вкушали напиток, причмокивая от удовольствия.

— А вы помните, — сказала Таквер, — сколько было еды на той вечеринке, когда Шев уезжал из Северного Поселения? Я съела целых девять жареных пирожков.

— Ты тогда еще так коротко стриглась, — сказал Шевек, сам удивленный этим воспоминанием; ему никогда не приходило в голову сравнивать ту стриженую девушку с теперешней Таквер. — Это ведь была ты, правда?

— А кто же?

— Черт возьми, но ты же тогда была совсем девчонкой!

— Между прочим, ты и сам был не старше! Все-таки десять лет прошло. А я потому тогда так коротко стриглась, что мне ужасно хотелось чем-то выделиться, быть не похожей на остальных, более интересной. Очень мне это помогло! — Она звонко расхохоталась было, но тут же умолкла, боясь разбудить девочку, спавшую за ширмой. Однако малышка спала крепко. — А интересно, почему так бывает?

— По-моему, лет в двадцать это бывает у всех, — сказал Бедап. — Просто наступает время, когда нужно решить, то ли всю оставшуюся жизнь быть таким, как остальные, то ли принести

себя в жертву собственной индивидуальности.

— Или, по крайней мере, смириться с нею, — сказал Шевек.

— У Шева сейчас вообще смиренное настроение, — пояснила Таквер. — Это у него старость, должно быть, наступает. Ему ведь уже тридцать стукнуло!

— Ну ты-то и в девяносто смиренной не будешь, — похлопал ее по спине Бедап. — Кстати, ты уже смирилась с именем, которое дали вашей дочке?

Пяти- и шестибуквенные имена, которые предлагал центральный регистрационный компьютер, являлись абсолютно уникальными и заменяли в обществе анаррести удостоверение личности. Никаких других данных жителю Анарреса не требовалось: в его имени были закодированы все сведения о нем. Таким образом, имя становилось чрезвычайно важной составляющей его человеческой сущности, хотя никто из анаррести не мог сам выбрать себе или своему ребенку имя, как не мог, например, выбрать себе при рождении иной нос или рост. Таквер совершенно не нравилось имя, которое дали их дочери: Садик.

— Нет, не смирилась, — ответила она Бедапу. — «Садик» по-прежнему звучит так, словно у меня полон рот мелких камешков. И оно ей совершенно не подходит!

— А мне это имя нравится, — сказал Шевек. — Мне в нем видится высокая стройная девушка с длинными черными волосами...

— Хотя пока это всего лишь маленькая толстушка, и волос у нее что-то совсем не видно, — подхватил Бедап.

— Дайте ей время, братцы! Она вырастет и будет прекрасна! Послушайте. Я сейчас произнесу речь.

— Речь! Речь!

— Ш-ш-ш...

— Чего там «ш-ш-ш», этот ребенок способен проспать даже землетрясение!

— Тихо. Вы сами виноваты в том, что я окончательно расчувствовался. — Шевек поднял свою чашечку с фруктовым соком. — Я хочу сказать... Я вот что хочу сказать: я рад, что Садик родилась именно сейчас. В тяжелый год, в трудные времена, когда так важно ощущение локтя. Я рад, что она родилась здесь, на этой планете. Что она одна из нас, что она наша дочь и наша сестра. Вот я, например, очень рад, что она сестра Бедапа, сестра Сабула... даже Сабула! И я пью вот за что: я очень надеюсь, что всю жизнь Садик будет любить своих братьев и сестер так же сильно и с той же радостной отдачей, как я люблю их сегодня. И еще я очень надеюсь, что все-таки пойдет дождь...

Координационный Совет, основной пользователь радиотелефонной и почтовой связи, координировал все ее средства, как и средства дальнего сообщения и судоходства. На Анарресе не существовало никакого «бизнеса» в том смысле, в каком он связан с рекламой, инвестициями, спекуляцией и так далее, и почтовые отправления в основном состояли из переписки между промышленными и профессиональными объединениями, обмена информацией и бюллетеней, издаваемых КСПР, а также из относительно небольшого количества личных писем. Живя в таком обществе, где каждый мог в любой момент переместиться, куда захочет, анаррести обычно заводили друзей там, где находятся в данный момент, не очень заботясь о том, что было раньше. Телефонами в пределах одной коммуны вообще пользовались крайне редко и только по важному делу; коммуны чаще всего были просто недостаточно велики для телефонных разговоров. Даже в Аббенае сохранилась привычка селиться поближе «к своим» — в определенных кварталах, которые были полуавтономными и внутри которых можно было добраться до тех, кто тебе нужен, просто пешком. По телефону звонили главным образом издалека, и эти переговоры осуществлялись с помощью Координационного Совета. Частные разговоры следовало заказывать заранее по почте, если только это не краткое сообщение в несколько слов, для передачи которого можно было просто воспользоваться услугами телефонисток. Письма посылали незапечатанными — разумеется, не по закону, а по взаимному соглашению. Личная переписка из далеких мест была весьма дорогостоящей, в том числе и в плане чисто человеческих услуг; существовало даже почти негативное отношение к «необязательным», то есть неделовым, письмам или телефонным звонкам. Это было следствием привычки к «обобществлению» всего; к тому же излишества всегда попахивали эгоизмом, стремлением к «отделению от общества». Возможно, именно поэтому письма и принято было отсылать незапечатанными: ты как бы не был вправе просить людей пересылать твое письмо, если они сами прочесть его не могут. Письма отправлялись обычно с почтовым дирижаблем КС — это если повезет — или на грузовом поезде, что было гораздо медленнее. Зачастую письмо, прибыв в нужный город, валялось на почте до бесконечности, поскольку почтальона там вообще не было, пока кто-нибудь не сообщал адресату, что ему пришло письмо, и тогда человек сам шел на почту и забирал его.

Однако же каждый все-таки сам решал для себя, писать ему письма или нет. Шевек и Таквер писали друг другу регулярно,

примерно раз в декаду.

«Поездка в целом прошла неплохо, — писал Шевек. — На грузовике добирались всего три дня. Здесь собралось множество людей, говорят, тысячи три. Последствия засухи, в этих краях просто ужасны, хотя еда в столовых точно такая же, как в Аббенае, да еще на завтрак и на обед дают дополнительно вареные побеги тара — у них есть некоторый запас, ведь тара произрастает именно там. Но климат в этой проклятой пустыне Даст все-таки мучителен для человека. Воздух ужасно сухой, и все время дует ветер. Порой бывают, правда, короткие дождики, но уже через час земля снова начинает трескаться и в воздухе повисает пыль. Здесь выпало меньше половины ежегодной нормы осадков. У всех, кто участвует в осуществлении Проекта, губы в кровавых трещинах, из носу тоже все время идет кровь и глаза страшно раздражены. Кругом кашель. Среди постоянных жителей Красных Ручьев очень многие страдают аллергическим кашлем, вызванным пылью. Особенно плохо приходится маленьким детям; у многих страшный конъюнктивит, часто встречаются рожистые воспаления на теле. Интересно, заметил бы я это полгода назад? Когда у тебя появляется собственный ребенок, зрение обостряется. Работа самая обыкновенная; отношения между людьми хорошие, но суховеи действуют на нервы. Прошлой ночью я вспоминал нашу поездку в Не Терас, и шелест ветра за окном напоминал звук того журчавшего в темноте ручья... Я не жалею о нашей разлуке: она позволила мне понять, что я стал отдавать меньше, чем могу; я стал считать тебя своей собственностью (а себя — твоей), а отдавать как бы самому себе бессмысленно. В действительности же наши отношения не имеют никакого отношения к собственности. Мы просто пытаемся приспособиться к целостности Времени. Напиши, как поживает Садик, что она делает. Я немного преподаю — три раза в неделю для желающих; тут есть одна девочка — прирожденный математик, и я непременно буду рекомендовать ее в Институт. Твой брат Шевек».

А вот письмо Таквер:

«Меня очень бесп. одна странная вещь. Расп. лекций было составлено три дня назад, и я пошла посмотреть, какие дни у тебя будут заняты. Но оказалось, что тебя в расписании вообще нет! За тобой не числится ни одной лекции, ни одной аудитории! Я решила, что это случайность, просто пропустил диспетчер, и пошла в препод. синдикат, а там мне говорят: да-да, мы хотели... курс геометрии... Тогда я двинулась в адм. отдел Ин-та, к той старухе, знаешь, с таким огромным носом, но она ничего мне

сказать не могла: нет, нет, мне ничего не известно, ступайте к диспетчеру! Чушь какая! — сказала я и пошла к Сабулу. Но его на месте не оказалось, я и потом не смогла его застать ни разу. В Ин-т мы ходили вместе с Садик; она носит прелестную белую шапочку, которую связал для нее Террус и которая ей очень идет. У меня нет ни малейшего желания где-то искать этого Сабула — не знаю уж, в какой норе он прячется. А может, он тоже отправился куда-нибудь добровольцем? Ха-ха-ха! Тебе, наверно, стоило бы позвонить в Ин-т и выяснить, что там происходит? Вообще-то я сходила и в ЦРТ, проверила списки, но никакого нового назначения для тебя не обнаружила. Странно, что та старуха с носом из адм. отдела не только якобы ничего не знает, но и не хочет ничем помочь... Похоже, вообще никому до этого нет дела. Бедап прав: мы позволили бюрократам расползтись по всему Анарресу. Пожалуйста, возвращайся скорей (вместе с этой гениальной юной математичкой, если это так уж необходимо)! Разлука, конечно, дает определенные знания, но мне гораздо больше нужно знать совсем другое: что ты рядом. Я каждый день получаю дополнительно пол-литра фруктового сока и еще всякие кальциевые добавки — молоко у меня стало пропадать, и С. остается голодной, а потому часто плачет. Спасибо добрым старым докторам, что они еще меня подкармливают! Все. Всегда тв. Т.»

Шевек так никогда и не получил этого письма. Он уехал из Южного Поселения до того, как письмо попало на почту в Красных Ручьях.

От Красных Ручьев до Аббеная было примерно две с половиной тысячи миль. При необходимости люди добирались обычно автостопом — все транспортные средства использовались и как пассажирские, а в грузовики сажали столько людей, сколько помещалось. Но поскольку на этот раз уезжало одновременно четыреста пятьдесят человек и все на северо-запад, то для них организовали специальный железнодорожный состав; вагоны, разумеется, были не совсем пассажирские, но в настоящий момент хоть немного приспособленные для перевозки пассажиров. Самым противным был тот, в котором раньше возили копченую рыбу.

Целый год засухи породил значительные трудности с транспортом, несмотря на отчаянные усилия Федерации транспортных работников удовлетворить все запросы. Эта федерация была самой крупной на Анарресе и подразделялась на региональные синдикаты, которые координировали свою деятельность, посылая представителей на регулярно

проводившиеся съезды, куда приглашались также члены Координационного Совета. Транспортная сеть в обычные времена, то есть при ограниченной нагрузке, вполне справлялась со своими функциями; она была достаточно гибкой, легко приспосабливалась к различным обстоятельствам, и члены транспортных синдикатов всегда испытывали по этому поводу профессиональную гордость. Всегда было довольно много желающих вступить в Федерацию транспортников. На Анарресе любили называть свои поезда и дирижабли звучными именами: «Неукротимый», «Стойкий», «Пожирающий ветер»; а на грузовиках писали, например: «Мы всегда добираемся до места!», «Пассажиров не бывает слишком много!» и тому подобную веселую чушь. Но сейчас, когда голод угрожал целым огромным регионам, если туда вовремя не подвезти продукты из других мест, когда то и дело требовалось перебрасывать на значительные расстояния множество добровольцев, транспорт Анарреса справляться с предъявляемыми к нему требованиями перестал. Не хватало грузовиков; не хватало шоферов. Все, что имелось у Федерации транспортников летающего или способного ездить по рельсам и дорогам, срочно было пущено в ход; ученики-подростки, пенсионеры, неквалифицированные добровольцы и те, кого ЦРТ направлял на срочные работы, изо всех сил старались помочь разобраться с этим сложным хозяйством, с бесчисленными грузовиками, поездами, кораблями, портами и складами.

Тот поезд, на котором ехал Шевек, продвигался вдоль побережья крайне медленно — с долгими остановками и короткими пробегами — поскольку все поезда, доставлявшие продукты питания, имели преимущества в графике движения. Потом их поезд вообще застрял на двадцать часов: от переутомления или просто по незнанию новоиспеченный диспетчер совершил ошибку, и на линии произошла авария.

В том маленьком городке, где поезд простоял почти сутки, не имелось никаких запасов ни в столовых, ни на складах, тем более для такого количества пассажиров. Это была даже не сельскохозяйственная коммуна, а заводской поселок, где изготавливались строительные плиты из бетона и «пенного камня». Поселок построили здесь из-за удачного сочетания богатых залежей известняка и вполне судоходной реки. Помимо завода, здесь было огромное автохозяйство, однако жители целиком зависели от поставок провизии из других районов. Если бы четыреста пятьдесят пассажиров застрявшего поезда хотя бы позавтракали, сто шестьдесят местных жителей остались бы голодными на весь день. В идеале, разумеется, жители Анарреса

всегда должны были делиться друг с другом — все поесть понемножку или, точнее, остаться практически голодными. Если бы на поезде было пятьдесят или хотя бы сто человек, коммуна, возможно, так и поступила бы, выделив пассажирам хотя бы немного хлеба. Но четыреста пятьдесят?.. И еще неизвестно, когда придет следующий поезд с продуктами?.. И сколько зерна он доставит?.. Они не дали пассажирам поезда ничего.

Путешественники, ничего не получившие в тот, самый первый день, проголодали в итоге шестьдесят часов. Поезд продолжал стоять, пока не расчистили пути, а потом им пришлось проехать еще миль сто пятьдесят до той станции, где в столовой имелся некоторый запас провизии для пассажиров.

Шевек впервые испытал настоящий голод. Иногда он сознательно голодал целыми днями — когда особенно увлеченно работал и не желал прерывать работу для похода в столовую. Однако он знал, что всегда может поесть два раза в день; это было столь же незыблемым правилом, как восход и заход солнца. Он никогда даже не задумывался, как это бывает, когда есть не дают совсем. Никто в обществе одонийцев никогда не оставался голодным.

Час за часом голод становился все сильнее, а поезд по-прежнему стоял между щербатым пыльным перроном запасного пути и наглухо закрытыми воротами фабрики. Шевек мрачно размышлял о реальности голода на планете и о том, что их замечательное общество все же, видимо, неадекватно в том смысле, что вполне может утратить свою хваленую солидарность, если столкнется с такой серьезной трудностью, как всеобщий голод. Было легко делиться тем, чего достаточно, пусть даже не совсем достаточно, но все же хватает, чтобы как-то продержаться. А когда хватать перестанет? Тогда вступит в действие сила; уверенность в том, что ты, возможно, прав, раз ты сильнее других; и воцарится непременная составляющая власти — насилие, и расцветет самый верный союзник власти — умение отводить глаза при виде чужого горя...

Презрение пассажиров к жителям городка становилось все сильнее; однако даже их нескрываемое возмущение казалось менее угрожающим, чем поведение самих горожан: было страшно видеть, как они прячутся за «своими» закрытыми окнами и запертыми дверьми со «своей» жалкой собственностью и стараются не обращать внимания на поезд, даже не смотрят в его сторону. Не один Шевек был настроен столь мрачно; бесконечные разговоры о разложении общества то вспыхивали, то снова затихали; люди то стояли у вагонов, то снова забирались внутрь, спорили и соглашались друг с другом — и все на одну и ту же

тему, к которой были обращены и его мысли. Кое-кто вполне серьезно, хотя и с горечью, предлагал совершить налет на местную автобазу, и возможность такого налета горячо обсуждалась, и, вполне возможно, налет был бы совершен, если бы в конце концов не дали сигнал и поезд снова не тронулся в путь.

Но когда наконец поезд подполз к той станции, где их накормили — по полбуханки хлеба из семян холума и по миске супа, — мрачное настроение сменилось приподнятым. Когда ты добираешься до дна тарелки, сознавая, что суп был несколько жидковат, но все же вкус самой первой его ложки был поистине изумителен, то кажется, что именно ради этого мгновения и стоило поголодать. С этим были согласны все. В поезд пассажиры возвращались, смеясь и шутя, дружными компаниями. Теперь они видели друг друга насквозь.

На следующей узловой станции те, кто ехал в Аббенай, пересели на товарняк и последние пятьсот миль проехали на нем. Они прибыли в город поздней ночью; стояла ранняя осень; дул холодный ветер; улицы были пусты. Ветер мчался по этим улицам, как бешеный горный поток, только странно иссушающий. За неярким светом уличных фонарей угадывался свет звезд в пыльной пелене, висевшей над городом. Мощный суховей и любовь несли Шевека по темным пустынным улицам, точно осенний листок; три мили до северного квартала он буквально пробежал бегом. Одним прыжком он преодолел три ступеньки крыльца, влетел в коридор, бросился к знакомой двери, открыл... В комнате было темно. За окнами светились яркие звезды.

— Таквер! — окликнул он; и услышал в ответ тишину. Еще до того как он повернулся и включил свет, эта темнота и тишина сказали ему, что такое настоящая разлука.

Все в комнате было по-прежнему. Собственно, меняться было особенно и нечему. Не было только Садик и Таквер. «Незаселенные миры» по-прежнему мягко вращались под потолком, чуть поблескивая на сквозняке — дверь так и осталась распахнутой.

На столе лежало письмо. Два письма. Письмо от Таквер было коротким: она получила срочное назначение на северо-восток, в лабораторию экспериментальных разработок по выведению съедобных водорослей. На неопределенный срок. Она писала: «Я не могу, честно говоря, сейчас отказаться и не поехать. Я ходила в ЦРТ, прочитала их план работ по улучшению экологии, который они отослали в КСПР. Это правда, я им очень нужна, ведь я работала именно над этим циклом: водоросли — ресничные черви — креветки — кукури. Я попросила в Центре, чтобы тебе

подыскали назначение в Ролни, но они, разумеется, и пальцем не пошевелят, пока ты сам их не попросишь. Впрочем, если это будет невозможно из-за работы в Институте, ты и не попросишь. В конце концов, если все слишком затянется, я скажу, чтобы в Ролни подыскивали другого генетика. И вернусь! Садик растет очень хорошо и уже говорит “вет” вместо “свет”. Не грусти, разлука не будет долгой. Все. Тв. на всю жизнь. Таквер.

Пожалуйста, приезжай, если сможешь!»

Вторая записка состояла всего из нескольких слов, нацарапанных на крошечном клочке бумаги:

«Шевек, зайди в адм. отд. физ. ф-та, когда вернешься. Сабул».

Шевек послонялся по комнате. Тот сильный ветер, что с невероятной силой гнал его по улицам города к дому, все еще бушевал в его душе. Он просто в очередной раз налетел на стену и пока не мог идти дальше. Но все же нужно было как-то двигаться. Он заглянул в шкаф. Там было почти пусто — только его зимняя куртка и рубашка, которую Таквер, любившая тонкую работу, когда-то вышила специально для него. Ее собственные немногочисленные вещи исчезли. Ширма была сложена, в углу виднелась пустая детская кроватка. Постель была скатана и аккуратно прикрыта оранжевым вязаным одеялом. Шевек снова подошел к столу, еще раз перечитал письмо Таквер. Глаза его наполнились злыми слезами. Ярость, гнев, разочарование, дурные предчувствия терзали его.

И некого было винить — вот что было хуже всего! Таквер была нужна — как специалист, чтобы победить надвигающийся голод. Ее и его голод, голод маленькой Садик. Общество не было их врагом. Они сами принадлежали этому обществу, были его частью, оно было за них.

Но он сам добровольно отказался от своей книги, от своей любви, от своего ребенка. Предал их. От чего еще можно просить человека отказаться?

— Черт бы все это побрал! — громко выругался он на йотик. На языке правик даже выругаться как следует было невозможно. Трудно ругаться, когда секс не воспринимается как нечто постыдное, грязное, когда богохульства не существует вовсе. — Все, все к черту! — Он сердито скомкал жалкую записку Сабула, точно это она была во всем виновата, и несколько раз сильно ударил сжатыми кулаками по краю столешницы — ему нужно было почувствовать боль. Но он ее не почувствовал. Нет, сделать ничего нельзя, и некуда деться.

В конце концов пришлось развернуть постель и лечь — в

одиночестве; и он даже заснул, усталый и безутешный; и снились ему плохие сны.

С утра первой в дверь к нему постучалась Бунаб. Он открыл ей, но в комнату не впускал — стоял на пороге. Бунаб была их соседкой; на вид ей было лет пятьдесят, она работала на заводе воздухоплавательных аппаратов. Таквер всегда страшно забавлялась, беседуя с нею, но Шевек эту тетку терпеть не мог. Во-первых, ее основной мечтой и целью было заполучить их комнату. Она утверждала, что подала на нее заявку задолго до того, как Шевек и Таквер туда переехали, однако комендант нарочно, из нелюбви к ней, комнату эту ей занять помешал. Особенно она завидовала угловому окну — в ее собственной комнате такого не было, хотя она тоже проживала — совершенно одна — в комнате для двоих, что, если иметь в виду постоянную нехватку жилья, было безусловным проявлением эгоизма. Но Шевек никогда не стал бы тратить время не только на эту проблему, но и вообще на Бунаб, если бы она без конца не приставала к нему сама. Она вечно что-то объясняла, втолковывала... У нее, например, якобы был партнер, «на всю жизнь», «в точности как вы» — далее следовала жеманная улыбка. Вот только где он, этот партнер? Почему-то о нем всегда говорилось в прошедшем времени. Между тем комната на двоих вполне оправдывала свое предназначение: через нее проследовала целая череда мужчин — каждую ночь разные — словно Бунаб была развеселой девицей лет семнадцати. Таквер с восторгом наблюдала за сменой ее кавалеров, а Бунаб приходила к ней, и рассказывала ей «все об этих мужчинах», и жаловалась, жаловалась без конца. В число ее многочисленных несчастий входило и то, что она лишена углового окна. Бунаб была не только чрезвычайно завистлива, но по-настоящему хитра и коварна, она умела найти дурное в чем угодно и сразу «начать с этим бороться». Своих коллег она обвиняла во всех смертных грехах: в некомпетентности, в непотизме и даже в нежелании трудиться, чуть ли не в саботаже. Собрания синдиката, с ее точки зрения, являли собой настоящий бардак, причем объектом всеобщей ненависти почему-то всегда была именно она, Бунаб. Все одонийское общество существовало исключительно для того, чтобы подвергать ее разнообразным преследованиям. Таквер в ответ на эти рассказы только смеялась, причем совершенно не скрываясь. «Ох, Бунаб, какая ты смешная!» — задыхаясь от смеха, говорила она, и та, немолодая, уже седеющая женщина с тонкими поджатыми губами и вечно потупленными, но очень зоркими глазками, тоже начинала слабо улыбаться, ничуть на Таквер не

обиженная, и продолжала сыпать свои чудовищные обвинения против всего света. Шевек понимал, что Таквер права, что над Бунаб можно только смеяться, но преодолеть своего отвращения не мог.

— Это ужасно! — заявила Бунаб, не обращая на него ни малейшего внимания и решительно протискиваясь в комнату, где сразу же ринулась прямо к столу и впилась глазами в письмо Таквер. Она даже схватила его в руки, но Шевек спокойно и решительно его у нее отнял. К такому спокойному отпору Бунаб готова не была. — Просто ужасно! И хоть бы за несколько дней предупредили — так нет! Поехали, говорят, прямо сейчас! А у нас-то вечно твердят: мы свободные люди! Да это просто злая шутка! Взяли и разбили счастливую семью, разделили любящих людей! Они ведь именно поэтому так и поступили, неужели ты не понял? Они все там против истинного партнерства, по всему видно. Нарочно партнерам такие назначения дают, чтобы их разделить. Так и с нами было — со мной и с Лабексом. В точности так. И мы потом никогда уже не жили вместе. Да разве ж можно с ЦРТ бороться? Ведь там все списки специально так составлены — чтобы против людей! А вот и кроватка Садик — пустая теперь... Бедная малышка! Она в последние четыре декады плакала день и ночь. Я просто уснуть не могла. Конечно, все из-за того, что продовольствия не хватает, и у Таквер молоко пропадать стало. Так они еще и послали кормящую мать на край света, за тысячу миль от дома! Вряд ли тебе удастся туда назначение получить... Куда она хоть уехала-то?

— На северо-восток. Знаешь, Бунаб, я, вообще-то, завтракать собирался, со вчерашнего дня не ел.

— Но разве это справедливо — то, как они поступили в твое отсутствие?

— А как они поступили в мое отсутствие?

— Нарочно отослали ее, разрушили ваш союз, вот как! — Теперь Бунаб читала уже записку Сабула, заботливо ее расправив и разгладив. — Уж они-то знают, когда пора вмешаться! Ну, я полагаю, теперь ты из этой комнаты съедешь, верно? Да и вряд ли тебе позволят одному занимать такую большую комнату. Таквер, правда, говорила, что скоро вернется, но я-то видела, что она просто бодрится. Свобода! Мы ведь вроде бы все тут свободные люди, а это с нами просто шутят. Ничего себе шутки! Швыряют, куда хотят...

— Черт возьми, Бунаб! Если б Таквер не захотела ехать, она бы отказалась! Ты же знаешь, что планете угрожает страшный голод!

— Да ладно тебе, думай, что хочешь. Мне-то давно казалось,

что Таквер собирается куда-нибудь переехать... Такое часто случается, стоит появиться ребенку. Я ведь говорила: надо было девочку в ясли отдать. К тому же малышка без конца плакала. Дети всегда разъединяют партнеров, руки им связывают. Естественно, что Таквер это надоело, вот она и стала другое место подыскивать, а как только что-то ей подвернулось, сразу и уехала.

— Все, хватит! Я иду завтракать. — Шевек выбежал из дому, дрожа от бешенства. Бунаб расковыряла самые болезненные старые раны в его душе. Ужаснее всего в этой женщине было то, что она вечно высказывала вслух его собственные затаенные страхи и опасения. Как и только что. А теперь она осталась у них в комнате и, возможно, решает, когда бы ей туда перебраться...

Было уже позднее утро, и он чуть не опоздал: столовую уже собирались закрывать до обеда. Изголодавшись за время путешествия, он взял двойную порцию каши и хлеба. Парнишка за раздаточным столом посмотрел на него и нахмурился. В эти дни никто не брал двойную порцию. Шевек посмотрел на него тоже хмуро, но ничего объяснять не стал. Он восемьдесят часов прожил на двух тарелках жидкого супа и килограмме хлеба и теперь имел полное право хоть немного возместить то, что ему недодали. Но оправдываться, черт возьми, он ни перед кем не станет! Жизнь несет в себе самооправдание, человек имеет право удовлетворить свои насущные потребности. Шевек был истинным одонийцем, и пусть ложное чувство вины испытывают всякие спекулянты и собственники.

Он сел за отдельный столик, однако тут же откуда ни возьмись появился Дезар. Он, улыбаясь, глядел — то ли на Шевека, то ли куда-то еще своими косыми глазами.

— Давно не видно тебя, — заметил Дезар.

— Срочные сельскохозяйственные работы. Шесть декад. А тут как дела?

— Тухло.

— Будет еще тухлее, — пообещал Шевек, без особой, впрочем, убежденности, потому что наконец ел, насыщался, и каша казалась ему удивительно вкусной. Отчаяние, тревога, угроза голода! — разумом он это понимал, но сиюминутное рассудочное желание набраться сил твердило, ничуть не раскаиваясь: «Ешь, ешь, пока есть еда! Ешь, набирайся сил! Еда вкусна и необходима тебе!»

— Видел Сабула?

— Нет. Я только сегодня ночью приехал. — Он поднял глаза на Дезара и сообщил, стараясь говорить как можно спокойнее: — Таквер получила новое назначение — она будет участвовать в

очередном Проекте по борьбе с голодом. Уехала четыре дня назад.

Дезар кивнул; его-то равнодушие было совершенно искренним.

— Слыхал... Аты слышал о реорганизации Института?

— Нет. А в чем дело?

Дезар положил на стол руки с тонкими длинными пальцами и уставился на них. Он всегда разговаривал как бы нехотя, короткими рваными фразами. К тому же он заикался; вот только что было причиной его заикания — физический недуг или моральный — Шевек так и не решил. Точно так же, как не мог он решить, почему Дезар ему порой нравится, а порой вызывает самое настоящее отвращение, чуть ли не ненависть. Сейчас как раз был один из таких моментов: что-то неприятное, скользкое было в изогнутых губах Дезара, в его потупленных глазах; чем-то он очень напоминал вечно глядевшую в пол Бунаб.

— Разгоняют. Называется «функциональным сокращением штата сотрудников». Шипега выгнали. — Математик Ши-пег был всем хорошо известен своей глупостью; ему, однако, всегда удавалось «по требованию студентов» (с которыми он беззастенчиво заигрывал) получать каждый семестр курс лекций. — Отослали куда-то. В какой-то региональный институт.

— Он принес бы куда меньше вреда, окучивая деревья на плантации, — заметил Шевек. Теперь (когда он был сыт) ему казалось, что засуха может в итоге даже принести некоторую пользу, оздоровив их общество. Вновь становились ясны и очевидны первоочередные задачи, а также слабые места, недоработки, недостатки, которые необходимо было устранить. Ничего, голод всегда помогает организму восстановить деятельность «уставших» органов, снимает излишек жира, мешающий двигаться вперед...

— Замолвил за тебя словечко. На общеинститутском собрании. — Дезар смотрел вроде бы на него, но не мог встретиться с ним взглядом. И стоило Дезару это сказать — хотя до Шевека даже еще не дошел истинный смысл его слов, — он понял, что Дезар лжет. Шевек знал это совершенно точно. Никакого «словечка за него» он не замолвил; он выступал против него.

Теперь ему стала ясна причина той неприязни, которую он порой испытывал к Дезару: он явственно увидел в его характере некий элемент чистого злодейства, порожденного завистью. То, что Дезар, вроде бы любя его, пытался обрести над ним власть, также стало Шевеку теперь абсолютно понятно. Это казалось ему особенно отвратительным. Окольные пути достижения власти,

лабиринты смешанного чувства любви/ненависти ничего для самого Шевека не значили; уверенный в себе, нетерпимый ни к собственным, ни к чужим слабостям, он шел всегда напрямик, сквозь стены. Он ничего не ответил Дезару на это сообщение, но постарался поскорее доесть завтрак и выйти из столовой, на яркий свет холодного осеннего солнца. Затем направился в административный отдел физического факультета и прошел прямо в дальнюю комнату, которую все называли «кабинетом Сабула» — ту самую, где они с Сабулом когда-то встретились впервые и Сабул вручил ему грамматику и словарь языка йотик.

Сабул осторожно глянул на него через письменный стол и снова опустил глаза — он был буквально поглощен работой, этот рассеянный, гениальный, совершенно не замечающий окружающей его действительности ученый! Затем он как бы позволил своему «перегруженному» мозгу воспринять присутствие Шевека и вдруг стал — в разумных пределах, конечно! — вполне оживленным. Сабул похудел, постарел и сутулился больше, чем прежде, вызывая даже некоторое сочувствие.

— Тяжелые времена, верно? — сказал он. — Ох, тяжелые!

— Будет еще тяжелее, — почти весело откликнулся Ше-век. — Ну, как в Институте дела?

— Плохо, плохо, — Сабул покачал седеющей головой. — А чистой науке, интеллектуалам особенно сложно.

— А что, когда-нибудь было легко?

Сабул как-то неестественно засмеялся и промолчал.

— Что-нибудь интересное для нас с Урраса привозили? Я ведь все лето на юге проработал. — Шевек, как всегда, расчистил себе местечко на скамье, заваленной бумагами, и сел, положив ногу на ногу. Он умудрился загореть почти дочерна, а борода наоборот выгорела и стала почти серебристой. Выглядел он хорошо — худой, крепкий, жилистый; и, в сравнении с Сабулом, непростительно молодой. И оба прекрасно это почувствовали.

— Нет, ничего интересного не было.

— И никаких рецензий на «Принципы»?

— Нет. — Тон Сабула стал ворчливым, что было куда более естественно для него.

— Писем тоже не было?

— Нет.

— Странно.

— А что здесь странного? Может, ты ожидал, что тебя пригласят читать лекции в Университете Йе Юн? Или присудят премию Сео Оен?

— Я ожидал исключительно рецензий и откликов. Времени

для их написания было достаточно. — Он говорил совершенно спокойно, но Сабул, не дослушав его, поспешил заметить:

— Вряд ли. Рановато еще для рецензий.

Помолчали.

— Ты должен понять, Шевек: твоя убежденность в собственной правоте — еще не оправдание. Ты очень много трудился над этой книгой, я знаю. Я тоже немало потрудился, издавая ее, пытаясь разъяснить, что это не просто безответственная атака на классическую физику, но теория, имеющая свои положительные аспекты. Но если большая часть ученых не видит в твоей работе ничего ценного, то тебе, видимо, придется пересмотреть свои взгляды и убеждения и постараться найти, где же был совершен просчет. Если твоя теория ничего не значит для других, то какой от нее прок? Какова ее функция в обществе?

— Я физик, я не занимаюсь анализом общественных функций, — беззлобно заметил Шевек.

— Каждый одониец должен уметь анализировать функциональность той или иной вещи, теории или явления. Тебе ведь уже тридцать, верно? К этому возрасту человек обязан знать не только свои обязанности по отношению к конкретной семейной ячейке, но и по отношению ко всему обществу, свою оптимальную роль в социальном организме. Хотя ты, ученый-теоретик, возможно, не обязан столь же сильно задумываться над этим, как большая часть людей...

— Нет, должен. С тех пор как мне исполнилось десять, я твердо знаю, какую именно работу я должен делать, какую функцию в обществе выполнять.

— Это в тебе играет детство, Шевек. Мало ли что тебе хотелось бы делать! Это далеко не всегда является тем, что нужно обществу.

— Мне тридцать лет, как вы справедливо заметили. Довольно-таки много, чтобы детство продолжало «играть во мне».

— Ты рос в неестественно защищенных, тепличных условиях. Сперва с тобой носились в Региональном Институте, потом...

— В пустыне Даст, на работах по озеленению побережья; потом на различных сельскохозяйственных работах, в добровольческих строительных отрядах Аббеная и только что — на юге, где я несколько месяцев задыхался в пыли. Что ж, это нормально. Кстати, мне физическая работа всегда даже нравилась. Но я, между прочим, еще и неплохой физик. Однако к чему собственно, все эти речи?

Поскольку Сабул не отвечал, глядя на него из-под своих тяжелых, каких-то маслянистых бровей, Шевек прибавил,

помолчав:

— Вы могли бы все сказать мне прямо; все равно воздействие на мое «общественное сознание» в данном случае совершенно бесполезно.

— Ты считаешь работу, которую выполнял здесь, функциональной?

— Да. «Чем более в организме организованности, тем более централизованным он становится: централизованность в данном случае подразумевает область высокой функциональности». Это из толкового словаря Томара. Поскольку физика времени стремится организовать и объединить в единую систему все, доступное восприятию человеческого разума, то она по определению представляет собой в высшей степени централизующую функциональную деятельность.

— Но не дает хлеба голодным.

— Я только что шестьдесят дней вполне конкретно, физически, в поте лица работал, чтобы они этот хлеб получили. Когда меня снова призовут на подобную работу, я буду ее выполнять беспрекословно. А между тем стану заниматься своим основным ремеслом. Если в области физики еще остались, как я надеюсь, какие-то нерешенные задачи, то я имею полное право попытаться решить их.

— И все-таки придется тебе посмотреть правде в глаза: в данный момент нет ни малейшей необходимости решать какие бы то ни было нерешенные задачи в области физики. Во всяком случае такие, какие пытаешься решить ты. Мы должны сопрягать свои высокие устремления с практическими нуждами общества. — Сабул поерзал на стуле. Он выглядел сердитым и смущенным. — Мы вынуждены были освободить от работы пять человек; они уже получили другое назначение. Извини, но я вынужден сообщить, что один из них — ты. Вот так обстоят дела.

— Я так и предполагал, — с невозмутимым видом кивнул Шевек, хотя на самом деле он до последнего момента не желал признаваться себе, что Сабул попросту постарался вышвырнуть его из Института пинком под зад. Впрочем, новость эта показалась ему удивительно знакомой. И уж ни в коем случае он не доставил бы Сабулу удовольствия понять, насколько она потрясла его.

— Против тебя сработал целый комплекс причин, — продолжал Сабул. — В частности, недоступная пониманию большинства, совершенно иррелевантная природа тех исследований, которые ты вел в течение последних лет. К тому же многие в Институте, возможно несправедливо, полагают, что твоя манера преподавания и поведение в целом в определенной

степени отражают пренебрежительное отношение к коллегам и студентам, некий комплекс превосходства над остальными, отсутствие альтруизма. Об этом говорили многие из тех, кто выступал на собрании. Я, разумеется, выступил в твою защиту. Но что я мог поделать один?

— С каких это пор альтруизм входит в число одонийских добродетелей? — спросил Шевек. — Да ладно, не обращайте внимания. Я все понял. — Он решительно встал (он больше просто не мог сидеть на месте), но полностью держал себя в руках, казался абсолютно спокойным и говорил самым естественным тоном. — И, видимо, вы вообще не дали мне рекомендации для занятий преподавательской деятельностью?

— А какая была бы от этой рекомендации польза? — Сабул почти пропел эти слова; он был счастлив снять с себя всякую вину за совершенную подлость. — Все равно нигде преподавателей на работу не берут. Только сокращают. Бывшие преподаватели и студенты трудятся бок о бок, пытаясь предотвратить голод, надвигающийся на нашу планету. Конечно, этот кризис не вечен. Надеюсь, что-нибудь через год мы будем с гордостью вспоминать те жертвы, которые принесли, и ту адскую работу, которую совершили плечом к плечу, делясь последним куском... Но в настоящий момент...

Шевек стоял в расслабленной позе, внешне спокойный, и равнодушно смотрел в окно на пустое безоблачное небо. Он с огромным трудом подавлял желание послать наконец Сабула ко всем чертям. Однако иные, более сильные чувства заставили его сдержаться и обрели словесную оболочку:

— На самом деле, — сказал Шевек, — я полагаю, что вы, возможно, совершенно правы. — Он вежливо попрощался и вышел.

За дверью показное спокойствие оставило его. Он бросился к остановке трамвая и поехал в центр. Что-то гнало его туда, словно он хотел поскорее пройти этот путь до конца и потом, наконец, отдохнуть. Сейчас он спешил в Центр по распределению труда — просить, чтобы ему дали назначение в ту коммуну, куда уехала Таквер.

Центр со своими огромными компьютерами и множеством сотрудников занимал целый квартал — несколько довольно изящных одноэтажных зданий, расположившихся вокруг небольшой площади. Но изнутри помещение Центрального архива Шевеку показалось чем-то похожим на склад с очень высоким потолком; здесь было полно народу, царила суета, стены были покрыты объявлениями о назначениях на работу и различными сведениями организационного порядка. Оказавшись

в одной из очередей, Шевек прислушивался к разговору стоявших перед ним мальчика лет шестнадцати и весьма уже пожилого мужчины. Мальчик готов был ехать добровольцем на любую работу, лишь бы бороться с надвигающимся голодом. Его переполняли самые благородные чувства и намерения; в нем ощущалась самая искренняя вера во всеобщее братство людей. Детская жажда приключений, надежда на счастье звали его в новую, самостоятельную жизнь, прочь от надоевшего детства. Он очень много говорил, совсем еще как ребенок, да и голос у него еще порой срывался: он еще не привык к пробивающемуся баску. Свобода! свобода! — это звучало в каждой сказанной им фразе. А голос старого человека, ворчливый и хрипловатый, пробивался сквозь это юношеское ликование, чуть поддразнивая, но не пугая, посмеиваясь, но не предостерегая от опасностей. Свобода, способность куда-то отправиться и что-то сделать на пользу всем — это старик вполне одобрял и поддерживал в своем юном собеседнике, даже когда необидно посмеивался над его излишней уверенностью в себе. Шевек с удовольствием слушал их. Они нарушили наконец ту череду гротескных образов, что с самого утра сегодня преследовали его.

Когда Шевек объяснил сотруднице ЦРТ, куда хотел бы направиться, на лице ее появилось тревожное выражение. Она сходила за атласом, открыла его и положила между ними на стол.

— Вот, посмотрите сами, — сказала она. Шевеку она показалась безобразной: какая-то карлица с широкими, как у кролика, передними зубами. Кожа у нее на руках, лежавших на цветной странице атласа, была дряблой и морщинистой. — Вот Ролни, видите? Так называется полуостров в северной части Тименского моря, но на самом деле это просто огромная песчаная яма. На этом полуострове ничего нет, кроме лабораторий океанологов, которые расположены на дальнем конце полуострова. Нашли? Все восточное побережье представляет собой засоленные болота; они тянутся почти до Гармонии — на тысячу километров. А вся территория к западу занята так называемыми Прибрежными Пустошами. Они практически безлюдны. Ближайший к Ролни город расположен вот в этих горах. Но оттуда не поступало ни одного запроса на срочные работы. Им вполне хватает своих людей. Нет, вы, разумеется, все равно можете туда отправиться, — спохватилась она.

— От Ролни это, пожалуй, слишком далеко, — сказал Ше-век, задумчиво глядя на карту; это был тот самый городок, где выросла Таквер: Круглая Долина. — Неужели в этих лабораториях не нужен, например, уборщик? Статистик? Кто-нибудь по уходу за рыбами?

— Я проверю.

Созданная людьми и компьютерами, система ЦРТ работала потрясающе эффективно. Служащей не понадобилось и пяти минут, чтобы выудить всю требуемую информацию из этого моря постоянно обновляемых данных по поводу каждого рабочего места, каждой наличной или требуемой рабочей единицы. — Вот, только что было занято одно такое место... А, это как раз и есть ваш партнер, верно? Да, сейчас у них штат полностью укомплектован: они взяли на работу еще четырех техников и целую опытную команду сейнера.

Шевек оперся локтями о стол и уронил голову на руки, потирая виски, что у него всегда было свидетельством полной растерянности.

— Так, — сказал он. — Просто не знаю, что мне теперь делать!

— Послушай, брат, а ее надолго туда отправили? — неожиданно ласково спросила служащая.

— На неопределенный срок.

— Но это ведь работа по борьбе с голодом, верно? Значит, не навечно! Засуха ведь кончится, я уверена, и этой зимой обязательно пойдет дождь!

Он поднял голову и посмотрел на нее, свою сестру — прямо в ее встревоженные, честные, исполненные искреннего сочувствия глаза. И даже заставил себя чуточку улыбнуться, потому что не мог оставить без внимания ее попытку пробудить в нем надежду. Она тут же воспрянула духом:

— И тогда вы снова будете вместе, а между тем...

— Да. Между тем, — сказал он и умолк.

Она терпеливо ждала его решения.

Это решение он имел право принять сам; и варианты были бесконечны. Он мог остаться в Аббенае и самовольно организовать занятия по физике — если найдет желающих. Он мог отправиться на полуостров Ролни и жить вместе с Таквер, даже не имея работы в ее лаборатории. Он мог жить где угодно и совсем ничего не делать, но тем не менее два раза в день ходить в ближайшую столовую, чтобы его там накормили. Он мог делать все что угодно, кроме...

«Клеггиш» — слово, которым в языке правик обозначалось некое смешанное понятие «работа-игра», имело, разумеется, сильную этическую окрашенность. Одо предвидела опасность застывшего морализма, произрастающего из слишком частого употребления слова «работа» в своей системе аналогий: клетки организма должны работать вместе и согласованно, ибо при этом достигается его максимальная активность; работа, совершаемая

каждым отдельным органом, должна сочетаться... и так далее. Способность к сотрудничеству и функциональность — вот основные требования «Аналогии», предъявляемые к работе каждого элемента общества. Доказательство правильности любого эксперимента — опытов с двадцатью пробирками в лаборатории или с двадцатью миллионами человек «на луне» — заключалось в одном простом вопросе: «Ну что, получилось, работает?» Одо предвидела эту моральную ловушку. «Святой никогда не бывает занят», — когда-то тоскливо пророчествовала она.

Однако «существо общественное» никогда не может сделать свой выбор в одиночку.

— Значит, так, — сказал Шевек. — Я только что вернулся из Южного Поселения, со срочных сельскохозяйственных работ. Есть ли еще подобные назначения?

Служащая посмотрела на него, как старшая сестра на неразумного братишку — недоверчиво, но уже прощая его невольную глупость.

— Да там по всем стенам объявления расклеены! Больше семисот срочных вызовов! — сказала она. — Вам какой больше подойдет?

— Там где-нибудь математики нужны?

— В основном это, правда, сельскохозяйственные работы... У вас есть опыт работы простым инженером?

— Не слишком богатый.

— Ну, тогда вам, может быть, подойдет координация работ — составление графиков и тому подобное? Здесь, безусловно, нужно уметь обращаться с цифрами. Как вы насчет этого места?

— Согласен.

— Это, к сожалению, там, на юго-западе, в пустыне... Вы эти места знаете?

— Да, мне уже приходилось бывать там. Ну а кроме того, как вы говорите, ведь когда-нибудь все-таки непременно пойдет дождь...

Она кивнула, улыбнулась и напечатала в его учетной карточке: Из Аббеная, северо-запад, Цент. Ин-т естеств. наук — в Элбоу, юго-запад, координатор, фосфатн. предпр.; срочное назначение 5-1-3-165; срок неопределенный.

Глава 9
УРРАС

Шевека разбудил звон колоколов в часовне. Каждый их удар болезненно отдавался в затылке. Он чувствовал себя совершенно больным — голова кружилась, знобило; он с трудом сполз с кровати и дотащился до ванной, где он долго «отмокал» в почти холодной воде. После этого головная боль значительно уменьшилась, но остальное тело по-прежнему вело себя странно: в нем точно появилась какая-то червоточина. Когда в голове у него несколько прояснилось, он довольно живо вспомнил некоторые события вчерашнего дня и особенно приема в доме Веа. Это было так отвратительно, что Шевек тут же постарался выкинуть все из головы, что оказалось не так-то просто: он вообще ни о чем другом думать не мог. Он даже сел за письменный стол, пытаясь сосредоточиться, но так и просидел с полчаса неподвижно, уставившись в одну точку и чувствуя себя жалким и ничтожным.

Ему и раньше не раз приходилось попадать впросак, чувствовать себя дураком. Кроме того, в молодости он довольно сильно страдал от того, что другие находили его странным, непохожим на остальных. Став старше, он не раз ощущал гнев или презрение ближних по отношению к себе, сам же, впрочем, их и спровоцировав. Но он никогда не чувствовал себя таким униженным, как сейчас, и никогда не испытывал такого стыда.

Он не знал — у него просто не было подобного опыта, — что теперешнее унизительное состояние и подавленность являются всего лишь следствием химической реакции в организме, вызванной слишком большим количеством алкоголя, что похмелье проходит, как и головная боль. Впрочем, знай он это, особой разницы, наверное, не почувствовал бы. Стыд, ощущение того, что ты сам себе отвратителен, было для него откровением. Теперь с новой, ужасающей ясностью он понимал, что самым отвратительным был не только «бесславный» финал его пребывания в гостях у Веа; куда хуже было предательство — и не только бедняжки Веа, не только его собственного тела, оказавшегося не в состоянии усвоить алкоголь; его здесь предали все, и все, что он здесь съел, узнал, воспринял, сделал своей привычкой, внесло свою долю яда в его душу и организм.

Он оперся локтями о стол и сжал пальцами виски — классическая поза человека, страдающего от головной боли. Теперь он мог смотреть на свою жизнь только сквозь призму

пережитого стыда.

На Анарресе он, бросив вызов своему обществу, выбрал для себя ту работу, которую, как он считал, призван был сделать. На этот риск он пошел во имя того же общества.

Здесь, на Уррасе, подобный «акт мятежа» был для ученого вполне позволительной роскошью, самооправданием. Быть ученым в А-Йо означало служить не обществу, не человечеству, не Истине, а Государству.

Тогда, в самый первый вечер пребывания на этой планете, в этой самой комнате, он спросил своих спутников, отчасти бросая им вызов, а отчасти сам желая понять: «Что вы намерены со мной делать?» Но только теперь он понял, что они с ним сделали. Чифойлиск правильно назвал ему эту простую для здешнего общества вещь: они его купили, он стал их собственностью. А ведь он рассчитывал сам заключить с ними сделку — ах, наивный анархист! Но отдельный человек здесь не может заключить сделку с могущественным Государством. Государство не признает иной разменной монеты, кроме власти; и само чеканит такие монеты.

Теперь он видел — в мельчайших деталях, в жесткой последовательности, — какую ужасную ошибку совершил, прилетев на Уррас; это была его первая по-настоящему крупная ошибка, которая, вполне возможно, будет стоить ему жизни. Доказательства этого предстали перед ним во всей своей безжалостной очевидности; он старательно подавлял и даже отрицал их в течение стольких месяцев, и вот, всего получаса хватило, чтобы понять тщетность этих стараний. Вспомнив смехотворную и омерзительную сцену в спальне Веа, он ощутил, как лицо его заливает горячий румянец стыда, а в ушах снова начинается звон. Но даже сейчас, среди тяжкого похмелья, никакой особой вины за собой он не чувствовал. С прошлым было покончено. Он познал стыд, принял свой позор, и теперь пора было подумать, как быть и что делать дальше. Он сам запер себя в эту тюрьму, так сможет ли он отныне действовать как свободный человек?

Ясно было одно: для них он физикой заниматься не будет!

Но если он перестанет работать, отпустят ли они его домой? Да, это был вопрос!

Шевек тяжко вздохнул и поднял голову: перед его невидящим взором расстилались залитые солнцем зеленые лужайки. Впервые он по-настоящему задумался о возможности возвращения на Анаррес. Уже сама по себе эта мысль порождала в нем могучую жажду деятельности, желание смести на своем пути все преграды, лишь бы снова говорить на родном языке, видеться с друзьями,

вернуться к Таквер, Пилюн, Садик, коснуться пыльной земли родной планеты...

Они ни за что не отпустят его! Он не оплатил даже свой проезд сюда. Да он и сам не может позволить себе просто сдаться и позорно сбежать.

Шевек еще долгое время сидел за столом в глубоком раздумье, освещенный ярким утренним солнцем; раза два или три он с силой ударил сжатыми кулаками об острый край столешницы, но лицо его при этом осталось совершенно спокойным и неподвижным.

— Но куда я иду? — произнес он вслух.

В дверь постучали, и вошел Эфор с подносом: завтрак и утренние газеты.

— Я приходил в шесть, как обычно, но вы еще спали, — заметил он, ставя поднос на стол с восхитительной ловкостью.

— Я вчера вечером мертвецки напился, — сказал Шевек.

— Да, пока пьешь, это прекрасно... — заметил Эфор. — Это все, господин Шевек? Больше ничего не нужно? Хорошо, тогда я зайду попозже. — И он удалился, по пути вежливо поклонившись Пае, который как раз входил в комнату.

— О, вы завтракаете! Я вовсе не хотел мешать вам, прошу прощения! Я возвращался из часовни после службы и просто решил заглянуть...

— Садитесь, пожалуйста. Выпейте чашечку горячего шоколада. — Самому Шевеку кусок в горло не лез. Пае вежливо изобразил, что готов позавтракать вместе с ним, и положил на тарелку блинчик с медом. Глядя на него, Шевек, которому все еще было очень не по себе, вдруг почувствовал страшный голод и с энтузиазмом набросился на завтрак. Пае, похоже, на сей раз испытывал странную неловкость, не зная, как начать разговор.

— Вы по-прежнему читаете этот мусор? — спросил он наконец добродушно, указав на свернутые в трубку газеты на столе.

— Да, Эфор мне их приносит.

— Вот как?

— Я просил его. — Шевек мельком, искоса глянул на Пае. — Они помогают мне лучше понять вашу страну. Меня весьма интересуют ваши... э-э-э, как это? низшие классы? социальные низы? Дело в том, что предки большей части жителей Анарреса были выходцами как раз из этих низов.

— Да, я понимаю. — Пае согласно покивал и положил в рот маленький кусочек блинчика. — Пожалуй, я действительно все-таки выпью чего-нибудь горячего. — Он позвонил в колокольчик, стоявший на подносе. В дверях тут же возник Эфор. — Еще чашку,

— бросил ему Пае, не оборачиваясь. — Ну что ж, доктор Шевек, мы намеревались снова начать вывозить вас «в свет», поскольку погода, кажется, установилась прекрасная, и показать вам нашу страну как можно шире. Мы хотели даже совершить с вами поездку за границу. Но, боюсь, эта проклятая война положила конец всем нашим прекрасным планам.

Шевек, скосив глаза, прочитал заголовок в лежавшей сверху газете: «Столкновение войск А-Йо и Тху близ бенбилийской столицы».

— По телефаксу поступили и более свежие новости, чем эта, — сказал Пае, заметив его взгляд. — Войска А-Йо освободили столицу Бенбили. Власть законного президента будет восстановлена.

— Так, значит, войне конец?

— Пока еще нет: Тху по-прежнему удерживают две крупные провинции на востоке страны.

— Понятно. Итак, ваша армия и армия Тху будут продолжать сражаться на территории Бенбили. Но ведь не здесь?

— Нет-нет, что вы! Было бы совершеннейшим безумием со стороны Тху вторгнуться на территорию нашего государства! Или нам — в пределы их страны. Мы давно переросли тот уровень варварства, при котором войны развязываются в самом сердце высокоразвитой цивилизации! Равновесие сил лучше всего поддерживать политическими акциями, в том числе и военными — но на чужой территории, в какой-нибудь отсталой стране. Впрочем, официально А-Йо и Тху действительно пребывают в состоянии войны. А потому, боюсь, все утомительные старинные ограничения будут введены в действие.

— Ограничения? Какие же?

— Ну, например, будет заново пересмотрен список всех проектов и текущих исследований на естественных факультетах. Разумеется, особых.изменений не произойдет, просто правительство лишний раз все проверит и на всем «поставит свою печать», Возможно, возникнут некоторые задержки с публикациями — если в верхах сочтут, например, какую-либо работу опасной, потому что не в состоянии будут понять ее... Ну и будет, видимо, несколько ограничено передвижение для лиц, не являющихся гражданами нашего государства. Пока мы будем находиться в состоянии войны, вам, например, будет практически запрещено выходить за пределы университетского городка; а для любой поездки потребуется особое разрешение канцлера, насколько я знаю. Но не пугайтесь. Уж я-то смогу вас вывезти в город в любой момент, когда вам захочется, и без всякой бюрократической канители.

— Значит, у вас хранятся все ключи! — улыбнулся Шевек.

— О, я в этом деле большой мастак! Я ужасно люблю обходить всяческие правила и законы и обожаю обманывать представителей власти. Возможно, я анархист по природе, вам не кажется? Ну куда там подевался этот старый болван? Я ведь всего лишь велел ему принести чашку!

— Он, должно быть, пошел за ней вниз, на кухню.

— И что с того? Для этого ведь не требуется полдня. Ну ладно, не стану я его ждать. Я и так отнял у вас слишком много времени, не хочу отнимать и остаток этого чудесного утра. Между прочим, вы видели последний «Бюллетень Фонда космических исследований»? Они напечатали статью Рюмера; он, кажется, почти изобрел этот ансибль.

— Что это такое?

— Это он так называет прибор моментальной связи — с любой точкой космического пространства. Утверждает, что если «темпоралисты» — имея в виду, разумеется, вас — сумеют вывести нужные формулы, то уж такой гениальный конструктор, как он, в состоянии будет построить эту чертову штуковину, опробовать ее и, таким образом, подтвердить верность вашей теории буквально в течение нескольких недель или месяцев!

— Инженеры и конструкторы уже сами по себе являются доказательством каузативной реверсивности... Видите, этот Рюмер уже готов построить свой прибор, хотя я еще отнюдь не обеспечил теоретические предпосылки для его создания. — Шевек снова улыбнулся, но уже не так благодушно.

Пае распрощался и ушел. Стоило двери захлопнуться за ним, как Шевек вскочил и заорал, не в силах больше сдерживаться:

— Ах ты, грязный лжец, спекулянт проклятый! — Он побелел от гнева и с трудом сдержался, чтобы не броситься за Пае и не швырнуть ему вдогонку чем-нибудь тяжелым.

Снова появился Эфор, торжественно неся на подносе чашку и блюдце. И тут же застыл на пороге, с понимающим видом склонив голову.

— Все в порядке, Эфор. Он... Господину Пае больше не нужна чистая чашка. И вообще можете все это убрать.

— Хорошо, господин Шевек.

— Послушайте, Эфор, мне бы не хотелось никого видеть. Хотя бы некоторое время. Можете вы никого не пускать ко мне? Никаких посетителей?

— Нет ничего проще, господин Шевек. Вы кого-то конкретно не хотите видеть?

— Да, в первую очередь... м-м-м, никого не хочу! Всем говорите, что я работаю.

— Он будет рад услышать это, господин Шевек. — На мгновение в улыбающемся морщинистом лице Эфора промелькнуло злорадство. Затем он прибавил — уважительно и в то же время чуть фамильярно: — Не беспокойтесь! Никто из тех, кого вы не хотите видеть, мимо меня не пройдет! — И тут же вежливо раскланялся: — Больше указаний не будет? Благодарю вас, господин Шевек, желаю приятно провести утро.

После сытного завтрака сил прибавилось, а выброшенный в кровь в припадке гнева адреналин развеял остатки того омерзительного паралича, которым Шевек был охвачен с утра. Он метался по комнате, раздраженный, охваченный какой-то неясной тревогой. Нужно что-то делать, действовать! Он уже почти целый год валяет дурака!

Итак, зачем он вообще явился сюда?

Заниматься физикой. Доказать всем, что любой талантливый человек в любом обществе имеет право делать именно ту работу, для которой он предназначен, а также — право на поддержку во время этой работы и на раздел конечного ее результата со всеми, кто в нем заинтересован. Во всяком случае, таковы должны были быть права человека в обществе одонийцев.

Его благожелательные и заботливые хозяева на Уррасе позволили ему заниматься любимым делом и содержали во время работы как полагается. Основная проблема возникала с разделом конечного ее результата. Однако конечного результата в сущности еще не было. Работу свою он не выполнил. И не мог ни с кем разделить то, чего не имел сам.

Шевек снова сел за письменный стол и вытащил два листочка бумаги, мелко и тесно исписанные с обеих сторон. Листочки он прятал в самом дальнем и наименее пригодном для использования кармане тесных модных штанов. Он тщательно разгладил бумажки и уставился на них. Ему вдруг показалось, что он становится похожим на Сабула — уже и пишет так же мелко, сокращая слова, на каких-то клочках и обрывках бумаги. Теперь он понимал, почему Сабул так делает: Сабул был типичным собственником и к тому же человеком очень скрытным. И хотя на Анарресе это считалось разновидностью психопатии, на Уррасе воспринималось бы как самый разумный тип поведения.

Шевек, застыв, изучал записанные на извлеченных из кармана листочках важнейшие формулы будущей Общей Теории Времени; он заносил их сюда по мере того, как они складывались у него в голове.

В течение трех последующих дней он практически не вставал из-за письменного стола, на котором лежали два крошечных листочка бумаги.

Лишь изредка он начинал было ходить по комнате, но тут же бросался что-то записывать или что-то вычислял с помощью компьютера; иногда он просил Эфора принести ему что-нибудь поесть или просто ложился и засыпал ненадолго, а потом снова возвращался к письменному столу и снова сидел неподвижно, глядя на формулы.

Вечером третьего дня для разнообразия он перешел на мраморную скамью у камина — именно там он сидел в первый вечер своего пребывания на Уррасе, в этой изящной комфортабельной тюрьме. Он часто сидел на этой скамье и в тех случаях, когда к нему приходили гости. В данный момент гостей у него не было, но он думал о Сайо Пае.

Как и все люди, стремящиеся к власти, Пае был удивительно близорук и в определенном смысле ограничен. Ему всегда не хватало глубины и живости воображения. Он был существом скорее рассудочным, чем разумным, ибо собственным разумом он пользовался всего лишь как довольно примитивным инструментом. Интеллектуальный потенциал его, впрочем, был достаточно высок. Пае был очень неглупым человеком и неплохим физиком. Или, точнее, он был очень неглуп в отношении физики. Сам он, правда, никаких оригинальных открытий не сделал, но его врожденная склонность к оппортунизму, его способность точно определять, что именно для него выгоднее, время от времени приводили к тому, что он вместе с другими выполнял исследования в наиболее многообещающих областях и получал неплохие результаты. У него был особый нюх на то, где именно сейчас следует приложить особые усилия. В точности как и у самого Шевека, и Шевек уважал в нем это чутье, ибо подобное чутье в науке является одним из наиболее важных свойств настоящего исследователя. Ведь именно Пае дал тогда Шевеку книжку — перевод с языка землян: материалы симпозиума по проблемам релятивистских теорий и, в частности, теории Относительности. И это было именно то, что более всего занимало самого Шевека в последнее время. Неужели он прилетел на Уррас только для того, чтобы встретиться с Сайо Пае, своим коллегой и врагом, понимая, что лишь от него может получить то, чего не может получить от своих братьев, от своих друзей на Анарресе? Получить доступ к знаниям, которыми обладают другие государства, другие миры, другие галактики — к *новому*...

Мысли о самом Пае стали постепенно расплываться, таять, и теперь Шевек переключился на ту книгу, которую Пае дал ему. Он не мог бы точно сформулировать, что именно в ней так привлекает его, так стимулирует рождение новых идей. В конце

концов, описанные в ней открытия по большей части уже давно устарели. Предлагаемые методы исследования были весьма громоздки, а отношение к науке самих инопланетян порой просто шокировало. Земляне были типичными интеллектуальными империалистами, собственниками, завистливыми и ревнивыми строителями стен. Даже этот Айнзетайн — или как его там по-земному? Эйнштейн? — гениальный создатель теории относительности, чувствовал это и счел себя обязанным написать предупреждение народам своего мира о том, что его теория — это чистая наука, чистая физика, которая не должна применяться во изменение метафизических, философских или этических понятий и представлений. Что, разумеется, было справедливо, но только с первого взгляда, ибо он пользовался числами, математикой, мостиком между рациональным и метафизическим, между материей и подсознанием. «Рациональным» назвали число древние создатели естественных наук. В данном случае применение математики означало прокладывание пути ко всем остальным категориям знаний. И этот Айнзетайн прекрасно понимал (и признавался в этом), что его физика на самом деле занимается описанием реальной действительности.

Мысли землян казались Шевеку одновременно чужеродными и удивительно знакомыми: каждая из них составляла для него загадку и каждая была близка; например, этот Айнзетайн тоже стремился создать некую единую теорию поля. Объяснив природу тяготения как геометрическую функцию пространства-времени, он попытался расширить это обобщение и включить в него действие электромагнитных сил, что ему, правда, не удалось. В течение всей жизни гениального ученого и еще долгое время после его смерти физики Земли не желали вспоминать эту его неудачную попытку, увлекаясь чарующей непоследовательностью квантовой теории поля с ее требующими высочайшей технологии запросами, и в конце концов сосредоточились на рассудочной, технологической форме познания, что и завело их в тупик, приведя к почти полной, катастрофической потере воображения. И все же исходная, интуитивно найденная ими отправная точка была верна: в этом направлении прогресса можно было достигнуть, всего лишь признав принцип неопределенности, который старик Айнзетайн признавать отказывался. С другой стороны, его отказ также был справедлив — если заглянуть далеко вперед. Ему всего лишь не хватило аргументов — у него не было под рукой таких доказательств, как переменные Себы, теория бесконечной скорости, метод комплексной мотивации. Его единая теория поля была в итоге завершена другими — правда, в созвездии Кита — и при таких условиях, которые он, ее первый

автор, вполне возможно, не пожелал бы принять; ибо для его великих теорий основополагающей являлась скорость света как лимитирующий фактор. Обе его теории относительности — частная и общая — были не только эстетически прекрасны, но и в высшей степени ценны, причем не только в его эпоху, но и спустя много столетий, и все же обе они зависели от гипотезы, справедливость которой доказать не представлялось возможным, а ложность которой, с другой стороны, могла быть (и была в итоге!) доказана при вполне определенных обстоятельствах.

Но разве не являлась теория, в которой все составляющие доказуемы, простой тавтологией? Единственный шанс вырваться из круга и двинуться дальше лежал в области недоказуемого или даже недопустимого.

Но при этом действительно ли столь важна недоказуемость гипотезы сосуществования принципа неопределенности и принципа одновременности — той проблемы, над которой Шевек тщетно ломал голову не только три последних дня, но и по крайней мере последние десять лет?

Он всегда стремился доказать возможность подобного сосуществования, достигнуть уверенности в своей правоте — словно это было единственное, чем он имел право обладать. Он всегда требовал каких-то гарантий, которых, впрочем, не получал, а если б получил, они скорее всего превратились бы для него в тюремные стены. Всего лишь допустив обоснованность подобного сосуществования теорий, он получил бы возможность свободно использовать прелестные геометрические символы теории относительности; а затем можно было бы пойти и дальше. Следующий шаг был совершенно ясен. Сосуществование двух принципов можно было бы осуществлять с помощью трансформаций Себы; при таком подходе последовательность изменений физических величин и их сиюминутное состояние не составляли бы ни малейшей антитезы. Фундаментальное единство классической и квантовой физики и теории Одновременности становилось абсолютно очевидным; как и концепция интервала, призванная соединить статический и динамический аспекты существования Вселенной. Как он мог смотреть на столь очевидное в течение десяти лет и не видеть его? Ну а дальше все будет легко. Собственно, он уже пошел дальше. Он уже в пути. Он теперь видел все далеко вперед — всего лишь по-новому взглянув на тот метод, который был ему известен давно, поняв ошибку, совершенную в далеком прошлом... Эта стена рухнула! Видение проблемы стало ясным и полным. Ее будущее решение было очень простым, сама простота. И в этой-то простоте заключалась вся сложность его Теории, все

данные им обещания. Да, это было настоящее откровение! Озарение. Ясный путь вперед, домой, к свету.

Душа Шевека радовалась, точно ребенок, выбежавший из темной комнаты на солнечную лужайку. И не было, не было, не было конца открывшемуся вокруг простору...

Однако, испытывая столь радостное, всепоглощающее облегчение, он буквально дрожал от страха; глаза его были полны слез, точно он нечаянно взглянул прямо на солнце. В конце концов, человеческая плоть вполне материальна и непрозрачна. И очень странно вдруг осознать, что твоя жизнь прожита не зря, что главное твое дело завершено, что твоя давняя мечта осуществилась, воплотилась в реальность.

И все же он продолжал смотреть в будущее, мысленно двигаться вперед, по-прежнему испытывая при этом ту же детскую радость, пока вдруг не ощутил, что не может сделать более ни шагу. И тогда он вернулся, и оглянулся вокруг, и сквозь слезы увидел, что в комнате темно, а за высокими окнами сияют звезды.

Миг великого откровения пролетел; он еще помнил, как это было. Но не сделал попытки остановить мгновение. Он понимал, что сам является его частью, а не наоборот. Что он целиком в его власти...

Посидев еще немного, Шевек встал, пошатываясь прошелся по комнате и зажег свет. Потом снова немного побродил по комнате, касаясь то корешка книги, то абажура настольной лампы и радуясь, что вернулся к этим знакомым предметам, вернулся в свой собственный мир, ибо в тот краткий миг различия между Анарресом и Уррасом были для него не более значимы, чем различия между двумя песчинками на морском берегу. *Там* не существовало непреодолимых пропастей, нерушимых стен, тюрем и ссылки. Там он увидел основы Вселенной, и основы эти были прочны!

Он прошел в спальню, двигаясь несколько неуверенно, и одетым, как был, упал на постель. Потом долго лежал, закинув руки за голову и заранее планируя, предвкушая то одну часть предстоящей работы, то другую, охваченный торжественным и благодарным чувством, которое постепенно переходило в успокоение, в мирные мечты, в сон...

Он проспал десять часов подряд. И проснулся, четко представляя себе те уравнения, которые способны будут выразить его концепцию интервала. Он сразу бросился к письменному столу и погрузился в работу. Днем у него была лекция в Университете, он прочитал ее, потом пообедал в столовой, поговорил с коллегами о погоде, о войне и еще о чем-то, интересном для них... Если они и заметили в Шевеке некую

перемену, то он об этом не узнал, потому что, если честно, практически не замечал их. Вернувшись к себе, он тут же снова принялся за дело.

На Уррасе в сутках было двадцать часов. В течение восьми дней Шевек проводил за письменным столом от двенадцати до шестнадцати часов ежедневно, а иногда еще думал, бродя по комнате и устремив свои светлые глаза за окно, где сияло яркое весеннее солнце, или мерцали звезды, или плыла в небесах покрытая бурыми пятнами, ущербная сейчас, луна — Анаррес.

Утром, как всегда принеся завтрак в спальню, Эфор обнаружил, что хозяин распростерт полуодетый на кровати, глаза его закрыты, и он, видимо во сне, говорит что-то на неведомом языке. Эфор поставил поднос и разбудил Шевека. Тот мгновенно вскочил и тут же, еще шатаясь, бросился в другую комнату к письменному столу, который был абсолютно пуст — ни листка бумаги. Тогда Шевек включил компьютер и уставился на экран: все наработанное было стерто. Он застыл, точно его сильно ударили по голове, но он еще не осознал обрушившегося на него удара. Эфор поспешил уложить его в постель и заявил:

— Да у вас ведь жар, господин Шевек! Вызвать врача?

— Ни в коем случае!

— Вы уверены, господин Ше?..

— Абсолютно! И никого сюда не впускайте. Скажите, что я болен.

— Ну уж тогда-то они наверняка приведут врача. Я лучше скажу, что вы все еще работаете. Им это будет приятно.

— И заприте, пожалуйста, дверь, когда будете выходить из дома, — попросил его Шевек. Его тело, его «непрозрачная плоть», не выдержало такой нагрузки; он на ногах не держался от усталости; его терзала тревога, непонятная раздражительность. Он опасался Пае, Ойи, полиции — всего, о чем он слышал и читал, понимая лишь наполовину. То, что он знал о тайной полиции, вдруг живо и страшно всплыло в его памяти; так бывает, когда человек, осознав, что действительно болен, начинает вспоминать каждое слово, которое когда-либо слышал или читал о раке. Он в каком-то лихорадочном отчаянии посмотрел на Эфора.

— Можете мне доверять, господин Шевек, — поспешно сказал Эфор, как всегда негромко и сухо. Он принес Шевеку стакан воды и куда-то ушел; Шевек слышал, как за ним закрылась дверь и щелкнул замок.

Эфор ухаживал за Шевеком в течение двух последующих дней с таким тактом, на который вряд ли способен даже самый вышколенный слуга.

— Вам бы следовало быть врачом, Эфор, — сказал Шевек, когда от общей полной измотанности всего организма осталась только физическая и довольно приятная усталость.

— Вот и моя старуха так говорит. Она, когда занеможет, так никого, кроме меня, к себе не подпускает. Говорит: «Только ты за больными ходить умеешь». Наверно, и впрямь умею.

— А вы когда-нибудь работали в больнице?

— Нет, господин Шевек. Не хотелось мне с этими больницами вязаться, ох не хотелось! Самым черным днем в моей жизни будет тот, когда я умру на больничной койке. В проклятой крысиной дыре.

— Это вы о больницах такого мнения? А что в них плохого?

— Ничего, господин Шевек; особенно в тех, куда отвезут вас, если вы по-настоящему захвораете, — мягко успокоил его Эфор.

— А какие же больницы имеете в виду вы?

— Да наши. Грязные, вонючие, как у бродяги задница. — Эфор говорил спокойно, без ненависти. Для него это явно был самый обычный факт. — Здания старые, ветхие. У меня ребенок в одной такой умер. Там в полу такие дырищи были!.. Прямо насквозь светились. Я им там говорю: «Это что ж такое? Вон, крысы изо всех дыр лезут да прямо к больным на кровати!» А они мне: «Здание старое, шестьсот лет уже, как здесь больница, а ремонта не делают». А называется-то: «Благотворительное заведение для бедных во славу Божественной Гармонии», во как! А на самом деле — дыра вонючая и больше ничего.

— И ваш ребенок умер в такой больнице?

— Да, господин Шевек. Моя дочь Лайя.

— А от чего она умерла?

— Из-за какого-то клапана в сердце. Так нам сказали. Она очень плохо росла. Ей всего два годика исполнилось, когда она умерла.

— У вас еще есть дети?

— Все умерли. Трое было. Моей старухе нелегко пришлось. Зато теперь она говорит: «Ну что ж, зато теперь сердце из-за них надрывать не приходится, и то хорошо!» Чем еще могу вам служить, господин Шевек? Не будет ли каких приказаний? — Этот внезапный переход к «светской» речи неприятно поразил Шевека; и он нетерпеливо сказал:

— Да, будут! Продолжайте рассказывать.

То ли потому, что эти слова у него вырвались явно непроизвольно, то ли потому, что он был болен и его следовало развлекать, но Эфор на сей раз не стал запираться.

— Вообще-то я подумывал, не поступить ли мне в военно-медицинское училище, — сказал он, — да только они раньше

успели: в армию меня забрали. И говорят: «Санитаром, мол, будешь». Ну я и стал санитаром. Неплохая подготовка для врача — санитаром поработать. Ан нет, не успел я свой срок в армии отслужить, как меня прямо на службу господам и определили.

— Значит, вы могли получить в армии медицинское образование? — спросил Шевек. Эфор кивнул. Разговор продолжался, хотя Шевек не всегда хорошо понимал объяснения Эфора — как из-за языковых трудностей, так и по сути. Он не имел ни малейшего опыта подобных социальных отношений. Эфор рассказывал ему о таких вещах, о которых он совершенно не знал. Он никогда не видел, например, крыс, или армейских казарм, или сумасшедшего дома, где действительно «одни психи», или ночлежки для нищих, или ломбарда, или публичной казни, или настоящего вора, или жалкой квартирки в огромном доме, или свирепого сборщика налогов, или потерявшего надежду безработного, или мертвого ребенка в придорожной канаве... Эфор говорил обо всех этих кошмарах как о чем-то обыденном, и Шевеку приходилось вовсю напрягать воображение и по капельке собирать все свои знания об Ур-расе, чтобы хоть как-то понять его. Однако отчасти эти ужасы, как ни странно, были ему знакомы больше, чем многие прочие вещи здесь — хотя бы понаслышке. И он действительно понимал Эфора, который рассказывал ему о том Уррасе, с которым юных анаррести знакомили еще в школе. Да, это был тот самый мир, из которого некогда бежали их предки, предпочтя голодную жизнь в пустынях чужой планеты и бессрочную ссылку. Это был тот мир, который сформировал мировоззрение Одо и стремился ее уничтожить, восемь раз заключая в тюрьму за то лишь, что она осмеливалась высказывать свои мысли вслух. В этом мире все покоилось на человеческом страдании; здесь произросли все те идеи,, которые легли в основу общества одонийцев.

А до сих пор он настоящего Урраса и не видел. Очарование старинного университетского здания, уют той прекрасной комнаты, где сейчас они с Эфором находились, были столь же реальны, как и та неимоверная нищета, в которой родился, вырос и жил Эфор. И для Эфора действительно мыслящий человек должен был не отрицать одну реальность за счет другой, но включать обе в единое целое и воспринимать их только так. А это было для Шевека совсем непросто!

— Вы, господин Шевек, по-моему, уже устали! — сказал Эфор. — Отдохните-ка немного.

— Нет-нет, я совсем не устал!

Эфор некоторое время помолчал, внимательно на него глядя. Когда он исполнял свои обязанности слуги, его морщинистое,

чисто выбритое лицо практически ничего не выражало, было как бы застывшим. Однако всего лишь за один час Ше-век видел, как быстро могут сменять друг друга на этом лице то горечь, то юмор, то цинизм, то душевная боль. В данный момент на лице Эфора было написано явное, хотя и сдержанное сочувствие.

— Что, здесь совсем иначе, небось, чем там, откуда вы сами-то? — спросил вдруг Эфор.

— Совершенно!

— И там что же, никто без работы не остается? Никогда?

В голосе его явно звучала некоторая ирония.

— Никогда.

— И никто не голодает?

— Во всяком случае, никто не остается голодным, если рядом с ним у кого-то есть, что есть.

— Ага... Так, значит...

— На мы тоже голодали. У нас был страшный голод. Настоящее стихийное бедствие — восемь лет назад. Я тогда сам видел одну женщину, которая убила своего ребенка, потому что у нее пропало молоко, а больше никакой еды не было... и не было ничего, что можно было бы дать ему... Там, на Анар-ресе, вовсе... не молочные реки и кисельные берега, Эфор.

— Ну, в этом я не сомневаюсь, господин Шевек, — сказал Эфор, снова вдруг возвращаясь к вежливой правильной речи; а потом вдруг прибавил со странной гримасой, оскалясь: — А все ж таки их там ни одного нет!

— Кого — «их»?

— Да вы сами знаете, господин Шевек. Вы сами как-то это слово сказали. Собственников. Хозяев.

На следующий день вечером зашел Атро. Пае, должно быть, караулил где-то неподалеку, потому что стоило Эфору впустить старого профессора к Шевеку, как объявился и Пае — с очаровательной сочувственной улыбкой и вопросом, с чего это Шевек стал таким недоступным.

— Вы слишком много работаете, доктор Шевек, — сказал он. — Нельзя же доводить себя до нервного истощения! — Пае даже не присел и очень скоро ушел, демонстрируя высшую степень воспитанности.

Атро же немедленно принялся рассуждать о войне в Бенбили, которая, как он выразился, приобретала черты «широкомасштабной операции».

— А народ А-Йо эту войну одобряет? — спросил Шевек, прерывая «доклад» Атро по вопросам стратегии. Он давно уже дивился отсутствию в желтых газетенках какого бы то ни было

осуждения по поводу вторжения иностранных армий на территорию Бенбили. Весь прежний журналистский пыл куда-то пропал; теперь они повторяли практически слово в слово то, что содержалось в правительственных сводках новостей.

— Одобряет? Неужели вы думаете, что йоти лягут на спину и позволят проклятым недоумкам из Тху здесь беспрепятственно ползать? На карту поставлена наша честь мировой державы!

— Но я имел в виду простой народ, а не правительство. Тех... тех людей, которые вынуждены сражаться там...

— Да им-то что за дело? Они привыкли. Да они, собственно, для того и существуют, дорогой мой! Чтобы сражаться за свою страну. И я уверен: нет лучших воинов на этой планете, чем воины йоти! Когда они выступают как один, стройными рядами, под знаменами родины! В мирное время любой из них вполне способен исповедовать сентиментальный пацифизм, но армейская твердость у йоти в крови. Это всегда было величайшим достоянием нашей нации. Благодаря этому мы и превратились в ведущую державу.

— Карабкаясь вверх по грудам мертвых детей? — вырвалось у Шевека, однако то ли душивший его гнев, то ли нежелание обижать старика заставили его произнести эти слова почти шепотом, и Атро не их расслышал.

— Нет, — продолжал он, — душа у нашего народа тверда как сталь, уверяю вас. Особенно если стране будет угрожать враг. Кучка возмутителей спокойствия в Нио и в некоторых рабочих поселках порой пытаются устраивать всякие демонстрации и акции протеста, но нет более возвышенного зрелища, чем то, как люди смыкают свои ряды перед лицом общей опасности! Я знаю, вам не хочется этому верить. Видите ли, дорогой мой, беда учения этой Одо в том, что она была женщиной. И учение ее слишком женское; оно просто не рассматривает некоторых существенных сторон жизни мужчин. «Кровь и сталь, побед величье...» — это слова одного из наших старых поэтов. Одо не дано было понять, что такое истинное мужество, упоение битвой... любовь к знамени отчизны.

Шевек с минуту помолчал, потом мягко сказал:

— Это отчасти, должно быть, верно. По крайней мере знамен у нас действительно нет.

После ухода Атро в комнату зашел Эфор, чтобы унести посуду, оставшуюся после обеда. Шевек жестом велел ему задержаться, подошел к нему вплотную и, извинившись, положил на поднос клочок бумаги, на котором было написано: «Есть ли в этой комнате подслушивающее устройство?»

Слуга, склонив голову, медленно прочел записку, потом

поднял глаза, посмотрел Шевеку прямо в глаза; смотрел он долго и с очень близкого расстояния; и вдруг, как бы мимоходом, скосил глаза на дымоход.

«А в спальне?» — снова написал Шевек.

Эфор покачал головой, поставил поднос на стол и проследовал за Шевеком в спальню. Он плотно и абсолютно бесшумно закрыл за ними дверь и сказал с улыбкой:

— Тот я еще в самый первый день обнаружил, когда пыль вытирал. — Из-за улыбки морщины у него на лице превратились в глубокие складки.

— А здесь нету?

Эфор пожал плечами:

— Ни разу не замечал. Можно пустить в ванной воду, если хотите, как делают в разных шпионских книжках.

Они прошли в великолепную, похожую на башню из слоновой кости, ванную, посреди которой возвышался, точно трон, отделанный золотом унитаз. Эфор повернул ручку, пустил воду и внимательно осмотрел стены.

— Нет, — сказал он. — Не думаю. Я эти шпионские штучки сразу замечаю. Привык, когда служил у одного человека в Нио. Когда научишься их различать, так ни одной не упустишь.

Шевек вытащил из кармана записку и показал Эфору.

— Вы не знаете, как это ко мне попало?

Это была та самая записка, которую он нашел в кармане новой куртки. «Присоединяйтесь к нам, вашим братьям...»

Эфор медленно прочитал записку, шевеля губами, и сказал:

— Нет, этого я не знаю.

Шевек был разочарован. Ему-то казалось, что Эфор чрезвычайно подходит для роли подобного «почтальона».

— Зато, похоже, знаю, от кого это, — помолчав, заявил Эфор.

— Да? От кого же? Как мне с ними встретиться?

Эфор молчал. Потом посильнее пустил воду в ванну и сказал:

— Опасная это затея, господин Шевек!

— Я вовсе не хочу во что-то вас вмешивать. Если вы можете просто объяснить мне... куда пойти и кого спросить... Хотя бы одно имя!

Эфор совсем насупился и умолк надолго.

— Я не... — начал было он и умолк. Потом все же быстро сказал почти шепотом: — Послушайте, господин Шевек, всем известно, как вы им нужны, этим! Но вы и нам нужны не меньше! И все ж вы даже не представляете себе, как это опасно. Ну где вы станете, например, прятаться? С вашей-то внешностью? Здесь вы в ловушке, это правда, так ведь кругом ловушки, куда ни пойди! Вы можете, конечно, убежать отсюда, но скрыться-то все равно не

сможете. Не знаю, что вам и сказать. Назвать имена я, конечно, могу. Да у любого в Нио можно спросить — вам покажут, куда пойти. Ведь и нам тоже нужно хоть чем-то дышать! Но если вы, например, попадетесь? Подстрелят вас или что еще, так как я должен буду себя чувствовать? Я у вас восемь месяцев работаю, я вас, можно сказать, полюбил. Я вами восхищаюсь. Они же ко мне с самого начала приходили и сейчас приходят, а я им отвечаю: «Нет. Пусть живет спокойно. Он хороший человек, и он совсем не виноват в наших тутошних бедах. Оставьте его, отпустите лучше туда, откуда он прилетел, где люди живут свободно. Пусть хоть кто-нибудь выйдет отсюда на свободу, из этой Богом проклятой тюрьмы, в которой мы все живем!

— Я не могу вернуться на Анаррес, Эфор. Пока что не могу. И я непременно должен встретиться с этими людьми.

Эфор стоял рядом и молчал. И, возможно, именно привычка подчиняться хозяину заставила его в итоге все же согласно кивнуть и сказать шепотом:

— Туйо Маедда, вот кто вам нужен. В Старом Городе есть Шуточная улица, на ней — бакалейная лавка.

— Пае сказал, что мне отныне запрещено выходить за пределы университетского городка. Меня могут остановить. Особенно если увидят, как я сажусь в поезд.

— А такси на что? Я его вызову, а вам только по лестнице останется спуститься. Я тут на стоянке одного знаю... Кае Оймон его зовут. У него голова варит! Но вот я не уверен...

— Хорошо. Тогда прямо сейчас и вызывайте. Пае только что у нас был, он меня видел и думает, что я торчу дома по болезни. Который час, Эфор?

— Половина восьмого.

— Значит, у меня впереди целый вечер, чтобы отыскать кого нужно. Вызывайте такси, Эфор!

— Я вам только сумку с собой приготовлю...

— Сумку? С чем?

— Ну, вам понадобится... кое-какая одежда...

— Да я и так одет! Ступайте скорей!

— Но вы же не можете ехать просто так, без ничего! — встревоженно запротестовал Эфор. — Ну вот деньги у вас, к примеру, есть?

— Ах да... Это я должен взять.

Шевек уже не в силах был устоять на месте. Эфор почесал в затылке и с видом мрачным и угрюмым прошел в холл к телефону, чтобы вызвать такси. Когда он вернулся, Шевек уже надел куртку и ждал его у двери холла.

— Вниз ступайте, — проворчал Эфор. — Кае через пять минут

к черному ходу подъедет. Скажете ему, чтоб ехал через Рощу — там пропускного пункта нет, а то у главных ворот вас точно остановят.

— А вы-то как же, Эфор? Вам ничего не будет?

Оба говорили шепотом.

— А я и не знаю, что вас дома нет! Утром скажу, что вы еще не вставали. Спите, мол. Это их немного задержит.

Шевек взял старика за плечи, посмотрел в глаза, потом обнял и пожал руку:

— Спасибо, Эфор!

— Желаю удачи! — откликнулся он, немного смущенно. Но Шевек уже спускался по лестнице.

День, проведенный в обществе Веа, обошелся Шевеку весьма недешево; он тогда истратил почти все свои наличные деньги. Поездка на такси в Нио стоила еще десять единиц. Он сошел у центральной станции метро и по схеме нашел, как добраться до Старого Города. В этой части столицы он еще никогда не был. Шуточная улица на карте города отмечена не была, и он решил сойти на той остановке, которая так и называлась: «Старый Город». Поднявшись из роскошного мраморного вестибюля на улицу, он от неожиданности замер на месте: это было совсем не похоже на Нио Эссейю!

Моросил мелкий дождь; над улицами висел туман, и все тонуло во тьме, потому что ни один уличный фонарь не горел. Столбы, правда, были на месте, но лампы либо перегорели, либо были разбиты. Из-под закрытых ставнями окон кое-где просачивались проблески желтого света. На дальнем конце улицы он заметил ярко освещенный вход в какое-то питейное заведение; возле распахнутых дверей болталось несколько человек, разговаривавших чересчур громко. Мокрые, скользкие тротуары были покрыты обрывками раскисшей бумаги и прочим мусором. Витрины магазинов, насколько он сумел отличить их во тьме, были низенькие, сверху донизу закрытые тяжелыми металлическими или деревянными ставнями; одна из них, совершенно обгоревшая, черная и пустая, поблескивала осколками битого стекла. Люди быстро шли мимо — молчаливые, торопливые тени.

Еще на выходе из метро, поднимаясь по лестнице, Шевек обернулся к какой-то старой женщине, которая шла сзади, и спросил, как ему попасть на Шуточную улицу. У входа в подземку светился желтый шар-указатель, в свете которого он ясно увидел лицо женщины: белое, морщинистое, с мертвым от усталости, каким-то враждебным взглядом. В ее ушах покачивались большие стеклянные серьги, стукаясь о щеки. Она с трудом поднималась

по лестнице, сгорбленная то ли усталостью, то ли артритом, но оказалась вовсе не такой уж старой — вряд ли ей было больше тридцати.

— Не подскажете ли вы мне, как пройти на Шуточную улицу? — снова спросил ее Шевек, чуть запинаясь от неуверенности. Женщина равнодушно глянула на него, заторопилась и, наконец добравшись до верхней ступеньки лестницы, поспешила прочь, так и не сказав ни слова.

Он побрел, куда глаза глядят. Возбуждение, вызванное внезапным решением бежать из университетского городка, улеглось; теперь он отчетливо сознавал, что здесь небезопасно, что за ним кто-то следит, а может, и охотится. Он старательно обошел группу мужчин перед освещенным входом в пивную, инстинктивно чувствуя, что одинокий незнакомец совершенно не подходит к их развеселой компании. Заметив впереди какого-то мужчину, он догнал его и повторил тот же вопрос, который задал женщине. Мужчина сказал лишь:

— Не знаю, — и свернул куда-то вбок.

Ничего не оставалось, как идти вперед. Шевек вышел на перекресток, освещенный гораздо лучше улиц; свет от него странными, тусклыми полосами как бы вдавливался в сплошную, плотную тьму города. На перекрестке также было немало освещенных дорожных знаков, указателей и объявлений. Туда же выходили двери многих винных лавок и ломбарда; некоторые из магазинов были еще открыты. Здесь было довольно людно; многие ныряли в двери магазинов или выходили оттуда... Потом Шевек увидел лежавшего прямо на земле, в сточной канаве, прямо под дождем человека; куртка его задралась, закрывая лицо. Он был то ли болен, то ли спал, то ли умер... Шевек в ужасе смотрел то на него, то на прохожих, которые словно и не замечали лежавшего в канаве человека.

И тут кто-то остановился рядом с ним, заглядывая ему в лицо. Это оказался небритый коротышка с кривой шеей и красными глазами; ему было за пятьдесят; беззубый рот раскрыт в усмешке; лицо тупое и жалкое. Он, хихикая, показывал трясущимся пальцем на ошалевшего Шевека и без конца бормотал:

— Ты чего это столько волос нарастил, а? Нет, ты ответь, откуда ты, такой волосатый?

— Не могли бы... не могли бы вы сказать, как мне пройти на Шуточную улицу?

— Шуточную, говоришь? А как же! Мы шутить любим, хотя какие уж тут шутки: не до жиру, быть бы живу! Слушай, у тебя монетки не найдется? Страсть хочется горло промочить, а тут еще

холодрыга такая. Да точно — найдется! — Он подошел ближе, и Шевек отшатнулся, видя его протянутую руку, но по-прежнему ничего не понимая. — Ну что вы, ей-Богу, это же шутка, я у вас всего только денежку попросил, — забормотал мужичонка, не угрожая, но и не жалобно, а скорее машинально, все так же бессмысленно ухмыляясь. Дрожащая рука его по-прежнему тянулась к Шевеку.

И тут до Шевека дошло, что это обыкновенный попрошайка, нищий. Он порылся в карманах, вытащил несколько монет и сунул их коротышке в руку; а потом, похолодев от непонятного ему самому страха, оттолкнул нищего в сторону и бросился бежать, а нищий все что-то бормотал, все пытался схватить его за куртку... Пытаясь избавиться от него, Шевек нырнул в ближайшую освещенную дверь, вывеска над которой гласила: «Принимаем вещи на комиссию по выгодной цене». Внутри, среди груд поношенных пальто и курток, обуви и шалей, поломанных инструментов, ламп, каких-то канистр, ложек, украшений, обломков чего-то и просто самого разнообразного хлама, однако снабженного ценниками с проставленной ценой, Шевек наконец остановился, пытаясь собраться с мыслями.

— Чего-нибудь желаете?

Он снова задал свой вопрос о Шуточной улице.

Хозяин лавчонки, темноволосый смуглый человек, почти такого роста, как Шевек, но только очень худой и сутулый, внимательно на него посмотрел:

— А зачем вам туда надо?

— Я ищу одного человека; он там живет.

— А сами-то вы откуда?

— Мне очень нужно поскорее попасть на эту Шуточную улицу. Скажите, это далеко?

— Откуда вы, спрашиваю?

— Я с Анарреса, с вашей луны, то есть, — сердито ответил Шевек, не думая, что говорит. — Мне совершенно необходимо попасть на эту улицу — прямо сейчас, сегодня!

— Так это вы? Тот самый ученый? Но что вы эдесь-то делаете? Да еще ночью?

— Скрываюсь от полиции! Вы что, хотите сообщить им, что я здесь? Или все-таки поможете мне?

— Черт возьми! — вырвалось у старьевщика. — Нет, черт возьми! Послушайте... — Он колебался, он явно хотел уже что-то сказать, что-то совсем другое, но все же передумал и велел Шевеку: — Ладно. Вы идите вперед. Я вас догоню, вот только магазин закрою. Идите, идите. Я вас отведу куда надо. Нет, черт возьми, а?

Он бросился куда-то в глубь магазина, выключил свет и вышел на улицу вслед за Шевеком; затем опустил тяжелую металлическую ставню, запер ее на замок, запер дверь, и они очень быстро пошли куда-то, а он все приговаривал:

— Скорей! Идите, пожалуйста, скорее!

Они миновали не меньше двух десятков кварталов, все глубже уходя в лабиринт извилистых улочек и переулков, в самое сердце Старого Города. Дождь продолжал моросить, в темноте кое-где поблескивали полоски света из-под ставень; пахло помойкой, гнилью, мокрыми камнями и металлом. Наконец они свернули в неосвещенный переулок без названия, зажатый между двумя высокими старыми домами, нижние этажи которых были сплошь заняты магазинами. Провожатый Ше-века остановился и ногой постучал в закрытую ставнями витрину одного из них. Над дверью магазинчика красовалась надпись: «Т. Маедда. Лучшая бакалейная лавка в городе». Прошло немало времени, прежде чем дверь приоткрылась, и старьевщик заговорил с кем-то, стоявшим внутри. Потом он махнул Шевеку рукой, и они быстро вошли в дом. Впустила их какая-то девушка.

— Туйо там, в дальней комнате, пойдемте, — сказала она, быстро глянув Шевеку в лицо; в коридоре было почти темно, но откуда-то из-за помещения магазина падала полоса неяркого света. — Неужели это вы и есть? — Голос у нее был высокий, почти детский, но звучал уверенно. Она как-то странно улыбнулась. — Неужели это действительно вы?

Туйо Маедда оказался темноволосым человеком лет сорока с мрачноватым умным лицом. В нем чувствовалось какое-то внутреннее напряжение. Он быстро захлопнул толстую тетрадь, в которой что-то писал, и вскочил навстречу вошедшим. Со старьевщиком он дружески поздоровался, назвав его по имени, а с Шевека не сводил настороженных глаз.

— Он, совершенно растерянный, ввалился ко мне в магазин и стал спрашивать, как пройти на Шуточную улицу.

Знаешь, Туйо, по-моему, он говорит правду... это действительно он... тот самый... ну, с Анарреса...

— Да, это так. Верно я говорю, Шевек? — Маедда держался спокойно. Речь у него была неторопливой, хотя глаза тревожно блестели.

— Да. Мне нужна ваша помощь.

— Кто вас послал ко мне?

— Первый же человек, которого я об этом попросил. Я не знаю, кто вы. Я спросил его, куда я мог бы обратиться за помощью, и он сказал: пойти нужно к вам.

— Кто-нибудь еще знает, что вы здесь?

— Они не знают даже, что меня вообще дома нет. Но завтра, боюсь, узнают.

— Сходи-ка за Ремейви, — сказал Маедда девушке. — Садитесь, господин Шевек. По-моему, вам стоит рассказать нам подробнее, что все-таки произошло.

Шевек сел на деревянный табурет, но куртку расстегивать не стал: он настолько устал, что его знобило.

— Я убежал, — сказал он. — Из Университета, из этой золоченой клетки. И не знаю, куда мне теперь пойти. Возможно, тут кругом только клетки и тюрьмы. Я пришел сюда потому, что слышал, как говорят о «народе», о «низших слоях общества», о «рабочем классе»; и я решил, что это звучит похоже на мой собственный народ. На тот народ, где люди способны помогать друг другу...

— А какая помощь вам требуется?

Шевек постарался взять себя в руки. Он огляделся — это был маленький, уютный кабинет.

— У меня есть кое-что, что им очень хотелось бы получить, — сказал он, внимательно глядя на Маедду. — Одна идея. Одна научная теория. Я прилетел сюда с Анарреса в надежде, что смогу здесь завершить эту работу и опубликовать ее, сделать достоянием всех. Я не понимал, что здесь любая научная идея — собственность государства. Я ни для каких государств и правительств не работаю, а потому не могу брать деньги и вещи, которые мне дают, в уплату за мои идеи. Я хочу выбраться отсюда! Но домой пока отправиться не могу. Так что я пришел к вам. Хотя вам, видимо, не нужна моя теория; но, возможно, вам не нужно и ваше правительство.

— Нет, — улыбнулся Маедда. — Оно мне совершенно не нужно. Но я сам нашему правительству тоже не очень-то нужен. Вы выбрали не самое безопасное место, доктор Шевек. Причем как для вас самого, так и для нас... Но успокойтесь.

Сегодня еще не кончилось; а завтра мы решим, что делать дальше.

Шевек вытащил записку, найденную в кармане куртки, и подал Маедде.

— Вот почему я пришел. Это от тех, кого вы знаете?

— «Присоединяйтесь к нам, вашим братьям...» Нет, я их не знаю. Но, возможно...

— Вы одонийцы?

— Частично. Синдикалисты, сторонники доктрины свободы воли, социалисты. Мы работаем совместно с Союзом Социалистического Труда Тху, но занимаем антицентралистскую позицию. Вы появились в горячее время, знаете ли.

— Из-за войны?

Маедда кивнул:

— Три дня назад мы заявили о проведении демонстрации. Против внеочередного призыва в армию, против дополнительных военных налогов, против повышения цен на продукты питания. В Нио Эссейе четыреста тысяч безработных, и они сбивают ставки, способствуя дальнейшему повышению цен. — Все это время он внимательно следил за выражением лица Шевека; теперь же, словно окончив его обследовать, вдруг отвернулся и тяжело откинулся на спинку стула. — В этом городе может произойти все что угодно. Нам совершенно необходима всеобщая забастовка, которой будет предшествовать проведение массовых демонстраций. Нечто подобное Забастовке девятого месяца, которую возглавляла Одо, — прибавил он сухо и натянуто усмехнулся. — Нам бы сейчас такую Одо! Вот только второй луны у них не найдется, чтобы купить нас. Мы добьемся справедливости здесь или нигде... — Он снова посмотрел на Шевека и вдруг сказал значительно более мягко: — А вы хоть понимаете, что означало для нас существование вашего общества в течение всех этих ста пятидесяти лет? Вы знаете, что здесь люди, когда хотят пожелать друг другу счастья и удачи, говорят так: «И пусть в своей второй жизни ты родишься на Анарресе!»? Знать, что действительно существует мир без правительства, без полиции, без эксплуатации... что власти не могут сказать, что это просто мираж, идеалистические бредни!.. А вы понимаете, почему они вас так хорошо спрятали ото всех, доктор Шевек? Почему вам ни разу не разрешили присутствовать ни на одном митинге? Почему они непременно устроят на вас облаву, как только обнаружат, что вы исчезли? Отнюдь не потому лишь, что им так нужна ваша великая теория. Но потому, что вы носитель иных и очень опасных идей. Вы, так сказать, идея анархизма во плоти. И носитель подобных идей сбежал от них и бродит на свободе!

— Ну значит, у вас уже есть «новая Одо», — прозвучал вдруг звонкий голосок девушки; она успела услышать последний монолог Маедды. — В конце концов, Одо ведь тоже была всего-навсего «идеей». И доктор Шевек — тому доказательство.

Маедда некоторое время молчал.

— Доказательство, которое никому нельзя предъявить, — сказал он наконец.

— Почему?

— Если люди узнают, что он здесь, полиция это тоже узнает.

— Ну и что? Пусть только попробуют взять его! — сказала девушка и улыбнулась.

— Демонстрация должна быть абсолютно мирной, лишенной

всяких элементов насилия, — сказал Маедда как-то неожиданно упрямо. — С этим согласились даже члены Союза Социалистического Труда!

— А я с этим никогда не была согласна, Туйо! И я не позволю этим «черным мундирам» бить меня по лицу или вышибать мне мозги! Если меня кто-нибудь ударит, я ударю в ответ.

— Можешь поступать, как хочешь, конечно, но только силой справедливости не добьешься!

— А непротивлением не добьешься власти!

— Мы и не стремимся к власти. Мы как раз хотим покончить с нею!... А вы что скажете? — Маедда резко повернулся к Шевеку. — Если найдены средства для достижения цели — это конец пути... Так, кажется, Одо твердила всю жизнь? Только миром можно добиться мира, только справедливые действия обеспечивают справедливость! Мы не можем допустить раскола по этой причине различного отношения к средствам накануне столь важной акции!

Шевек посмотрел на него, на девушку, на старьевщика, который стоял возле двери, чутко прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Потом сказал спокойно и тихо:

— Если я могу быть вам чем-то полезен, используйте меня. Например, я мог бы опубликовать свое заявление по этим вопросам в одной из ваших газет. Я прибыл на Уррас не для того, чтобы играть в прятки. Если все люди здесь будут знать о моем присутствии, о том, что я среди вас, то правительство, возможно, побоится арестовывать меня прилюдно. Не уверен, конечно...

— В том-то и дело, — сказал Маедда. — Да, так мы и поступим. — Его темные глаза возбужденно горели. — Где, черт возьми, этот Ремейви? Зиро, позвони-ка его сестре и скажи: пусть разыщет его где угодно и немедленно приведет сюда! — Он повернулся к Шевеку: — Да, доктор Шевек, напишите! Напишите, почему вы прилетели сюда, напишите об Анарресе, напишите, почему вы не хотите продавать себя правительству йоти... Пишите, что хотите — мы все опубликуем!.. Зиро! И Мейстхе тоже позвони, будь добра. А вас, доктор Шевек, мы от них спрячем, но, клянусь, каждый человек в А-Йо узнает, что вы здесь, что вы с нами! — Слова лились у него потоком, руки нервно подергивались, он жаждал действий и метался по комнате, не в силах усидеть на месте. — А потом, после демонстрации, после забастовки, мы посмотрим! Возможно, кое-что тогда переменится. Возможно, вам и прятаться больше не придется...

— Возможно, распахнутся двери всех тюрем! — подхватил Шевек. — Ладно, дайте мне бумаги, я напишу.

Девушка по имени Зиро подошла к нему, улыбнулась, чуть

робко, чуть театрально поклонилась ему и поцеловала в щеку. Потом быстро повернулась и вышла из комнаты. И он еще долго ощущал прикосновение ее прохладных губ.

Сутки он провел на чердаке какого-то здания там же, на Шуточной улице, и еще две ночи и один день — в подвале, где была свалена всякая старая мебель, среди пустых рам из-под зеркал и сломанных кроватей. Он писал статью за статьей. Ему приносили готовый, уже напечатанный в газете материал буквально через несколько часов после того, как он его заканчивал: сперва его обширное заявление было опубликовано в популярной газете «Новый век», потом, когда после этого типографию газеты закрыли, а ее издателей арестовали, написанное Шевеком стали печатать в виде листовок в какой-то подпольной типографии — там же, где печатали планы проведения демонстрации и всеобщей забастовки и различные призывы к их участникам. Шевек не перечитывал написанного и весьма невнимательно прислушивался к рассказам Маедды и остальных о том, с каким энтузиазмом воспринимались его статьи, о том, что к забастовке намерены присоединиться все более широкие слои населения, и о том, какое впечатление произведет на мировую общественность его присутствие на демонстрации. Оставаясь ненадолго в одиночестве, он порой вытаскивал из кармана рубашки крошечную записную книжку и смотрел на зашифрованные записи и формулы Общей Теории Времени. Он смотрел на них и не мог их прочесть. Он их не понимал. И тогда он снова убирал записную книжку и сидел, уронив голову на руки.

Анаррес не имел своего флага, так что самому Шевеку нечем было размахивать на демонстрации, но среди лозунгов, провозглашавших всеобщую забастовку, голубых и белых знамен синдикалистов и социалистов он заметил множество самодельных флажков с зеленым Кругом Жизни посредине — старинным символом движения одонийцев, созданным два века назад. Бесчисленные флажки и знамена храбро реяли на солнце.

После чердаков и подвалов приятно было вновь оказаться на свежем воздухе, приятно было идти со всеми вместе, размахивать руками, говорить громко, быть частью огромной толпы людей. Тысячи и тысячи демонстрантов заполнили улицы и переулки Старого Города, мощным потоком текли по главному проспекту; это было поистине впечатляющее зрелище. Когда люди запели, охваченные единым могучим порывом, глаза Шевека наполнились слезами. Его охватило невыразимое, глубокое

чувство единства с этой толпой, зажатой тесными улочками, стремящейся на простор, к весеннему солнцу и свежему ветру. Толпа растянулась неопределимо далеко, и песня, подхваченная тысячами голосов, прокатывалась по ней подобно волнам, замедленно и неровно, как бы нагоняя сама себя. Так эхо одного пушечного выстрела встречается со вторым. Получалось, что все куплеты песни пелись одновременно, вперемешку, хотя в каждом ряду люди пели их в нужном порядке, с первого до последнего.

Шевек не знал их песен и только слушал, весь во власти этого пения и всеобщего подъема, пока из самых первых рядов до него не докатилась — волна за волной по морю людских голов — та песня, которую пели и у него на родине. Он поднял голову и запел ее вместе со всеми, на своем родном языке, так, как когда-то выучил еще в школе. Это был гимн одонийцев-мятежников; его пели два века назад на этих самых улицах его предки, предки его народа.

Заря разбудит тех, кто спит;
Заполнит мир ее сиянье!
Исчезнет тьма, и мрак бежит,
И сбудутся все обещанья!

Те, кто шел рядом с Шевеком, умолкли, слушая его, и тогда он запел во весь голос, улыбаясь и дружно шагая со всеми вместе вперед.

Возможно, на площади Капитолия собралось сто тысяч людей, а может, в два раза больше — индивиды в толпе, подобно элементарным частицам, не поддаются точному подсчету, и невозможно точно определить их местонахождение в данный момент, невозможно предсказать их поведение. И все же эта немыслимо огромная масса людей была как-то организована и делала именно то, что от нее ожидалось организаторами забастовки: люди с песнями прошли по улицам до площади Капитолия, заполнив ее и прилегающие к ней улицы до отказа, и относительно спокойно и терпеливо стояли под ярким полуденным солнцем, слушая выступавших, чьи голоса, искаженные и усиленные громкоговорителями, звонким эхом отдавались от фасадов сената и директората и разносились над бесконечно и тихо гудевшей толпой.

Здесь, на этой площади, сейчас больше народу, чем во всем Аббенае, подумал Шевек; мысль была мимолетной, даже не

мысль, а попытка придать непосредственному ощущению количественную характеристику. Он стоял с Маеддой и остальными на ступенях здания директората; за спиной у них был портик с красивыми колоннами и высокими бронзовыми дверями. Шевек смотрел на трепещущее перед ним море темноволосых голов и слушал, как и все эти люди, тех, кто выступал с речами: не слыша и не понимая конкретных слов — в том смысле, в каком разум слышит и постигает собственные мысли, или как мысль воспринимает и постигает сама себя. Когда он заговорил сам, то ему казалось, что речь его мало чем отличается от слушания. Им управляло сейчас неосознанное желание сказать что-то конкретное — он вообще не воспринимал себя в данный момент как нечто самостоятельное, отдельное от этой толпы — но мысли его и чувства, единые для всех присутствующих, сами находили для себя словесную оболочку и изливались наружу. Многократное эхо, отражавшееся от каменных фасадов массивных зданий, впрочем, несколько сбивало его, заставляя говорить медленней. Но выбирать слова ему не приходилось ни разу. Он говорил то, что было у них на душе, говорил на их языке — хотя сказал не больше и не умнее, чем когда-то сам себе, в своем одиночестве, собственному сердцу.

— Нас соединяет страдание. Не любовь. Любовь не подчиняется разуму — напротив! Она даже может возненавидеть разум, если он попытается воздействовать на нее силой. Те узы, которыми мы скреплены, не имеют выбора. Мы братья. Мы братья по всему, что делим друг с другом. Братья по тем страданиям, которые каждый переживает в одиночку, братья по голоду и нищете; а еще нас объединяет в братство надежда. Мы хорошо знаем, откуда взялось наше братство, мы вынуждены были это узнать. И мы понимаем, что помощи нам ждать неоткуда, кроме как друг от друга; ничья рука не спасет нас, если мы сами не протянем друг другу руки. И пусть наши руки будут пусты! Когда у тебя ничего нет, ты ничем не владеешь. Никем и ничем не обладаешь. Ты свободен! Все, что у тебя есть, — это ты сам. И еще то, что ты можешь отдать и отдаешь другим.

Я здесь потому, что во мне вы видите воплощение того обещания, которое одонийцы дали двести лет назад здесь, в этом самом городе. Мы — сбывшееся обещание. У нас на Анарресе ничего нет, кроме нашей свободы. И мы ничего не можем дать вам, кроме вашей свободы. У нас нет законов, но есть единственный принцип, соблюдаемый всеми, — взаимопомощь. У нас нет правительства, мы свободное объединение людей. У нас нет государства, мы не являемся нацией, у нас нет ни президента, ни премьер-министра, ни вождя; у нас нет генералов,

бизнесменов, банкиров, землевладельцев; у нас, правда, нет зарплаты и благотворительности, но нет и полиции, нет солдат, нет войн! И многого другого у нас тоже нет. Мы стараемся всем поделиться, а не всем завладеть. Наше общество нельзя отнести к процветающим, это правда. Мы не богаты, ни один из нас. Но никто из нас не обладает и властью над другими. Если вы хотите создать у себя именно такое общество, если вас привлекает такое будущее, то вот что я вам скажу: вы обязательно должны прийти к нему с пустыми руками, одинокими и нагими, каким ребенок приходит в этот мир, навстречу своему будущему, не имея ни прошлого, ни собственности и пребывая в полной зависимости от других людей, которые взяли на себя ответственность за его жизнь. Вы не можете взять то, чего не давали сами; и вы должны научиться отдавать. Нельзя купить революцию. Она должна существовать в вашей душе, в вашем сердце, или вы не обретете ее нигде.

Шевек уже кончал говорить, когда голос его заглушил громкий стрекот полицейских вертолетов.

Он отступил от микрофона и посмотрел вверх, щурясь на солнце. И многие в толпе тоже подняли головы, и одновременные движения их рук и голов были похожи на ветер, волнами пробежавший по залитому солнцем хлебному полю.

Грохот винтов могучих машин в каменной коробке площади был непереносим; он напоминал вой какого-то фантастического, сказочного чудовища. И совершенно заглушил сперва автоматные очереди, которые обрушились из вертолетов на безоружных людей. Даже взлетевший над толпой гневный ропот был еле слышен сквозь этот шум, и человеческие слова, казалось, лишались смысла, перекрываемые безмозглым рычанием оружия и техники.

Огонь согнал часть людей на середину площади, а часть из них бросилась к зданию, портик которого мог укрыть на время тех, кто стоял ближе к крыльцу. Через несколько секунд под ним яблоку некуда было упасть. Крик, висевший над толпой, в панике бросившейся назад, к тем восьми улицам, что привели людей сюда, на площадь Капитолия, перерос в дикий вой, похожий на вой бури. Вертолеты висели прямо над головой, и в их реве невозможно было определить, прекратилась ли стрельба; убитые и раненые падали не сразу, настолько плотно они были зажаты толпой.

Обитые бронзой двери директората подались довольно легко, их треска даже никто не расслышал. Люди ломились внутрь в поисках убежища, желая спастись от железного дождя, падавшего с небес. Первых втолкнули в высокий мраморный вестибюль

напиравшие сзади. Кое-кто сразу постарался спрятаться в укромном уголке; другие продолжали проталкиваться дальше, рассчитывая найти другой выход из здания; третьи нарочно задерживались и ломали, крушили все, что попадалось им под руку. Но вскоре явились солдаты. Они поднялись четким шагом, одетые в черные, отлично сшитые мундиры, по ступеням парадного входа, где лежали убитые и умирающие от ран мужчины, женщины и дети, вошли в вестибюль и обнаружили на высокой, серой мраморной стене одно лишь слово, написанное на уровне человеческого роста широкими кровавыми мазками: *долой!*

Они выстрелили в мертвого человека, который лежал ближе всего к этой надписи на стене, однако много позднее, когда в здании директората уже был восстановлен порядок и дерзкое слово тщательно смыли со стены горячей водой с мылом, оно как бы проступило снова; о нем говорили на каждом углу; оно просто не могло исчезнуть, настолько глубокий смысл и значение оно имело.

Шевек вскоре понял, что дальше с таким спутником идти невозможно: раненый слабел на глазах и без конца спотыкался. Идти, собственно, было некуда — разве что прочь от площади Капитолия. И спрятаться тоже было негде. Толпа дважды пыталась взять штурмом бульвар Мезее и противостоять полиции и войскам, но тут появились армейские бронированные машины и погнали людей дальше, к Старому Городу. «Черные мундиры», в общем, стреляли не так часто, однако автоматные очереди и грохот вертолетов слышались отовсюду; вертолеты неустанно кружили над улицами, забитыми демонстрантами, и спастись от пуль в этой толпе было практически невозможно.

Спутник Шевека дышал с трудом, захлебываясь, точно рыдал, хватая ртом воздух. Он с огромным трудом держался на ногах. Шевек почти тащил его на себе, и теперь они уже изрядно отстали от основной толпы и своих товарищей. Не стоило даже пытаться догнать их.

— Ладно, посиди немного вот здесь, отдохни, — сказал Шевек раненому и помог ему усесться на верхней ступеньке ведущей вниз лестницы какого-то здания, похожего с виду на склад. На закрытых ставнях наискось, огромными буквами было написано мелом: *забастовка*. Шевек спустился по этой лестнице к двери, ведущей, видимо, в подвал: дверь была заперта. Здесь все двери всегда были заперты. Разумеется, это тоже была частная собственность. Он выломал кусок камня из потрескавшейся ступеньки и, не раздумывая, сбил замок. Никакой вины он при

этом не испытывал — наоборот, скорее уверенность человека, который отпирает дверь собственного дома. Он осторожно заглянул внутрь и увидел, что в подвале никого нет, только стоят пустые упаковочные клети. Он помог своему спутнику спуститься, захлопнул дверь и сказал:

— Ну вот, садись. Если хочешь, можешь и прилечь. А я пока поищу, нет ли здесь воды.

Подвал явно принадлежал какому-то химическому предприятию, так что здесь нашлось даже несколько водопроводных кранов и целый арсенал противопожарных средств. Когда Шевек вернулся к своему спутнику, тот был без сознания, и Шевек воспользовался этим, чтобы осмотреть и промыть ему рану на руке несильной струей воды из пожарного шланга. Рана оказалась значительно более серьезной, чем он ожидал. Должно быть, в руку попала не одна пуля; бедняге оторвало два пальца и искорежило ладонь и запястье. Острые осколки костей торчали из окровавленной плоти, как зубочистки. Этот человек стоял рядом с Шевеком и Маеддой, когда вертолеты открыли огонь; в него попало почти сразу, и он бросился к Шевеку, прижался к нему, словно ища спасения и поддержки. Шевек обхватил его рукой за плечи и не отпускал от себя, пока они пробирались в поисках другого выхода через здание директората. Кроме того, в такой давке вдвоем устоять на ногах было значительно легче, чем одному.

Он сделал все, что мог, чтобы остановить кровотечение с помощью примитивной шины и жгута, и постарался наложить хотя бы какую-то повязку, чтобы немного прикрыть страшную рану. Потом заставил своего спутника выпить немного воды. Он не знал даже, как его зовут; судя по белой повязке на рукаве, этот человек был из социалистов; по виду ему было, как и Шевеку, лет сорок или, может, чуть больше.

Работая на юго-западе, Шевек видел и куда более серьезно изувеченных людей — там часто случались аварии — и узнал тогда, что человек способен вытерпеть совершенно немыслимые страдания и выжить. Но там, на Анарресе, о раненых заботились. Доставляли хирурга, который мог сделать операцию или полностью ампутировать конечность, привозили и переливали плазму и физраствор, чтобы хоть как-то компенсировать потерю крови, если крови нужной группы рядом не оказывалось, или, по крайней мере, устраивали человеку удобную постель, в которой можно было согреться и забыться сном...

Шевек сел на пол рядом с раненым, который был в полуобмороке от болевого шока, и стал рассматривать помещение склада — погрузочные клети, длинные темные проходы между

ними, светлые проблески дневного света в щелях под опущенными ставнями на окнах, белые потеки селитры на потолке, отпечатки грубых башмаков рабочих и колес вагонеток на пыльном цементном полу. Всего час назад сотни тысяч людей радовались и пели под открытым небом, а сколькие из них теперь убиты?.. И они двое скрываются в каком-то жалком подвале...

— Жалкие вы все-таки люди! — сказал Шевек, обращаясь к своему спутнику на языке правик. — Раз вы не можете держать свои двери незапертыми, то никогда не будете свободными! — Потом он тихонько и нежно коснулся лба раненого; лоб был холодный и влажный. Шевек ненадолго ослабил жгут у него на руке, встал, прошелся по грязному полу, подошел к двери и осторожно поднялся по лестнице на улицу. Основная масса бронемашин уже прошла. Одинокие и перепуганные демонстранты из числа отставших спешили мимо, опустив головы и стараясь поскорее миновать вражескую территорию. Шевек тщетно попытался остановить двоих; наконец третий остановился возле него сам.

— Мне нужен врач, — сказал ему Шевек. — У меня там раненый. В подвале. Вы не могли бы прислать врача?

— Лучше вытаскивайте его оттуда поскорее и уходите.

— А вы поможете мне тащить его?

Но человек только покачал головой и поспешил прочь.

— Они идут цепью, прочесывают дома, — крикнул он на бегу, чуть обернувшись. — Уходите! Уходите скорей!

Больше мимо не прошел никто. Вскоре на дальнем конце улицы Шевек увидел цепочку людей в черных мундирах. Он быстро спустился в подвал, захлопнул дверь, подпер ее покрепче и сел рядом с раненым на пыльный пол.

— Вот черт! — вырвалось у него.

Через некоторое время, успокоившись, он вытащил из кармана маленькую записную книжку и принялся изучать заветные формулы.

В полдень он снова осторожно выглянул наружу и увидел армейскую бронемашину, стоявшую у противоположного тротуара. Чуть дальше, у перекрестка поперек улицы были поставлены еще две бронемашины. Ему стало ясно, что за крики он слышал, сидя в подвале: должно быть, это перекликались солдаты. Или им кто-то *отдавал приказы*.

Атро однажды объяснил ему, как отдаются приказы — это делается как бы сверху вниз: сержанты могут отдать приказ рядовым, лейтенанты — рядовым и сержантам, капитаны... и так далее; а вот генералы могут отдавать приказы всем остальным и сами не слушаться ничьих приказов, кроме приказов

Главнокомандующего. Шевек слушал Атро со все возрастающим отвращением. «Вы называете это четкой организации ей?» — спросил он тогда. — Вы называете это дисциплиной? Но ведь это ни то ни другое! Это жесткий механизм принуждения, работающий, правда, весьма эффективно — не хуже парового двигателя, изобретенного в седьмом тысячелетии. Разве можно с помощью такой застывшей допотопной структуры решать насущные проблемы?» В ответ на это Атро разразился целой речью, аргументируя достоинства войны как средства для воспитания мужества, истинно мужского характера, а также — для отсева тех, кто «никуда не годится». Однако сама направленность подобной аргументации вынудила его в итоге признать, что партизанские отряды, организованные из представителей «низов» и держащиеся на самодисциплине, способны действовать не менее эффективно, чем регулярные войска. «Хотя партизаны способны одерживать победы только в том случае, если сражаются за что-то свое, личное — ну там, за свой дом или еще что-то в этом роде», — не сдавался старый Атро. Но Шевек с ним спорить не стал. А сейчас как бы продолжил тот старый спор — сидя в полутемном подвале, среди погрузочных клетей с химическими веществами, на которых не было даже бирок с названиями. Он мысленно объяснял Атро, что теперь ему ясно, почему армия организована именно так, а не иначе. Подобная субординация действительно была совершенно необходима. Ни одна иная разумная форма организации не могла бы служить подобным целям. Он просто не понял тогда, что цели-то эти просты: оснащенные автоматическим оружием люди должны с легкостью, вызванной приказанием свыше, убивать безоружных мужчин и женщин в любом количестве. Вот только он по-прежнему не видел в этом ни особого мужества, ни вообще чего-либо, свойственного настоящим мужчинам.

Иногда Шевек разговаривал и со своим спутником. Когда стало темнее, этот человек все чаще лежал с открытыми глазами и раза два даже застонал, да так жалобно, по-детски, что у Шевека дрогнуло сердце. Ведь его спутник с отчаянным мужеством все то время, пока вокруг них безумствовала толпа, старался держаться на ногах и идти вперед, сквозь здание директората, к Старому Городу, пряча раненую руку под куртку, прижимая ее к боку, чтобы Шевек не заметил, как серьезно он ранен, чтобы не отставать, не задерживать Шевека. Когда он застонал особенно громко, Шевек сжал его здоровую руку и прошептал:

— Тише, тише, брат, услышать могут! — Вряд ли их услышали бы снаружи, просто ему невыносимо было слышать,

как этот человек страдает, и не иметь возможности ничем облегчить эти страдания. Раненый слабо кивнул и закусил губу.

Они просидели в подвале трое суток. Время от времени где-то рядом возникали спорадические перестрелки; армией явно по-прежнему были блокированы все входы и выходы на бульвар Мезее, находившийся поблизости. Правда, мятежники уже отступили; на бульваре и вокруг было так много солдат, что Шевеку и его спутнику, видимо, не оставалось ничего другого, как выйти и сдаться на их милость. Один раз, когда раненый в очередной раз пришел в себя, Шевек спросил его:

— А если мы выйдем наружу и добровольно сдадимся, что с нами сделают?

Раненый улыбнулся и кратко ответил:

— Пристрелят.

Вокруг все время слышалась стрельба, то дальше, то ближе; порой перестрелка продолжалась часами, а порой они слышали отдельные мощные взрывы и стрекот вертолетов. Вероятнее всего, раненый был абсолютно прав. Шевеку только не совсем ясно было, почему он улыбнулся.

Он умер от потери крови в ту ночь, когда они лежали, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, на груде соломы, собранной Шевеком среди упаковочных клетей. Он уже окоченел, когда Шевек проснулся. Шевек сел и прислушался: в огромном темном подвале, на улицах наверху и во всем городе стояла тишина — тишина смерти.

Глава 10
АНАРРЕС

Под железнодорожными путями на юго-западе часто делали насыпь высотой больше метра, позволявшую чуть меньше зависеть от подвижек пылевых барханов, да и вообще пыльная пелена над нею была не такой густой, и можно было «наслаждаться» открывавшимися из окна видами пустыни.

Юго-запад был единственным из восьми регионов Анарре-са, где не было ни одного приличного источника воды. Летом на самом юге, правда, образовывались болота благодаря таянию полярных снегов; но чем ближе к экватору, тем чаще попадались только мелкие, больше похожие на лужи, засоленные озера в обширных и тоже засоленных котловинах. Здесь не было настоящих гор, но примерно через каждые сто километров встречалась цепь холмов, тянувшихся вдоль меридианов. Бесплодные, покрытые трещинами и кое-где украшенные каменистыми насыпями, холмы эти были странного красно-фиолетового цвета, а на каменистых поверхностях росли горные мхи Анарреса, способные выжить при самой непереносимой жаре, минимальной влажности и диких, все иссушающих ветрах. В тех местах, где мох смело вытягивал вверх свои серо-зеленые тоненькие иголки, поверхность желтоватого песчаника становилась похожей на клетчатый желто-зеленый плед. Это были самые яркие цвета в здешнем пейзаже; преобладал, правда, буровато-серый, порой почти белесый цвет солончаков, едва прикрытых пылью и песком. Над этими бескрайними равнинами изредка проплывали пышные кучевые

Облака, казавшиеся очень белыми в красноватом от сухой жары небе. Но ни дождя, ни жизни эти облака не приносили; лишь тени их быстро пробегали по земле, гонимые ветром. Железнодорожные насыпи и блестящие рельсы ровными линиями убегали за горизонт.

— Да, ничего, видно, не поделаешь с этими пустынями, — сказал машинист поезда своему молчаливому спутнику. — Жить здесь нельзя, можно только насквозь проехать.

Его спутник не ответил: он спал. Голова его моталась в такт покачиванию поезда. Руки, покрытые жесткими трудовыми мозолями и почерневшие от укусов мороза, безвольно лежали у него на коленях; расслабившееся во сне лицо, изборожденное ранними морщинами, казалось печальным. Он попросил подвезти его на станции Медная Гора, и поскольку больше пассажиров не

было, машинист предложил ему ехать в кабине с ним вместе, за компанию. Но пассажир тут же уснул. Машинист время от времени поглядывал на него разочарованно и одновременно сочувственно. В последние годы он перевидал столько изможденных до крайности людей, что почти уже привык к этому, как к явлению вполне нормальному.

Было уже далеко за полдень, когда пассажир наконец проснулся и сперва, видимо, довольно долго не мог сообразить, где находится, глядя недоуменно в окно на проплывавший мимо однообразный пустынный пейзаж. Потом он вдруг спросил:

— А вы всегда совершаете такие перегоны один?

— Да, правда, только в последние три-четыре года.

— И никогда никаких поломок в дороге не было?

— Раза два случались. Но у меня большой НЗ, да и воды сколько хочешь. Вы, между прочим, есть не хотите?

— Пока нет.

— А раз в два дня из Одинокого высылают на трассу ремонтную бригаду, так что не страшно.

— Это следующий поселок?

— Точно. Тысяча семьсот километров от Седепа. Самый длинный перегон на Анарресе. Я тут уже двенадцатый год езжу.

— Нс надоело?

— Нет. Мне нравится самому со всем управляться. — Пассажир понимающе кивнул. — Тут у меня все спокойно, налажено. Я люблю, когда все налажено: можно думать, о чем хочешь. Пятнадцать дней в пути, а потом пятнадцать дней отпуска — я их дома провожу, со своей женщиной; мы с ней постоянные партнеры, в Новой Надежде живем. Получается, год работаешь, год отдыхаешь; засуха, голод — все одно. Ничего не меняется, здесь-то, на юго-западе, всегда засуха... Нет, мне моя работа нравится! Вы бы водички холодной достали, а? Холодильник у меня там, за рундуком.

Оба с удовольствием напились прямо из бутылки. У воды был слабый щелочной привкус.

— Ах, вот это действительно хорошо! — с благодарностью заметил пассажир. Он убрал бутылку и, вернувшись на свое место в передней части кабины, как следует потянулся, упершись руками в крышу. — Значит, у вас тоже жена есть, — он произнес это слово так просто и естественно, что машинист, тронутый его тоном, гордо ответил:

— Да, уже восемнадцать лет вместе живем.

— Ну, это еще только начало.

— Вот и я так считаю! А ведь многие этого-то как раз понимать и не хотят. Я ведь как себе это представляю? Если ты до

двадцати перебеситься успел — тогда от секса только удовольствие получаешь и ничего больше, — то вскоре убеждаешься, что, в общем-то, со всеми получается примерно одно и то же. Хотя секс — дело приятное, ничего не скажешь! А все ж самое главное не в нем; самое главное в партнере твоем, в другом человеке. И самое интересное лет через пятнадцать только и начинается, это вы верно заметили; как раз только-только и начинаешь понимать, что в твоей жизни самое главное. По крайней мере начинаешь соображать, что за женщина тебе досталась. Сами-то женщины вроде бы в мужиках быстрее разбираются, а может, просто блефуют... Да все равно — удовольствие-то именно в этом и заключается: во всех их загадках и блефовании, они ведь все время разные, женщины-то. И никогда ты ее по-настоящему не узнаешь, если будешь только по верхам порхать. В молодости я весь Анаррес успел объехать. Всюду побывал. Знавал, должно быть, никак не меньше сотни девчонок. Ох и надоело же это мне! Взял да и вернулся сюда, и вот теперь езжу по этой пустыне, год за годом, хотя тут один песчаный холм от другого не отличишь, а потом возвращаюсь домой, к одной и той же женщине — и ни разу мне ни здесь, ни с ней скучно не было! От перемены-то мест жизнь веселее не становится. Нет, надо просто так сделать, чтобы время твоим союзником стало, чтобы вы с ним заодно работали, а не против друг друга.

— Именно так, — сказал пассажир.

— А твоя-то где?

— На северо-востоке. Уже четыре года.

— Слишком долго в разлуке плохо жить, — сказал машинист. — Вам бы надо было вместе назначение на работу получить.

— Только не туда, где я был.

— А где это?

— В Элбоу. А потом на Большой Равнине.

— О ней я слышал. — Машинист посмотрел на пассажира с уважением; так смотрят на человека, которому удалось выжить в аду. Он понимал теперь, отчего загорелая кожа пассажира кажется такой сухой, истонченной и словно просвечивает насквозь, до костей. Ему случалось видеть такое и раньше — у тех, кто пережил голод в пустыне Даст. — Не надо было нам так стараться. Закрыли бы эти заводы к черту!

— Но фосфаты были нужны, — возразил пассажир.

— Я слышал, что, когда состав с провизией задержали в Портале, заводы на Большой Равнине все равно продолжали работать, и люди порой умирали от голода прямо на рабочих местах или отходили куда-нибудь в уголок, чтоб другим не мешать, ложились и умирали... Это правда?

Пассажир молча кивнул, и машинист больше вопросов на эту тему задавать не стал. Оба довольно долго молчали, потом машинист снова заговорил:

— Интересно, а что бы я сделал, если бы мой состав окружила такая толпа голодных?

— А что, этого никогда не случалось?

— Нет. Я ведь не продукты вожу; ну, может, иногда один вагон прицепят для Верхнего Седепа, для рудокопов тамошних. Но вот если б я действительно провизию возил? Вот что бы я тогда делать стал? По людям бы поехал? Так ведь как же это можно-то? Дети, старики... Они-то поступают неправильно, но что ж, убивать их за это? Не знаю!..

Прямые сверкающие рельсы ложились под колеса. Облака на западе густились, создавая над пустыней дрожащие огромные миражи — тени тех озер, что высохли здесь десять миллионов лет назад.

— Один парень из нашего синдиката, я его сто лет знаю, как раз так и поступил. К северу отсюда, на 66-м направлении. Голодные попытались отцепить от его состава вагон с зерном, тогда он дал задний ход и переехал парочку особенно настырных. Сразу пути очистили. Тот машинист говорил, голодные на путях кишели, точно черви в протухшей рыбе. А еще он сказал, что восемьсот человек ждали этого вагона с зерном, и куда больше, чем двое, могли умереть, если бы зерна этого они не получили. Так что, похоже, он был прав. Но я, черт возьми, не смогу подобными подсчетами заниматься! Не смогу по живым людям проехать! Не знаю, правильно ли это, что мы считаем людей, складываем, вычитаем — как в задачке арифметической... Ну а вот вы бы что сделали? Вы бы каких предпочли... убить?

— На второй год моего пребывания в Элбоу, где я был учетчиком и статистиком, заводская столовая сократила рационы. Работавшие по шесть часов получали рацион полностью — его едва хватало при работе на таком заводе. Те, кто работал половину времени, получали 3/4 рациона. Если кто-то заболевал или становился слишком слаб, чтобы работать, то получал половину. На половине такого рациона поправиться было невозможно. Тем более вернуться к работе на заводе. Но, в общем-то, выжить кое-кто мог, хотя и с трудом. Так вот, именно мне приходилось переводить людей на половинный рацион; тех, кто уже и без того был еле жив или просто болен... Сам я работал полный день, по восемь, а иногда и по. десять часов, так что получал полный рацион: я его вполне отрабатывал. Но отрабатывал тем, что составлял списки людей, которые теперь будут голодать. — Светлые глаза пассажира смотрели вперед,

словно он пытался разглядеть что-то в сухой, дрожащей, светящейся пелене над пустыней. — И, как в арифметической задачке, мне приходилось считать людей.

— Вы бросили эту работу?

— Да, бросил. Не выдержал. Уехал на Большую Равнину. Но ведь меня сменил кто-то другой, и все равно эти списки в Элбоу продолжали составлять... Всегда найдется тот, кому нравится составлять списки.

— Ну это уж совсем никуда не годится! — Машинист нахмурился. У него было гладкое, загорелое, коричневое лицо и гладкая, совершенно лысая голова, хотя ему вряд ли было больше сорока. Он производил впечатление сильного, сурового и в то же время совершенно невинного человека. — Это они совершенно неправильно делали! Надо было совсем закрыть эти проклятые заводы. Разве можно требовать от человека, чтоб он делал такое? Разве мы не одонийцы? Я понимаю, всякое бывает, ну не сдержится человек, из себя выйдет... Они ведь тоже не без понятия — те, кто поезда осаждали. Просто их голод довел, дети у них голодали, слишком долго все это длилось... А тут мимо еда едет! Хоть и не для них предназначена. Вот они себя и забыли — на охоту вышли. И мой приятель тоже голову потерял, когда люди стали его состав растаскивать, озверел совсем. Вот и дал задний ход. Он тогда людей по головам не считал. Даже не думал об этом! Может быть, позже... А тогда он просто заболел, когда увидел, что наделал. Но то, что они заставляли делать вас — этот останется в живых, а тот пусть умирает! — это не работа! Человек на такую работу права не имеет. И никого нельзя просить такую работу делать!

— Тяжелые времена были, брат, — мягко возразил пассажир, не сводя глаз со сверкающей равнины впереди, над которой проплывали тени воспоминаний о существовавшей здесь когда-то воде и улетали с ветерком прочь.

Старый грузовой дирижабль тяжело перевалил через горы и опустился на взлетное поле близ горы Фасолины. Там сошли и все трое его пассажиров, и едва они ступили на землю, как земля под их ногами дрогнула.

— Так, землетрясение, — спокойно заметил один из них, местный житель, который вернулся домой. — Вот черт, ты посмотри, какая пылища поднялась! Так когда-нибудь прилетишь домой, а тут ни гор, ни дома и нет.

Он и еще один пассажир решили подождать и ехать в город на грузовиках, а Шевек пошел пешком, узнав, что селение Чакар находится всего в шести километрах отсюда, у самого подножия

горы.

Дорога тянулась широкими витками, медленно взбираясь в гору. Слева склоны были отвесные, справа — пологие, густо поросшие невысокими деревьями-холум, аккуратно, точно специально посаженные, расположившимися вдоль подземных источников и выходящих наружу родников. Над перевалом ясно горел закат, в глубоких складках на щеке горы лежали темные тени. Природа здесь казалась абсолютно дикой, и только шоссе, спускавшееся с гор вниз, в полумрак долины, свидетельствовало о пребывании в этих местах человека. Миновав вершину очередного холма, он услышал, как в воздухе что-то проворчало негромко, и местность вокруг него странным образом изменилась, хотя ни толчка, ни дрожания земли под ногами он не почувствовал. Он опустил ногу на землю, завершив начатый шаг, и земля, как ни странно, оказалась на месте. Шевек продолжил спуск с холма. Он не ощущал никакой непосредственной опасности, однако никогда прежде не был так уверен, что стоит буквально на пороге смерти. Смерть была в нем самом, вокруг, у него под ногами; сама земля, казалось, потеряла свою прочность, надежность. Вечно лишь то, что вселяет надежду — обещание, данное и воспринятое разумом человека. Шевек вдохнул холодный чистый воздух

и прислушался. Где-то далеко, во мгле грохотал горный поток.

Сумерки уже совсем сгустились; когда он добрался до Чакара, небо стало темно-фиолетовым и почти слилось с черными вершинами гор. Фонари на пустынных улицах горели ярко, вызывая ощущение одиночества. Фасады домов в этом неестественном свете выглядели точно эскизы на листе ватмана. За домами чернели просторы дикого края. Здесь было много пустующих комнат и даже пустых отдельных домов; это был старый полузаброшенный городок, находившийся на большом расстоянии от других населенных пунктов. Проходившая мимо женщина направила Шевека в Общежитие № 8.

— Вон туда, братец, мимо больницы и прямо.

Улица уходила во тьму, упираясь, как оказалось, прямо в двери невысокого строения. Шевек вошел и оказался в привычной с детства обстановке довольно убогой общей гостиной провинциального общежития: тусклый свет, старый, покрытый пятнами ковер на полу, записка на доске объявлений, в которой что-то говорилось о занятиях группы машинистов, сообщение о собрании синдиката, пришпиленный булавкой билет на спектакль, состоявшийся три декады назад... Над диваном висел любительский портрет Одо в рамочке (разумеется, Одо была изображена как узница, в одной из тюрем Урраса); в уголке

примостились самодельные клавикорды; у двери висел список жильцов и сообщение о том, когда будет горячая вода в городских купальнях.

Черут, Таквер, комната № 3.

Шевек постучался, тупо глядя на отражение коридорной лампы в темном пластике двери, которая едва держалась в раме. Женский голос сказал:

— Войдите!

И он вошел.

В комнате была более яркая лампа и находилась она у Таквер за спиной, так что на мгновение Шевек словно ослеп и не смог бы наверняка сказать, что это она, Таквер. Она вскочила, протянула руки — то ли чтобы оттолкнуть его, то ли чтобы притянуть к себе; это был какой-то неуверенный, незаконченный жест. Он взял ее руки в свои, и тогда наконец они упали в объятия друг другу и не могли разомкнуть их долгодолго, словно стараясь удержаться вместе на этой ненадежной земле.

— Входи же, — сказала Таквер, — входи, входи!

Шевек открыл глаза. На другом конце комнаты, которая по-прежнему казалась ему освещенной чересчур ярко, он увидел серьезные внимательные детские глаза.

— Садик, это Шевек!

Девочка подошла к Таквер, обняла ее ногу и вдруг разразилась слезами.

— Что же ты плачешь? Не плачь, маленькая моя! Все хорошо!

— Да? А сама ты почему плачешь? — недоверчиво прошептала Садик.

— От счастья! Всего лишь от счастья! Иди-ка сюда. Но... Шевек, Шевек! Я ведь только вчера получила твое письмо! И весь вечер ходила около телефона, когда отвела Садик в интернат. Ты написал, что позвонишь сегодня. Не приедешь, а позвонишь! Ох, не плачь, Садики! Посмотри, я ведь больше не плачу, правда? Ну-ка посмотри! Ведь не плачу?

— Этот дядя тоже плакал!

— Конечно, я плакал.

Садик посмотрела на Шевека с недоверчивым любопытством. Ей шел пятый год. У нее была кругленькая аккуратная головка и круглое личико; и вся она была кругленькая, мягкая, с пушистыми темными волосенками.

В комнате почти не было мебели, только две кровати. Таквер села на одну из них, держа Садик на коленях, а Шевек — на вторую и блаженно вытянул усталые ноги. Потом вытер глаза тыльной стороной ладони и показал влажную руку Садик.

— Видишь? Мокрая! — сказал он. — И из носа течет. У тебя

носовой платок есть?

— Есть. А у тебя?

— Был, но в прачечной потерялся.

— Я могу поделиться с тобой своим, — сказала Садик, немного помолчав.

— Ну так дай Шевеку свой платок. Он же не знает, где его взять, — сказала ей мать.

Садик слезла с ее колен и принесла из шкафа чистый носовой платок, который отдала почему-то Таквер, и та уже передала его Шевеку, улыбаясь знакомой улыбкой.

Садик очень внимательно смотрела, как Шевек вытирает нос.

— А здесь тоже было землетрясение? Вот только что? — спросил он.

— Да тут все время трясет, просто перестаешь замечать, — спокойно откликнулась Таквер, но Садик, которой страшно хотелось поделиться всеми сегодняшними новостями, подтвердила звонким, но тоже с легким придыханием, как у Таквер, голоском:

— Да, перед обедом было землетрясение. Когда оно бывает, стекла в окошках начинают блямкать, а двери шататься, и тогда надо поскорее выбегать на улицу!

Шевек посмотрел на Таквер, она тоже смотрела на него. Она, казалось, постарела больше чем на четыре года. Зубы у нее никогда не были особенно хорошими, но сейчас двух «шестых» наверху не было вообще, и, когда она широко улыбалась, дырки были заметны. И кожа у нее стала не такой нежной и упругой, как в юности, а волосы, гладко зачесанные назад, казались тусклыми.

Шевек ясно видел, что Таквер потеряла былую привлекательность; теперь она выглядела обыкновенной усталой женщиной средних лет. Он замечал все перемены в ней куда острее, чем кто бы то ни было другой. Все, что касалось Таквер, он видел по-своему, с позиций долгих лет их нежной близости и долгих лет тоски и разлуки. Он видел Таквер такой, какой она была на самом деле.

Глаза их встретились.

— Как... как же вы тут жили? — спросил он, вдруг покраснев до ушей и чувствуя, насколько нелепый, праздный вопрос задает. Таквер, ощутив почти материальную волну его желания, тоже покраснела и улыбнулась. Но ответила спокойно своим чуть глуховатым, милым, знакомым голосом:

— Да все так же. Я ведь тебе все тогда по телефону рассказала.

— Но это было так давно! Почти два месяца назад!

— Здесь практически ничего не меняется. Каждый день одно

и то же.

— Здесь очень красиво... эти холмы... — В глазах Таквер он видел тенистые горные долины, шумные ручьи... Острота желания достигла в нем вдруг такой силы, что на минуту закружилась голова. Он постарался взять себя в руки и как-то урезонить бунтующую плоть. — Ты не хотела бы здесь остаться?

— Мне все равно, — сказала она тоже странным, каким-то «темным», ночным голосом.

— У тебя из носу все еще течет, — заметила наблюдательная Садик, хотя и без укора.

— Хорошо еще, что только из носу, — откликнулся Шевек.

— Умолкни, Садик. Не будь эгоисткой! — велела ей мать; они с Шевеком рассмеялись, но Садик, ничуть не смутившись, продолжала изучать нового человека.

— Ты прав, Шев, здесь красиво, и мне действительно нравится этот городок. Здесь люди очень хорошие — какие-то целостные, чистые. Но вот работы практически нет. Я ведь всего лишь в лаборатории работаю, в здешней больнице. Нехватка научных сотрудников, а тем более генетиков, уже позади. В принципе я легко могла бы уехать отсюда, не ставя больницу в безвыходное положение. Если честно, я бы хотела вернуться в Аббенай. А ты получил какое-нибудь новое назначение?

— Я его не просил; даже списки не проверил. Я целых десять дней был в дороге.

— А что ты в ней делал, в этой дороге? — спросила Садик с любопытством

— Ехал к вам, Садик.

— Шевек приехал сюда почти с того конца света, с самого юга, из пустынь — приехал ко мне и к тебе, — сказала девочке Таквер. Та улыбнулась и поудобнее уселась у матери на коленях. Потом успокоенно зевнула.

— Ты что-нибудь ел, Шев? Или, может, ты с ног валишься от усталости? Я должна отвести малышку в интернат, уже поздно. Мы как раз собирались уходить, когда ты постучал...

— Она уже ночует в интернате?

— С начала этого квартала.

— Мне уже было целых четыре года! — заявила Садик.

— Нужно говорить «мне уже четыре года», — поправила ее Таквер, мягко стряхнула дочку с колен и достала из шкафа ее пальтишко. Садик стояла к Шевеку боком и вроде бы на него не смотрела, однако он чувствовал, что девочка ни на секунду не забывает о его присутствии. Во всяком случае, все свои замечания она адресовала явно ему.

— Нет, мне было четыре, а теперь уже *больше*, чем четыре.

— Тоже мне «темпоралистка»! Небось, временем будешь заниматься, как твой отец?

— Не может же быть четыре и больше чем четыре в одно и то же время, правда ведь? — спросила девочка, чувствуя в Шевеке поддержку и одобрение и теперь обращаясь прямо к нему.

— Да нет, в том-то и дело, что запросто может! И еще тебе может быть одновременно четыре года и почти пять. — Сидя на низкой кровати, он мог держать голову так, чтобы видеть прямо перед собой глаза Садик; и ей тоже не нужно было все время поднимать голову и смотреть на него снизу вверх. — Но ты знаешь, я совсем позабыл, что тебе уже скоро пять, представляешь? Ведь когда я в последний раз видел тебя, ты была совсем крошкой.

— Правда? — Теперь в ее голосе слышалось несомненное кокетство.

— Да. Ты была вот такой. — Он чуточку развел руки, показывая, какой тогда была Садик. Она засмеялась:

— А я тогда разговаривать могла?

— Ты говорила «уа-уа» и еще кое-что в том же роде.

— А я тоже будила всех кругом, как малыш Шебен? — спросила она, улыбаясь во весь рот.

— Еще как будила!

— А когда я научилась говорить по-настоящему?

— Примерно в полтора года, — сказала Таквер, — и с тех пор рта не закрываешь. Где твоя шапочка, Садикики?

— В школе осталась. Я ее ненавижу, шапку эту! — сообщила она Шевеку.

Они проводили девочку до интерната, бредя по пустынным, насквозь продуваемым ветром улицам. Спальный корпус тоже был весьма тесным и довольно обшарпанным, но в холле там было куда веселее — стены украшали рисунки детей, на подставках стояло несколько очень неплохо сделанных моделей различных машин и паровозов и целый выводок игрушечных домиков и раскрашенных деревянных человечков. Садик поцеловала мать на прощанье, потом повернулась к Шевеку и потянулась к нему ручками; он наклонился, и она небрежно, однако уверенно чмокнула его в щеку:

— Спокойной ночи!

Ночная няня повела ее спать; девочка уже зевала вовсю. Они некоторое время еще слышали ее звонкий голосок и мягкие призывы няни не шуметь.

— Она просто прелесть, Таквер! Замечательный ребенок, умный, здоровый!

— Боюсь, я ее испортила, Шев.

— Нет, что ты! Ты замечательно воспитала ее, просто фантастика, что у меня такая дочь... В такие тяжелые времена...

— Здесь было не так уж плохо. Во всяком случае не так плохо, как на юге, наверное, — мягко заметила Таквер. — Здесь по крайней мере дети были всегда накормлены. Не то чтобы досыта, но, в общем, вполне достаточно. Здешняя коммуна выращивает кое-что из продуктов питания... И в качестве добавки разрешается собирать семена дикого холума. Их можно толочь, а потом варить кашу. Здесь никто не голодал. Но Садик я все-таки испортила! Я слишком нянчилась с ней, я кормила ее грудью до трех лет, молоко у меня было... И почему, собственно, я должна была от этого отказываться, если ничем пристойным тогда не могла ее накормить? Но все вокруг очень меня за это порицали! Мы жили тогда на исследовательской станции в Ролни. И там все требовали, чтобы я отдала ее на полные сутки в ясли, и говорили, что я отношусь к ребенку, как типичная собственница, что я из-за этого недостаточно активно участвую в общей борьбе с голодом. Наверное, они были правы... Нет, правда, Шев. Но как-то уж слишком правы! Никто из них ничего не понимал в том, каково это — расстаться с любимым человеком и остаться одной. Все они там были большими общественниками, ни одной независимой личности. И знаешь, больше всего за то, что я так долго кормила Садик грудью, меня «пилили» именно женщины! Вот уж настоящие спекулянтки! Собственным телом, разумеется. Я терпела все это только потому, что еда там была хорошая — когда ставишь опыты над съедобными водорослями и выясняешь их питательные свойства и прочие качества, порой невольно получаешь довольно приличную добавку к обычному рациону, даже если эти чертовы водоросли больше всего по вкусу похожи на канцелярский клей. Но потом они сумели заменить меня тем, кто больше подходил им. И я переехала в Новый Старт и прожила там больше трех месяцев. Это было зимой, два года назад. Там долгое время от тебя не было никаких известий, и вообще все было так плохо... А потом я увидела в списке это вот назначение и переехала сюда. Садик все время жила со мной, до этой осени. И я еще не успела привыкнуть, и до сих пор по ней скучаю...

— А разве у тебя нет соседки?

— Есть, Черут; она очень милая, но она часто дежурит по ночам в больнице. Садик было пора переходить в интернат, привыкать к другим детям. Она немного стеснялась порой, но, вообще-то, держалась очень хорошо, прямо-таки стоически. Все маленькие дети стоики. Они могут заплакать из-за ерунды, но серьезные вещи воспринимают как надо и не ноют, в отличие от многих взрослых.

Они шли рядом. Яркие осенние звезды высыпали в небе в немыслимом количестве; они мерцали, подмигивали, чуть ли не падали с небосклона — во всяком случае так казалось, потому что временами их закрывали облачка пыли, проносившиеся над землей и особенно густые после землетрясения. А потом небо снова как бы вздрагивало, стряхивая пыль и роняя бриллиантовые крошки мелких звезд, похожие на солнечную рябь на морских волнах. Под сверкающим куполом звездного неба холмы предгорий выглядели особенно темными и мощными, плоские крыши домов — особенно остроугольными, а свет уличных фонарей заметно тускнел и становился даже приятным.

— Четыре года назад, — сказал Шевек, — да, четыре года назад, когда я вернулся в Аббенай из того жуткого городишки в Южном Поселении — кажется, оно называлось Красные Ручьи, — была почти такая же ночь; дул очень сильный ветер, и звезды светили вовсю, и я бежал через весь город до нашего общежития... И оказалось, что ты уехала. Четыре года!

— Стоило мне уехать, и я поняла, какой была дурой, что согласилась. Голод — не голод, а я должна была отказаться от этого назначения!

— Вряд ли это многое изменило. Сабул только и ждал, когда я вернусь, чтобы сообщить, что меня вышвырнули из Института.

— Если бы я осталась, ты бы не уехал в эту пустыню!

— Возможно, и не уехал бы; но нам бы все равно не удалось получить назначения в одно и то же место. Ты так не думаешь? В тех городах на юго-западе... знаешь, там ведь не осталось ни одного ребенка! И сейчас там детей нет. Родители отослали их на север — либо в сельскохозяйственные коммуны, либо в такие места, где имелась возможность регулярно получать продукты. А сами остались — только бы не останавливать работу шахт и заводов... Это просто чудо, что мы вообще выжили, правда? Но, черт бы их всех побрал, уж теперь-то я некоторое время буду заниматься только *своей собственной работой.*

Таквер положила руку ему на плечо. Он тут же остановился, словно ее прикосновение вызвало в нем короткое замыкание. Она подтолкнула его в плечо и улыбнулась:

— Ты ведь так ничего и не ел, верно?

— Не ел. Ох, Таквер, я так соскучился по тебе, я просто с ума сходил!

Они обнялись — с какой-то даже яростью, буквально набросились друг на друга прямо на улице, при свете фонарей, под звездным небом... И столь же внезапно разомкнули объятия: Шевек прислонился к стене и смущенно пробормотал:

— Пожалуй, мне нужно все-таки хоть что-нибудь съесть.

— Вот-вот, — поддержала его Таквер. — А то еще упадешь тут без чувств, что я тогда буду делать? Пойдем-ка!

До столовой было недалеко; она выделялась своими размерами среди прочих домишек Чакара. Время обеда, разумеется, давно миновало, но сами повара еще сидели за столом, и они, расщедрившись, выдали голодному приезжему полную тарелку рагу и вволю хлеба. Все сидели вместе за одним большим столом, поближе к кухне. Остальные столы были уже вымыты и готовы с утра принять посетителей. Помещение столовой напоминало огромную горную пещеру, своды которой скрывались во тьме, разве что порой на столах что-то поблескивало, когда в глубь зала проникал луч света из кухни. Повара и официанты ели без разговоров и быстро, устав после долгого рабочего дня, и почти не обращали внимания на Шевека и Таквер. Один за другим они кончали есть, вставали из-за стола и относили грязную посуду к мойке на кухню. Лишь одна пожилая женщина сказала:

— Вы, ребята, не торопитесь; нам еще целый час посуду мыть. — Лицо у нее было суровое и казалось почти сердитым, да и говорила она отнюдь не «с материнской любовью». Но в голосе ее чувствовалось понимание и милосердие равной. Она все равно ничего не могла больше сделать для них — только сказать: «Не торопитесь», и быстро глянуть со сдержанной любовью, точно строгая старшая сестра.

Впрочем, и они ничем не могли отблагодарить ее. Или друг Друга.

Они пошли назад, в Общежитие № 8, и там наконец осуществили самое свое главное на данный момент желание. Они даже света зажигать не стали — они всегда предпочитали заниматься любовью в темноте. В первый раз все произошло очень быстро и одновременно, стоило Шевеку коснуться ее тела, во второй — они долго ласкали друг друга, боролись, что-то выкрикивали в яростном упоении, пытаясь заставить продлиться упоительные мгновения, точно оттягивая собственную гибель; и в третий раз оба, уже сонные, они долго кружили вокруг финальной точки в каком-то нескончаемом восторженном танце — так планеты слепо и непрерывно кружат в потоках солнечного света вокруг общего центра притяжения.

Таквер проснулась на рассвете. Опершись на локоть, она приподнялась, посмотрела на серый квадрат окна, потом — на Шевека. Он лежал на спине и дышал так тихо, что грудь его едва вздымалась; лицо его, чуть запрокинутое на подушке, казалось каким-то далеким и суровым в утреннем полумраке. Мы наконец пришли друг к другу! — подумала Таквер. Мы шли очень долго,

издалека, преодолевая огромные трудности. Мы всегда шли друг к другу. Через большие расстояния, через долгие годы, через пропасти по мостам случайных удач. И теперь ничто не может разлучить нас. Ничто — ни годы, ни расстояния, ни несчастья — не может быть сильнее того, что разъединяет и соединяет нас: различия наших полов, наших душ, наших умов; но эту пропасть, эту бездну мы преодолеваем легко, перекидывая через нее мостик всего лишь взглядом, прикосновением, словом. Вот сейчас — как далеко он от меня в своих снах! Он всегда дачек, он всегда уходит очень далеко, но всегда возвращается, возвращается ко мне!..

Таквер подала заявление об уходе, пообещав отработать до тех пор, пока ей не найдут замену. Она работала по восьмичасовому графику — в третьем квартале 168 года многие еще работали по удлиненному графику, ибо, хотя засуха кончилась зимой 167 года, экономика еще не успела прийти в нормальное состояние. Срочные назначения на неопределенный срок, плохая кормежка — все это по-прежнему было почти правилом, особенно для людей высокой квалификации; но теперь уже количество еды по крайней мере соответствовало затраченному на работе количеству сил, чего не было еще даже год назад.

Шевек же некоторое время вообще практически ничем не занимался. Он не считал себя больным: после четырех лет голода все были настолько измотаны, истощены и настолько привыкли к различным трудностям и невзгодам, что воспринимали плохое состояние здоровья практически как норму. Шевек страдал «пыльным кашлем», порождением южных пустынь — то есть хроническим воспалением бронхов, сходным с силикозом и прочими профессиональными заболеваниями шахтеров. Однако на юге такой кашель был у всех и воспринимался как нечто несущественное. Так что Шевек наслаждался тем ощущением, что, если у него нет желания работать, он и не обязан что-либо предпринимать по этому поводу.

В течение нескольких дней он и соседка Таквер по комнате Черут «делили» вторую постель — спали на ней по очереди, в зависимости от дежурств Черут. Потом Черут, рано расплывшаяся милая женщина лет сорока, переехала в другую комнату, к соседке, с которой у нее удачно совпадало расписание дежурств в больнице, и Шевек с Таквер получили комнату в свое распоряжение на те сорок дней, что еще прожили в Чакаре. Пока Таквер была на работе, Шевек спал или уходил гулять — по полям, по сухим бесплодным склонам холмов за городом. В полдень он подходил к учебному центру и смотрел, как Садик

играет с другими малышами на площадке, а то и сам вступал в игру, увлеченно участвуя в каком-нибудь «плане» семилетних плотников, желавших построить дом, или же помогал не по годам серьезным двенадцатилетним подросткам, пережившим голод, у которых не получалась, скажем, тригонометрическая съемка. Потом он забирал Садик, и они вместе шли домой, в общежитие; вскоре приходила и Таквер, а потом они все вместе отправлялись в купальню и в столовую. Через час или два после обеда они с Таквер отводили девочку в интернат и возвращались к себе. Дни были похожими один на другой, мирными, полными осеннего солнечного света и тишины холмов. Шевек воспринимал этот период как вневременной — он точно отдыхал, зачарованный, на берегу реки Времени, нереальной и бесконечной. Порой они с Таквер до поздней ночи вели беседы; а иногда, напротив, ныряли в постель буквально с наступлением темноты и спали часов по одиннадцать-двенадцать подряд в глубокой тиши горной ночи.

Он прибыл сюда с багажом: потрепанным дешевым чемоданчиком из оранжевого кожзаменителя с заклепками, на котором крупно, черными чернилами было написано его имя; все анаррести носили свои немногочисленные пожитки — деловые бумаги, подарки, запасную обувь — в точно таких же чемоданчиках. У Шевека в чемоданчике была новая рубашка, которую он выбрал, оказавшись проездом в Аббенае, пара книг и кое-какие бумаги, а также одна непонятная вещица в коробке, которая страшно занимала Садик: казалось, что это просто несколько проволочных колец с нанизанными на них стеклянными бусинками, но, когда Шевек (на второй вечер после приезда) вытащил это чудо из коробки и подержал на весу, восхищенная Садик не выдержала:

— Это ожерелье! — сказала она с восторгом и убежденностью. Люди в маленьких городках носили довольно много всякой бижутерии. В более снобистском Аббенае больше ощущалось противоречие между принципом не-владения и сиюминутным и столь обычным для человека желанием украсить себя; в Аббенае кольцо или заколка считались пределом хорошего вкуса. Но в провинции по поводу глубинного противоречия между эстетикой и стяжательством не особенно задумывались и без стеснения украшали себя. В большей части городков и поселков имелся даже свой ювелир, который всегда пользовался любовью земляков, а также в некоторых мастерских запросто можно было попросить изготовить или сделать самому простенькие украшения из скромных материалов — меди, серебра, бисера, шпинели, гранатов и дешевых желтых алмазов, которые во множестве добывались в шахтах Южного Поселения. Садик в

жизни своей не видела настоящих украшений, однако откуда-то знала про ожерелья и решила, что замечательный предмет — это одно из них.

— Нет, — сказал ей отец, — это не ожерелье, посмотри-ка! — Он торжественно и осторожно приподнял загадочный предмет за нитку, соединявшую кольца, и все это вдруг ожило словно само собой, стало вращаться, и невидимые воздушные сферы, описываемые проволочными петлями, были как бы заключены одна в другую, а стеклянные бусинки восхитительно сверкали в свете лампы.

— Ой, как красиво! — восхищенно воскликнула девочка. — Что это?

— Это обычно вешают под потолком... Там у вас случайно гвоздика нет? Ладно, крючок для пальто пока тоже подойдет, а потом я принесу гвоздик и вобью повыше. А ты знаешь, Садик, кто это сделал?

— Нет... Ты?

— Она. Твоя мама. Это она сделала! — Он повернулся к Таквер. — Это мой самый любимый мобиль, тот, который над письменным столом висел. Остальные я отдал Бедапу. Мне не хотелось оставлять их той мерзкой старухе — как там ее звали? Этой матушке Зависть из комнаты напротив.

— А, Бунаб! Я о ней и забыла, уж несколько лет совсем не вспоминаю! — Таквер расхохоталась. Она смотрела на мобиль так, словно боялась его. Садик застыла, не сводя с него глаз, а он медленно поворачивался, стремясь обрести некое равновесие.

— Вот было бы здорово, — сказала она наконец осторожно, — если б можно было хотя бы на минутку разделить это со всеми! Я бы взяла его в нашу спальню и повесила над своей кроваткой... Один только разик хотя бы!..

— Я сделаю такой для тебя, малышка, обязательно сделаю! И он будет висеть у тебя над кроваткой каждую ночь.

— Ты правда умеешь их делать, Таквер?

— Ну, во всяком случае, раньше умела. Наверное, один-то для тебя уж как-нибудь сделаю. — В глазах Таквер стояли слезу,. Шевек обнял ее за плечи. Оба были напряжены до предела. Садик спокойно и рассудительно посмотрела на них, сжавших, стиснувших друг друга в объятиях, и вновь вернулась к созерцанию медленно вращавшихся «Незаселенных миров».

Оставаясь по вечерам одни, они часто говорили о Садик. Таквер, пожалуй, действительно чересчур много внимания уделяла дочке, даже в ущерб личной жизни; ее чрезвычайно сильное чувство здравого смысла заглушил материнский инстинкт. В целом это не было естественным для женщины

анаррести: ни соперничество, ни опека не являлись сильными мотивами их жизни. Таквер рада была наконец поделиться с кем-то своими тревогами и, отчасти, избавиться от них. В первые ночи большей частью говорила она, а Шевек слушал ее исповеди, как мог бы слушать музыку или говор ручья — не пытаясь ответить. Он давно уже отвык говорить помногу. За эти четыре года он утратил вкус нормальной дружеской беседы, и Таквер освободила его из этого молчания, она всегда умела делать это. Впоследствии именно он говорил больше и всегда в зависимости от того, что именно она ему ответит и как прореагирует на его слова.

— Ты помнишь Тирина? — спросил он однажды. Было холодно; уже наступила зима, и в их комнате, находившейся дальше других от котельной, всегда не хватало тепла. Они собрали обе постели в одну и, укутавшись, как коконы, укладывались рядышком, поближе к электрокамину. Шевек еще надевал старую, теплую, множество раз стиранную рубашку, чтобы не застудить грудь: он любил разговаривать в кровати сидя. Таквер, которая всегда спала голышом, исчезала под одеялами, укутавшись до самого носа.

— А что сталось с нашим оранжевым одеялом? — поинтересовалась она, не отвечая Шевеку.

— Ах ты собственница! Я его там и оставил.

— Матушке Зависть? Как это печально! Я вовсе не собственница. Я просто несколько сентиментальна, а это было первое одеяло, под которым мы спали вместе.

— Нет, не первое. Мы, должно быть, все-таки пользовались каким-то одеялом — в горах Не Терас, помнишь?

— Нет, если оно у нас и было, то я его совершенно не помню, — засмеялась Таквер. — А кто это — тот, о ком ты только что спросил?

— Тирин.

— Нет, не помню.

— Ну, из Северного Регионального, такой темноволосый, курносый...

— Ой, Тирин! Ну конечно! Я просто думала об Аббенае.

— Я его встретил там, на юго-западе...

— Ты встретился с Тирином? Ну и как он?

Шевек некоторое время молчал, разглаживая пальцем какую-то складочку на одеяле.

— Помнишь, что Бедап нам о нем рассказывал?

— Что он продолжал соглашаться на всякие дурацкие назначения и мотаться по разным районам? А потом оказался на острове Сегвина? И Дап говорил, что вроде бы потерял его след?

— Ты видела ту пьесу, которую он поставил? Ту, из-за

которой у него начались неприятности?

— Видела. Во время Летнего фестиваля, уже после твоего отъезда. Но я ее почти не помню, это так давно было... По-моему, пьеса так себе, довольно глупая. Сам-то Тирин был умница, а пьеса получилась глупая. Там еще речь шла о каком-то уррасти... И этот уррасти вроде бы спрятался в цистерне с гидропоникой, чтобы на грузовом корабле полететь на луну, и в пути дышал через соломинку, а питался корешками растений. Полная чушь! В общем, он нелегально пробрался-таки на Анаррес и все бегал повсюду, пытаясь что-то купить, что-то продать, и все время крал и прятал золотые самородки, пока их у него не собралось столько, что он уже и ходить не мог. И тогда он построил какой-то дурацкий дворец и назвал себя Властелином Анарреса. Там еще была ужасно смешная сцена, когда он и одна женщина хотели заняться сексом, и она уже разделась и была совершенно готова, но он сказал, что между ними ничего не может быть, пока он ей не заплатит — все теми же золотыми самородками, которые ей, естественно, были совершенно ни к чему. Она голая шлепалась на постель и пыталась соблазнить его, а он вскакивал как укушенный, хватался за это золото и вопил: «Нет! Я не должен! Это аморально!»... Бедный Тирин! Он был такой смешной, веселый; и всегда такой живой!

— Он сам играл того уррасти?

— Да. И был просто великолепен.

— Он показывал мне эту пьесу. Несколько раз.

— Где ты его встретил? На Большой Равнине?

— Нет, раньше, еще в Элбоу. Он был уборщиком на заводе.

— Он сам выбрал такую работу?

— Вряд ли. Не думаю, чтобы у Тира вообще была возможность что-то выбирать... Бедап всегда был уверен, что Тирина силой отправили в Сегвину на принудительное лечение... Не знаю. Только когда я встретил его — уже через несколько лет после Сегвины — он... В общем, это был совершенно конченый человек.

— Ты думаешь, с ним в Сегвине что-нибудь?..

— Я не знаю. Я всегда считал, что такая лечебница должна действительно быть убежищем для больных людей, спасать их от стрессов, помогать им... Если судить по публикациям синдиката психиатров и невропатологов, они в высшей степени альтруистичны... Сомневаюсь, чтобы Тирина сломали именно там.

— Но тогда что же так на него подействовало? Неужели только то, что онне нашел для себя подходящей работы?

— Его сломал тот спектакль.

— Спектакль? Та шумиха, которую эти старые индюки устроили вокруг его пьесы? Но послушай, чтобы сойти с ума от чьих-то скучных нравоучений, нужно уже обладать нездоровой психикой! Ему просто не нужно было обращать на ворчание этих дураков никакого внимания!

— Ты не понимаешь. Тир уже не был тогда нормальным. По меркам нашего общества, разумеется.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, во-первых, Тир — прирожденный артист. Тонкая творческая натура. Очень уязвимая. Не ремесленник какой-то, а создатель; точнее, создатель и разрушитель в одном лице. Такой человек появляется на свет нечасто и призван все перевернуть вверх тормашками, все вывернуть наизнанку. Сатирик, человек, вынужденный петь дифирамбы, скрывая свой гнев.

— Неужели та пьеса была настолько хороша? — наивно изумилась Таквер и даже на пару сантиметров выползла из-под одеяла, встревоженно глядя на сидевшего к ней боком Ше-века.

— Нет, вряд ли. Не думаю. Хотя, возможно, спектакль действительно получился забавным, смешным. Ему ведь было всего двадцать, когда он написал эту пьесу. Он сейчас все время ее переделывает... И больше ничего другого не пишет.

— Все время переписывает одну и ту же пьесу?

— Да, к сожалению.

— Бедняга!

— Примерно раз в пятнадцать—двадцать дней он приходил и показывал мне очередной вариант. И я читал, точнее, делал вид, что читаю, и пытался даже что-то умное сказать. Ему это было совершенно необходимо, но сам он говорить о ней не мог: был слишком напуган.

— Чем же? Я что-то не понимаю...

— Боялся меня, всех. Нашего «социального организма». Нашей человеческой расы. Нашего одонийского братства, которое его отвергло. Когда человек чувствует себя абсолютно одиноким и противопоставленным всем остальным, он вполне может испытывать страх, ты согласна?

— Ты хочешь сказать, что он решил, будто все на свете против него, только потому, что несколько человек назвали его пьесу аморальной и посоветовали ему не заниматься преподаванием? Но это как-то глупо!

— А кто тогда был на его стороне?

— Дап... и все его друзья.

— Не было у него друзей! Он их всех потерял. Его же постарались отослать от них подальше.

— Но почему же он не отказался от этого назначения?

— Послушай, Таквер. Я когда-то думал точно так же. Мы же с тобой совершили ту же ошибку. Вспомни: совсем недавно ты сказала, что тебе следовало тогда отказаться и не ехать в Ролни. И я стал думать так, стоило мне приехать в Элбоу; я твердил: я свободный человек, я не обязан был сюда ехать!.. Мы всегда думаем и говорим одно, а поступаем иначе. Мы прячем свои желания, свои инициативы, засовываем их поглубже, оставляя наверху лишь крохотный уголок, куда иногда можно заглянуть и сказать: «Я ничего не должен делать по приказу! Я сам выбираю себе дело, я свободен!» Ну а потом мы запираем это заветное убежище на ключ и отправляемся туда, куда нас посылает Координационный Совет или ЦРТ, и послушно трудимся, пока не получим другое назначение...

— Ох, Шев, неправда! Это только с тех пор, как началась засуха. А раньше так не было — люди просто работали там, где были нужны; подыскивали себе дело по душе и присоединялись к какому-нибудь синдикату или сами создавали новый синдикат и регистрировали его в ЦРТ. Ведь централизованно назначения рассылались главным образом тем, кто сам предпочитал оставаться в основном списке. Наверное, скоро теперь все к этому и вернется.

— Не знаю. Наверное. Но даже и до наступления засухи все шло как-то не так. Бедап прав: любые срочные назначения и перемещения людей, вообще всякие целевые перестановки, направляемые «из центра», имеют тенденцию к усилению бюрократической машины, то есть нашего Координационного Совета, в частности. Именно так это всегда происходило, происходит и должно происходить... Бюрократических проявлений в нашем обществе хватало задолго до начала засухи. А пять лет строжайшего контроля над людьми могут полностью изменить все общество. И не смотри на меня так скептически! Вот скажи, скольких людей ты знаешь, кто отказался принять назначение ЦРТ? До того, как началась засуха?

Таквер задумалась.

— Не считая «нучниби»? — спросила она.

— Нет, «нучниби» как раз очень важны.

— Ну, это некоторые из друзей Дапа... Этот милый композитор Салас, например. Хотя он не настоящий «нучниб». А настоящих я довольно часто видела еще в Круглой Долине, девочкой. Они всегда слишком много болтали, но некоторые их разговоры заставляли думать. А еще они рассказывали всякие замечательные истории и предсказывали судьбу, так что все были им рады и старались оставить у себя подольше и накормить повкуснее... Только они никогда не соглашались остаться

надолго... Но ведь тогда люди вообще часто переезжали с места на место — просто собирались и уезжали; многие попросту ненавидели, например, работу на фермах, особенно дети, и такие семьи уезжали особенно часто; бросали все, плевали на назначение и уезжали куда-то в поисках лучшей доли. И никто их за это не винил!

— Почему же?

— Ты к чему это клонишь? — проворчала Таквер, снова забираясь поглубже под одеяло.

— А вот к чему. Нам с тобой стыдно было когда-нибудь сказать, что мы отказываемся от назначения, что у нас есть свои планы на жизнь! У нас ведь общественное сознание полностью доминирует над сознанием индивида, а не пребывает с ним в равновесии. Мы не сотрудничаем — мы подчиняемся. Мы боимся стать изгоями, боимся, что нас назовут ленивыми никчемными эгоистами. Мы боимся мнения своего соседа больше, чем уважаем собственную свободу. Не веришь? Так постарайся хотя бы мысленно перешагнуть через общественные запреты и увидишь, каково тебе будет. Возможно, тогда ты поймешь, что случилось с Тирином, кто он такой и почему стал развалиной, почему его погубили. Он ведь у нас считается преступником! Да-да, мы создали преступление, в точности как в обществе собственников! Мы сами выталкиваем человека за пределы того образа жизни, который одобряем, а потом обвиняем его в том, что он эти пределы покинул. Мы создали законы, Таквер, правила общепринятого поведения, мы сами построили вокруг себя стены, которые даже разглядеть не в состоянии, потому что они часть нашего мышления. Тир всегда был другим. Я знал его с десяти лет. Он никогда не умел строить стены. Он их всегда разрушал, он был прирожденным бунтарем. И прирожденным одонийцем. Настоящим! И он был свободным человеком, а остальные... Ведь это мы, его «братья», довели его до безумия, наказав за первый же свободный поступок.

— Не совсем так, наверное, — глухо сказала Таквер из-под одеяла, явно не желая соглашаться с аргументами Шевека, но не в состоянии их опровергнуть. — По-моему, Тир просто был недостаточно сильной личностью.

— Верно, он был исключительно уязвим, но разве дело в этом?

Оба долго молчали.

— Ничего удивительного, что мысли о нем не дают тебе покоя, — сказала она. — Его пьеса, твоя книга...

— Мне повезло больше. Ученый может притвориться, даже перед самим собой, что его работа — это не он сам, а некая

имперсональная Истина. Но артист, художник не может спрятаться за Истиной. Он вообще нигде спрятаться не может.

Таквер некоторое время молча следила за ним, скосив глаза, потом не выдержала, села и натянула одеяло на голые плечи.

— Бр-р! Как холодно!.. Я ведь была тогда не права, да? Насчет публикации книги. Ну, когда уговорила тебя позволить Сабулу сократить ее и поставить свое имя на обложке... Мне это тогда казалось нормальным. Все равно что ставить работу и ее результат на первое место, а того, кто все это сделал, — на второе; гордость своим трудом — на первое, а тщеславие — на второе; коммуну — на первое, а себя — на второе. Ну и так далее. Но тогда-то дело было вовсе не в гордости и не в тщеславии... Это была настоящая капитуляция. Капитуляция перед Сабулом и его властью.

— Не знаю... Зато работа была все же напечатана.

— Да, цель была верной, вот только средства никуда не годились! Я очень много думала об этом в Ролни, Шев. Я скажу тебе, в чем дело. Я тогда была беременна. У беременных плохо с этикой. Особенно общественной. Сохраняется только самый примитивный ее тип, некий импульс самопожертвования. Да черт с ними — с книгой, с партнерством, с Истиной — если что-то угрожает моему драгоценному зародышу!.. Это сродни расовым предубеждениям — берется из подсознания, но может работать против любых общественных проявлений. Это явление чисто биологическое, не социальное. Мужчинам повезло; они могут благодарить судьбу, что никогда не бывают в когтях подобных инстинктов. Но мужчинам следовало бы лучше знать, что с женщинами такое случается, и иметь это в вицу. По-моему, в старых государствах женщин именно поэтому использовали как собственность. Ты спросишь, почему они это позволяли? Да потому что вечно находились в состоянии беременности или кормления грудью! То есть, даже не желая этого, уже пребывали в чьей-то власти, являлись чьими-то рабынями!

— Хорошо, возможно, ты и права, но наше общество — это настоящая коммуна, и оно по-настоящему воплощает в себе идеи Одо, ее Обещание. А ведь Одо тоже была женщиной! Вот чем ты сейчас занимаешься? Самоуничижением. Пытаешься таким образом облегчить чувство собственной вины. Для чего ты барахтаешься в луже и пачкаешь себя грязью? — Выражение он употребил другое; на Анарресе не было животных, способных валяться в лужах. Это было сложное словосочетание, буквально означавшее «покрывать себя толстым слоем экскрементов». Гибкость и точность языка правик порой предоставляли самые неожиданные возможности для создания весьма ярких метафор.

— Нет, конечно, я была счастлива, когда родилась Садик. Это было просто замечательно! Но насчет твоей книги я действительно заблуждалась и зря уговорила тебя.

— Мы оба были не правы, оба заблуждались. Мы всегда с тобой ошибаемся вместе. Неужели ты всерьез думаешь, что могла уговорить или заставить меня принять такое решение?

— По-моему, именно так и произошло.

— Нет; на самом деле ни ты, ни я тогда так ничего и не решили до конца — мы просто позволили Сабулу сделать выбор за нас. У нас у самих внутри сидит по маленькому Сабулу — боязнь общественного мнения и остракизма, общественная мораль, боязнь быть самим собой, иным, чем остальные, боязнь быть свободным! Все, больше это никогда не повторится. Я учусь медленно, но все-таки учусь!

— Что ты собираешься делать? — спросила Таквер; в голосе ее звучали волнение и одобрение одновременно.

— Вместе с тобой вернуться в Аббенай и основать синдикат, Издательский синдикат. Опубликовать «Принципы» целиком. И все, что нам захочется. Например, работу Бедапа по проблеме открытого образования, которую Координационный Совет ни за что не пропустит. И пьесу Тирина. Я в долгу перед ним. Ведь это Тирин научил меня понимать, что такое тюрьмы и кто их строит. Те, кто строит вокруг себя стены, являются своими собственными тюремщиками. И еще я должен выполнить свое прямое предназначение, свою «функцию» в нашем драгоценном «социальном организме»: разрушить все стены.

— Боюсь, тогда будет слишком много сквозняков, — сказала Таквер и прислонилась к Шевеку. Он обнял ее за плечи и сказал:

— Вот этого как раз я и хочу.

Таквер давно заснула, а он все лежал без сна, подложив руки под голову, глядя во тьму и слушая тишину. Он думал о своем долгом путешествии из пустыни Даст, вспоминая барханы и миражи, того машиниста с лысой коричневой головой и честными невинными глазами, который сказал, что человек должен работать вместе со временем, а не против него.

За эти четыре года Шевек успел кое-что понять — во всяком случае насчет своих собственных устремлений. В отчаянии своем он познал и собственную силу. Никакой общественный или этический императив не мог теперь справиться с силой его воли. Даже голод не смог ее подавить. Чем меньше он имел, тем более абсолютной становилась его потребность *быть*.

Он определял эту свою потребность в терминах одонизма — как «функцию на уровне клетки»; так в «Аналогии» Одо

определялась оптимальная общественная полезность индивида. Здоровое общество непременно должно позволять индивиду выполнять эту оптимальную функцию свободно, лишь координируя ее со всеми прочими индивидуальными функциями, отыскав способы наилучшей адаптации с ними. Это была одна из центральных идей «Аналогии». То, что в одонийском обществе Анарресе давно уже ощущалась нехватка идеалов, ничуть не уменьшало в глазах Шевека его ответственность перед обществом; как раз наоборот. При наличии прежнего мифа об отсутствии на Анарресе какого бы то ни было государства становилось ясно видимым подлинное соотношение общественного и личного. Одонийское общество могло бы требовать от своих членов самопожертвования, но не допуская никаких компромиссов, ибо, несмотря на то что общество могло обеспечить безопасность и стабильность, право морального выбора имел лишь индивид, лишь конкретная личность обладала полной властью что-то изменять в своей жизни, являясь, собственно, основной функцией жизни вообще. Одонийское общество было задумано как общество перманентной революции, а все и всякие революции начинаются всегда в умах думающих индивидов.

А потому Шевек был абсолютно уверен теперь, что его стремление созидать, делать то, для чего он лучше всего годился, могло служить, согласно одонийской терминологии, оправданием любых его грядущих шагов. Ощущение чрезвычайной ценности выполняемой им работы он более не считал отсекающим его от товарищей, от общества, как думал когда-то. Напротив, уверенность в том, что его работа для общества важна, накрепко соединяла его с ним.

Он понял также, что человек, обладающий подобным чувством ответственности по поводу конкретного дела, обязан превзойти все испытания. Недопустимо рассматривать себя как простой инструмент для воплощения цели, пусть даже великой, жертвовать во имя этого всеми остальными своими жизненными обязательствами.

Именно это стремление к самопожертвованию и обнаружила в себе Таквер, когда была беременна. Она рассказывала об этом Шевеку с таким ужасом и отвращением к себе самой, потому что тоже была одонийкой и разделение целей и средств ей тоже казалось лживым, недопустимым. Для нее, как и для него, конечной цели вообще не существовало и существовать не могло. Существовал процесс, и этот процесс был всем. Ты можешь идти в направлении обещанного или же наоборот, от него, но нельзя пуститься в путь, а потом где-нибудь произвольно остановиться.

Подобная сопричастность непрерывному процессу прибавляла всем одонийцам ответственности и стойкости.

А потому их взаимопонимание с Таквер, их душевное родство ничуть не пострадало за четыре года разлуки. Они оба очень страдали, но ни одному не пришло в голову избежать этих страданий, нарушить обет верности и взаимопонимания.

Ведь в конце концов, думал Шевек, лежа в тепле рядом со спящей Таквер, это огромная радость — сознавать, что они оба уже миновали период страданий, завершив тем самым формирование своей личности. Лишь пройдя через страдания, можно стать счастливым. Удовольствий можно иметь сколько угодно, и все же главная цель достигнута не будет. И ты никогда не узнаешь, что это такое: вернуться домой!

Таквер тихонько вздохнула во сне, словно соглашаясь с ним, и повернулась на другой бок, досматривая какой-то свой тихий сон.

Осуществление задуманного, думал Шевек, вот основная функция времени. Поиски удовольствий носят циклический характер, они без конца повторяются, они вообще находятся как бы вне времени. Любителя разнообразных и острых впечатлений, краткосрочных интрижек и приключений всегда выносит в итоге в одно и то же место. Такой путь конечен. Он неизбежно приводит к концу, к тупику и должен быть начат снова. Это не путь и возвращение, не виток, но замкнутый цикл; запертая комната, клетка.

А ведь за стенами запертой комнаты расстилаются горизонты времени; там дух волен — при наличии удачи и мужества — создавать хрупкие, подвижные, фантастические пути, целые города верности и любви, в которых единственно и должны существовать люди...

И лишь там, в пределах этого широкого мира, включающего прошлое и будущее, верность и преданность связывают время воедино, являясь главным источником человеческой силы; главным источником жизни вообще.

Оглядываясь на четыре года разлуки, Шевек не воспринимал их как потраченные впустую, но как часть того здания, которое он и Таквер строили своей собственной, общей теперь, жизнью. Главное — работать вместе со временем, а не против него, думал он. Время нельзя потратить зря, ибо даже боль и страдания не бывают напрасными.

Глава 11
УРРАС

Родарред, старая столица провинции Аван, славился своими башнями и шпилями, торчавшими над вершинами огромных сосен. Улицы здесь были темными и узкими, каменные плиты поросли мхом; густые туманы надолго задерживались под деревьями. Только с семи мостов, перекинутых через реку, можно было как следует разглядеть небо над головой и верхушки острых шпилей. Некоторые из городских башен взлетали вверх на несколько сотен футов, а те, что пониже, рядом с ними казались молодой порослью у корней этих гигантов. Некоторые башни были просто из грубого камня, другие, более изящные, украшены изразцами, мозаикой, витражами, чеканкой по меди, олову или даже золоту. На одной из таких сказочных, исполненных фантастического очарования улиц и заседал Совет Государств Планеты Уррас, основанный триста лет назад. Многие посольства, консульства и представительства стран-членов Совета также старались обосноваться в Родарреде, от которого до Нио Эссейи, где находилось правительство А-Йо, был всего час езды.

Посольство планеты Земля расположилось в старинном Речном Замке, между хайвеем, ведущим в Нио, и рекой; среди могучих деревьев была видна только одна приземистая мрачноватая башня с квадратной крышей и узкими окнами-бойницами, похожими на прищуренные глаза. Четырнадцать веков выдерживали стены этой башни натиск вражеского оружия и непогоды. Темные сосны толпились вокруг, и среди них через крепостной ров был перекинут подъемный мост. В данный момент мост был опущен, ворота в замок открыты. Заросший зеленой травой крепостной ров, река, почерневшие от старости стены, флаг на вершине башни — все было влажным и поблескивало в тумане, пронизанном солнцем; колокола на башнях Родарреда только что отзвонили семь часов утра.

Внутри замка оказалась в высшей степени современная приемная; клерк, вышедший Шевеку навстречу, без стеснения зевал во весь рот.

— Вообще-то мы открываемся в восемь, — глухо и укоризненно пробормотал он.

— Я хотел бы видеть посла.

— Посол завтракает. Вам нужно было заранее записаться на прием. — Клерк вытер слезящиеся после очередного зевка глаза и наконец впервые как следует разглядел посетителя. Он явно был

удивлен. Беззвучно пошевелив губами, он спросил: — А вы собственно кто? Откуда... и что вам угодно?

— Мне необходимо видеть вашего посла.

— Минуточку подождите, — сказал клерк. Выговор выдавал в нем выходца из Нио. Не сводя с Шевека глаз, он взял телефонную трубку.

Шевек заметил, как в ворота въехала машина, из которой вышли несколько человек в знакомых черных мундирах; металлические пуговицы и галуны блестели на солнце. Вдруг в приемную из глубины здания вошли, беседуя, два сотрудника посольства, одетые и выглядевшие довольно странно. Шевек одним прыжком обогнул стол секретаря и бросился к ним:

— Помогите мне! Скорее!

Они ошеломленно подняли головы. Один отступил назад и нахмурился. Второй, заметив группу людей в полицейских мундирах, схватил Шевека за руку и ледяным тоном велел:

— Ступайте сюда, — и втолкнул его в небольшой кабинет. Закрыв за собой дверь, он спросил: — В чем дело? Вы из Нио Эссейи?

— Мне необходимо переговорить с вашим послом.

— Вы один из забастовщиков?

— Меня зовут Шевек. Я с Анарреса.

Глаза землянина сверкнули; они у него были большие, ясные, умные, а лицо — черное, как уголь.

— Господи! — сказал он. — Вы просите политического убежища?

— Не знаю. Я...

— Пойдемте со мной, доктор Шевек. Я отведу вас в более безопасное место. Там вы сможете отдохнуть.

Замелькали залы, лестницы... чернокожий человек не снимал теплой руки с плеча Шевека.

Потом кто-то попытался снять с него куртку, куда-то уложить, он сопротивлялся, опасаясь, что они найдут его записную книжку, потом кто-то заговорил с ним спокойно и убедительно на неведомом ему языке, кто-то другой пояснил: «Не волнуйтесь, доктор Шевек, это наш врач. Он просто пытается выяснить, не ранены ли вы. У вас вся куртка в крови».

— Это не моя кровь, — внятно сказал Шевек. — Это кровь другого человека.

Наконец ему удалось сесть. Голова ужасно кружилась. Он полусидел на кушетке в просторной, залитой солнцем комнате. Видимо, по дороге сюда он упал в обморок. Рядом стояли двое мужчин и какая-то женщина. Он непонимающе, вопросительно посмотрел на них.

— Вы в Посольстве Земли, доктор Шевек. На территории нашей планеты. Здесь вы в полной безопасности. И можете оставаться здесь сколько угодно.

Кожа у женщины была смуглой, чуть желтоватого оттенка, как красноземы на Анарресе, и очень гладкой, хотя ни лицо, ни тело не были выбриты; просто волосы росли только на голове. Черты лица были необычные: точно у ребенка — маленький рот, приплюснутый носик, довольно узкие, продолговатые глаза с густыми длинными ресницами, округлые щеки и подбородок. Она вся была маленькой, пухленькой, округлых форм.

— Не волнуйтесь, здесь вы в безопасности, — повторила она.

Он хотел что-то ей ответить и не смог: не хватило сил. Один из мужчин легонько и ласково толкнул его в грудь и велел:

— Лежите, лежите.

Он послушно лег, но все же прошептал:

— Я хочу видеть посла вашей планеты.

— Я и есть посол. Меня зовут Кенг. Мы очень рады, что вы пришли именно к нам. Повторяю: здесь вы в безопасности. Пожалуйста, доктор Шевек, постарайтесь немного отдохнуть, а потом мы непременно поговорим. Никакой спешки нет. — Голос у женщины-посла звучал негромко, напевно и как бы в разных тональностях; и в то же время он чем-то напоминал голос Таквер.

— Таквер, — с отчаянием сказал Шевек на родном языке, — я не знаю, что мне делать?

Она наклонилась к нему и сказала:

— Спите.

И он заснул.

Двое суток он только спал, ел и снова спал. На третий день, придя в себя и облачившись в свой серый модный косном, который за это время успели вычистить и отгладить, он поднялся на третий этаж, в личную гостиную посла.

Кенг не стала ни кланяться, ни пожимать ему руку; она просто соединила ладони у себя под грудью пальцами вверх и улыбнулась:

— Я рада, что вы чувствуете себя лучше, доктор Шевек. Нет, мне, видимо, следует называть вас просто Шевек, верно? Пожалуйста, садитесь. Извините, что вынуждена говорить с вами на йотик — он ведь чужой для нас обоих, — но вашего языка я не знаю. Мне говорили, что правик — необычайно интересный язык, изобретенный с удивительно рациональных позиций, сумевший стать общим для целой планеты, для огромного количества людей.

Шевек чувствовал себя очень большим и тяжелым рядом с

миниатюрной инопланетянкой. И ужасно волосатым. Он сел в одно из глубоких мягких кресел и заметил, что Кенг, садясь, чуть поморщилась.

— У меня позвоночник не в порядке, — пояснила она. — Мне просто вредно сидеть в кресле, но кресла здесь такие удобные и мягкие! — Шевек вдруг понял, что ей куда больше тридцати — как ему показалось сначала — может быть, все шестьдесят или даже больше; его обманула безупречно гладкая и чистая кожа Кенг, ее детское личико и хрупкая фигурка. — Дома, — продолжала она, — мы сидим главным образом на полу, на специальных подушках. Но если я заведу эту моду здесь, мне еще выше придется задирать голову, чтобы посмотреть кому-то в лицо: у вас в созвездии Кита все такие высокие!.. Видите ли, у нас возникла небольшая проблема. То есть не у нас конкретно, а у правительства А-Йо. Ваши друзья на Анарресе, те, кто осуществляет радиосвязь с Уррасом, ну вы их знаете, давно и весьма настойчиво требуют переговоров с вами. И теперь правительство йоти не знает, как быть и что им сказать. — Она слегка улыбнулась, и в этой улыбке промелькнуло почти незаметное злорадство.

А вообще в ней чувствовалось удивительное спокойствие. Такое спокойствие исходит от обкатанной водой каменной глыбы, одно лишь созерцание которой доставляет наслаждение. Шевек подумал некоторое время и спросил:

— А правительству А-Йо известно, что я здесь?

— Официально, видимо, нет. Мы, во всяком случае, ничего не сообщали, а они не спрашивали. Но у нас есть несколько служащих и секретарей йоти... Я думаю все же, что они знают.

— Мое присутствие здесь не представляет для вас опасности?

— О нет! Наше посольство находится в юрисдикции Совета Государств Планеты, а не А-Йо. Вы имели полное право прийти сюда, и Совет безусловно заставит А-Йо с этим смириться. И, как я уже говорила вам, этот замок является территорией планеты Земля. — Она снова улыбнулась; ее гладкое лицо на мгновение покрылось легкими мелкими морщинками и тут же снова разгладилось. — Что весьма приятно, надо сказать. Ведь мы сейчас находимся в одиннадцати световых годах от моей родины, в государстве А-Ио, на планете Уррас созвездия Кита! Только дипломаты могли до такого додуматься.

— Значит, вы можете просто сказать им, что я здесь?

— Могу, если вы этого хотите. Это значительно все упростило бы.

— А вы не знаете... Не было ли для меня... письма с Анарреса?

— Не знаю. Я не спрашивала. Но если вас что-то беспокоит, мы легко можем связаться с Анарресом по радио. Нам, разумеется, известна длина волны, которой пользуются ваши друзья, однако сами мы никогда ею не пользовались — нам ведь никто этого не предлагал, а мы, разумеется, не настаивали.

— У вас в посольстве есть передатчик?

— Связь легко организовать через наш космический корабль, который все время остается на орбите Урраса. Это хайнский корабль. Хайн и Земля ведь давно сотрудничают, как вы, должно быть, знаете. Их посол знает, что вы у нас; его единственного мы уведомили об этом официально. Так что радиопередатчик к вашим услугам.

Он поблагодарил ее с простотой человека, которому не свойственно оглядываться назад и выискивать истинные мотивы того, что было ему предложено. Кенг недолго смотрела ему прямо в глаза своим проницательным, спокойным взглядом, потом вдруг сказала:

— Я слышала вашу речь.

Он посмотрел на нее, словно не понимая:

— Речь?

— Ну да, во время демонстрации на площади Капитолия. Сегодня как раз неделя... Мы всегда слушаем подпольные радиостанции — рабочих-социалистов, сторонников доктрины свободы... А тогда, конечно, все их передачи были посвящены демонстрации. Я слышала ваше выступление и была тронута до глубины души. А потом раздался какой-то странный шум, крики, вопли... Но никто ничего не объяснял, а шум все усиливался... Потом вдруг все стихло. Это было ужасно, ужасно! Значит, вы были там?.. Как же вам удалось спастись? Как удалось выбраться из города? Старый Город до сих пор оцеплен; в Нио ввели три дополнительных армейских полка. Бастующих и подозреваемых хватали десятками, сотнями... Как все-таки вы добрались до нашего посольства?

Он слабо улыбнулся:

— На такси.

— Через все пропускные пункты? Да еще в окровавленной куртке? Когда все знают вас в лицо?

— Я был под сиденьем. Это такси... реквизировали — я правильно выражаюсь? Конечно, риск был, и на этот риск люди пошли ради меня. — Он, опустив голову, смотрел на свои стиснутые на коленях руки. Говорил он спокойно, но в нем чувствовалось чудовищное внутреннее напряжение, почти надрыв — его выдавали глаза и жесткие морщины, что пролегли вдруг у рта. — Во-первых, мне повезло, что, когда я вылез из того

подвала, меня сразу не арестовали. А потом мне удалось пробраться в Старый Город и попасть к своим. А уж они продумали все и все подготовили, чтобы доставить меня сюда. И весь риск взяли на себя. — Он что-то сказал на своем языке, потом перевел: — Это настоящая солидарность!..

— Все это очень странно, — сказала Кенг. — Я ведь почти ничего не знаю о вашем мире, Шевек. Только то, что рассказывают уррасти. Вы ведь никому не разрешаете садиться на Анаррес. Я знаю, конечно, что большую часть планеты занимают пустыни; что там часто бывают засухи; знаю, что колония одонийцев поставила там великий эксперимент по созданию некоего подобия анархо-коммунистического общества, которое просуществовало уже сто семьдесят лет... Я читала кое-что из работ Одо — не все, конечно. Мне казалось, что Анаррес в данный момент не так уж важен по сравнению с тем, что назревает на Уррасе; что он далеко... что одонийское общество — всего лишь интересный эксперимент, не более. Но я очень ошибалась! Возможно, как раз Анаррес и является ключом к пониманию тех событий, что имели место на Уррасе... Эти революционеры в Нио... у их движения, похоже, те же истоки, те же традиции. Они ведь устраивают забастовку не просто ради повышения зарплаты или протестуя против внеочередного призыва в армию. И среди них не только социалисты, но и анархисты, и представители других партий; они вместе борются против Власти, против здешнего чудовищного авторитаризма. Видите ли, нам сперва трудно было понять размах этой мирной демонстрации и паническую реакцию на нее властей. Здешнее правительство вовсе не казалось нам столь уж деспотичным. Богатые, правда, действительно очень богаты, зато бедные вовсе не настолько бедны. Здесь нет фактического рабства, люди, в общем, не голодают... Почему же им мало «хлеба и зрелищ»? Почему они не удовлетворятся речами на митингах? Только теперь я начинаю понимать почему. Но мне по-прежнему кажется совершенно необъяснимым поведение правительства А-Йо: ведь оно прекрасно знает, что освободительная традиция одонизма до сих пор жива, осведомлено об участившихся беспорядках в промышленных городах, но все-таки зачем-то вас сюда доставили? Это же равноценно тому, чтобы поднести спичку к пороховому погребу!

— А они не рассчитывали, что я возле этого порохового погреба окажусь! Меня предполагали полностью оградить от общения с «народом», поселив среди ученых и позволив общаться только с богатыми или хорошо обеспеченными людьми. Бедняков мне показывать были не намерены, трущоб тоже. Меня должны

были завернуть в вату и положить в коробочку, а коробочку обернуть красивой бумагой и прозрачной пленкой — здесь все так пакуют. И в этой коробочке я должен был чувствовать себя вполне счастливым и работать на благо своих гостеприимных хозяев — я ведь не смог выполнять эту работу на Анарресе. А результаты своей работы я должен был отдать уррасти, чтобы потом они могли с ее помощью угрожать вам.

— Угрожать нам? Земле, хотите вы сказать? И Хайну, и другим космическим государствам? Но чем? Как?

— Способностью «уничтожать пространство».

Кенг несколько минут молчала.

— Так вот вы чем занимаетесь! — Она явно была поражена и заинтригована.

— Нет, как раз не этим! Во-первых, я не изобретатель, не инженер, не конструктор. Я теоретик. И им от меня нужна именно теория. Общая Теория Времени. Вы знаете, что такое Общая Теория Поля?

— Ах, Шевек, ваша физика и ваши естественные науки мне совершенно недоступны! Я ведь математику, физику и даже философию знаю весьма слабо, а ваша Теория, похоже, имеет ко всему этому самое непосредственное отношение. И еще к космологии и многому другому... Но я могу догадаться, что вы понимаете под теорией Одновременности — я немного представляю себе, что такое теория относительности; а потому могу догадаться и о том, что ваша физика времени способна сделать возможным создание новых, пока еще неведомых технологий. Так?

Он кивнул и сказал:

— В основном им нужно сейчас освоить мгновенное перемещение материальных тел в пространстве. Нуль-транспортировку. Понимаете? Как бы не пересекая само пространство, не тратя времени... Они, вполне возможно, и сами когда-нибудь додумаются до этого, без моих формул. Но это будет еще нескоро. А с помощью моих формул они могут уже через несколько месяцев создать ансибль. Людям, материальным телам, куда сложнее преодолевать большие расстояния, чем идеям, мыслям, словам...

— Что такое ансибль, Шевек?

— Пока только идея. — Он невесело усмехнулся. — С помощью такого приспособления было бы возможно наладить практически мгновенную связь между двумя любыми точками пространства. Разумеется, это приспособление не будет способно пересылать, например, письма... Видите ли, грубо говоря, Одновременность — это идентичность. Но в нашем восприятии

она будет работать как способ, средство связи во времени и пространстве, то есть будет осуществляться обмен. Если ансибль использовать, например, для переговоров между различными галактиками, то не придется слишком долго ждать ответа на заданный вопрос, как это происходит сейчас при использовании электромагнитных волн. Это на самом деле будет очень простая вещь. Нечто вроде телефона.

Кенг рассмеялась:

— О, эта простота физиков! Итак, я, значит, смогу взять такой... ансибль, верно?., и поговорить с сыном, который остался в Дели? Или с внучкой, которой было пять, когда я улетала, и которая успела стать совсем взрослой, пока я еще только летела с Земли на Уррас, хотя наш корабль перемещался со скоростью, близкой к скорости света... И я могла бы узнать, что творится сейчас у меня дома — и не ждать одиннадцать лет... И можно было бы сразу принимать решения, заключать соглашения, делиться информацией... Я могла бы поговорить с дипломатами Чиффевара, а вы — с физиками Хайна, и великим идеям не нужно было бы ждать столетия, чтобы добраться из одной галактики в другую... А знаете, Шевек, по-моему, эта ваша «очень простая вещь» способна была бы совершить настоящую революцию в девяти известных мирах, изменить жизнь миллиардов людей! — Он молча кивнул. — Это сделало бы вполне реальным создание Лиги Миров, о которой мы мечтаем. Нам очень мешают постоянные задержки, те годы и десятилетия, что проходят между каждым вопросом и ответом. Такой ансибль, как мне кажется, равен изобретению человеческой речи! Мы сможем говорить! Наконец-то мы сможем говорить друг с другом!

— И что бы вы, например, сказали?

Горечь, звучавшая в его вопросе, озадачила Кенг. Она посмотрела на него и ничего не ответила.

Шевек наклонился вперед и с силой потер лоб и виски — как всегда в минуты волнения.

— Послушайте, — сказал он, — я должен все-таки объяснить, почему я пришел к вам, зачем вообще явился на эту планету. Так вот: ради великой идеи. Ради ее воплощения в жизнь. Пришел учить и учиться сам. Мы на Анарресе добровольно отрезали себя от остального мира. Мы, видите ли, не желаем вести диалог с остальным человечеством. Там завершить свою работу я не мог. А если б и смог, она все равно не была им нужна, они не видели в ней практического смысла. И я прилетел сюда. Здесь я нашел все то, что было мне необходимо — беседы и споры с коллегами, возможность ставить эксперименты в лаборатории света и даже книгу о теории относительности, привезенную с другой

планеты... В общем, я обрел тот самый стимул, который был мне так нужен. Но вот я закончил свою работу. Она, правда, пока еще не написана, но я составил все необходимые формулы и знаю, как обосновать все положения своей теории, так что в целом работу можно считать законченной. Но это отнюдь не единственное, что мне важно. Мое общество — это ведь тоже некая идея, только воплощенная в жизнь. Я продукт этого общества. Я с молоком матери впитал идеи свободы, необходимости перемен, человеческой солидарности. И я совершил изрядную глупость, хотя в конце концов все же понял это. Дело в том, что, преследуя одну цель, в данном случае желая создать некую физическую теорию, я предал нечто гораздо более важное: позволил собственникам покупать истину — у меня!

— Но как бороться с этим, Шевек?

— А разве не существует альтернативы купле-продаже? Разве не существует такого понятия, как подарок?

— Да, конечно...

— Тогда вы должны понять одну нехитрую вещь: я хочу отдать свою теорию, поделиться ею... со всеми — с вами, с Хайном, с другими мирами... и со всеми государствами планеты Уррас тоже! Но — со всеми сразу, одновременно! Чтобы кто-то один не смог воспользоваться ею так, как того хочет А-Йо, не смог обрести власть над другими, не смог стать еще богаче или выиграть еще больше войн и кровопролитных сражений. Чтобы никто не использовал Истину для собственной выгоды — только для общего блага.

— В конце концов, так всегда и случается, — заметила Кенг.

— В конце концов — да; но я не намерен ждать этого «в конце концов». У меня только одна жизнь, и я не отдам ее просто так, ради чьей-то алчности, выгоды и лжи. И ни одному «хозяину» я служить не стану!

Теперь Кенг уже не казалась столь спокойной, как в начале беседы; она едва сдерживала охватившее ее волнение. Она была восхищена Шевеком, его внутренней силой и свободой, не сдерживаемой никакими самоограничениями, никакими понятиями о самообороне.

— Каково же оно, это общество, что создало вас? — потрясенно проговорила она. — Я слышала, как вы говорили об Анарресе — там, на площади — и я плакала, слушая вас, но по-настоящему вам все же не верила. Люди часто говорят с излишним восторгом о своем доме, о родных краях, о той земле, где их сейчас нет... Но вы не похожи на других, Шевек!

— Потому что я действую во имя конкретной идеи, — сказал он. — Из-за которой явился сюда. Во имя Анарреса. Раз мой народ

не желает видеть вокруг себя Вселенную, я решил попробовать заставить представителей других миров повнимательнее посмотреть на нас, на Анаррес. Я думал, так будет лучше — не быть разделенными стеной, являть собой единое общество, такое же, как многие другие, еще один мир среди прочих миров, где все умеют не только брать, но и давать. Но тут я ошибся... я страшно заблуждался...

— Почему же? Конечно...

— Потому что на Уррасе нет ничего, что было бы нужно нам, анаррести! Мы с пустыми руками покинули эту планету сто семьдесят лет назад и были правы. Мы не взяли отсюда ничего. Потому что здесь нет ничего, кроме Государств, их оружия, их богатых, их лжи, их бедных и их нищеты. Здесь нельзя, невозможно действовать по справедливости, с открытой душой. Здесь во все в итоге проникают представления о выгоде, страх лишиться собственности, жажда власти. Здесь нельзя просто сказать «доброе утро», не узнав заранее, насколько «выше» тебя тот, с кем ты здороваешься. Здесь невозможно вести себя по-братски — можно только командовать, манипулировать другими людьми или, напротив, подчиняться им, или их обманывать. Здесь до души другого не доберешься, однако тебя самого никогда не оставят в покое. Свободы здесь нет и в помине. Уррас — это коробка, красивая, праздничная упаковка с прелестными картинками, на которых изображено голубое небо, луга, леса, большие города... Но откройте коробку — и что же вы увидите внутри? Черные стены темницы, грязь и мертвого человека, у которого отстрелили руку только потому, что он протянул ее другим. Наконец-то я узнал, что такое Ад! Дезар был прав: Ад — это Уррас.

Речь Шевека дышала страстью, однако слова были чрезвычайно просты, и посланница Земли смотрела на него с симпатией и осторожным интересом, словно не была уверена, правильно ли воспринимает эту простоту.

— Мы оба здесь чужеземцы, Шевек, — наконец сказала она. — Причем я — из мира куда более далекого во времени и пространстве. И все же, по-моему, я гораздо менее чужда Уррасу, чем вы... Позвольте мне пояснить эту мысль. Мне самой и всем землянам эта планета представляется одной из самых щедрых, богатых разнообразием живой жизни и самых прекрасных во Вселенной! Именно такой мир мог бы максимально соответствовать понятию «Рай». — Она помолчала, глядя на него спокойно и внимательно; он молчал. — Я понимаю, здесь много всякого зла — несправедливости, алчности, безумия, бессмысленного расточительства природных и человеческих

богатств. Но тем не менее мир этот полон добра и красоты, жизненной силы и великих свершений. Он таков, каким и должен быть настоящий мир людей! Он живой, поразительно живой — несмотря на процветающее в нем порой зло, в нем есть и надежда. Разве я не права? — Шевек молча кивнул. — Ну а теперь скажите мне, вы, человек с планеты, которую я даже вообразить себе не могу, представляющий себе этот Рай как самый настоящий ад: каким представляете вы себе мой собственный мир, мою Землю? — Он по-прежнему молчал, внимательно глядя на нее спокойными светлыми глазами. — Тогда я вам скажу: моя родная Земля лежит в руинах! И сделали это ее собственные обитатели. Мы множились, не заботясь о перенаселении, мы уничтожали последние запасы продовольствия; мы вели разрушительные войны друг с другом, мы сами разорили свое гнездо — а потом стали вымирать. Мы не сдерживали ни собственных аппетитов, ни жажды насилия. Мы не приспосабливались к своему миру — мы его разрушали, а вместе с ним уничтожали и себя. На моей Земле больше не осталось лесов. Воздух там серый от пыли, и небо стало серым, и там всегда жарко. Она все еще обитаема, моя Земля, но она теперь так отличается от этой планеты, от Урраса! Здесь — живой, *живущий* мир и, на мой взгляд, достаточно гармоничный. На Земле — сплошные разногласия и прежде всего человека с природой. Вы, одонийцы, выбрали пустыню; мы, земляне, пустыню создали... Мы стараемся выжить в ней, как и вы. Человек — вообще существо стойкое! Сейчас нас на Земле осталось полмиллиарда. А когда-то было девять миллиардов! Сплошь и рядом там встречаются старые города, где кости и камни с различной скоростью превращаются в прах и пыль; остаются нетленными только куски пластика — они чужды природе и не способны адаптироваться к ней. Мы, земляне, как человеческие и общественные особи потерпели поражение! Но здесь мы — как равные среди равных; здесь — мы тоже представители Человечества. Впрочем, и здесь мы оказались только по милости планеты Хайн. Они первыми прилетели к нам, оказали помощь, построили космические корабли и подарили их нам, чтобы мы в случае катастрофы смогли покинуть свой разрушенный, умирающий мир. Они добры и милосердны; они обращаются с нами, как подобает обращаться сильному со слабым. Они очень странные, эти хайнцы; их мир старше всех прочих известных миров и бесконечно великодушнее. Они истинные альтруисты. Они точно ощущают перед нашей планетой некую вину, а мы и своей-то вины перед нею толком не понимаем, несмотря на все совершенные нами преступления. И они ко всему подходят с открытой душой — по-моему, благодаря

своему бесконечному прошлому. Ну что ж, с их помощью мы постарались спасти на Земле то, что еще можно было спасти, и даже создали на развалинах былого мира какую-то новую жизнь — тем единственным способом, который был нам доступен: абсолютной, всеобщей и полной централизацией. Жесточайшим контролем над использованием каждой пяди земли, каждой полоски металла, каждой унции топлива, каждого грамма конечной продукции. Мы ввели строжайший контроль над ростом рождаемости и эйтаназию; создали всемирные трудовые резервы — по-моему, у вас тоже есть нечто подобное. Это означало абсолютную регламентацию каждой отдельной жизни во имя общей великой цели: выживания людей на планете.

Этого мы сумели добиться. Благодаря хайнцам. Они принесли нам... немного больше надежды. Не очень много. Но нам хватило. Мы ведь тогда изжили свою надежду полностью... И вот теперь мы можем только восхищаться Уррасом, этой полной жизни прекрасной планетой и ее процветающим обществом. Да, восхищаться и, возможно, немножко завидовать этому «Раю». Но не очень.

— Но в таком случае наш Анаррес — во всяком случае тот, о котором вы слышали, — для вас, Кенг, просто не может что-либо значить!

— А он ничего и не значит для нас, Шевек. Ничего. Мы упустили шанс создать «свой Анаррес» много веков назад, еще до того как зародилось ваше общество одонийцев.

Шевек встал и подошел к окну — одной из тех узких бойниц, что украшали старинную башню. Под окном в стене была ниша, где мог устроиться лучник, чтобы иметь возможность лучше прицелиться в тех, кто атакует ворота замка; иначе сквозь такую бойницу разглядеть что-либо снаружи было невозможно — в ней виднелось лишь небо, в данный момент затянутое легчайшей дымкой, насквозь просвеченной солнцем. Шевек глядел на это небо, и глаза его полнились светом.

— Вы просто не понимаете, что такое Время, — сказал он вдруг. — Вы говорите, что прошлое миновало, а светлое будущее нереально, что нет никакой надежды на особые перемены... Вы считаете Анаррес тем будущим, которого вам нельзя достигнуть; вы полагаете, что ваше страшное прошлое изменить невозможно. Для вас существует только настоящее, только этот, теперешний Уррас, его богатое, реальное, стабильное настоящее. Единственное «сейчас». И вы думаете, что «сейчас» — это нечто такое, чем можно владеть! Вы немножко завидуете этому теперешнему Уррасу, вам бы хотелось иметь такую же цветущую планету. Однако понимаете, что это абсолютно нереально. Но

мир Урраса отнюдь не стабилен! И он не имеет ни одной из перечисленных вами характеристик (да и что во Вселенной стабильно и прочно?). Все течет, все меняется... Ничем нельзя обладать вечно... И менее всего — настоящим, если не принимаешь его вместе с прошлым и будущим. Важно не только прошлое, но и будущее; не только будущее, но и — обязательно! — прошлое. Потому что они реальны: лишь реальность нашего прошлого и будущего делает реальным настоящее. Вы никогда не поймете Урраса, пока не примете еще одну, связанную с ним, реальность: вечную реальность Анарреса. Вы правы: мы — ключ к пониманию Урраса. Но, даже сказав это, вы еще по-настоящему не верили, что так оно и есть. Вы не верите в Анаррес. Значит, вы не верите в меня, хотя я стою рядом с вами, в этой самой комнате, в данный момент... В одном мой народ был прав, а я нет — в том, что мы не можем прийти к вам: вы нас не впустите. Вы не верите в возможность перемен. Вы скорее уничтожите нас, чем примете нашу реальность, чем согласитесь, что у нас есть надежда! Мы не можем прийти к вам. Мы можем только ждать, пока вы сами придете к нам,

Кенг сидела, глубоко задумавшись и, возможно, даже забыв, где находится.

— Я не понимаю... не понимаю, — проговорила она наконец. — Вы — точно кто-то из нашего собственного прошлого, из тех старых идеалистов, тех мечтателей... которые говорили о свободе, о свободе духа... И все же я вас не понимаю! Вы словно пытаетесь объяснить мне что-то из невероятно далекого будущего, однако сам-то вы действительно здесь, рядом со мной!.. — Она совершенно утратила былое спокойствие и самообладание. Немного помолчав, она спросила: — Но тогда почему же вы все-таки пришли ко мне, Шевек?

— О, всего лишь для того, чтобы подарить вам одну идею. Мою теорию времени. Чтобы спасти ее, иначе она превратится в собственность йоти — то есть в деньги или оружие. Если вы согласитесь, то проще всего было бы передать эти формулы по радио всем физикам во всех обитаемых мирах и как можно быстрее. Вы согласны помочь мне?

— Разумеется!

— Это всего несколько страниц текста. Доказательства и кое-какие примечания заняли бы несколько больше места и времени, но их можно передать и потом; к тому же многие смогут додуматься до этого и сами.

— Но что же тогда будете делать вы? Хотите вернуться в Нио? Сейчас в столице, правда, довольно спокойно; мятеж вроде бы подавлен, по крайней мере на некоторое время; но, боюсь,

правительство йоти считает вас одним из подстрекателей. Конечно, есть еще Тху...

— Нет. Я больше не хочу оставаться на Уррасе. Я, к сожалению, не альтруист! Если вы поможете мне покинуть эту планету, я бы с удовольствием улетел домой. Возможно, это совпадает и с желанием правительства А-Йо — они бы, наверное, хотели отправить меня подальше отсюда, сделать так, чтобы я исчез, а потом отрицать даже само мое существование. Разумеется, с их точки зрения, возможно, полезнее было бы меня убить или бросить в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Но я пока что не хочу умирать, тем более здесь, в Аду. Куда у вас, землян, отправляется душа, если умираешь в Аду? — Он рассмеялся; к нему снова вернулось прежнее обаяние. — В общем, если бы вы могли отправить меня домой, то йоти, по-моему, вздохнули бы с облегчением. Мертвые анархисты, как известно, часто становятся «Невинными жертвами» и продолжают жить веками. А вот исчезнувшие — вполне могут оказаться и забытыми.

— А я-то считала, что понятие «реализм» мне хорошо известно, — сказала Кенг и заставила себя улыбнуться.

— Как же вы могли это знать, если не знаете, что такое надежда!

— Не судите нас слишком строго, Шевек.

— Я и не думаю вас судить! Я всего лишь прошу о помощи — за которую мне нечем отплатить.

— Нечем? А ваша Теория?

— Положите ее на одну чашу весов, а на другую — свободу для одной лишь человеческой души, — сказал Шевек, — и сами увидите, какая чаша окажется тяжелее. Но можете ли вы сказать это заранее? Я, например, не могу.

Глава 12
АНАРРЕС

— У нашего Синдиката инициативных людей есть предложение, — сказал Бедап. — Как вам известно, мы уже более двухсот дней поддерживаем постоянную радиосвязь с Уррасом...

— Вопреки рекомендации Совета и мнению большинства одонийцев!

— Согласен. — Бедап смерил прервавшего его человека взглядом, но ни малейшего неудовольствия не выказал. На собраниях Координационного Совета не соблюдалось ни протокольных правил, ни регламента. И выступавшего прерывали нередко чаще, чем выступали сами.

Бедап хорошо знал всех своих давнишних оппонентов. В импортно-экспортном отделе Совета он уже три года только тем и занимался, что неустанно сражался с ними. Тот, кто только что прервал его, был новичком; совсем еще молодой парень, видимо, лишь недавно выбранный в КСПР голосованием по списку. Бедап довольно долго и вполне доброжелательно смотрел на него, потом продолжил:

— Давайте не будем снова начинать старый спор, хорошо? Я предлагаю открыть новую дискуссию. Дело в том, что мы получили весьма интересное послание с Урраса от группы, именующей себя «Обществом одонийцев». Они пользовались той же частотой, которой мы пользуемся для связи с А-Йо, однако вне графика связи, и сигнал был весьма слабый. Похоже, это представители государства Бенбили, а вовсе не А-Йо. Видимо, данное общество было создано уже после Заселения

Анарреса, и существует подпольно, вопреки всем запретам и законам. Они адресовали свое послание «братьям на Анарресе». Текст полностью опубликован в бюллетене нашего Синдиката, это довольно любопытный документ. Они, в частности, спрашивают, нельзя ли им прислать сюда своих представителей.

— Прислать сюда? Они хотят, чтобы мы позволили уррасти явиться к нам? Этим шпионам?..

— Нет, они хотят прилететь сюда в качестве новых поселенцев.

— То есть хотят устроить новое Заселение Анарреса? Так?

— Они утверждают, что на них охотится полиция, и надеются...

— Ну да, надеются захватить нашу планету! Открыть сюда доступ собственникам, чтобы любой спекулянт, который называет

себя одонийцем, мог сюда явиться и устанавливать свои законы?

Далее началась полная неразбериха; спор весьма быстро достиг точки кипения; говорили как бы все сразу, но никто ничего вразумительного так и не сказал, большая часть отделывалась саркастическими репликами и довольно бессмысленными эмоциональными высказываниями чисто субъективного характера. Страсти, правда, понемногу утихли, однако окончательного решения вынесено так и не было. Собрание было похоже на семейную свару или, точнее, на яростный спор человека с самим собой, когда он не знает, как ему поступить.

— Ну а если мы разрешим этим так называемым одонийцам явиться сюда, то как они предполагают это сделать?

Это был главный оппонент Бедапа — женщина, которую он терпеть не мог и даже побаивался. Холодная, умная, умело владевшая искусством аргументации. Звали ее Рулаг. Весь год, пока он работал в Совете, она не давала ему жить спокойно. Бедап глянул в поисках поддержки на Шевека; тот впервые пришел на заседание Совета. Кто-то говорил, что Рулаг — талантливый инженер с удивительно ясным и холодным умом; такой она показалась и Бедапу — абсолютный прагматик во всем, четкое мышление плюс механистическая ненависть ко всему иррациональному. Она опротестовывала любой шаг Синдиката инициативных людей, включая даже само его право на существование. Бедап уважал ее, как уважают сильного, достойного противника. Порой, когда она говорила о могуществе Урраса и опасности заключения сделки с ним с позиции слабого по отношению к более сильному, он даже, пожалуй, ей верил.

Временами Бедапу даже казалось, что они совершили ошибку. Неужели, спрашивал он себя, тогда, зимой 168 года они с Шевеком, встретившись и обсудив все возможности создания собственного синдиката, благодаря чему смогли опубликовать наконец свои работы и послать их на Уррас (особенно это было важно отчаявшемуся Шевеку), породили некую, совершенно неконтролируемую череду событий? Когда им наконец удалось наладить радиосвязь с соседней планетой, урраси стали проявлять гораздо больший энтузиазм и желание общаться и обмениваться информацией, чем можно было ожидать; а когда Синдикат опубликовал первые обзоры обмена информацией с Уррасом, его оппоненты проявили свое негодование по поводу установившейся связи настолько бурно, что Шевек с Бедапом и их друзья просто не знали, как реагировать. Получалось, что на обеих планетах их Синдикату уделяли чрезмерно много внимания. Когда твой враг с восторгом бросается обнимать тебя,

а твои собственные земляки тебя отвергают, трудно не задать себе вопрос: а вдруг ты и в самом деле предатель?

— Мне кажется, они могли бы прилететь сюда на одном из грузовых кораблей, — ответил он Рулаг. — Как все настоящие одонийцы, они ничего не имеют против путешествий в некомфортных условиях. Впрочем, неизвестно еще, отпустит ли их правительство страны или Совет Государств Планеты. С какой стати сторонникам авторитарной власти оказывать услугу анархистам? Меня интересует абсолютно теоретический вопрос. Что, если бы мы для начала пригласили совсем маленькую группу, человек шесть-восемь? Разве это так уж опасно?

— Похвальная осмотрительность, — сказала Рулаг. — Мы бы, разумеется, лучше узнали, что в действительности творится на Уррасе, однако, на мой взгляд, опасность заключается в самой попытке выяснения этого. — Она встала, давая понять, что намерена говорить достаточно долго. Бедап нахмурился и глянул на Шевека, сидевшего с ним рядом.

— Ты только ее послушай! — прошептал он. Шевек ничего не ответил; он на подобных собраниях обычно вел себя очень сдержанно, даже смущенно, если только что-то не задевало его уж очень всерьез. В таких случаях он оказывался на удивление прекрасным оратором. А сейчас он сидел, опустив голову, и разглядывал собственные руки. Но Бедап заметил, что, хотя Рулаг и обращается вроде бы к нему, Бедапу, глаз не сводит с Шевека.

— Ваш Синдикат инициативных людей, — сказала она, подчеркнув местоимение «ваш», — уже построил передатчик, установил радиосвязь с Уррасом и получает от них информацию; вы также порой публикуете результаты этих переговоров. И все это — вопреки протестам большинства и рекомендациям Совета. Никаких особых упреков пока что мы вам предъявить не можем — нам, одонийцам, чужда мысль о том, что кто-то может сознательно приносить вред нашему обществу и настаивать на собственных заблуждениях, вопреки советам и протестам своих товарищей и братьев. Во всяком случае, подобное случается достаточно редко. В общем-то, вы, пожалуй, первые, кто стал вести себя именно так, как всегда предсказывали наши противники: с полной безответственностью по отношению к благосостоянию общества одонийцев. Я не предлагаю вновь вернуться к обсуждению того, что вы уже успели совершить, выдавая научную информацию нашему врагу — нашему могущественному врагу! — и признаваясь тем самым в нашей относительной слабости. Но сейчас вы предлагаете куда более опасную и вредную вещь. Какая разница, скажете вы, между переговорами с уррасти по радио и приглашением сюда, в

Аббенай, нескольких человек с этой планеты? А какова разница между закрытой дверью и открытой? Ну хорошо, давайте откроем все наши двери и позволим уррасти прилетать сюда! Шесть или восемь псевдоодонийцев прилетят на ближайшем грузовом корабле, а шестьдесят или восемьдесят собственников йоти — на следующем. И уж они-то сумеют осмотреть нас буквально с ног до головы, чтобы решить, как получше нас разделить — ну да, превратить нас в свою собственность и разделить между государствами Урраса. Ну а еще через некоторое время сюда явится уже целый космический флот — шесть или восемь сотен вооруженных военных кораблей: пушки, солдаты, оккупационные войска... И наступит конец Анарреса, Обещание не сбудется. Наша надежда покоилась — в течение ста семидесяти лет — на «Условиях заселения планеты», согласно которым ни один уррасти не должен являться сюда, за исключением самих Поселенцев. Никогда! Никакого смешения культур и цивилизаций. Никаких контактов. Отказаться от нашего основного принципа сейчас — значит сказать тиранам, которых мы однажды победили: «Наш эксперимент не удался, прилетайте! Мы готовы вновь стать вашими рабами!»

— Ничего подобного! — воскликнул с возмущением Бе-дап. — Напротив, мы могли бы тогда сказать им: «Наш эксперимент удался, мы достаточно сильны теперь и готовы встретиться с вами лицом к лицу, как с равными!»

Рулаг не замедлила возразить; ее аргументы падали, точно удары молота. Затягивать спор было ни к чему. Голосовать было не принято. Почти все присутствующие уверенно высказались за соблюдение «Условий заселения». Как только это стало ему совершенно ясно, Бедап сказал:

— Хорошо, поскольку таково общее решение собрания, никто сюда не прилетит — ни на «Куйео Форт», ни на «Старательном». Синдикат обязан следовать мнению большинства; мы всего лишь просили вашего совета. Но существует и еще один момент, касающийся той же самой проблемы. Шевек, ты выступать будешь?

— Дело вот в чем, — начал Шевек. — У нас возникла идея послать на Уррас кого-то из анаррести.

Послышались восклицания и вопросы. Шевек, не повышая голоса и не отвечая, упорно продолжал:

— Это не принесет ни вреда, ни угрозы никому из живущих на Анарресе. И это, как мне представляется, все-таки вопрос личного права каждого; собственно, это что-то вроде проверки права любого анаррести принимать подобное решение. «Условия заселения» не запрещают полетов отдельных членов нашего

общества на Уррас. Иначе Координационный Совет взял бы на себя ответственность за ущемление прав любого одонийца начать некую самостоятельную акцию, не приносящую вреда остальным.

Рулаг вышла вперед. Она слегка улыбалась.

— Любой анаррести может покинуть нашу планету, — сказала она, глядя то на Шевека, то на Бедапа. — Пусть летит, когда ему это заблагорассудится. Но вернуться назад он не сможет.

— Где это сказано? — тут же взвился Бедап.

— В «Условиях заселения планеты». Даже если он прилетит обратно, ему не будет разрешено выходить за пределы Космопорта.

— Но ведь в «Условиях», конечно же, имелись в виду жители Урраса, а не Анарреса, — примирительно сказал старый советник Фердаз.

— Человек, прилетающий сюда с Урраса, уже является уррасти, — отрезала Рулаг.

— Но ведь это уже похоже на какой-то закон! Законничество! Софизмы! Только этого нам не хватало, — заметила обычно спокойная полная женщина по имени Трепил.

— Ах, софизмы! — снова вскочил тот молодой человек, что самым первым прервал Бедапа; у него был акцент, свойственный жителям Северного Поселения, и звонкий сильный голос. — Если вам не нравятся наши софизмы, если вам вообще не нравится Анаррес, уходите! Мы вас отпустим. Я сам таких на руках отнесу до Космопорта и даже подтолкну, чтобы они поскорее миновали ворота! Но если только они попробуют пробраться, проползти обратно, то уж мы их достойно встретим! Мы, настоящие одонийцы! Уж радостной улыбки они на наших лицах точно не увидят и не услышат «Добро пожаловать домой, дорогие братья!» Нет, мы вобьем им зубы в глотки, а яйца — в животы! Ну что, я достаточно ясно выразился?

— Достаточно, куда уж яснее, — сказал Бедап. — Ясность — это функция мысли. А тебе бы, милый, следовало немножко подучиться, почитать теорию одонизма, прежде чем выступать здесь.

— А ты вообще не смей произносить имя Одо! — завопил юнец. — Все вы предатели, и ты сам, и весь ваш Синдикат! На Анарресе давно уже наблюдают за вами. Вы думаете, мы не знаем, что уррасти просили Шевека приехать к ним — продавать науку Анарреса спекулянтам? Вы думаете, мы не знаем, что все вы, нытики чертовы, только и мечтаете улететь туда и жить припеваючи, позволяя вашим хозяевам одобрительно хлопать вас по плечу? Можете отправляться! Скатертью дорога! Но только

попробуйте вернуться сюда! Вот когда восторжествует справедливость!

Он выкрикивал это прямо в лицо Бедапу. Бедап только глянул на него и сказал спокойно:

— Ты не справедливость имеешь в виду. Ты жаждешь нас наказать. Неужели ты думаешь, что справедливость и наказание — одно и то же?

— Он имеет в виду насилие, — вмешалась Рулаг. — И если действительно будет применено насилие, то причиной этого будете вы. Вы и ваш Синдикат. И вы тогда получите его по заслугам.

Худенький, маленький человечек средних лет, сидевший рядом с Трепил, встал и заговорил; сперва очень тихо, хриплым от «пыльного кашля» голосом. Он был из числа приглашенных — делегат от Шахтерского синдиката с юго-запада — никто и не ожидал, что он выступит по такому вопросу.

— ...что человек заслуживает, — донеслись до Бедапа его слова, — ибо все мы и каждый из нас заслуживаем всего, даже любой роскоши, даже королевских гробниц. Однако, по-моему, если честно, наше общество особой похвалы все же недостойно. Разве мы не давились куском «своего» хлеба, когда рядом с нами голодали другие? Ведь это было! Ну так накажите нас за это. Или наградите — за то, что мы сами голодали, когда рядом с нами ели другие. Никто здесь не заслуживает ни наказания, ни вознаграждения. Наши души должны быть свободны от самой идеи «заслуживания» награды, «зарабатывания» признания, только тогда мы обретем способность правильно думать и выносить решения. — Все это были, разумеется, идеи Одо, высказанные ею в «Письмах из тюрьмы», однако, произнесенные слабым болезненным голосом этого шахтера, они производили странный, необычайно сильный эффект, словно рождались прямо сейчас, слово за словом, словно исходили из кровоточащей души маленького человечка из провинции, просачиваясь наружу медленно, с трудом, точно родничок на дне глубокого колодца в песках пустыни.

Рулаг слушала с высоко поднятой головой, со спокойным, хотя и несколько напряженным лицом — словно подавляя сильную боль. Напротив нее, через стол, сидел Шевек, опустив голову на руки. После выступления шахтера повисло молчание, и первым нарушил его Шевек.

— Видите ли, — сказал он, — мы хотели всего лишь напомнить самим себе, что прибыли на Анаррес не во имя собственной безопасности, но во имя Свободы. Если мы готовы всего лишь работать вместе, не обращая внимания на то, что

вокруг, то мы ничем не лучше какой-нибудь машины. Мы просто ее винтики. Если человек не может работать вместе со своими братьями, его долг — работать в одиночку. Да, его долг, но и его право. Мы же всегда отрицали это право. Мы всегда твердили: ты должен работать со всеми вместе, ты должен принять правило большинства. Но любое нерушимое правило — это уже тирания. Долг индивида заключается в том, чтобы не бояться нарушать правила, быть инициатором собственных действий и поступков и быть ответственным за них перед обществом. Только в этом случае наше общество будет способно изменяться к лучшему, а не просто выживать в заданных условиях. Мы не являемся подданными государства, основанного на непреложном законе; мы члены общества, сформированного благодаря революции. Революция — вот наше обязательство перед самими собой; в ней наша надежда на собственную эволюцию. «Революция — в душе индивида, или же нигде. Она — для всех, или же она — ничто. Если воспринимать ее как нечто, имеющее конец, то у нее никогда по-настоящему не будет и начала». Мы не можем остановиться в данной точке. Мы всегда должны идти вперед. Мы должны рисковать.

Рулаг в наступившей тишине ответила ему негромко, но ледяным тоном:

— Ты не имеешь права навязывать всем тот риск, который хочешь взять на себя по личным мотивам.

— Ни один из тех, кто не намерен пойти так же далеко, как я, не имеет права остановить меня, — спокойно ответил Шевек. На мгновение глаза их встретились, и оба потупили взор.

— Рискует только тот, кто намерен лететь на Уррас, и больше никто, — сказал Бедап. — И одна такая поездка ничего не меняет в «Условиях заселения», не противоречит им и, видимо, никак не скажется на наших отношениях с Уррасом. За исключением, впрочем, некоторых моральных перемен — причем в нашу пользу. Я пока что снимаю этот вопрос с повестки дня, если это устраивает собрание.

Всех это устраивало, и они с Шевеком поспешили уйти.

— Мне еще нужно зайти в Институт, — сказал Шевек, когда они вышли на улицу. — Сабул мне записку прислал — на чем только он их пишет, черт побери! Интересно, что у него на уме?

— А мне интересно, что на уме у этой Рулаг? У нее что, какая-то личная неприязнь к тебе? Завидует, наверно. Мы вас больше не станем сажать друг напротив друга, иначе этим спорам конца не будет. Хотя этот юнец из Северного Поселения — тоже явление малоприятное. Итак, правит большинство и сила всегда права? Ничего себе! Ну так как мы поступим, Шев?

— Возможно, нам и в самом деле следует послать кого-нибудь на Уррас — чтобы доказать свое право поступками, раз словами его не. докажешь.

— Возможно. Но пока этот грядущий посланник — не я! Я до хрипоты готов спорить о нашем праве покинуть Анар-рес, но если мне придется это сделать самому, то я, черт меня побери, скорее горло себе перережу...

Шевек засмеялся:

— Ладно, мне пора. Домой я вернусь что-нибудь через час. Поешь с нами сегодня? А потом поговорим, хорошо?

— Ладно, я тебя у вас дома подожду.

Шевек широким шагом двинулся по улице, а Бедап еще немного постоял, глядя ему вслед, перед зданием Координационного Совета. Был холодный весенний день; светило солнце, дул сильный ветер. Улицы Аббеная казались очень чистыми, будто вымытыми, полными солнечного света и людей. Бедап ощущал одновременно приятное весеннее возбуждение и странную подавленность. Он решил сразу пойти в общежитие Пекеш, где теперь жили Шевек и Таквер, надеясь, что Таквер с малышкой уже дома.

Появлению на свет Пилюн у Таквер предшествовали два выкидыша, и они с Шевеком уже не ждали ребенка, когда у них родилась вторая дочка. Это был поздний ребенок, слабый и маленький, но родители страшно радовались и очень ее любили. Пилюн и теперь еще, когда ей шел второй год, была просто крошкой, хрупкой, с тоненькими ручками и ножками. Беря ее на руки, Бедап всегда испытывал легкий страх — ему казалось, что он может сломать малышку, если чуть крепче сожмет ладони. Он очень любил Пилюн и приходил в восхищение от ее огромных, с поволокой серых глаз; и девочка была к нему нежно привязана и абсолютно ему доверяла, но, касаясь этого хрупкого тельца, он, как никогда раньше, отчетливо понимал, в чем привлекательность жестокости и почему сильные так любят мучить слабых. И от этого испытывал еще больший страх за Пилюн и нежность: он, казалось, впервые начинал понимать то, что и сам, пожалуй, пока не мог выразить словами: родительские чувства. Он был прямо-таки на верху блаженства, когда Пилюн называла его «тадде».

Комната у Шевека и Таквер была вполне просторная, с двумя кроватями. На полу лежала циновка; никакой другой мебели в комнате не было — ни стульев, ни столов, только небольшой передвижной «манеж» для малышки да ширма, которые загораживали ее кроватку вечером. Таквер, выдвинув из-под одной из кроватей огромный ящик с бумагами, перебирала их —

явно что-то искала.

— Ох, Дап, дорогой! — улыбнулась она. — Ты не посидишь немного с Пилюн? — Девочка уже устремилась к нему навстречу, и он уселся с нею на вторую кровать, у окна. — Она мне уже раз десять все перепутать успела! Я минут через десять закончу, хорошо?

— Не торопись. Я с удовольствием просто посижу спокойно. Мы тут с Пилюн поговорим... ах ты, моя хорошая! Ну, что скажешь своему тадде Дапу?

Пилюн, уютно устроившаяся у него на коленях, принялась изучать его ладонь и широкие грубоватые пальцы. Бедапу всегда бывало стыдно, что у него такие уродливые ногти; он, правда, больше не грыз их, оставил эту дурацкую детскую привычку, однако ногти так и остались деформированными. Пилюн разгладила ему ладошку и каждый палец в отдельности.

— Какая все-таки приятная у вас комната, — сказал он. — Окно на север выходит... И здесь всегда так спокойно.

— Да, да... Ш-ш-ш, погоди... Я тут считаю...

Через некоторое время Таквер закончила свои подсчеты, убрала бумаги в ящик и снова засунула его под кровать.

— Ну вот и все! Извини, пожалуйста. Я обещала Шеву, что пронумерую для него страницы рукописи... Пить хочешь?

На многие продукты все еще соблюдались ограничения, хотя уже и не такие строгие, как пять лет назад. Фруктовые сады Северного Поселения не так сильно пострадали от засухи, и в прошлом году сушеные фрукты и фруктовые соки имелись уже в достатке. На подоконнике стояла большая бутылка с соком, и Таквер налила каждому по полной чашке; чашки были довольно грубые — оказалось, их сделала Садинна уроках гончарного мастерства. Таквер села напротив Бедапа и, улыбаясь, посмотрела на него:

— Ну, как там дела в Координационном Совете?

— Все то же самое. А как дела у вас в лаборатории?

Таквер опустила глаза в чашку, чуть покачивая ею.

— Не знаю. Я подумываю уйти оттуда, — сказала она, помолчав.

— Но почему, Таквер?

— Лучше уйти самой, чем дожидаться, чтобы тебе сказали... Беда в том, что я люблю эту работу. И она у меня действительно спорится. И в Аббенае есть только одно место, где я могла бы заниматься своим делом. Но если все остальные члены твоей исследовательской группы решили, что ты к данной работе никакого отношения не имеешь...

— На тебя еще больше давят?

— Все и постоянно, — сказала она и быстро глянула в сторону двери, словно боялась, что Шевек уже пришел и случайно ее услышит. — Некоторые ведут себя просто неслыханно! Да что там говорить, ты и сам знаешь...

— В том-то и дело, что я ничего толком не знаю, и очень рад, что застал тебя одну. Мы — Шев, я, Скован, Гежач — большую часть времени проводим либо в типографии, либо на радиостанции; у нас нет постоянных мест работы, и мы не так часто общаемся с другими людьми, не считая членов нашего Синдиката. Я, правда, регулярно бываю в Координационном Совете, но это дело особое. Там я главным образом борюсь с оппонентами, которых сам себе создаю. Ну а ты-то здесь при чем? Что они против тебя имеют?

— Они меня ненавидят, — сказала Таквер тихо и глухо. — Это настоящая ненависть, Дап. Руководитель моего проекта вообще не желает со мной разговаривать. Ну ладно, это не такая уж большая потеря — он все-таки сущий чурбан. Но некоторые другие прямо говорят мне... Там есть, например, одна женщина... И здесь, в общежитии тоже... Я член санитарной комиссии нашего блока, и однажды мне пришлось зайти к одной из моих соседок, так она мне буквально слова сказать не дала, орала: «Даже не пытайся ко мне в дом влезть! Знаю я вас, предателей проклятых! Подумаешь интеллектуалы! Все вы законченные эгоисты!», и так далее... А потом она захлопнула дверь у меня перед носом. Цирк да и только. — Таквер невесело улыбнулась. Пилюн, увидев ее улыбку, тоже заулыбалась, поудобнее прислонилась к плечу Бедапа и зевнула. — Но, понимаешь, меня все это пугает. Я вообще трусиха, Дап, если честно. Я не терплю никакого насилия. Мне даже неодобрительное отношение выдержать трудно!

— Еще бы! Единственная гарантия нашей безопасности — это одобрение наших драгоценных соседей. При наличии государственной власти можно нарушить закон и надеяться все же избежать наказания, но у нас очень трудно, невозможно нарушить привычку, традицию; она обрамляет всю нашу жизнь, держит ее в жестких рамках не хуже закона... Мы еще только начинаем чувствовать, что это такое — пребывать в состоянии перманентной революции. Как раз об этом говорил сегодня на собрании Шев. На самом деле это вовсе не так уж приятно и удобно для нормального человека.

— Некоторые это все же понимают! — сказала Таквер с уверенностью и неожиданным оптимизмом. — Знаешь, какая-то женщина в трамвае вчера — не помню, где я ее встречала раньше? может, во время дежурства по дому?.. Так вот, она мне вдруг и говорит: «Должно быть, замечательно жить вместе с

великим ученым! Это ведь так интересно!» И я ответила: «Да уж, не соскучишься; по крайней мере всегда найдется о чем поговорить... Пилюн, не засыпай, детка! Шевек скоро придет, и мы все вместе пойдем в столовую. Потормоши ее, Дап. Ладно, по крайней мере, как видишь, эта женщина, хоть и знает прекрасно, кто такой Шев, не испытывает к нему ни ненависти, ни неодобрения. И вообще она очень милая...

— Ну хорошо, но разве большинство понимает, что Шевек — гениальный ученый? — сказал Бедап. — Забавно, ведь и я тоже не могу понять его книг! Сам он считает, что на Анарресе несколько сотен людей все же способны в них разобраться. Например, эти студенты-энтузиасты, которые все пытаются организовать курс лекций по теории Одновременности. Но, по-моему, он преувеличивает' понимают его теорию максимум несколько десятков человек — и это еще очень неплохо! Но ты права: люди о нем знают, они чувствуют, что этим человеком стоит гордиться. Мне кажется, это заслуга нашего Синдиката. Хотя бы отчасти. Мы напечатали труды Шевека. Возможно, это единственная стоящая вещь, которую мы сделали, но, по моим оценкам, и это уже очень неплохо.

— Конечно! Что-то ты тоже невеселый, Дап. День был тяжелый? Заседание Совета плохо прошло?

— Плохо. Очень плохо! Мне бы очень хотелось хоть немного развеселить тебя, Таквер, да что-то не получается. Синдикат стремится взорвать то основное чувство, которое связывает все наше общество: страх перед чужими, перед «внешним врагом». Сегодня, например, один юнец открыто угрожал нам насильственными мерами, чуть ли не казнями и арестами. Что ж, мысли-то у него убогие, но ведь найдутся и другие, которые его идеи подхватят... И еще эта Рулаг, черт бы ее побрал! Впрочем, она потрясающий оппонент!

— А ты знаешь, кто она такая, Дап?

— А что?

— Неужели Шев никогда тебе не говорил? Хотя он о ней старается не вспоминать... Рулаг — мать Шевека.

— Мать?

Таквер кивнула:

— Она уехала в Аббенай, когда ему еще двух не было. Бросила, по сути дела. С ним остался отец. Ничего необычного, конечно... Вот только Шев... Понимаешь, у него на всю жизнь осталось такое ощущение, будто он потерял что-то самое важное. И, по-моему, его отец тоже очень страдал. Шев, конечно, никаких глобальных выводов из этого не делает — ну там, что своих детей всегда следует воспитывать самим и тому подобное, — но то, что

для него верность — самое важное качество, это несомненно. И, по-моему, коренится все в его прошлом.

— Но вот ведь что странно! — воскликнул Бедап, совершенно забыв о крепко спящей у него на коленях Пилюн. — Что она-то от Шева хочет? Почему она так злобно ведет себя по отношению к нему? Она ведь явно ждала сегодня, что он придет на это собрание, прекрасно зная, какие важные для него будут обсуждаться вопросы, и прекрасно понимая, что он душа нашей группы. Да и весь наш Синдикат она ненавидит из-за него. Почему? Неужели это чувство вины, вывернутое наизнанку? Неужели одонийское общество настолько прогнило, что даже вроде бы «разумные» поступки мотивируются подобными чувствами — смесью вины и ненависти?.. А знаешь, Таквер, теперь, когда ты мне об этом сказала, я думаю: они ведь действительно похожи! Только в Рулаг все как бы затвердело, стало каменным... умерло...

Он не успел договорить: дверь открылась и вошли Шевек и Садик. Садик исполнилось десять; она была довольно высокая для своего возраста и очень худая — одни ноги. И целое облако густых темных волос на голове. Бедап видел теперь Шевека в новом свете — его неожиданно близкого родства с Рулаг — и точно открывал своего старого друга заново. Он только сейчас обратил внимание, какое измученное у Шевека лицо; прекрасное, полное жизни, но совершенно измученное, даже истощенное. И очень, очень необычное; они с Рулаг были, безусловно, очень похожи, но все же в его чертах было сходство и со многими другими анаррести — особенно с теми, кто, обладая высочайшим интеллектом и очень определенными взглядами на проблему свободы, сумел все же приспособиться к изоляции в их обделенном природой мире, мире больших расстояний между редкими поселениями людей, мире молчания и умалчивания, мире братства и разобщенности.

В комнате с приходом Шевека и Садик воцарилась между тем живая, радостная атмосфера; этим людям приятно было быть вместе. Пилюн передавали с рук на руки, еще довольно сонную, наливали друг другу сок из большой бутылки, задавали массу вопросов и охотно отвечали... Сперва в центре внимания оказалась Садик, потому что в кругу семьи она теперь бывала относительно редко. Потом разговор переключился на Шевека.

— Чего понадобилось этой старой Грязной Бороде?

— Так ты в Институте был? У Сабула?— удивилась Таквер и внимательно посмотрела на Шевека. Он сел с ней рядом и сообщил:

— Да, Сабул оставил мне сегодня записку. В Синдикате. —

Шевек залпом допил сок, и вокруг губ у него остался смешной полукруг, как у маленького ребенка. — Он сказал, что в Федерации физиков имеется свободное место. Это работа постоянная и совершенно, как он утверждает, автономная.

— И он предлагает ее тебе? В Институте?

Шевек кивнул.

— Это он пытается внести тебя в общий список, — сказал Бедап.

— Да, я тоже так думаю. Если не можешь искоренить сорняк, сделай его себе полезным — так мы обычно говорили в Северном Поселении. — Шевек вдруг громко расхохотался. — Но ведь смешно, правда? — спросил он.

— Нет, — сказала Таквер. — Совсем не смешно. Просто отвратительно! Как ты вообще мог с ним разговаривать? После всей той грязи, которую он на тебя вылил! После всех тех гнусных и лживых утверждений, что ты якобы украл у него «Принципы» и даже не сообщил, что уррасти дали тебе премию Сео Оен! Ты что, забыл, как в прошлом году он заставил этих ребятишек, которые так хотели заниматься с тобой, прекратить посещать твои лекции, потому что ты якобы оказываешь на них тлетворное «крипто-авторитарное» (это же надо выдумать такое!) влияние! Это ты-то сторонник авторитаризма! Нет, это не смешно, его действия просто тошнотворны. Такое нельзя прощать, Шев. Нельзя по-человечески общаться с таким мерзавцем.

— Ну, ты же знаешь, виноват не один Сабул. Он только служил рупором...

— Я понимаю, но эта роль ему нравится. И он слишком давно опустился, стал таким противным, грязным, жадным... Ладно. Ну и что же ты ему в итоге ответил?

— Я старался выиграть время. — Шевек снова засмеялся. Таквер снова глянула на него, уже обеспокоенно: она поняла, что, несмотря на умение держать себя в руках и всю эту веселость, Шевек напряжен до крайности.

— Значит, ты не стал сразу класть его на лопатки?

— Я сказал, что несколько лет назад решил больше не принимать никаких постоянных назначений — пока не завершу работу над Теорией. Ну а он ответил, что мне будет предоставлена полная свобода заниматься тем, чем я хочу, и продолжать свои исследования, потому что основной целью назначения меня на этот пост было — погодите, как же это он выразился? — «желание Совета облегчить мне доступ к лабораторному оборудованию и регулярным каналам информации, а также — облегчить мне возможность публикации своих идей».

— Вот как? Но в таком случае ты можешь считать, что одержал победу, — сказала Таквер, глядя на него с каким-то странным выражением. — Ты их переупрямил. Теперь они будут публиковать все, что ты напишешь. Ведь именно этого ты добивался, когда мы вернулись сюда пять лет назад, верно? Что ж, теперь все стены рухнули.

— Но за ними выросли другие стены, — заметил Бедап.

— Такую победу я одержу только в том случае, если приму это назначение. Сабул предлагает… узаконить меня. Сделать официальным лицом. И тем самым отделить меня от Синдиката инициативных людей. Правильно, Дап?

— Естественно! — Бедап помрачнел. — Разделяй и властвуй, как говорится.

— Но если Шевека снова возьмут в Институт и станут публиковать все его работы в издательстве Координационного Совета… Не означает ли это косвенного признания всего Синдиката в целом? — спросила Таквер.

— Да, так, возможно, подумает большинство, — кивнул Шевек.

— Не подумает, — возразил Бедап. — Людям объяснят примерно так: великий физик был введен в заблуждение группой отщепенцев — но, к счастью, ненадолго. Этих высоколобых интеллектуалов, скажут им, вообще легко запутать: они ведь ничего не смыслят в реальной жизни, они думают только о высоких материях, вроде времени и пространства. Но их добрые братья — истинные одонийцы! — мягко указали гениальному физику на его ошибки, и он вернулся на твердую тропу «социально-органической» истины. Вот так. Синдикат инициативных людей будет подвергнут полному остракизму со стороны общества и, возможно, лишен связи не только с ученым миром Урраса, но и своей родной планеты.

— Но я вовсе не намерен выходить из Синдиката, Дап!

Бедап поднял голову, удивленно посмотрел на него, помолчал с минуту и сказал:

— Еще бы. Это-то я знаю!

— Вот и ладно. Тогда давайте пообедаем, а? У меня в животе уже урчит от голода. Вот послушай-ка, Пилюн, слышишь? Р-р-р, р-р-р!

— Тать (встать)! — велела всем Пилюн. Шевек подхватил ее и забросил на плечо. Над их головами покачивался и посверкивал последний из созданных Таквер мобилей. Он был довольно большой и так хитро сделанный, что под определенным углом все образующие его проволочные кольца как бы исчезали, потом превращались в овалы, на мгновение, чуть блеснув, показывались

целиком и снова исчезали, и вместе с ними то показывались, то исчезали две малюсенькие лампочки, прикрепленные к проволочным кольцам, которые, двигаясь по сложным, взаимно переплетенным эллипсоидным орбитам вокруг общего центра, никогда по-настоящему не встречались и никогда по-настоящему не расставались. Таквер назвала свое творение «Обитель Времени».

В столовой пришлось подождать, пока на табло у дверей не появится сигнал, что свободен большой стол и что Бедап может поесть вместе с ними как гость (разумеется, компьютер автоматически «вычеркивал» его на сегодня из списков той столовой, где он обычно ел). Это была одна из систем автоматического регулирования «гомеостатических процессов», на которые столь большие надежды возлагали первые поселенцы. Такая система учета сохранилась только в Аббенае и, подобно всем прочим, даже менее сложным «гомеостатическим» системам, она никогда на самом деле своих функций как следует не выполняла: вечно возникали недостачи или излишки, а порой и разочарования, но все это были беды не слишком серьезные. В столовой Пекеш редко бывало, чтобы кто-нибудь из приглашенных не получил обеда; кухня этого общежития была лучшей в Аббенае и славилась своими замечательными поварами. Наконец один из больших столов освободился, и они вошли. Поскольку за столом было еще место, к ним присоединились двое молодых людей, соседи Шевека и Таквер, которых Бедап тоже немного знал. Их, конечно, могли бы оставить и только в своей компании — если бы они выразили такое желание — но им, похоже, было все равно. Они отлично пообедали и очень мило провели время за дружеской беседой. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так, однако Бедап постоянно ощущал, как вокруг семьи его друга смыкаются прочные стены непонимания и молчания.

— Просто не знаю, что отвечать этим уррасти в следующий раз! — сказал Бедап непринужденно, однако невольно — к собственному раздражению! — все же понизив голос. — Они просили пустить их сюда, но сюда их не пустят. Кроме того, они просили Шева прилететь к ним; и этот вопрос тоже остался открытым. Интересно, как они отреагируют на все это?

— А я и не знала, что они просили Шева прибыть к ним в гости, — сказала Таквер, чуть нахмурившись.

— Нет, знала! — возразил Шевек. — Когда они сообщили мне, что я получил эту премию — ну, Сео Оен, помнишь? — то сразу спросили, когда я смогу прилететь и получить деньги, которые полагаются лауреату. — Шевек улыбнулся. Если вокруг

него и существовал «заговор молчания», то его это совершенно не касалось и не особенно беспокоило: он всегда был один.

— Да, верно. Я просто забыла. Вернее, не воспринимала как реальную возможность. Ты давно уже говоришь, что хотел бы предложить Координационному Совету послать кого-нибудь на Уррас. Просто чтобы посмотреть, что из этого предложения получится.

— Вот именно. И мы наконец сегодня это проделали! Дап неожиданно предоставил мне слово, и пришлось высказать эту идею вслух.

— И они были шокированы?

— Не то слово!

Таквер засмеялась. Пилюн сидела рядом с Шевеком на высоком стульчике и пробовала свои новые, только что выросшие зубки на корке хлеба, напевая что-то вроде: «О, мамочка, папочка, тапочка, тап!» Шевек, большой любитель сам сочинять подобные стишки, тут же ответил ей примерно в том же духе, одновременно продолжая серьезный разговор со взрослыми — не очень, правда, оживленный, с долгими паузами. Бедап относился к этому спокойно; он давно привык, что Шевека нужно воспринимать таким, какой он есть, или не воспринимать вовсе. Самой молчаливой в их компании сегодня была Садик.

Бедап посидел с ними еще около часа в уютной, просторной общей гостиной, потом встал и предложил Садик проводить ее до интерната, поскольку ему это было по пути. И тут вышла заминка, причем смысл ее уловили только родители Садик, а Бедап понял одно: вместе с ними пойдет и Шевек, а Таквер не пойдет, потому что ей пора кормить и укладывать спать Пилюн, которая уже начинала похныкивать. Таквер поцеловала Бедапа на прощанье, и они ушли. Провожая Садик, мужчины настолько увлеклись разговором, что прошли мимо учебного центра и повернули обратно. Перед входом в спальный корпус Садик остановилась. Она стояла неподвижно, совершенно прямая, тоненькая, с каким-то застывшим лицом.

И молчала. Шевек сперва тоже как бы застыл, потом встревожился:

— В чем дело, Садик?

— Шевек, можно я останусь сегодня ночевать дома? — спросила она.

— Конечно. Но что случилось?

Тонкое продолговатое лицо Садик задрожало так, что, казалось, вот-вот рассыплется на куски.

— Они меня не любят! Они не хотят, чтобы я спала в их спальне! — Голосок ее звенел от сдерживаемого напряжения, хотя

говорила она очень тихо.

— Не любят тебя? Но почему ты так решила? В чем дело, Садик?

Они даже не коснулись друг друга. Девочка отвечала отцу с мужеством крайнего отчаяния:

— Потому что они не любят... ненавидят ваш Синдикат, и Бедапа, и... и тебя! Они называют... Старшая сестра в нашей спальне... она сказала, что ты... что все мы пре... Она сказала, что мы *предатели!* — И, выговорив это слово, Садик вздрогнула так, словно в нее выстрелили. Шевек туг же схватил ее, прижал к себе, и она прильнула к нему, обхватив его за шею и рыдая взахлеб. Она была уже слишком большой девочкой, чтобы ее можно было взять на руки, и они просто стояли, обнявшись, и Шевек гладил дочку по голове, потом посмотрел на Бедапа глазами, полными слез, и сказал:

— Ничего, Дап. Ты иди, иди...

Бедапу ничего другого не оставалось; он не мог разделить с ними это горе, эти глубинные и чрезвычайно сложные отношения родственной близости. Он чувствовал себя совершенно бесполезным и совершенно лишним, хотя от всей души сочувствовал обоим. «Я прожил тридцать девять лет, — думал он, направляясь к своему общежитию, где в комнате их было пятеро, чужих друг другу и совершенно не зависящих друг от друга людей. — Через месяц мне стукнет сорок. А что я сделал за свою жизнь? Чем занимался столько времени? Ничем, в общем-то, особенным. Часто совался не в свое дело. Вмешивался в чужую жизнь — потому что своей собственной у меня нет... И почему-то у меня никогда не хватало времени... Хотя его запас вот-вот истощится — во всяком случае то время, которое было выделено на меня. Скорее всего это случится внезапно, и я так никогда и не обрету... ничего подобного этому». Он оглянулся, надеясь снова увидеть их, отца и дочь. Но перед ним расстилалась только пустынная тихая улица, где у фонарей стояли неяркие лужицы света. Он либо отошел уже слишком далеко, либо они сами успели уйти. А что именно он подразумевал под этим, он и сам не смог бы, наверное, сказать. Но понимал, что вся его надежда заключена в этом, что если он хочет спасти, как следует прожить остаток своей жизни, то должен полностью переменить ее.

Когда Садик достаточно успокоилась, Шевек усадил ее на ступеньку крыльца, а сам пошел сообщить дежурной сестре, что девочка останется ночевать с родителями. Та разговаривала с ним холодно. Взрослые, работавшие в детских интернатах, обычно не одобряли, когда дети оставались с родителями целые сутки, считая, что это развращает. И Шевек уверял себя, что

недружелюбный тон дежурной вызван именно этим, а не чем-то другим. Окна учебного центра ярко светились; в ушах звенело от детских голосов; кто-то разучивал музыкальную пьесу... Все это было хорошо и давно ему знакомо — звуки, запахи, тени. Эхо его детства. Его Шевек хорошо помнил; хорошо помнил он также и свои тогдашние страхи и сомнения. Хотя детские страхи обычно быстро забываются...

Потом они с Садик пошли домой, и он все время обнимал девочку за плечи. Она долго молчала, все еще борясь со слезами, потом, почти у входа в общежитие, сказала резко:

— Я понимаю, что буду мешать вам с Таквер. Я знаю, я уже большая, чтобы ночевать с вами в одной комнате.

— И давно ты так решила? — растерялся Шевек.

— Да. Взрослым нужно бывать наедине.

— Но Пилюн же ночует с нами, — возразил он.

— Пилюн не считается!

— Ну и ты пока что не считаешься!

Она презрительно, но с облегчением фыркнула и даже попыталась улыбнуться.

Когда они вошли в ярко освещенную комнату и Таквер увидела бледное, покрытое красными пятнами лицо дочери, она страшно встревожилась:

— Что еще случилось!

И Пилюн, которую оторвали от груди и которая уже начинала засыпать, тут же заныла, и Садик, разумеется, тут же снова разревелась, вторя сестренке, и некоторое время казалось, что в комнате плачут все и все друг друга утешают и одновременно не хотят, чтобы их утешали. Потом вдруг все как-то разом смолкли. Пилюн сидела у матери на коленях, Садик — у отца.

Потом младшую из сестер переодели и уложили спать, и Таквер спросила у старшей тихо, но взволнованно:

— Ну? Так что же все-таки произошло?

Садик и сама уже почти заснула на груди у Шевека, но он почувствовал, как при этом вопросе она вздрогнула и вся сжалась, готовясь отвечать. Он погладил девочку по голове и ответил вместо нее:

— Кое-кому в учебном центре мы очень не нравимся.

— Но, черт возьми, какое они имеют право проявлять это открыто? Да еще при детях!

— Ш-ш-ш. Из-за Синдиката.

— О, черт! — сказала Таквер с каким-то странным горловым смешком и принялась застегивать кофту, но нечаянно оторвала пуговицу — прямо «с мясом» — и долго удивленно на нее смотрела. Потом подняла глаза на Шевека и прижавшуюся к нему

Садик:

— И давно это продолжается?

— Давно, — буркнула Садик.

— Несколько дней? Декад? Всю четверть?

— Ой, куда дольше, мам! Но теперь они стали... Они просто ужасно ведут себя! В спальне, ночью. А Терзол их даже не останавливает. — Садик говорила, словно во сне — каким-то ровным, безжизненным тоном.

— И что же они делают? — с легкой угрозой спросила Таквер, хотя Шевек упорно пытался остановить ее взглядом.

— Ну, они... Они все просто противные! Они не принимают меня играть. Ни во что. Помнишь Тип? Она ведь была моей лучшей подругой, мы с ней всегда подолгу разговаривали, когда в спальнях гасили свет... Так вот теперь Тип ко мне даже подходить перестала. А старшей сестрой у нас в спальне стала Терзол, и она... она говорит, что Шевек... Шевек...

Он все-таки вмешался, чувствуя, что Садик снова вот-вот сломается; такое напряжение и без того оказалось ей не по силам.

— Эта Терзол, — спокойно сказал он, — заявляет, что Шевек — предатель, а Садик — эгоистка... Ну ты же знаешь, что она может говорить, Таквер! — Глаза его сверкнули. Таквер ласково погладила дочь по щеке, коротко и довольно застенчиво, и сказала тихонько:

— Да, это я знаю. — И отошла, и села на другую кровать, и стала молча глядеть на них.

Малышка крепко спала за ширмой в своей кроватке и даже чуть похрапывала. Соседи возвращались к себе, кто-то крикнул, прощаясь, «Спокойной ночи!», и кто-то крикнул то же в ответ из открытого окна общежития. Огромное здание — две сотни комнат — было полно жизни и движения; будучи отделенными от этого мирка, они все равно оставались его частью. Садик сползла с отцовских колен и села на кровать рядом с ним и как можно ближе. Ее темные волосы растрепались и свисали длинными прядями вдоль лица.

— Я не хотела говорить вам, потому что... — Ее голосок казался очень тоненьким и совсем детским. — Но только становится все хуже. Они друг друга подначивают.

— В таком случае ты туда не вернешься, — сказал Шевек и обнял дочь за плечи, но она стряхнула его руку и гордо выпрямилась.

— А что, если я схожу и поговорю с ними?.. — начала Таквер.

— Это бесполезно.

— Ну и где же выход? — бессильно спросила Таквер.

Шевек не ответил. Он снова обнял Садик, и та сдалась — устало прижалась головой к отцовскому плечу.

— Есть ведь и другие учебные центры, — сказал он наконец без особой уверенности.

Таквер встала. Она явно не могла сидеть спокойно, ей явно необходимо было сделать хоть что-то, но делать было особенно нечего.

— Давай-ка я тебя причешу, Садик, хорошо? — спросила она тихонько. Та кивнула.

Таквер расчесала девочке волосы, заплела их в косы; потом они поставили поперек комнаты ширму и уложили Садик рядом со спящей сестренкой. Желая родителям спокойной ночи, Садик снова чуть не расплакалась, но уже минут через двадцать они услышали ее ровное сонное дыхание.

Шевек пристроился на другую кровать с записной книжкой и карандашиком.

— Я пронумеровала сегодня ту рукопись, — сказала Таквер.

— И сколько получилорь?

— Сорок одна страница. С приложениями.

Он одобрительно кивнул. Таквер встала, заглянула через ширму — обе девочки крепко спали — и, присев на краешек кровати, сказала Шевеку:

— Я чувствовала, что в интернате что-то не так. Но она ничего не говорила. Молчала о своих бедах — как истинный стоик. Мне и в голову не приходило, что они доберутся до детей... Мне казалось, это только наши с тобой проблемы... — Она говорила тихо, с горечью. — Эта злоба растет, Шевек, все время растет... И разве что-то изменится, если мы переведем Садик в другую школу?

— Не знаю. Если она будет большую часть времени проводить с нами ей, возможно, будет полегче.

— Но ты ведь не предлагаешь...

— Нет. Не предлагаю. Я прекрасно понимаю, что если даже мы будем отдавать ей всю свою «индивидуальную» родительскую любовь, то все равно не сможем спасти ее от того, что происходит вокруг, и, возможно, она будет страдать в итоге даже больше. И страдание это будет результатом наших с ней отношений, то есть будет как бы исходить уже от нас самих.

— Это несправедливо! Почему ее мучают из-за того, что делаем мы? Она такая хорошая, у нее замечательный характер, она точно чистый родник...— Таквер умолкла, ее душили слезы; она вытерла глаза и закусила губу.

— Дело не в том, что делаем мы. Дело в том, что делаю я. — Он отложил свою записную книжку. — Ты и сама всегда страдала

из-за меня. Из-за их мнения обо мне.

— Мне наплевать на их мнение!

— А твоя любимая работа? На нее тоже наплевать?

— Я могу перейти на другую работу.

— Но не здесь. И никогда не сможешь заниматься тем, чем хочешь.

— Ну что ж, я могу, если ты хочешь, конечно, переехать куда-нибудь еще. Лаборатория в Соррубе, например, возьмет меня с удовольствием... Но что будет с тобой? — Она смотрела на него почти сердито. — Ты-то ведь останешься здесь, я полагаю?

— Я мог бы отправиться с тобой. Скован и кое-кто еще уже вполне сносно объясняются на йотик, так что радиосвязь с Уррасом не оборвется, а сейчас именно это моя основная функция в Синдикате. Я могу заниматься физикой в Городе Благоденствия не хуже, чем в Аббенае. Только ведь, если я окончательно не откажусь от сотрудничества с Синдикатом, это никаких проблем не решит, ты и сама понимаешь. Все дело во мне самом. Я, именно я создаю все трудности — для всех вас!

— Да кому будет дело до вашего Синдиката в таком крохотном поселении, как Город Благоденствия?

— Боюсь, что будет.

— Шев, дорогой, я только сейчас понимаю, с какой ненавистью, с каким количеством ненависти ты сталкиваешься постоянно! И все время молчишь, как Садик!...

— И — как ты. Ну, кое-что я все-таки тебе рассказываю, верно? Хотя порой лучше действительно помалкивать. Когда я прошлым летом ездил в Конкорд, там было несколько хуже, чем я вам рассказал. Там меня просто пытались побить камнями; дело дошло до настоящей потасовки. И тем студентам, что просили меня приехать, пришлось драться, чтобы защитить меня. Но я довольно быстро вышел из игры: ведь я подвергал ребят опасности. Ладно, допустим, молодежь даже любит, когда «немножко страшно». И, в общем-то, отчасти они сами раздразнили людей... И довольно-таки многие еще оказались на нашей стороне. Но теперь... Хотя все это ерунда. Главное сейчас — насколько сильно я подвергаю опасности тебя и детей, оставаясь с вами.

— Но ведь и ты в опасности, Шев, не отмахивайся от нее.

— Я сам напросился. Хотя, конечно, не думал, что подобное варварское, «трайбалистское» презрение распространится и на тебя тоже. И даже на Садик! Да не могу я спокойно смотреть, когда опасности подвергается моя семья!

— Альтруист!

— Возможно. И ничего не могу с этим поделать. Я чувствую

свою ответственность перед вами, Так. И свою вину. Без меня ты могла бы поехать куда угодно или остаться здесь, в Аббенае. Ты ведь не так уж много работала в самом Синдикате; главным образом, они имеют против тебя то, что ты верна мне! Я для них — некий символ. Так что не... В общем, так, некуда мне идти.

— Отправляйся на Уррас, — сказала Таквер так резко и таким хриплым голосом, что Шевек вздрогнул, точно она ударила его по лицу, и сел.

Она глаз не подняла, но повторила более мягко:

— Отправляйся на Уррас, Шев... Почему бы, собственно, и нет? Там ты нужен. А здесь — нет! Может быть, тогда анаррести наконец поймут, что потеряли... И ты сам хочешь попасть туда. Я поняла это только сегодня. Я никогда раньше даже не думала об этом, но когда мы говорили за обедом о той твоей премии, я это ясно увидела — это звучало даже в твоем смехе.

— Да не нужны мне никакие премии!

— Премии тебе не нужны, это верно. Но тебе очень нужна чужая оценка твоего труда, тебе нужны научные дискуссии, деловые споры, тебе нужны, наконец, студенты — причем настоящие, а не марионетки Сабула! И послушай, Шев, вы с Дапом все время твердите о том, что Координационный Совет испугается, если кто-нибудь вздумает воспользоваться своим правом личной свободы и улетит на Уррас, но это все слова: никто ведь не улетает. И получается, что вы тем самым лишь усиливаете позиции своих противников, невольно доказывая, что традиция незыблема. Но сегодня вы наконец вынесли эту тему на обсуждение. Теперь кто-то из вас просто должен улететь! Иначе вы проиграли. Так улетай ты. И, кстати, получишь там свою премию — те деньги, которые там тебя ждут! — закончила она и вдруг рассмеялась.

— Таквер, пойми, я вовсе не хочу на Уррас!

— Да нет, хочешь. Ты и сам знаешь, что хочешь. Хотя я и не уверена, что правильно назвала причину этого.

— Ну разумеется, ты права: мне действительно хотелось бы встретиться с некоторыми физиками... И побывать в тех лабораториях, что исследуют природу света... — Вид у него был пристыженный.

— И ты имеешь на это полное право! — сказала Таквер с яростной решимостью. — Если это часть твоей работы, ты просто обязан ее выполнить.

— Ты еще скажи, что это помогло бы «нашей революции» на обеих планетах! — сказал он. — Что за дикая идея! Вроде пьесы Тирина, только наоборот. Я что, должен поехать и ниспровергнуть тамошние властные авторитеты? Что ж, это по

крайней мере доказало бы им, что Анаррес существует... Они, правда, теперь разговаривают с нами по радио, но мне кажется, что они по-настоящему в нас не верят. По-моему, даже в то, что мы есть на самом деле.

— А если верят, то, возможно, боятся. А если ты сумеешь их убедить, запросто могут явиться и нанести по Анарресу такой удар...

— Вряд ли. Я, наверное, смогу в очередной раз совершить небольшую революцию в представлениях физиков... Но в масштабах целой планеты? В представлениях всего народа? Это здесь я еще могу оказывать какое-то воздействие на общественность, хотя здесь моей физики не только не понимают, но и попросту не обращают на нее внимания. Но ты права... Сказав «а», нужно говорить и «б». Заговорив вслух о возможности посылки кого-то на Уррас, мы непременно должны это сделать! — Он помолчал и вдруг сказал: — Интересно, а на каком уровне находится физика у других народов?

— У каких других народов?

— У разных — с других планет. С Хайна, например, и из других солнечных систем. Между прочим, на Уррасе есть два инопланетных посольства — Хайна и Земли. Это ведь хайнцы избрели ту тягу, которой уррасти сейчас пользуются, строя свои космические корабли. По-моему, они с удовольствием помогли бы и нам — если б только мы попросили о помощи, хотя бы намекнули... А еще было бы интересно... — он не договорил.

На сей раз оба молчали довольно долго; потом Шевек повернулся к Таквер и спросил каким-то изменившимся, странным голосом:

— Ну а ты? Что будешь делать ты, пока я полечу «с визитом» к этим собственникам?

— Поеду с девочками на побережье Сорруба и стану жить исключительно тихо и мирно; а работать... хотя бы техником в лаборатории. И ждать тебя.

— Кто знает, вернусь ли я? Смогу ли вернуться?

Она не дрогнула и глаз не отвела:

— И что же может помещать тебе?

— Возможно, сами уррасти. Они могут задержать меня насильно — это так естественно для авторитарного государства. Или, возможно, наш собственный народ. Мне могут просто не разрешить высадиться на Анаррес. Кое-кто из Совета именно этим сегодня и грозил. Рулаг, кстати, была одной из них.

— Не сомневаюсь, что она именно так и поступит. Она из тех, кто понимает только отрицания и запреты. Например, запрет вернуться домой.

— Да, это правда. Это ты совершенно точно определила. — Шевек задумчиво, с нескрываемым восхищением посмотрел на Таквер. — Но, к сожалению, таких, как Рулаг, слишком много. Для них всякий, кто хочет улететь на Уррас, а потом вернуться обратно, — шпион и предатель.

— И как же, по-твоему, они поступят, когда этот человек попытается вернуться обратно?

— Ну, если им удастся убедить КСПР в том, что Анарресу угрожает опасность, корабль могут просто расстрелять при посадке.

— Неужели Совет способен на такую глупость?

— Надеюсь, что нет. Но может найтись кто-нибудь из экстремистов, кто попытается взорвать корабль уже на земле. Или, что более вероятно, убить меня, как только я выйду из корабля. Вот эту возможность, по-моему, вообще следовало бы включить в план сценария для того, кто отправится в путешествие на Уррас и обратно.

— Ну а скажи честно: для тебя, конкретно для тебя такая рискованная игра стоила бы свеч?

Некоторое время он смотрел перед собой — точно в пустоту.

— Да, — сказал он наконец. — В общем, да. Если бы я смог закончить там свою Теорию и отдать ее — Анарресу, Уррасу и всем прочим мирам — тогда да, безусловно. Здесь меня со всех сторон окружают стены. Мне невыносимо трудно работать, я не могу экспериментировать — у меня попросту нет оборудования, нет помощников, нет даже студентов. И самое главное, когда я все же умудряюсь достигнуть каких-то результатов, оказывается, что моя работа никому не нужна! Нет, некоторым она все-таки нужна; таким, как Сабул. Только они хотят, чтобы я отказался от дальнейших собственных инициатив в обмен на их одобрение... А тем, что я делаю сейчас, они воспользуются как своим собственным, когда я умру. Это для них нормально, так всегда, собственно, и бывает. Но почему я должен дарить труд всей своей жизни какому-то Сабулу? Всем этим «сабулам», мелкотравчатым, жадным, эгоистичным? Я хочу разделить то, чего, может быть, сумею достигнуть, со всеми, со всей Вселенной! Общая Теория Времени вполне этого заслуживает. Она никогда не устареет и сможет принести еще очень много пользы. Всем!

— Хорошо. Значит она того стоит, — сказала Таквер твердо.

— Стоит чего?

— Риска. И, может быть, даже того, что ты никогда не вернешься назад.

— Не вернусь назад? — повторил он и посмотрел на Таквер странным, очень внимательным и одновременно каким-то

отстраненным взглядом.

— По-моему, на нашей стороне все же значительно больше людей, чем нам кажется, Шев. Просто мы пока что ничего особенного не сделали — чтобы собрать их всех вместе, своих возможных союзников. И не взяли на себя никакого риска. Если в игру по-настоящему вступишь ты, люди, по-моему, выступят в твою поддержку. А если ты сумеешь открыть наконец эти запертые двери, они снова вдохнут чистого воздуха, ощутят запах свободы!..

— И, вполне возможно, ринутся ей навстречу так, что все снесут на своем пути...

— Это как раз было бы очень плохо. Синдикат, наверное, сможет защитить тебя, когда ты вернешься. И люди, возможно, встретят тебя совсем не так уж враждебно. Но потом... Впрочем, если потом начнется то же самое и к нам будут относиться с той же ненавистью, мы скажем: черт с вами! Что хорошего в вашем «анархическом» обществе, которое боится анархистов? И тогда мы уедем — в Верхний Седеп, далеко, в горы. Там место всегда найдется. И найдутся люди, которые, наверное, захотят отправиться вместе с нами. И мы создадим там свою, новую коммуну. Если наше драгоценное общество желает создать государство, законы и все такое прочее, то мы станем изгоями, но останемся на свободе и создадим «новый Анаррес», все начнем сначала! Как тебе мой план?

— Он прекрасен! — сказал Шевек. — Прекрасен, родная моя. Но я вовсе не собираюсь улетать на Уррас, как ты не поймешь!

— Да нет, Шев, ты хочешь туда улететь. И ты непременно вернешься! — Глаза Таквер смотрели ласково и были совсем темными — то была мягкая, теплая, ночная тьма. — Конечно, если захочешь вернуться. Ты всегда достигаешь намеченной цели. И всегда возвращаешься назад.

— Не глупи, Таквер! Я действительно не собираюсь улетать на Уррас!

— Я ужасно устала, — сказала Таквер, потягиваясь и прислоняясь лбом к его плечу. — Давай лучше ложиться спать.

Глава 13
УРРАС—АНАРРЕС

Пока они были на орбите, он видел в иллюминаторах лишь бирюзовую поверхность громадного и прекрасного Урраса. Но потом корабль развернулся, и в черном небе появилось множество звезд, а среди них плыл Анаррес, похожий на круглый каменный мяч, чьей-то неведомой рукой заброшенный в космос и теперь вынужденный вращаться там, бесконечно отмеривая время, создавая его.

Шевеку показали на корабле все. Межгалактический «Давенант» буквально всем отличался от старенького грузового «Старательного». Снаружи этот корабль казался удивительно хрупким и был похож на причудливую скульптуру из стекла и проволоки; во всяком случае как космический корабль, как средство передвижения в пространстве его воспринять было трудно. У него как бы не было ни «носа», ни «хвоста». Но изнутри он казался просторным и прочным, как хороший дом. Каюты были большие, изысканно отделанные деревянными панелями, полы покрыты каким-то пушистым плетеным материалом, похожим на ковер. Потолки высокие. Но в «доме» этом «ставни» всегда были закрыты; лишь в нескольких служебных помещениях имелись экраны внешнего наблюдения. И еще на корабле было удивительно тихо. Даже в капитанской рубке и машинном отделении. Все оборудование обладало той простой и строгой определенностью дизайна, какой обладает оснастка хорошего морского судна. Местом отдыха служил замечательный «зимний сад», где освещение примерно равнялось солнечному и удивительно приятно пахло — землей и листвой. Когда на корабле наступала «ночь», свет в саду гасили, а ставни на иллюминаторах поднимали, впуская в помещение свет звезд.

Хотя обычно его полеты продолжались всего несколько часов или дней, поскольку корабль двигался со скоростью, близкой к скорости света, он мог порой долгие месяцы проводить в космосе, исследуя различные планеты той или иной галактики, или же годами вращаться на орбите той планеты, где в данное время находился и работал его экипаж. Именно поэтому он был сделан с такой изысканностью и вниманием к потребностям человека; он был во всех отношениях приспособлен для жизни тех, кто вынужден подолгу находиться далеко от родного дома. Этот стиль Не обладал ни избыточной роскошью Урраса, ни аскетизмом Анарреса; он во всем придерживался здорового

равновесия, но — с чуть большим изяществом, с чуть большей теплотой, что может дать только большой опыт в создании подобных кораблей. Хайнцы вообще ко всему относились спокойно, обдуманно, не желая создавать ни себе, ни другим излишних неприятностей и ограничений. Они имели явную склонность к медитации и действовали всегда без излишней поспешности. Шевеку очень нравились члены смешанной команды корабля, воспитанные в традициях планеты Хайн — неторопливые, суровые, спокойные, без малейшей склонности к неожиданным поступкам. Самыми старшими из них были хайнцы; самыми молодыми — земляне.

Однако Шевек немного общался с ними в те три дня, что потребовались «Давенанту» на полет от Урраса к Анарресу. Он, разумеется, охотно отвечал, когда ему задавали вопросы, но сам задавал их очень мало. Однако стоило ему заговорить, как вокруг воцарялась полная тишина. Члены команды «Да-венанта», особенно молодые, тянулись к нему, словно в нем было нечто такое, чего не хватало им самим. Они без конца говорили и спорили о нем между собой, но с ним вели себя смущенно, застенчиво. Сам Шевек этого, правда, не замечал. Он думал только об Анарресе и только его видел впереди! Он понимал, что не все надежды оправдались, однако свое обещание он выполнил; и, сознавая свое частичное поражение, чувствовал, что в душе его еще немало сил, что он наконец вырвался на свободу, и это вселяло в него радость и новую надежду. Он был точно выпущенный из тюрьмы узник, который наконец-то возвращается домой, к своей семье. А потому все, что он видит в пути, представляется ему не более чем игрой света на поверхности живых и неживых предметов.

Шел второй день полета; Шевек сидел в радиорубке и разговаривал с Анарресом — сперва с Координационным Советом, потом с Синдикатом инициативных людей — и, напряженно наклонившись вперед, слушал и отвечал, радуясь ясной выразительности своего родного языка и порой даже размахивая свободной рукой, словно выступал перед зримой аудиторией. Иногда он искренне смеялся, и первый помощник капитана «Давенанта», уроженец Хайна по имени Кетхо, поддерживая радиосвязь, задумчиво наблюдал за ним. Вчера после ужина Шевек целый час беседовал с ним и некоторыми другими членами экипажа, и Кетхо успел о многом спросить его — как всегда, спокойно и нетребовательно; и Шевек охотно отвечал на все вопросы, касавшиеся Анарреса.

Наконец Шевек повернулся к нему:

— Все. Остальное может подождать до моего возвращения.

Завтра они свяжутся с вами по поводу посадки и прочего.

Кетхо понимающе кивнул.

— По-моему, у вас хорошие новости, — сказал он.

— Да. По крайней мере некоторые из них. Во всяком случае это, как вы выражаетесь, «живые» новости. — Им приходилось говорить на йотик, и Шевек владел этим языком значительно лучше Кетхо, который говорил хотя и правильно, но очень медленно и как-то скованно. — Посадка будет, судя по всему, весьма впечатляющим зрелищем, — продолжал Шевек. — Видимо, соберется огромное количество народу — как врагов, так и друзей. Самые хорошие новости — это то, что придут друзья... И похоже, их стало больше с тех пор, как я улетел.

— Но, значит, есть и опасность покушения на вашу жизнь? — сказал Кетхо. — Стоит вам покинуть корабль, как ваши враги постараются не упустить столь благоприятный момент. Хотя, я надеюсь, сотрудники Космопорта способны все же контролировать обстановку и поддерживать необходимый порядок? Вряд ли вас намеренно хотят заманить в ловушку. Или я не прав?

— Нет, вы правы. И они, конечно, постараются всеми силами меня защитить. Но я ведь и сам нарушитель порядка, Кетхо! Я настоящий диссидент, и, в конце концов, это мое право — идти на риск. Право одонийца. — Он улыбнулся. Но Кетхо на его улыбку не ответил; лицо его с резкими и красивыми чертами было серьезно. Это был привлекательный мужчина лет тридцати, высокий, со светлой, но практически лишенной растительности кожей — как у землян.

— Я рад, что имею возможность разделить с вами этот благородный риск, — сказал он почти торжественно, но спокойно. — Именно мне поручено осуществить посадку на планету нашего «челнока».

— Приятно слышать, — сказал Шевек, — что кому-то захотелось разделить со мной подобную «привилегию»!

— Разделить ее с вами хотелось бы гораздо большему числу людей, чем вы можете себе представить, — серьезно возразил Кетхо. — Если бы, разумеется, вы могли нам это позволить.

Шевек, который успел уже снова начать думать о чем-то своем, собираясь уходить, вдруг остановился: до него дошел смысл последних слов Кетхо, и он, изумленно взглянув на него, спросил:

— Вы что же, хотите сказать, что кому-то из вас хотелось бы высадиться на Анаррес вместе со мной?

Кетхо ответил честно:

— Да. Мне, например, очень хотелось бы.

— И командир корабля даст вам на это разрешение?

— Да. Как офицеру, осуществляющему миротворческую миссию. А кроме того, моя непосредственная работа как раз и заключается в том, чтобы по возможности исследовать и описать каждую новую планету. Мы обсуждали этот вопрос в нашем посольстве на Уррасе — перед вашим отлетом на родину. Было решено не делать никакого официального запроса, поскольку, согласно политике вашего народа, инопланетянам приземляться на Анарресе запрещено.

— Хм, — задумался Шевек. Он отошел к дальней стене и некоторое время стоял там, изучая некий хайнский пейзаж, изображенный очень просто и искусно: темная река, текущая меж тростников, тяжелые, полные влаги тучи... — Видите ли, наши правила, отраженные в «Условиях заселения Анарреса», не разрешают жителям Урраса покидать пределы Космопорта, даже если они оказались на нашей планете. Эти правила все еще соблюдаются свято. Но, с другой стороны, вы ведь не уррасти.

— Во времена заселения Анарреса вам не были еще известны другие представители человеческой расы, так что, видимо, этот документ включает всех иноземцев?

— Да, так решил и наш Координационный Совет, когда вы шестьдесят лет назад впервые прилетели в нашу солнечную систему и попытались наладить с нами контакт. По-моему, они были совершенно не правы, ибо снова принялись возводить стены... — Шевек обернулся и внимательно посмотрел на своего собеседника. — Почему вы так хотите попасть на землю Анарреса, Кетхо?

— Я хочу увидеть эту планету собственными глазами, — честно ответил тот. — Еще до того, как вы прилетели на Ур-рас, мне безумно хотелось побывать там. Все началось с книг Одо... Я ужасно тогда заинтересовался ее теорией. Вы знаете, я тогда... — Он поколебался, словно сам себе удивляясь, и смущенно договорил: — Я даже начал учить язык правик. Правда, совсем немного успел пока.

— Так, значит, это ваше личное желание? Ваша собственная инициатива?

— Абсолютно.

— Но вы понимаете, что это может быть очень опасно?

— Да.

— Дело в том... Честно говоря, на Анарресе сейчас не слишком спокойно. Именно об этом мои друзья мне только что и рассказывали. Хотя в принципе именно это и было нашей целью — целью нашего Синдиката, моего путешествия на Ур-рас и моего возвращения: мы хотели несколько встряхнуть наше общество,

сломать кое-какие отжившие обычаи и традиции, заставить людей задавать вопросы, наконец! Анархисты и должны вести себя как анархисты! В общем, события за время моего отсутствия развивались довольно бурно. А потому, как видите, трудно быть уверенным в том, что случится в следующую минуту. Особенно после моего там появления. И если вы прилетите вместе со мной, все может еще больше осложниться. Я не могу слишком давить на Совет. И не могу взять вас с собой как официального представителя иной планеты. Дипломатический протокол — не для Анарреса.

— Это я понимаю.

— Как только вы со мною вместе окажетесь по ту сторону стены, вы тем самым уже превратитесь в одного из нас. И мы будем полностью за вас ответственны, как и вы — за нас; вы станете анаррести со всеми их возможностями и «привилегиями», понимаете? Вот только безопасности это отнюдь не сулит. Свобода вообще никогда не бывает абсолютно безопасной. — Он огляделся; в радиорубке было тихо, чисто, спокойно; все было простым, разумно устроенным, удобным для работы. Взгляд его снова остановился на Кетхо. — И еще вам покажется, что там, на Анарресе, вы бесконечно одиноки, — сказал он.

— Моя раса очень стара. — Кетхо говорил спокойно и уверенно. — Нашей цивилизации миллион лет. Мы испробовали все. В том числе и анархизм. Но лично я многого не пробовал. Говорят, что ни под одним солнцем нет ничего абсолютно нового. Но если каждая жизнь не является чем-то новым — жизнь любого представителя человечества, — то зачем мы вообще рождаемся на свет?

— Мы дети Времени, — сказал Шевек на своем родном языке. Его молодой собеседник некоторое время молча смотрел на него, потом повторил эти слова на йотик:

— Да, мы дети Времени.

— Верно, — сказал Шевек и рассмеялся. — Хорошо, брат! Тогда давайте снова свяжемся по радио с нашим Синдикатом... для начала... Я сказал Кенг — вы ее знаете, она посол Земли, — что мне нечем отплатить представителям Земли и Хайна за то, что они сделали для меня; ну что ж, может быть, я хоть вам, Кетхо, смогу чем-то отплатить за добро. Какой-нибудь идеей, обещанием, хотя бы риском...

— Я немедленно переговорю с нашим командиром, — сказал Кетхо. Вид у него, как всегда, был довольно суровый, однако голос едва заметно дрожал — то ли от волнения, то ли от ощущения сбывшейся надежды.

Ночью Шевек не мог уснуть и сидел в «зимнем саду». Свет

был погашен, в иллюминаторах ярко светились звезды. Воздух был прохладен и чист. Какое-то растение из неведомого Шевеку мира благоухало, раскрыв на ночь свои цветы среди темной листвы, словно желало привлечь необходимых ему насекомых за триллионы миль, через космическое пространство, в этот крошечный искусственный мирок, созданный руками человека и находящийся в иной галактике. Солнца в разных галактиках светят по-разному, но вот тьма всюду одна. Шевек стоял перед широким прозрачным иллюминатором, глядя на ночную сторону Анарреса, черную полусферу, закрывавшую уже значительную часть звездного небосклона. Он думал, будет ли его встречать Таквер. Пока что она еще не приехала в Аббенай из Города Благоденствия; во всяком случае, он во время последнего сеанса радиосвязи попросил Бедапа подумать, разумно ли Таквер приезжать в Космопорт. «Неужели ты думаешь, что я смогу остановить ее, даже если это будет совершенно неразумно?» — засмеялся в ответ Бедап. Шевек надеялся, что Таквер будет добираться с побережья Соррубы на дирижабле, тем более если возьмет, как он надеялся, девочек с собой. Поездка на поезде слишком утомительна, особенно с детьми. Он еще не забыл то кошмарное путешествие из Чакара в Аббенай, когда Садик настолько плохо переносила дорогу — они ехали более трех суток, — что чуть не умерла.

Дверь тихонько отворилась, пропуская полосу света. В «сад» заглянул командир корабля и окликнул Шевека по имени. Вместе с командиром шел Кетхо.

— Мы только что получили разрешение на посадку нашего «челнока» от ваших диспетчеров, — сказал командир, невысокий, рыжеволосый землянин, очень сдержанный, немногословный и чрезвычайно деловой. — Если вы готовы, можно начинать посадку прямо сейчас.

— Да, конечно!

Командир кивнул и вышел. Кетхо подошел ближе и остановился рядом с Шевеком.

— Ты уверен, что хочешь пройти сквозь эту стену со мною вместе, аммар Кетхо? — Шевек говорил на языке правик. — Ты же понимаешь, что мне куда проще: я ведь в любом случае возвращаюсь домой. А ты свой дом покидаешь! «Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение...»

— Я тоже надеюсь вернуться, — тихо и уверенно сказал Кетхо. — В свое время.

— Когда мы должны начать посадку?

— Минут через двадцать.

— Я готов. Багажа у меня нет. — Шевек засмеялся. То был

смех чистой, непритворной радости, и его спутник сурово посмотрел на него, словно совсем позабыв, что такое простая радость, но все же припоминая ее как нечто далекое, знакомое лишь по временам детства. Шевеку показалось, что он хочет его о чем-то спросить. Но так и не спросил.

— В Аббенае сейчас раннее утро, — сказал Кетхо и пошел собираться. С Шевеком они договорились встретиться уже у шлюза.

Оставшись один, Шевек снова повернулся к иллюминатору и увидел ослепительный серп восходящего над Тименским морем солнца.

«Сегодня я буду спать дома, — думал он, — рядом с Так-вер. Жаль все-таки, что я не захватил для Пилюн ту картинку с ягненком!»

Но он ничего с собой не захватил с Урраса. И руки его, как всегда, были пусты.

notes

Примечания

1

Dust — пыль (англ.).

2

Буквально это слово значит «папа»; ребенок обычно называет мать «мам-мс», а отца — «таддс». Впрочем, «тадде» Гимар мог быть как сс отцом, так и дядей, или же вообще нс родственником ей, однако же человеком, который заботился о ней нс хуже родного отца или деда. Она могла называть «тадде» или «мамме» нескольких людей, однако само это слово имеет более специфический оттенок, чем слово «аммар» (брат/ссстра), которое можно употреблять по отношению к любому. (Примеч. авт.).